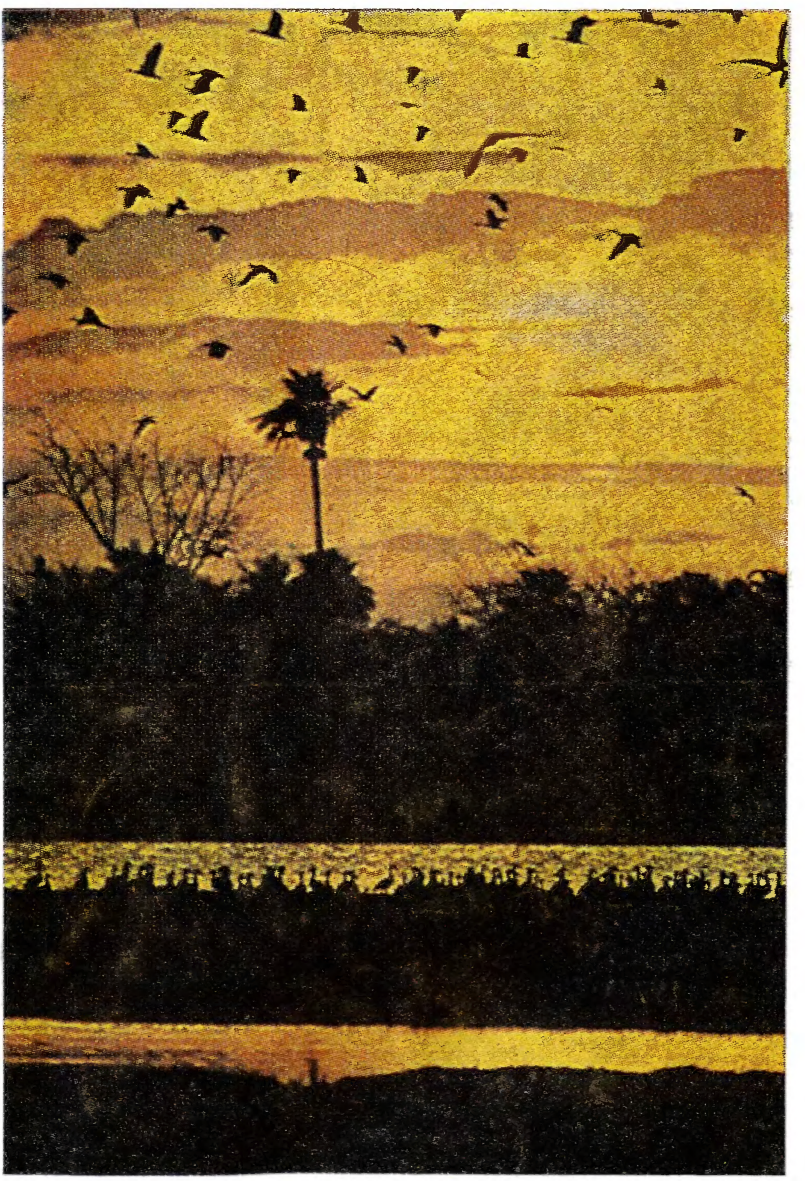
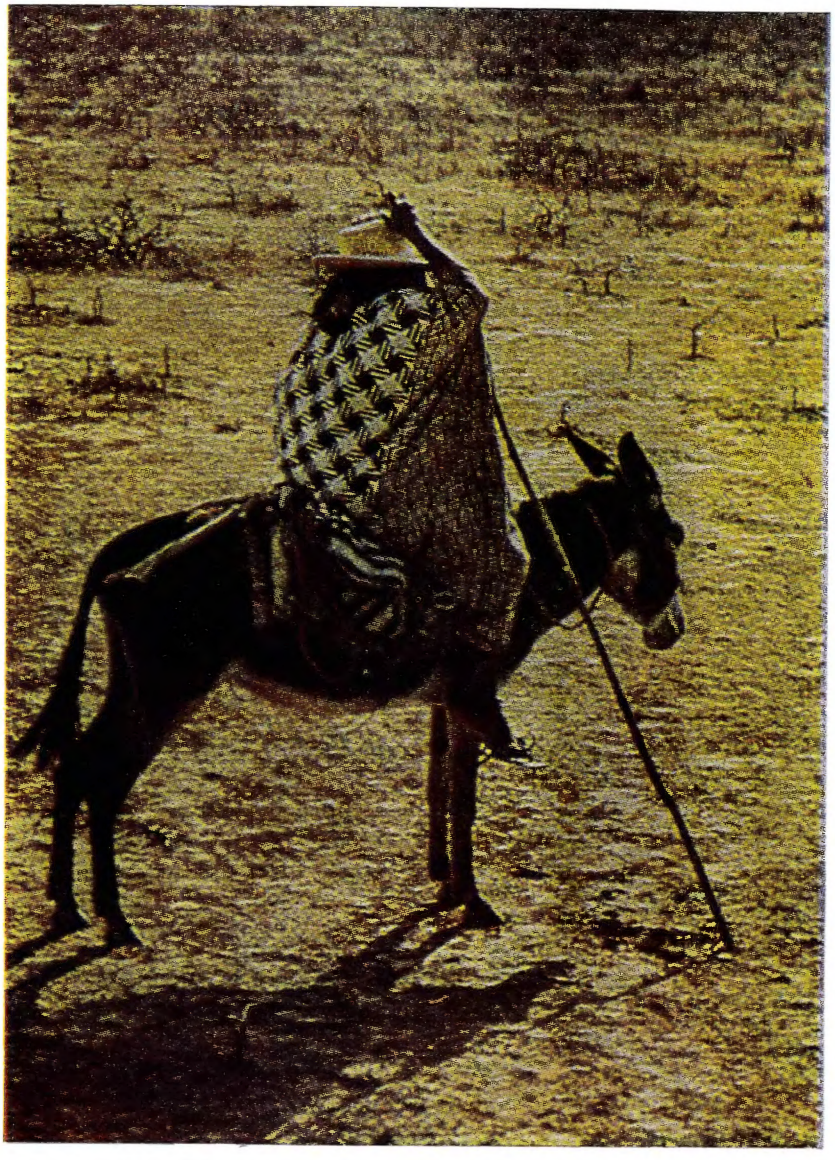
8.1978

# Иностранная литература





Цветные иллюстрации номера:
работы из фотоальбома «Венесуэла»
Чарльза Брюэра-Кариаса —
фотографа и ученого-натуралиста
(Каракас, 1976)

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 1978 АВГУСТ


## Содержание


НАДИН ГОРДИМЕР — Запах смерти и цветов *(Новелла. Перевод с английского В. Когкина)* 3

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ — Из книги «Большие числа» (1976). *(Стихи. Перевод с польского Асара Эппеля)* 19

ЖАН ЖУБЕР — Человек среди песков *(Роман. Перевод с французского Г. Ерофеевой. Послесловие Ю. Уварова)* 23

ЯН КОЗАК — Гнездо аиста *(Роман. Продолжение. Перевод с чешского Л. Лерер и И. Бернштейн)* 116

**Литературное наследие**

ПАВОЛ ОРСАГ ГВЕЗДОСЛАВ — «Кровавые сонеты» *(Перевод со словацкого В. Левика. Предисловие Станислава Шматлака)* 180

**Критика**

ЛЮДМИЛА ГВИШИАНИ — Альберт Рис Вильямс — друг Страны Советов *(Вступление Бориса Полевого)* 189

## Писатель и время

РОЖЕ БОРДЬЕ — Политика и французский роман *(Вступление и перевод с французского Льва Токарева)* 200

## Отклики, встречи, впечатления

Ю. АРХИПОВ — Венский дневник 205

## Публицистика

БОРИС ГАЛАНОВ — Величие Малой земли 212

### К 150-летию со дня рождения Льва Толстого

Лев Толстой беседует с Америкой *(Публикация и вступительная статья В. Лакшина. Переводы с английского В. Воронина)* 220

## Антирубрика

КАРЛ СЭНДБЕРГ — Стихи *(Перевод с английского Аркадия Гаврилова)* 245

ДЖАННИ РОДАРИ — Маги на стадионе *(Рассказ. Перевод с итальянского Льва Вершинина)* 247

ФРЭНК САЛЛИВЕН — Рассказы *(Перевод с английского Владимира Постникова и Юрия Золотсрева)* 251

## Среди книг

### Издано в СССР

В. Седых — Дерзкий мечтатель ✦ Исследуя американскую литературу (Интервью М. Мендельсона) 255

### Издано за рубежом

Е. Гальперина — Нигерия: отзвуки гражданской войны ✦ Н. Литвинец — Кр[illegible] ✦ Е. Огнева — Фантастическое [illegible] 260

**Из нашей почты** 268

**Из месяца в м[illegible]** 274

**Авторы этого [illegible]** 286

*На обложке: ф[illegible] из альбома «Венесуэла».* 286

*На стр. 115, 17 [illegible] художников к произведе[illegible] по дня рождения).*

© «Иностранная литература», 1978.

# НАДИН ГОРДИМЕР

## *Запах смерти и цветов*

НОВЕЛЛА

*Перевод с английского В. КОТКИНА*

Это была необычная для Иоганнесбурга вечеринка. У молодого человека по имени Дерек Росс — сейчас он орудовал у импровизированного бара — собрались друзья: и белые, и черные, и индийцы, и цветные. Время от времени он любил приглашать их к себе всех вместе. Люди эти вообще-то относились к тому меньшинству, которое из-за принадлежности к богеме, в силу религиозных, политических взглядов или особо обостренного чувства человеческого достоинства ничуть не заботит различие в цвете кожи. В компании всегда бывали один или двое белых. Подобно туристам, они заходили сюда посмотреть на необычное зрелище, а заодно показать, что оно им вовсе не кажется странным. Зато двух-трех черных, коричневых либо шоколадных просто шокировала непринужденность, с какой относились к ним белые.

В группе гостей, которая в стороне от танцующих расположилась поболтать в уголке на диване и на стульях, с огромным трудом одолженных хозяином, вниманием всех явно завладел человек в сером костюме — Малькольм Баркер.

— Но почему же в таком случае не заплатить штраф и на этом не поставить точку? — спрашивал он.

Собеседники, к которым был обращен вопрос, не спешили с ответом — и в паузу вдруг неуместно ворвались беспорядочный шум и завывание кем-то принесенного патефона.

Миловидная брюнетка наконец заметила:

— Видите ли, для Джессики Мальхерб это далеко не одно и то же. Это она воспринимает как совершенно разные вещи.

Ее накрашенные ресницы вспорхнули с мольбой — как бы ища поддержки и взаимопонимания — в сторону мужчины, рыжеватые бакенбарды и приплюснутые, низко посаженные уши которого делали его похожим на сердитого кота.

— Здесь дело в принципе,— сказал он Малькольму.

— Ах, вот оно что! Понимаю,— сдался Малькольм.— Для людей типа этой Мальхерб уплатить штраф — одно, а пойти на три недели в тюрьму — другое.

Брюнетка положила ногу на ногу, но тут же приняла прежнюю позу.

— Нет, не совсем так,— сказала она.— Дело не в тюремных лишениях и не в том, что Джессика хочет принести себя в жертву. Ей важен сам принцип.

В этот момент из толпы танцующих какой-то африканец протянул руку и взял брюнетку за локоть. Женщина ушла танцевать. Она весело и охотно стала болтать со своим партнером, который, чуть прищурив глаза, легко вел ее. Мужчина с рыжеватыми бакенбардами молча поднялся и быстро прошел через всю комнату сквозь толпу к бару — кухонному столу, на котором громоздились бутылки с пивом и джином.

— Сатьяграхи [1],— изрек Малькольм Баркер таким тоном, будто произносил священное слово, которое верующие боятся осквернить своими устами.

Весьма крупная и некрасивая негритянка, сидевшая рядом, широко улыбалась, скорее для того, чтобы скрыть свое смущение, ибо не имела ни малейшего понятия о том, что она услышала.

Он улыбнулся ей в ответ и тут же совершенно неожиданно наклонился к ней и нарочито громко, медленно подбирая слова, поинтересовался:

— А чем вы занимаетесь? Вы учительница?

Но негритянка не успела ответить. Молоденькая невестка Малькольма Баркера, сидевшая позади него на подоконнике словно розово-золотистая статуэтка, оперлась на спинку стула зятя и, склонившись почти к самому его уху, шепотом спросила:

— А Джессика Мальхерб действительно сидела в тюрьме?

— Да, в Порт-Элизабет. И еще, говорят, в Дурбане. А теперь она с теми, кто выступает за гражданское неповиновение. Один из лидеров этого движения. Собирается совершить поход в какую-то туземную локацию, закрытую для европейцев. Во вторник. Так что опять угодит в тюрьму. Господи, Джойс, что это ты пьешь? Зачем? Я же говорил тебе, что этот джин — самая дешевая дрянь...

Девушка уже не слушала его. Слегка склонив голову на длинной шее, она повернула свое нежное с прекрасными глазами и выразительной линией носа лицо, будто сошедшее с картин Мэри Лоуренсин, и напряженным взглядом, необычным для таких непроницаемых физиономий, стала всматриваться в другой конец комнаты. В ее облике была какая-то особая привлекательность: неконтрастная, ослепляющая великолепием пастельных тонов, так что создавалось впечатление, будто она носит совершенно гладкую, без единой морщинки косметическую маску. И если бы кому-нибудь пришло в голову повернуть Джойс кругом, он вряд ли удивился бы, увидев позади загрунтованный холст. Всю свою жизнь она страдала от сознания того, что казалась нереальной.

— Какая же она красивая,— проговорила Джойс, не в силах оторвать пристального взгляда от женщины, сидящей возле двери.— Я хочу сказать: какая у нее прекрасная косметика да и все прочее. Это просто невообразимо.

Зять сделал было попытку забрать у Джойс стакан с джином, как отбирают ножницы у детей, но девушка, не глядя на него, машинально переложила стакан из одной руки в другую.

— В конце-то концов бренди легко распознать по этикетке на бутылке,— проворчал он раздраженно.— Не понимаю, почему ты пьешь что попало?

— Интересно, ее тем же кормили, чем и остальных? — спросила девушка.

---

[1] Член индийского политического движения пассивного сопротивления.

— Утром ты почувствуешь себя скверно,— буркнул он,— а Маделин будет ругать меня. Не упрямься, оставь это.

Высокий, неряшливо одетый светловолосый молодой человек, вздымаясь над всеми будто взъерошенная пальма, приблизился к Джойс с растянутой на лице пьяной улыбкой и подчеркнуто вежливо пригласил ее танцевать. Джойс неторопливо допила остаток джина, осторожно поставила стакан на подоконник и пошла с ним. Тонкая талия девушки показалась еще тоньше, когда он обвил ее своей длинной рукой.

Какое-то время Малькольм Баркер сердито следил за Джойс, но потом вдруг закрыл глаза — то ли от скуки, то ли от усталости.

— Вы ни на шаг не отошли от своего мужа... или кто он там вам... весь вечер,— сказал молодой человек.— Почему?

— Это мой зять,— сказала она.— Сестра не смогла прийти, у ребенка поднялась температура.

Он привлек ее к себе за талию, но она по-прежнему держалась прямо, как свеча.

— А я знаком с вашей сестрой? — спросил он.

Опьянение у него порой вызывало приступы блаженной отрешенности, веки нависали на глаза, и он делал вид, будто щурится.

— Возможно,— ответила Джойс.— Ее зовут Маделин Маккой, теперь Маделин Баркер. Она художница. Это она открыла художественную школу для африканцев.

— О да, знаю,— сказал он.

Вдруг одной рукой он развернул ее в сторону, проделал на некрепких ногах несколько па, отошел от нее, затерявшись было в толпе танцующих, но тут же вернулся, снова подхватил и, нежно обняв, остановился возле группы гостей, сбившихся в кучу у кухонного стола с напитками, точно взволнованные игроки в регби.

— Чего тебе налить, Рой, малышка? — спросил, взглянув на них, небольшого роста африканец с очень черным лицом.

— Да налей вот хоть «барбертона»,— ответил молодой человек, потрепав рукой голову африканца и улыбаясь.

— Ну уж, нашел чего пить. Сладкую водичку. Давай я налью тебе лучше ананасовой.

На мгновение девушка засомневалась, действительно ли в бутылках ананасовая или «барбертон», те самые, пользовавшиеся дурной славой зелья, что изобрели туземцы, ютившиеся в так называемых локациях. Ананасовая, как ей было известно, делалась из перебродивших фруктов и считалась ужасно крепкой. Однажды она даже прочла в газете об облаве на какой-то кабак, где в канистре с «барбертоном» будто держали отрубленную человеческую ногу — то ли для придания особого вкуса, то ли для колдовства.

Сомнения Джойс в подлинности напитков сразу же рассеялись, когда заговорила миловидная блондинка, которая, желая выглядеть загорелой, наложила на лицо побольше крема.

— Не волнуйтесь,— сказала она,— ни в одном кабаке никогда не делали ничего более ядовитого, чем этот пунш из джина — произведение Дерека.

Хозяин, стоя у бара, сам наливал напитки, и блондинка показала в его сторону стаканом со смесью, которую девушка пробовала, когда сидела у окна.

— Это не джин. Это арак. Чертовски вкусный,— сказал Дерек.— Тебе чего налить, Джойс?

— Джойс,— повторил долговязый парень, с которым она танцевала.— Джойс. Хорошее имя. А теперь скажи ей, как зовут меня.

— Рой Уилсон,— сказал Дерек.— Но похоже, будто вы знакомы, даже не зная друг друга по имени. Это — Джойс Маккой. Познакомься, Джойс, а вот они — Матт Шабалала, Бренда Шотли, Махиндер Сингх, Мартин Матлонго.

Они улыбнулись девушке: африканец с лоснящимся лицом, ниже ее ростом на целую голову, блондинка, с затвердевшей и потрескавшейся на щеках пудрой, миловидный индиец, похожий на ученого, с высоким, открытым лбом, уродливый бледнолицый человек, такой белый, что видны были все веснушки, усыпавшие его полное лицо.

— Мне бы хотелось того же, что я пила, Дерек. Вашего пунша,— сказала она хозяину.

Едва пригубив напиток, она почувствовала разлившуюся по всему телу теплоту, чуть слышно она повторила: «Матт Ша-ба-лала, Мартин Мат-лонго, Ма-хиндер Сингх».

Со своего места она краешком глаза видела Джессику Мальхерб, невысокую полную белую женщину в элегантном черном платье и с отблескивающими на свету волосами, когда она, разговаривая, поворачивала голову.

— Эдди Нтвала, это мисс Джойс Маккой...— сказал маленький африканец по имени Матт.

И остановился, с улыбкой глядя, как рука девушки встретилась с тонкой рукой африканца со светлой кожей и усталыми, циничными глазами человека, который много пьет, чтобы заглушить внутреннюю боль.

По тому, как коротышка Шабалала представил африканца, она могла понять, что это, должно быть, весьма уважаемая и важная персона, какой-нибудь лидер, каждая черта которого: былая привлекательность, потемневшие прокуренные зубы, открывавшиеся в улыбке, небрежно повязанный смятый галстук — свидетельствовала о своеобычности человека. Она улыбнулась, словно желая сказать: «Конечно, кто не знает Эдди Нтвалу».

Эдди, казалось, не интересовали ни собравшиеся на вечеринке, ни Шабалала. На лице его застыла чуть заметная улыбка — вежливая официальная улыбка, адресованная всем и каждому.

— Можно пригласить? — спросил он, слегка коснувшись ее плеча.

Они повернулись и молча пошли к танцующим.

Эдди Нтвала вел партнершу уверенно и свободно, хотя и однообразно. Правая рука Джойс покоилась в его левой руке, а правая рука Эдди — на ее спине, как будто... и все же ей казалось — да, как будто его здесь не было, как будто танцевал кто-то другой. И произошло с ней это впервые, впервые за все двадцать два года ее жизни. Голова ее была на уровне лацкана его пиджака — она ощущала легкий аромат табака. А когда он наклонялся к ней, она чувствовала его дыхание — знакомый запах вина или бренди, такой же, как и у других мужчин на танцах. И если бы не его глаза — такие глаза она видела и раньше, у других людей, и даже думала, сможет ли с годами когда-нибудь понять их,— то он ничем не отличался бы от любого «боя» — рассыльного или слуги. Голову его покрывала копна густых и курчавых, ровно подстриженных волос, кожа гладка и смугла, выразительны широкие скулы, небольшой с широкими ноздрями нос — все как у других. Но рука его обнимала ее за талию, ее рука лежала в его ладони, и он вежливо вел ее в танце. Никогда раньше она не осмелилась бы выразить словами стучавшую в мозгу мысль: «Я танцую с

черным». А теперь она позволила задать самой себе вопрос — спокойно, с беспристрастностью исследователя: «Чувствую ли я что-то особенное? Что же я чувствую?»

Ее партнер начал тихонько напевать мелодию, под которую они танцевали, как это сделал бы любой, услышав музыку давних дней молодости. Напев словно эхом отозвался в ней, и, не поворачивая головы, она почти заставила себя краешком глаза посмотреть вправо на его изящную руку, казавшуюся почти женской по сравнению с руками большинства белых мужчин,— темно-коричневую руку рядом с ее белой.

«Всегда ли я танцую так, как сейчас? — спрашивала она себя с пристрастием.— Всегда ли так же прямо держу спину, настолько ли расслабляюсь, в такой ли степени сдерживаюсь?»

Она решила, что танцует так, как танцевала всегда.

«Ничего иного не чувствую,— думала она,— совсем ничего не чувствую». И сразу исчезла напряженность, настроение стало таким благодушным, что она даже заговорила со своим партнером. Она знала, что по крайней мере половина молодых людей, покоренных ее привлекательностью и не пропускавших вечеринки, чтобы потанцевать с ней, никогда не приглашали ее дважды — их сбивала с толку ее сдержанность, замкнутость, упорное молчание. А вот сейчас она ровным, тихим голосом произнесла несколько подобающих случаю слов, сделала замечание о музыке, высказала удовлетворение, что на улице в этот вечер идет дождь. Он улыбнулся с видом скучающего, но терпеливого человека, хотя сам, по-видимому, не слушал ее. Потом, будто желая исправить свою бестактность, спросил:

— Вы приехали из Англии?

— Да, но я не англичанка, а южно-африканка. Просто последние пять лет провела в Англии и в декабре вернулась домой. Я знала Дерека, когда была еще совсем девчонкой,— добавила она, почувствовав, что должна как-то объяснить свое присутствие здесь, на этой вечеринке, где — по всему видно — собрался круг людей, уверенных в своей исключительности или превосходстве над другими.

— Англия,— сказал он, улыбаясь скорее своим мыслям, чем ей.— Никогда и нигде не чувствовал я себя так счастливо, как там.

— В Лондоне? — спросила она.

Он кивнул.

— Согласна. Я чувствую то же самое.

— Нет, не чувствуете, Маккой,— медленно проговорил он, улыбнувшись теперь только ей.— Нет, не чувствуете.

Она смолкла — на какой-то миг ей показалось, что она ведет себя опрометчиво-смело.

— У вас особая манера разговаривать. Истинно английская,— продолжал он, когда они снова пошли танцевать.— Белые в Южной Африке так не умеют.

Возникла опасная ситуация: вдруг на нее, как всегда, может найти непроницаемая, апатичная молчаливость и она замкнется в себе, но второй стакан аракового пунша сделал свое дело. Довольно оживленно, даже не задумываясь, она ответила:

— О, мне кажется, я как попугай. Моментально перенимаю манеру тех, с кем живу.

Он откинул назад голову и засмеялся. Стало видно, что у него не хватает нескольких зубов.

— Интересно, как-то вы заговорите завтра, Маккой? — спросил он, отстраняя ее и сотрясаясь от смеха, на глазах у него выступили слезы.— Ох, интересно, как вы заговорите завтра?

— Как и вы,— ответила она, безмерно расхрабрившись, хотя это

и прозвучало тихо, застенчиво и необычайно нежно для банальной шутки.

— Давайте немного выпьем,— предложил он, будто знал ее давным-давно и обращаясь к ней так, точно она была вроде Джессики Мальхерб.

Он повел ее обратно к бару. Она шла, мерно покачивая рукой, зажатой в его руке, словно прогуливалась с кем-то из друзей на танцах в загородном клубе.

— Я обещал выпить с Раджати,— сказал он.— Куда только он запропастился?

— Тот, с которым меня познакомили? — поинтересовалась девушка.— Тот, с высоким, открытым лбом?

— Индиец? — спросил он.— Нет, того зовут Махиндер. А это его кузен, муж Джессики Мальхерб.

— Она замужем за индийцем? — девушка внезапно остановилась среди танцующих.— Это правда?

Известие пронзило ее, вызвав нервную дрожь. Она была потрясена, будто услышала неожиданную приятную новость о человеке для нее значительном и важном.

Джессика Мальхерб, ее имя, ее идеи ворвались в жизнь Джойс еще в Англии. Даже там она нередко читала в газетах о Джессике Мальхерб: дочь скромного фермера-бура, который именем сурового кальвинистского бога отрекся от своего чада за ее антинационализм и радикальные взгляды; девушка с фермы, разместившейся далеко в вельде (Джойс помнила, что еще в детстве из окна поезда видела такие фермы), она работала на фабрике и занималась самообразованием. Впоследствии профсоюз отправил ее изучать историю международного рабочего движения — эта девушка даже участвовала в переговорах с министрами и, как Джойс узнала, подвергалась за свои убеждения арестам. Та самая Джессика Мальхерб, которая была чуть ли не первым человеком, встретившимся Джойс на этой вечеринке, человеком, оказавшимся с виду похожим на холеную английскую леди с жемчужным ожерельем, благоухающую дорогими духами, какую увидишь разве что в лондонском ресторане. Индиец! О, это уже была последняя капля. Великолепно! От такого весь мир мог перевернуться — мир отца Джессики Мальхерб. Индиец!

«Старина Раджати»,— сказал о нем Нтвала. Но его никак не удавалось отыскать в толпе. Девушка представила себе красавца индийца с выпуклым лбом, похожего на ученого. И вдруг ей припомнился случай, как однажды в Дурбане она разговаривала через прилавок с индийским юношей-продавцом. Они с сестрой оказались в индийском квартале и зашли в лавку за шелком. Шелк был нужен ей, и тихим голосом она попросила юношу за прилавком отрезать ей небольшой кусок. Он ответил так же тихо и спокойно: «Очень жаль, но шелк определенной длины, он предназначен только для сари, и резать его нельзя». У юноши были красивые, ничего не выражающие глаза, и казалось, будто разговор происходит во сне. Совсем крохотная лавчонка размещалась в подвале. В ней сильно пахло ладаном. Такой же запах был в деревенской церквушке, где лежала бабушка, перед тем как ее опустили в могилу. Такое же благоухание разливалось в саду матери летними ночами. Запах смерти и цветов — смесь, какой нередко бывает и сама жизнь, сплетая воедино уродство и красоту, привлекательность и безобразие. А как только они с сестрой вышли из той лавчонки, они заметили, что следом идет какой-то весьма неприятный тип. Невольно они покрепче прижали к себе сумки, а потом, чтобы только отделаться от преследователя, вошли в переполненный магазин, однако субъект близко подошел к

ним и стал непристойно шутить. У него было, как им показалось, неопределенное евро-азиатское лицо, но они не решились бы с уверенностью сказать, был ли он индийцем. Он вызывал такое отвращение, что они вообще не признали в нем человека.

И теперь здесь, у Дерека, в гомоне толпящихся людей она пыталась вспомнить голос того юноши, произнесшего так четко запомнившиеся ей слова: «Очень жаль, но шелк определенной длины, он предназначен только для сари, и резать его нельзя». И вдруг она стала машинально повторять странное окончание фразы: «ре-зать-нель-зя, ре-зать-нель-зя»...

Потом она танцевала с Дереком.

— Ты сегодня выглядишь прелестно, голубушка,— сказал он, прикоснувшись влажными губами к ее уху.— Прелестно.

— Дерек, а который из них Раджати?

Он убрал руку с ее талии.

— Вон там,— показал он, но тут же снова обнял ее и закружил в танце.

Она увидела только Махиндера Сингха и Мартина Матлонго — высокого веснушчатого мулата, да спину и шею какого-то темнокожего с толстым, как у бизнесмена, валиком жира над воротником.

— Который? — переспросила она.

Но на этот раз он указал на группу, где находились только белые, и она не стала больше спрашивать.

Музыка прервалась неожиданным скрипучим взвизгом, будто вдруг сняли иглу с середины пластинки. Видимо, кто-то хотел произнести тост. Но оказалось, что собираются петь. Мартин Матлонго, малыш Шабалала, две цветные женщины и огромная африканка в зеленых туфлях на пробке встали рядом, положив руки на плечи друг другу.

Когда в комнате стихло, они запели на каком-то из языков банту; запели необычайно красиво; мужские голоса звучали низко и нежно, женские — высоко и страстно. Когда хор умолк, девушка спросила у оказавшегося рядом с ней Эдди Нтвала, о чем была песня. Он ответил таким тоном, словно не он только что танцевал с ней и не они перекидывались ироническими шутками:

— О, это о молодом парне. Он идет и видит девушку, которая работает на ферме своего отца.

Рой Уилсон усмехнулся и дружески хлопнул его по плечу.

— Эдди никогда в жизни не видел фермы. Он родился и вырос в локации «Апекс».

Затем Мартин Матлонго — под крупным, сильным, с широкими губами лицом которого прилепился галстук-бабочка в крапинку — вдруг вышел вперед и запел «Old Man River». Было что-то обидное, вызывающее и в то же время постыдно просительное в том, как он пел эту старинную мелодраматическую песню рабов, и в том, как он, преклоняя колени, простирал огромные руки с розовыми ладонями. Черные в комнате смотрели на него с усмешкой, как на кривляющуюся обезьяну. Белые казались пьяными, их лица были бесстрастны.

Джойс Маккой впервые за весь вечер, с того момента как их познакомили, очутилась поблизости от Джессики Мальхерб. И теперь, когда ей стало особенно не по себе от того, как этот цветной поет негритянскую песню, она стала винить в происходящем Джессику. Это было ясно по ее взгляду. Она переложила вину на женщину, словно та могла все поставить на свои места, а между тем на тщательно накрашенном непроницаемом лице Джессики не отражались

ни зловещее замешательство других белых, ни переживания черных.

Девушка почувствовала себя так, будто готова была вот-вот расплакаться, но на этот раз все походило на прелюдию к чему-то иному. Она с трудом — ноги уже почти не слушались ее — протиснулась сквозь толпу, вежливо и вполголоса извиняясь, как учили ее все двадцать два года жизни, прошла мимо пьяно глазевших на все гостей. И подошла к лидеру профсоюза, к ветерану скитаний по политическим тюрьмам — к этой женщине с блестящими волосами, от которой исходил аромат дорогих духов.

— Мисс Мальхерб,— сказала она, и по ее смущенному выражению лица можно было предположить, что речь пойдет о приглашении на прием, устраиваемый в саду.— Мисс Мальхерб, прошу вас, разрешите мне пойти с вами на будущей неделе. Я хочу участвовать в марше...

На следующий день, вполне протрезвев, Джойс не отказалась от желания идти в локацию. Как и предсказывал ее зять, она чувствовала себя скверно после пунша Дерека, и каждый раз, когда наклоняла голову, ей казалось, будто внутри ее черепа медленно перекатывается из стороны в сторону огромный тяжелый шар. Из-за этого шара, иногда казавшегося ей собственным мозгом, но сжавшимся и затвердевшим, как высохший в скорлупе орех, трудно было сосредоточиться. Однако совершенно четко стучала в голове одна мысль: на следующей неделе она будет участвовать в марше. Эта мысль, по существу, превратилась в навязчивую идею.

Джойс отправилась на встречу с мисс Мальхерб в штаб по проведению кампании гражданского неповиновения, желая еще раз подтвердить свою просьбу, высказанную накануне. Мисс Мальхерб, как и предыдущим вечером, вежливо выслушала девушку. Она была внимательна и добра, поблагодарила Джойс, а потом спокойно объяснила, что в подобной акции может участвовать лишь член организации — Движения гражданского неповиновения.

— В таком случае я хочу сейчас же оформить свое вступление,— сказала Джойс.

Сегодня она была одета в светлое, гармонирующее с бледностью ее лица льняное платье, в квадратном вырезе которого на обнаженной шее красовалось маленькое ожерелье из мелких жемчужин — подобные ожерелья дарят девочкам, а затем в каждый их день рождения прибавляют по одной жемчужине.

Мисс Мальхерб ответила, что Джойс, бесспорно, вполне могла бы присоединиться к движению, но, возможно, этим и следует ограничиться. Даже такая поддержка была бы весьма ценной.

Но нет, Джойс не соглашалась — ей хотелось действовать, она желала наравне с другими участвовать в марше. Из конторы она ушла только после того, как официально оформила свое участие в Движении гражданского неповиновения.

Спустя два дня она снова пошла в штаб переговорить с Джессикой Мальхерб. На этот раз кроме мисс Мальхерб там было еще несколько человек. Они встретили ее улыбками, будто старую знакомую. Мисс Мальхерб стала говорить о серьезности задуманного Джойс шага. Понимает ли она, что ей грозит тюрьма? Осознает ли, что участники движения предпочитают тюремное заключение штрафу? Даже если она не думает о себе, как отнесутся к ее поступку родители, родственники? Девушка ответила, что двадцать один год ей уже исполнился, что у нее есть только мать в Англии и ни перед кем она не должна отчитываться. Вернувшись домой, Джойс не сказала о своем решении ни сестре Маделин, ни зятю.

Наступившее, наконец, утро вторника выдалось сырым и про-

хладным. Джойс, одеваясь, удивилась обыденности, будничности своих действий — уже это само по себе указывало на необычайность дня. На душе было пусто, руки стали как ледышки. Вместе с зятем она доехала до города на его машине. Все кругом было усыпано опавшими листьями джакаранды. На дороге их было не меньше, чем на деревьях. Наскоро перекусив в городе, она села на трамвай, шедший в сторону Фордсбруга, района, где вместе с белыми бедняками жили индийцы и цветные и где, как было договорено, должны были собраться участники Движения гражданского неповиновения.

Прежде ей не приходилось бывать в этой части Иоганнесбурга. Адрес дома, где собирались участники марша, она записала в книжечку с обложкой из клетчатого шелка, которую сейчас робко сжимала в своей маленькой руке. С собой она взяла лишь белую шерстяную кофточку, обулась в легкие без каблуков туфли. «Непонятно, почему все время кажется, будто я собираюсь в какую-то длительную экспедицию, требующую тщательной подготовки,— думала она,— ведь на самом деле все кончится за какие-нибудь полчаса. Джессика Мальхерб сказала, что мы внесем залог и к половине пятого вернемся домой».

В трамвае она совсем не обращала внимания на пассажиров, да и они вроде бы не замечали ее, хотя разница между ними резко бросалась в глаза. Худые, желтокожие дети; мужчины со слезящимися глазами, которые выродились в жалкие неопределенного возраста создания; грузные, с распухшими ногами женщины с какими-то газетными свертками; молоденькие светлокожие фабричные девчонки, которые, заколов засалившиеся курчавые волосы на манер модной прически и размалевав заносчивые, наглые физиономии румянами и губной помадой, пытаются сойти за белых девушек.

Даже если отбросить социальное различие, так заметное даже в одежде, Джойс, сидевшая среди этих пассажиров, выглядела настолько несхожей с ними, настолько отличалась от них, что можно было предположить лишь одно из двух: или она волшебница — верх совершенства, нечто исключительное, Ариэль среди Калибанов, или это очаровательное создание появилось на свет раньше срока и поэтому прекрасна, как прекрасен до срока извлеченный из чрева матери ягненок — слишком хрупкий, не приспособленный для самостоятельной жизни.

Она сошла на указанной ей остановке и медленно направилась вверх по улице, вглядываясь в номера домов. Понять, как далеко ей предстоит идти и в правильном ли она идет направлении, было довольно трудно, так как цифры над дверями полустерлись или были нечетко написаны, а то вообще отсутствовали. Как и в большинстве кварталов бедняков, жилые дома шли вперемежку с торговыми лавками, кое-где жилища использовались под деловые конторы, а над некоторыми лавками, по-видимому, жили их владельцы со своими семьями. Улица называлась Цветочной, хотя на ней не росло ни цветов, ни деревьев. На большинстве лавок красовались названия индийских фирм, коряво нацарапанные на самодельных деревянных вывесках или по прихоти «художника» пышно намалеванные на дверях причудливыми завитушками желтой и красной краской: «Мунсамми Даду, скобяные изделия, дамская модная одежда и другие товары», «К. П. Пател и сыновья, торговля фруктами», «Валлабхир, магазин случайных вещей». Какой-то сапожник забил рамы веранды своего крохотного дома, превратив ее в мастерскую, а над входом вывесил огромный старомодный черный железный сапог.

Из таких домов пахло гнилыми фруктами. Худые, шоколадного цвета дети таскали на руках своих меньших родичей. На веранде

крохотного жилища-лавки тощий светлокожий мужчина в рубашке ругал на африкаанс полную, сидевшую на ступеньках женщину. Индианка в сари и в европейских туфлях на высоких каблуках барабанила в дверь другой половины дома. Чуть подальше притаился совсем небольшой домик, почти полностью скрытый от глаз обвившим его жадным плющом. На двери сверкала начищенная до блеска бронзовая дощечка с фамилией и часами приема индийского врача.

Улица, по которой шла Джойс, была довольно тихой, повсюду царила атмосфера равнодушия и апатии, свойственная всем предместьям, где обитатели ведут скромный, замкнутый образ жизни. Вдруг она услышала пронзительный пьяный хохот. Он доносился из-за ржавой, рифленого железа стены, видимо окружавшей двор. На улице возле стены, на клочке жесткой, пробившейся сквозь песок и гравий травы, которая с трудом, но подчас все же находит себе место на хоженой-перехоженной городской мостовой, сидел человек. Подойдя ближе, девушка увидела, что это была белая женщина, одна из тех несчастных, что вечно спешат куда-то с отрешенной целеустремленностью отверженных.

Джойс не испытывала ни жалости, ни отвращения к этой женщине, будто, начиная с сегодняшнего дня, само участие в движении против социальной несправедливости излечило ее от пустой сентиментальности. Нет, она не стала отводить взгляд, а совершенно спокойно посмотрела на голые, грязные, загоревшие ноги с задубелой кожей. Но по отношению к молодой светлокожей мулатке, стоявшей с ребенком на руках у калитки соседнего дома, она лишь ощутила, да и то с какой-то бесстрастностью, неосознанное сочувствие, потому что той выпало жить рядом с сомнительным заведением — наверняка притоном.

На полпути к следующему кварталу она увидела припаркованные возле дома три машины, поняла, что близка к цели, и зашагала быстрее, но так же размеренно и спокойно. Подойдя к дому — номер 260, тот, который был записан в ее книжке,— она обнаружила, что это был небольшой коттедж из красноватого кирпича. Четыре ступеньки вели от тротуара к узкой веранде. По обе стороны от входной двери в жестяных банках из-под керосина, выкрашенных зеленой краской, росли мечеобразные папоротники, дверь была открыта настежь, как принято в домах, где ожидают гостей.

Джойс решительно поднялась по ступенькам лестницы, на которых уже множество ног оставили пыльные отпечатки, и заглянула через дверной проем, постучав в наборную стеклянную панель верхней половины двери. Глазам ее предстал коридор с обшарпанным цветным линолеумом на полу. Из-за занавески в глубине этого сводчатого коридора выглянула головка маленькой индийской девочки — низкий лоб, огромные глаза — и тут же снова исчезла.

Джойс Маккой постучала еще раз. До нее доносился нестройный говор, и громче других слышался протестующий голос женщины.

Лысый белый мужчина в очках с толстыми стеклами быстрыми, нервными шагами пересек коридор и, как ей показалось, не обратил на нее внимания. Но, видимо, это было не так, ибо едва он вошел в комнату, откуда раздавались голоса, из нее сразу же появилась миловидная с изысканными манерами брюнетка, которую Джойс помнила еще с вечеринки, и, протянув к ней руки, радостно воскликнула:

— О, входите, дорогая. Входите сюда. Тут такой шум! Вы могли бы стучаться весь день!

Джойс обратила внимание, что на женщине были совсем легкие сандалии, надетые на босу ногу, а ее педикюр воскрешал в памяти изнеженных девиц из модных журналов. Джойс не могла понять, почему ее так сильно заинтересовали такие детали и отчего они показались ей настолько значительными. Она улыбнулась в ответ и пошла вслед за женщиной.

Теперь она действительно попала по адресу. Она слышала звук собственных шагов. Здесь пахло специями. На стене висела фотография девушки-индианки в европейском свадебном платье. Карточку обрамляла рамка из узорчатой золотой фольги, какой украшают торты. Когда они вошли в комнату, все разом заулыбались ей, но приняли ее появление как должное. Джессика Мальхерб была в голубом полотняном костюме. Она курила сигарету и что-то говорила высокому с взъерошенными волосами Рою Уилсону, он тут же записывал ее слова. Лысый мужчина вполголоса сосредоточенно беседовал с худощавой женщиной, у которой на мускулистой руке были надеты мужские часы. Коротышка Шабалала в очках в тонкой черепаховой оправе делал карандашом какие-то пометки на листе бумаги. Еще трое или четверо белых и черных сидели и разговаривали. В комнате стоял шум и гам, как в птичьей клетке.

Джойс робко опустилась на стул. Ножки у него разболтались, и весь он шатался. Стараясь оставаться незамеченной, она принялась осматривать комнату. У окна расположилась старая индианка, стройный индийский паренек и ребенок — по всей вероятности, ее внуки. Не отрывая от них взгляда, она представила, как выглядела эта комната, когда была пустой.

Толстая индианка сидела широко расставив ноги, ее сари крупными складками спадало между коленями. В одной ее ноздре сверкал рубин, а маленькие пухлые пальцы рук были унизаны кольцами. Лоб скрывали жесткие черные волосы и парчовый край сари. Словно глухая, смотрела она ничего не видящим взглядом на это скопище белых мужчин и женщин, индийцев в деловых костюмах, по-чиновничьи опрятных африканцев.

И все же по движению ее глаз, холодных и бесстрастных, похожих на глаза черепахи, по тому, как невольно шевелятся ее ступни, выдавая слабые признаки жизни и напоминая подергивание мышц у какой-нибудь водяной твари, выброшенной волнами на берег, Джойс поняла, что не из-за глухоты или слепоты эта старая женщина не замечала собравшихся, а всего лишь потому, что этот дом, эта комната принадлежали ей. Она была здесь до того, как явились гости, и ради них не собиралась уходить, она будет здесь и после их ухода. Дети остались верными бабушке, понимая, что ее-то не посмеют отослать на кухню или в какой-нибудь закуток.

По тому, как эта молчаливая группа заявляла о своих правах, девушке стало ясно, кому принадлежит и все остальное в этой комнате (в *их* комнате): и ужасный гарнитур, обитый искусственным бархатом с выдавленными треугольниками и серпами; и желтый лакированный стол с розовой шелковой салфеткой и бронзовой вазой с бумажными цветами; и стулья с круглыми отверстиями в подлокотниках, в которые вставлены пепельницы из цветного стекла; и безвкусно размалеванные фотографии; и ваза с лепным рельефным украшением; и зеленые шелковые с рюшем подушки; и торшер, и золоченая гипсовая собачка у двери.

К старухе подошел индиец и что-то сказал хозяйским раздраженным, хотя и заискивающим тоном сына, которому хотелось бы

куда-нибудь спровадить мать. Когда мужчина повернул голову, девушка уловила что-то знакомое в этом повороте и узнала человека, чью шею и спину видела на вечеринке, когда пыталась отыскать мужа Джессики Мальхерб. Затем индиец подошел к Джойс — коренастый, приятный человек с огромной копной блестящих, по-индийски черных волос, делавших его голову слишком большой по сравнению с туловищем.

— Поздравляю,— сказал он.— Моя жена Джессика говорит, что вы настояли на своем желании присоединиться к сегодняшней демонстрации неповиновения. Вам не страшно?

Она улыбнулась через силу и никак не могла понять, почему это оказалось для нее так трудно.

— Мне жаль, я в тот вечер не познакомилась с вами. Только с вашим кузеном — кажется, так? — мистером Сингхом.

Муж Джессики Мальхерб был на удивление обыкновенным индийцем, но как-никак он был мужем Джессики Мальхерб — этот человек с валиком жира на шее.

— А вы совсем не похожи на мистера Сингха,— сказала она, чувствуя, что сама мысль о таком сравнении оскорбляет ее больше, чем этого полного, дружески настроенного к ней и не старого человека, которому недостает лишь засученной выше локтей рубашки, чтобы стать похожим на процветающего индийского торговца, или неряшливой белой куртки и небритой физиономии, чтобы выглядеть совсем как уличный разносчик фруктов и овощей.

Он сел рядом — за его головой она видела старую индианку — и, когда заговорила, щеголяя своим кембриджским произношением, она вдруг стала ощущать нечто такое, что раньше ускользало от нее. И очень странно, ибо, конечно, в комнате ничего не изменилось. А возможно, раньше она и не могла ничего почувствовать, потому что это нечто, очевидно, явилось результатом какого-то движения в группе старушки-индианки. Совершенно неожиданно для себя она вдруг отчетливо почувствовала запах ладана: сладковатый, сухой, дымный, напоминающий запах горящих листьев. Она невольно начала принюхиваться. Потом ей показалось, будто запах исходит и от мебели, и от штор; старая женщина жжет листья, и дымом пропитался весь дом, все эти безделушки из Бирмингема и Денвера, из Колорадо и американизированной Японии. Потом ей перестало казаться, будто пахнет жженными листьями. Нет, пахло именно ладаном, и его запах был сильным и терпким. Запах смерти и цветов. Он всплыл в ее памяти с такой силой, что буквально захватил ее всю, как никогда не могли бы захватить воспоминания слов или образов.

— Вы хорошо себя чувствуете? — спросил вежливый индиец, остановившись на полуслове, так как заметил, что она не слушает его, а ее миловидное, бледное, безмятежное личико вдруг побелело и стало таким отрешенным, будто она вот-вот потеряет сознание.

Она порывисто встала, как будто молчаливо извиняясь, и вышла из комнаты. Бегом пробежала через коридор, открыла входную дверь, захлопнула ее за собой, но запах преследовал ее и здесь, и даже сильнее, чем там. Он шел из спальни, в которой стояла широкая кровать, застеленная оранжевым шелковым покрывалом. Она прислонилась спиной к двери, вдыхая запах и дрожа от страха, безумно желая лишь одного — чтобы ее избавили от всего: от этих добрых женщин, которые могли появиться в любую минуту и начать расспрашивать ее о самочувствии, от необходимости взять себя в руки, чтобы спокойно перенести поездку на машине в локацию, от вида ее спутников, не испытывавших никакого страха, от этого марша.

Сами условия ее тепличного существования, которые, как теперь она чувствовала, отгородили ее и от жестоких и от радостных ударов неумолимо развивающейся реальной жизни, пришли в этот момент к ней на помощь. Испугавшись, она не перестала быть вежливым человеком. В ней воспитывали вежливость так долго, что рутинный стереотип хороших манер, настойчиво глушивший в ней всякое проявление индивидуальности, теперь так же безошибочно сработал на подавление страха.

Было бы скандально ни с того ни с сего взять и просто убежать сейчас из этого дома, вернуться в город.

Эта мысль — правила поведения в обществе хорошо воспитанного ребенка — помогла ей, она снова и снова заявляла о себе, заставляя спокойнее биться гулко стучавшее сердце, заставляя разжиматься крепко сжатые кулаки. Было бы ужасно неприлично убежать сейчас. Где-то в глубине души она с огорчением сознавала, что приличие совершенно не обязывает ее остаться, но тем не менее рефлекс срабатывал. Хорошие манеры жили в ней дольше и были сильнее страха.

Постепенно мысль о собственной персоне перестала так сильно угнетать ее; перед глазами прекратила свою пляску кровать вверх-вниз, вверх-вниз. Джойс медленно повернулась к зеркалу в дверце платяного шкафа, поправила пояс, стараясь не смотреть на себя. Затем открыла дверь, прошла по коридору, вернулась в комнату к собравшимся и села на стул, на котором до этого сидела. И только теперь она заметила, что все остальные уже стоят — они встали со своих мест, готовые отправиться в путь.

— Как быть с вашей кофточкой, дорогая? Может, вы ее оставите здесь? — спросила миловидная брюнетка.

Джессика Мальхерб, идя к двери, улыбнулась Джойс и сказала:

— На вашем месте я бы ее оставила.

— Да, конечно, спасибо,— услышала она собственный голос, показавшийся совсем чужим.

На улице они чуть-чуть задержались, пока решали, кто с кем и в какой машине поедет. Джойс очутилась на заднем сиденье машины, в которой рядом с шофером сидела Джессика Мальхерб. Вместе с ней села худая мужеподобная женщина и коротышка Шабалала, но кто-то энергичным помахиванием руки зазывал его к себе. Он вышел, но тут же вернулся, успев вскочить в машину уже на ходу. Он был единственным, кто, кажется, волновался, сидел прямо, положив руки на колени. Широко улыбнувшись, Шабалала сказал:

— Ну, вот теперь вы действительно едете с нами, мисс Маккой.

Кортеж миновал Фордсбург и стал удаляться от города. Затем они выбрались на одну из основных магистралей, связывающих золотые прииски Уитвотерсрэнда с Иоганнесбургом, проехали мимо бледно-серых и желтых отвалов шахтной породы, мимо кучки опрятно-уродливых домиков для белых рабочих, мимо небольших клочков вельда, где в низинах слабо поблескивала трава, смоченная прошедшим накануне дождем, мимо кирпичного завода, литейного цеха, мимо небольшой птицефермы. Наконец, свернули на проселочную дорогу и пристроились к туземному автобусу, который совсем осел под тяжестью пассажиров. Из выхлопной трубы автобуса шел густой черный дым, парусиновые занавески на окнах раскачивались из стороны в сторону. Продребезжав, автобус проскочил в ворота локации, три легковые машины остановились.

Джессика Мальхерб вышла первой и встала. Потирая пальцы на левой руке, она деловито заговорила с Роем Уилсоном:

— Конечно, никаких заявлений в газеты, пока они сами не попросят.

— Вон машины прессы,— торопливо выпалил Шабалала.— Вон там.

— Похоже, это Брэнд из «Пост».

— Нет, это не может быть Дик Брэнд, его ведь перевели в Блюмфонтейн,— сказала высокая мужеподобная женщина.

— Идите сюда, мисс Маккой, идите, моя девочка,— позвал Шабалала, поправляя галстук и подергивая плечами, на всякий случай, если будут фотографировать.

Девушка послушно вышла вперед. Но фоторепортер протестующе замахал блицем.

— Нет, нет, вы мне нужны в движении.

— Лучше уж сфотографируйте нас здесь, пока мы не вошли в ворота, а то как бы и вам не оказаться за решеткой,— равнодушно сказала Джессика Мальхерб.— Вы только взгляните на это,— продолжала она, обращаясь к мужеподобной женщине, и приподняла ногу, показывая, как выпачкался в грязи каблук ее белой туфли.

Легерсдорпская локация, к воротам которой они сейчас подходили и о которой Джойс Маккой прежде не имела никакого представления, была весьма схожей с другими подобными поселениями. Высокий из колючей проволоки забор — существовавший скорее символически, поскольку, за исключением небольшого пролета у ворот, в нем повсюду имелись удобные проходы — огораживал почти квадратную милю с разместившимся на ней небольшим мрачным поселением, куда приезжали спать африканцы из близлежащего городка. Локацию эту составляли убогие домишки и жалкие лачуги из листового железа, а вблизи ворот, где находилась контора, ее заполняли несколько сносных коттеджей, построенных в виде эксперимента белыми специалистами из строительного управления, но эксперимент так и не получил дальнейшего распространения. В коттеджах жили клерки-африканцы, из числа фаворитов белого управляющего локацией. Лавок здесь почти не было, так как наличие туземных лавок в локации подрывало торговлю городских магазинов белых, зато здесь имелось много церквей, принадлежащих разным сектам. Некоторые были сооружены из глины и жести, другие — неоготические — из кирпича.

Итак, направляясь к воротам, они начали свой путь — семь мужчин и женщин. Джессика Мальхерб и Рой Уилсон шли чуть впереди, Джойс оказалась между Шабалалой и лысым белым мужчиной в толстых очках. Вспышка блица произвела сенсацию, но ненадолго. Два-три подростка, игравшие на обочине дороги с железными обручами, остановились в изумлении. Толстая туземка, продававшая апельсины и жареные маисовые лепешки, нарочито громко крикнула что-то прохожему в обтрепанных брюках. У ворот на ящике из-под мыла сидел, разговаривая, грузный черный полицейский. Он приложил руку к фуражке, когда они подошли.

Оцепенение, наступившее в душе Джойс Маккой после нервного криза, начало уступать место какому-то тихому смятению. Еще ребенком, видя, как несколько членов Армии спасения где-нибудь на углу улицы нестройными голосами распевают гимны, ей частенько хотелось узнать, что бы она почувствовала, окажись в их компании. Теперь ей казалось, будто она это узнала. Маленький Шабалала провел пальцем за воротом рубашки, и с внезапным приливом сердечной теплоты девушка подумала: «Вот и он испытывает те же чув-

ства, что и я». Она не догадывалась, чем заняты его мысли, а думал он сейчас о том, о чем поклялся не думать во время этой акции, а именно, что сегодняшний поход вернее всего будет стоить ему работы. Никто не хотел держать у себя африканцев, «устраивающих беспорядки». Жена, необычайно гордившаяся его образованностью и умом, узнав о его намерениях, просто молча ушла на кухню, сделав вид, что ей все понятно.

Но в конечном счете Шабалала, точно так же, как и Джойс — хотя они и не осознавали этого,— остался верен самому себе. Что касается Шабалалы, то с его стороны это было смелым поступком, хотя он и выглядел забавным маленьким коротышкой. Как только, пройдя ворота, они вышли на дорогу, он спросил у Джойс:

— Перевалили?

— Простите, как вы сказали? — вежливо и заговорщически переспросила она.

Ватага ободранных ребятишек, с глазами, горящими от цепкой нищеты — а она, по мнению западных представителей, чаще ассоциируется со странами Востока, чем Африки,— прыгала и кружилась вокруг белых участников похода, принимая их, очевидно, за членов какого-нибудь комитета, прибывших провести соревнование за самый чистый дом или самого ухоженного младенца.

— Пенни, миссус, пенни, пенни, баас! — пронзительно вопили они.

Шабалала в шутку что-то грозно прорычал на их языке и лишь потом с восхитительной улыбкой, широкой, как ломоть дыни, повторил Джойс:

— Перевалили за цветной барьер.

Кроме ребятишек, один за другим отставших от группы, словно летучие рыбы за кормой, никто больше не обратил особого внимания на участников марша неповиновения. Африканки с тюками на головах, в которых лежали купленные в городе продукты или взятое в стирку у белых белье, почти не замечали их. Африканцы, проезжавшие мимо на велосипедах, были заняты своими собственными мыслями. Но едва группа поравнялась с административными строениями — они были сооружены из красного кирпича и вместе с экспериментальными домиками у ворот и соседней с ними лечебницей являлись единственными европейского типа постройками во всей локации,— к ним подошел средних лет белый мужчина в залощенном на локтях и сзади костюме (его слегка ссутулившаяся фигура, казалось, передавала очертания кресла и стола в его конторе) и преградил путь Джессике Мальхерб.

Группа послушно остановилась. Во всем облике участников марша чувствовалось спокойное упорство. Белый, оказавшийся управляющим локацией, очевидно, знал Джессику Мальхерб и сейчас испытывал неловкость от того, что ему пришлось столкнуться с ней как официальному, а не частному лицу.

— Вы понимаете, что я обязан предупредить вас о запрещении европейцам входить в Легерсдорпскую локацию,— сказал он.

В левой руке у него, как заметила девушка, были очки, он их покручивал за одну дужку, словно, ожидая прибытия группы и нервничая, выскочил из своего кабинета в последний момент.

Джессика Мальхерб улыбнулась, и в этой ее улыбке почувствовалась какая-то снисходительность и откровенное желание позабавиться, с каким буры избегают помпезности.

— Добрый день, мистер Дугал,— сказала она.— Да, конечно, мы понимаем, что вам следует сделать официальное предупреждение. Как вы думаете, далеко ли нам удастся пройти?

Напряжение на лице управляющего сошло. Он пожал плечами и ответил:

— Они вас ждут.

И тут до сознания этой девушки, Джойс Маккой, дошло все значение фразы — она почувствовала всем своим существом, что подразумевалось под этим «они вас ждут». Опрятные, стереотипные физиономии клерков-африканцев появились в окнах административных контор. Когда группа подошла к лечебнице, выглянул врач-европеец в белом халате. Две белые медицинские сестры и одна африканка вышли на веранду. Все пациентки-африканки, сидевшие на солнышке возле лечебницы, кормя грудью своих младенцев, и болтавшие между собой, умолкли, пока группа проходила мимо — они умолкли, и в их взглядах было что-то схожее со взглядом старой индианки, сидевшей в ожидании там, в Фордсбурге.

Они шли дальше вверх по улице, и по обе ее стороны во всех лачугах с самодельными верандами, приткнутыми сбоку, в сторону узких вытоптанных голых полосок земли, служивших проходами, и во всех хижинах, куда входили, минуя крохотные, в один-два фута, огороженные палисадники, в которых копошились куры и дозревали тыквы, двери были открыты настежь. В них стояли мужчины и женщины, окруженные детьми, как в предчувствии бури.

А между тем солнце нещадно обжигало головы медленно двигавшихся людей. Они шествовали в полном молчании, наблюдавшие за ними тоже молчали или переговаривались шепотом, склонив голову к собеседнику, но не спуская глаз с демонстрантов. Кто-то захохотал, но это оказался пьяный, худой и сморщенный старик, возвращавшийся из пивнушки. Впереди, на перекрестке стояла полицейская машина — черная машина,— вскинув в небо антенну, будто занеся над несчастной улицей поблескивающую плеть. Задние дверцы машины открылись, вышли два дюжих полицейских в щеголеватой форме, захлопнули за собой дверцы, затем медленно, не торопясь направились к демонстрантам. Поравнявшись, один, будто вспомнив, сказал:

— А, добрый день.

Но второй, прервав его, казенным голосом произнес:

— Вы арестованы за противозаконное вторжение в Легерсдорпскую локацию. Назовите нам свои фамилии...

Джойс стояла, ожидая своей очереди, сердце ее билось медленно и ровно. Она снова подумала, как уже тогда, на той вечеринке (сколько же с тех пор прошло времени?): «Я ничего такого не чувствую. Все в порядке. Я ничего не чувствую».

Но когда полицейский приблизился к ней и она, по буквам назвав свое имя и фамилию, оглянулась вокруг, то увидела лица стоявших поблизости африканцев. Двое мужчин, маленький мальчик и женщина, одетые в разношерстные европейские обноски, болтавшиеся на них как раскинутые на кустах тряпки, во все глаза смотрели на нее. Взгляды их встретились, и она вдруг почувствовала не безразличие, а именно то, что чувствовали они, глядя на нее, эту белую девушку, которую заставили подчиниться — непостижимо для них, привыкших к подчинению,— воле белых людей, тех людей, которые дарują или отнимают жизнь, гноят в тюрьмах или выпускают на волю, дают пищу или морят голодом, как сам господь бог.

# ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ

## *Из книги «Большие числа» (1976)*

*Перевод с польского АСАРА ЭППЕЛЯ*

### *Лотова жена*

Я оглянулась, говорят, из любопытства.
Но кроме любопытства возможны и еще причины.
Пожалела о серебряной миске.
По случайности — завязывая ремешок сандалии.
Оттого, что надоело глядеть в праведную спину
супруга моего, Лота.
От внезапного ощущения, что, умри я,
он даже не остановится.
Из-за ослушания прислужников.
Прислушиваясь к погоне.
Удивленная тишиной, в надежде, что Господь раздумал.
Две наши дочери уже скрылись за перевалом.
Я ощутила старость. Отчужденье.
Тщету скитаний. Сонливость.
Я оглянулась, положив котомку наземь.
Оглянулась, не зная, куда идти.
На тропе моей возникли змеи,
пауки, полевые мыши и птенцы сычей.
Уже — ни доброе, ни злое — просто все живое
ползло и скакало в страшной панике.
Я оглянулась от одиночества.
От стыда, что потихоньку сбегáю.
От желания завопить, вернуться.
Или тогда, когда рванувшийся ветер
разметал мои волосы и задрал платье.
Мне показалось, что это видят со стен Содома
и громко хохочут, раз и еще раз.
Я оглянулась во гневе.
Чтобы утешиться их страшной бедой.
Я оглянулась по всем приведенным выше причинам.
Вопреки желанию.
Просто камень поворотился, рыча подо мной.
Просто расселина отрезала дорогу.

По ее краю прохаживался хомячок на задних лапках.
И оба мы поглядели вспять.
Нет. Я бежала дальше,
ползла и взбегала,
покамест тьма не пала с небес,
а с ней — горячие камни и мертвые птицы.
Из-за сбившегося дыхания я не раз оборачивалась.
Со стороны, верно, казалось, будто я приплясываю.
Не исключено, что глаза мои были открыты.
Возможно, я упала лицом в сторону города.

## *Виденное сверху*

На тропке тихо мертвый жук лежит.
Три пары ножек на брюшке сложил он чинно.
Вместо хаоса смерти — порядок и опрятность.
Ужас этого зрелища весьма умерен,
регион четко очерчен от пырея до мяты.
Печаль не овладевает.
Небо голубое.

Для нашего спокойствия смертью поскромнее
не умирают — околевают животные,
теряя — хочется верить — меньше бытия и чувств,
покидая — такое впечатление — менее трагичную сцену.
Их укромные души нас по ночам не пугают,
уважают дистанцию,
знают дисциплину.

И вот он на тропинке, мертвый жук,
отсвечивает на солнышке в неплачевном виде.
Тут, что увидишь, про то и подумаешь:
полное впечатление, что ничего серьезного.
Ибо серьезное связано только с нами.
Только нашей жизни придана наша смерть,
и вынуждаемым она славна приоритетом.

## *Средневековая миниатюра*

По зеленейшему склону,
кавалькадейшим строем,
в наишелковейшем платье.

В замок о семи башнях,
где каждая выше прочих.

Впереди осударь сам,
наильстивейше непузатый,
осударыня при супруге,
молода собой, молоде́нька.

Следом придворные дамы,
писаные, ей-богу,
и паж наиотроковейший.
А на плече у пажа-то
сверхобезьянье будто
с наипотешнейшей рожей
и хвосточком.

Тут и рыцари за ними,
всяк двоится и троится,
где один с победным видом,
тут другой с самодовольным.
А под кем скакун буланый,
то буланейший, судáри,
и все копытцами вроде касаясь
придорожнейших цветочков.

Кто же грустный да усталый,
с драным локтем, косоглазый —
того очевиднейше нет.

Ни тебе проблемы вовсе
горожанской иль холопской
под наилазурнейшим небом.

Даже виселички малой
соколинейшему оку,
и ничто не отбрасывает тени сомненья.

Этак вот пречудно едут
в расфеодальнейшем реализме.

Он же, что ни говори, соблюдал пропорции:
ад для них уготавливал на другой картинке.
Это же так понятно
архисамо собой.

## *Похвальное слово сестре*

Моя сестра не пишет стихов
и уже, вероятно, не начнет писать стихи.
Она в мать, которая не писала стихов,
и в отца, который тоже не писал стихов.
Под кровом моей сестры я ощущаю себя в безопасности:
муж моей сестры ни за что на свете не стал бы писать стихов.
И хотя это выглядит как произведение Адама Мацедонского[1],
никто из родственников тоже не занимается сочинением стихов.

Ни в шкафах моей сестры нету старых стихов,
ни в сумочке, написанных недавно.
А когда сестра приглашает на обед,
я знаю, она не собирается читать мне стихи.
Ее супы прекрасны непреднамеренно,
а кофе не проливается на рукописи.

[1] Современный польский поэт.

Во многих семьях никто не пишет стихов,
но уж если — разве что кто-нибудь один.
Иногда поэзия обрушивается водопадами поколений,
что создает ужасающие водовороты во взаимных чувствах.

Моя сестра неплохо практикует разговорную прозу,
а все ее писательство — открытки из отпуска
с текстом, обещающим всегда одно и то же:
мол, когда вернется,
то все,
все,
все расскажет.

## *Жизнь здесь и немедля*

Жизнь здесь и немедля.
Спектакль без репетиций.
Тело без примерки.
Голова без раздумья.

Не знаю роли, которую играю,
Знаю, что моя, и ничья больше.

Сюжет приходится угадывать по ходу представленья.

Слабо подготовленная к привилегии жизни.
с трудом выношу навязанный темп.
Не любя импровизаций, импровизирую.
Что ни шаг спотыкаюсь о незнанье предмета.
Мое бытованье отдает захолустьем.
Инстинкты — сплошная любительщина.
Дрожь в поджилках, извиняя меня, тем самым унижает.
Смягчающие обстоятельства по ощущению беспощадны.

Не взять обратно ни слов, ни жестов,
не досчитаны звезды,
характер, как плащ, застегиваемый на бегу,—
вот печальные последствия упомянутой внезапности.

Хоть бы одну среду прорепетировать заранее,
хоть бы один четверг повторить еще разок!
А тут, пожалте вам, пятница с непредвиденным сценарием.
Ну можно ли так — спрашиваю
(хриплым голосом,
потому что за кулисами не успеваю откашляться).

Иллюзорна мысль, что это поверхностный экзамен,
сдаваемый во временном помещении. Нет.
Декорации куда как основательны.
Поразительна тщательность реквизита.
Поворотный механизм налажен очень-очень давно.
Включены даже самые дальние туманности.
Ох, наверняка это — премьера.
И — что́ бы я ни совершила —
навечно превратится в то, что́ совершила.

■

# ЖАН ЖУБЕР

# *Человек среди песков*

РОМАН

*Перевод с французского Г. ЕРОФЕЕВОЙ*

Низкий песчаный берег, сплошь заросший колючим, сухим тамариском. Полоска земли между морем и болотами настолько узка, что кажется, ей не выдержать страшного напора морских бурь. Я видел иногда зимой, когда дни становятся совсем короткими, а ночи — долгими, как волны вторгались в проходы между дюнами, прорывались на шоссе и вода разливалась по лугам, добрасывая до них хлопья пены и черные водоросли. Но, как ни странно, эта полоска земли выдерживает все. Морской песок, водоросли и тростник укрепляют ее, и с каждым годом она становится чуть шире, так что старики теперь сплевывают на землю там, где ребятишками они ловили угрей или лобанов.

Мне нравится жить здесь, на берегу, где год за годом я наблюдаю глухую битву двух титанов и знаю, что никто никогда не увидит исхода этой битвы, ибо земля и вода будут все так же сражаться в каком-то тайном сговоре, которому быстро наступил бы конец, если бы в дело вмешался человек. Кстати, как видите, жизнь в таких пустынных местах развивает склонность к рассуждениям и с возрастом обретаешь мудрость.

Мой дом притаился за полосой дюн, надежно охраняющих его от моря. С севера сосновая рощица и кустарник защищают его от ветра, который дует с гор, пролетая над лагунами. Одна огромная крыша покрывает все: и жилой дом, и амбар, и коровник с конюшней, которыми уже никто не пользуется. Мое жилище состоит из кухни, спальни и прилегающей к ней большой комнаты, она служит мне и библиотекой, здесь я наконец-то собрал все свои разбросанные книги.

Хозяйство мое ведет одна старуха. Она приходит каждое утро по песчаной дороге с фермы, расположенной на берегу лагуны. У старухи черное платье, черные глаза и желтоватый малярийный цвет лица. Из-за ее глухоты мне приходится повышать голос, и мы кричим друг другу через кухню, как моряки, ведущие перекличку с разных судов. Скрипучим голосом она говорит о погоде, о ветре, о плохом урожае, о мелких происшествиях в деревне. Однажды она заговорила со мной даже о Каллаже: об огромных развалинах, о порте, наполовину засыпанном песком, о проржавевших машинах.

— Неужели вы там никогда не бывали? А ведь вам было бы интересно, стоит посмотреть.

Я сделал вид, что ничего не знаю и не имею никакого отношения к этой истории.

— Нет, в самом деле стоит. Поезжайте по дороге к лагунам, а потом сверните на шоссе, ведущее к снесенному половодьем мосту. Там вы увидите старую дорогу и брод. Когда погода сухая, проехать легко, но после дождей — трудно. А там уж через двадцать — двадцать пять километров сами увидите. Все это было до войны. Вам, конечно, приходилось слышать о Каллаже?

— Слышал что-то.

— Да, да, это было до войны. Понаехали люди с севера с невероятными проектами. Вы бы только на них поглядели. Они вообразили, что все могут, а кончилось плохо. Ведь край наш надо знать.

И тут она, вопреки обыкновению, принялась хохотать, показывая три пожелтевших зуба, а рукой сделала такой жест, будто собиралась придавить какое-то насекомое.

Я узнал этот жест, я замечал его у дядюшки и друзей Мойры, да и у нее самой однажды, в тот вечер, когда мы впервые заговорили о Каллаже...

— Хорошо,— сказал я,— я съезжу туда до начала дождей.

Помимо старухи я не вижу почти никого, только иногда мне попадаются навстречу рыбаки или пастухи, они гонят свои стада через тростниковые заросли, криками подражая ночным птицам. Я провожу целые дни в библиотеке, где, примостившись у окна, читаю или пишу. По временам я поднимаю голову и сквозь просветы между дюнами вижу море: то синее, то лиловое, то серое — в зависимости от времени и погоды. Когда налетает ураган, ветер с моря доносит водяную пыль и песок стучит в окно, подобно мошкаре,— ветры и песок, которые сыграли немалую роль в крушении наших замыслов.

Я часто брожу по берегу моря, но всегда в сторону запада, в направлении, противоположном Каллажу. Мне попадаются только рыбацкие хижины, сооруженные из просмоленной парусины и тростника, затонувшие лодки да большие рыжие рыболовные сети, которые сушатся на сваях. Вокруг хижин полным-полно горланящей оборванной ребятни. В смуглых мужчинах и женщинах жгучей красоты легко угадываются жители юга. По вечерам они разводят костры, и запах рыбы вперемешку с дымом распространяется по берегу. А там дальше — маяк; он расположился на небольшом заброшенном форте, построенном в XVII веке, в ту пору, когда королевские власти опасались пиратских набегов и долгие десятилетия пытались противостоять им, не добившись, впрочем, особого успеха. Малочисленные гарнизоны трепала лихорадка, а бывшие разбойники вступали в сговор с местным населением, издавна враждебным центральной власти. Они перестали грабить его и платили ему за продовольствие и услуги золотом, похищенным на парусных судах. Именно этому сговору и пылкому темпераменту женщин, не слишком скупившихся на ласки, здешнее население обязано своей темной кожей, худыми лицами и неудержимым стремлением к независимости. Их дотоле буйная и ленивая дикость обрела новую силу и целенаправленность. Летописцы той эпохи пишут об участии местных жителей, в том числе и женщин, в небольших отрядах, которые устраивали засады и поднимались на приступы слабых бастионов. Сообщая о подобных фактах, историк Юга Лепренс-Ларди несколько пристрастен в описании роли этих амазонок и их «исключительной красоты». Он сообщает даже историю — правда оговорив ее возможную недостоверность,— как одна из них собственноручно оскопила какого-то солдафона.

Мне же, по правде сказать, хочется верить, что так оно и было, ибо в этой истории я вижу отражение гордого и непримиримого духа жителей здешних краев. Впрочем, в последующие столетия правительство после безуспешных попыток отказалось от борьбы, из которой оно выходило, лишь обломав себе зубы. Оно наблюдало, старалось прекратить перестрелки, а затем отступало. По временам все еще вспыхивали возмущения против префектов или налоговых сборщиков республики, но эти возмущения никогда не приводили к расколу. Наконец, между противными сторонами установилась дистанция, носившая чисто географический характер. К тому же настоящие и будущие надежды связывались с богатыми равнинами Севера. И о Юге забыли — он дал себя забыть: он целиком замкнулся в собственных пределах и, охраняемый плохими дорогами, мошкарой и худой славой, понемногу внушил окружающим, будто впал в спячку. Но бывают такие занозы: стоит совершить неосторожный шаг — и они причиняют боль. Этим шагом и оказался Каллаж.

Когда я брожу вдоль стен маленького порта, мне невольно вспоминаются страницы «Истории Юга», которую я читал в ту пору, когда мы строили Каллаж. Я читал этот труд несколько раз и всегда поразному: первый раз с любопытством, второй — с большим интересом, а потом уже, когда познакомился с Мойрой и ее друзьями, со смешанным чувством восхищения и беспокойства. Для тех, кто умел видеть, в этой книге было все.

Стоит миновать маяк, и вдалеке уже начинают мерцать огоньки деревни. Солнце садится за дюны. Я поворачиваю назад и плетусь следом за своей тенью, вытянувшейся далеко вперед по песку. После подобных прогулок ощущаешь на губах привкус соли и ветра, кровь бурно стучит в висках и начинаешь о чем-то мечтать. Я подбираю несколько ракушек, небольшие камешки или вымытые добела гладкие корни, которые превращаются на полках моей библиотеки в грифов да Винчи, в Энея, несущего своего отца, в птицу-феникс или мандрагору. Иногда я говорю вслух: читаю какую-то поэму, знакомую с детства, повторяю слова, услышанные когда-то от Симона, Элизабет или Софи, твержу незамысловатое имя — Мойра. А иной раз — что-то услышанное совсем недавно, как, например, слова старухи: «...стоит посмотреть... в самом деле стоит...»

Однажды вечером, когда я возвращался домой, воздух был так чист, а небо так прозрачно, что мне показалось, будто я вижу вдалеке на горизонте пирамиды Каллажа. Но спускались сумерки, на землю ложились тени, и реальный город — или просто мираж — исчез.

Сидя перед камином, я с наслаждением ем рис, рыбу, козий сыр, а иногда кусок бычьего мяса — его мне приносит старуха, и я жарю его на углях. Здешнее вино, «вино песков», темное и крепкое. От него на душе становится легче. Закончив трапезу, я выхожу на порог дома, допиваю последний стаканчик, вдыхая ночные запахи моря.

Потом закрываю дверь на засов и иду в свою библиотеку; до десяти вечера я пишу и читаю. И наконец ложусь спать. Сплю я непробудным сном, с приоткрытыми ставнями, и просыпаюсь на заре.

Я у п о р я д о ч и л свою жизнь. С меня хватит разных историй.

Однако история, прошлое — это кошмар, от которого нелегко избавиться. Точнее сказать, не избавишься никогда.

Вчера сразу после полудня в голове у меня завертелись слова старухи. Со мной так бывает: какая-нибудь навязчивая мысль завладеет мной — и конец. Меня тянуло в Каллаж; то не был зов человека — все действующие лица либо умерли, либо рассея-

лись по белу свету,— звало то, что довольно туманно называют притягательной силой знакомых мест. В этот ветреный день после полудня я ощутил ее неудержимость.

Я сел в машину. Я не раздумывая отправился по извилистому пути, который ведет через болота и так петляет в тростниках, что кажется, будто он никуда не ведет. Но я все же выбрался на шоссе, которое тут же узнал: это был главный подъезд к Каллажу. Симону хотелось, чтобы дорога была красивой, широкой, окаймленной симметрично расположенными тополями. Некоторые деревья погибли, другие были срублены (мне тут же стало ясно, откуда взялись сваи, на которые натягивали на берегу сети), никогда не подрезавшиеся кроны беспорядочно торчали во все стороны. Да и само шоссе, с тех пор как его забросили, сильно пострадало. Наносы песка на различных его участках вынуждают ехать в объезд по плохой дороге. Большие полотнища гудрона, размытые водой, провалились, словно после землетрясения. Иногда кажется, будто шоссе исчезает под покровом засохшего или растрескавшегося от жары ила.

В месте, прозванном Пучина, мост действительно рухнул. Перекинуть его через эту маленькую речушку, славящуюся своими неожиданными и бурными разливами, было задачей нелегкой, и Симон, я помню, гордился своим решением. Я знал, что дорога не отличается прочностью и что ее придется постоянно поддерживать — но чтобы она дошла до такого полного упадка!.. Приблизившись к пилону моста, я понял, что не следует подвергать сомнению талант Симона. Здесь бесспорно оставила свой разрушительный след хорошая доза взрывчатки.

Примерно в ста метрах за мостом, вверх по течению реки, был по-прежнему виден брод. По его огромным камням, сохранившимся со времен римлян, я благополучно пересек поток, который, впрочем, в это время года выглядит невинным ручейком; было трудно поверить, что в период осенних дождей он за несколько часов способен подняться на три метра.

На противоположном берегу начинается территория Каллажа, и так как машина теперь пошла по дороге без особых препятствий, то вскоре я увидел в просвете между дюнами возникшие вдалеке синеватые силуэты пирамид. Остановив машину, я впился взором в это видение, казавшееся в песчаной дымке почти призрачным. Волнение, сдавившее мне грудь, заставило меня понять, почему долгие месяцы я откладывал эту поездку. Надо было подготовиться к ней в тишине, вдали от людей. И теперь всю эту бесконечную зиму и это долгое терпеливое ожидание я воспринял как прелюдию к тому испытанию, через которое мне предстояло пройти. Прошлое, воспоминания о котором я так долго отгонял, вдруг нахлынуло на меня с неудержимой силой. Я почувствовал, что моя жизнь, подобно тончайшему механизму, для которого опасно любое резкое движение, начала ощутимо разлаживаться.

В нескольких километрах от Каллажа я наткнулся на груду валежника. Молодой лесок был повержен смерчем, и деревья полегли, подобно пшенице, по которой прополз тяжелый зверь. Пробраться дальше можно было лишь пешком. Поэтому мне пришлось оставить свою машину, вернее, по старой привычке надежно заперев дверцы, спрятать ее в кустарнике.

Как это обычно бывает, в это время дня поднялся ветер; он со свистом пронизывал сплетенные ветви, сквозь которые я медленно прокладывал себе путь; казалось, мне не добраться до своей цели раньше вечера.

И в самом деле, солнце уже клонилось к горизонту, когда, преодолев последнюю дюну, я внезапно вышел к порту, точнее, к тому, что от него осталось, так как длинные гряды песка засыпали пирсы, причалы и обвели окружьями прогнившие, разваливающиеся парусники, в которых плавали лягушки. Крыши складов были сорваны, и там, открытые порывам морского ветра, стояли увязшие в песке огромные машины, которыми мы когда-то так гордились: тракторы, бульдозеры, скреперы и подъемные краны. Все они, некогда одинаково выкрашенные в ярко-оранжевый цвет, теперь покрылись грязно-желтым налетом ржавчины, и под ногтем от разъеденного солью железа отделялись чешуйки металла. А пирамиды выстояли, и портовые сооружения на другом моле казались почти нетронутыми. И все же огромная гора песка, на которой ветер оставил свой причудливый узор, покрыла террасы нижних этажей и прорвалась сквозь разбитые стекла и сломанные двери,— казалось, будто сам пляж, оторвавшись от моря, ринулся на штурм зданий. Около незаконченной пирамиды медленно вращался забытый здесь колоссальный кран. Церковь занесло песком по самую крышу.

Я подошел ближе. Над лагуной с криком носились чайки. С террасы к небу поднимался дым, и мне послышались какие-то голоса. А когда наступила темнота, на балконах, как перед входом в пещеры, стали постепенно разгораться костры: один, другой, третий... На гребне дюны появился ребенок и, увидев меня, убежал. Выглянули какие-то люди, смуглые, лохматые. До меня донеслась цыганская речь. Костры разгорались все выше, освещая на фоне сумеречного неба фасады зданий и огромные ступенчатые лестницы пирамид.

И тут я услышал, как над моей головой просвистело несколько камней. Повернув назад, я пустился наутек, стараясь по возможности сохранять свое достоинство. Я знал, что цыгане не слишком воинственны и самое страшное, что мне может угрожать,— лишь несколько синяков. Но мне вовсе не хотелось, чтобы этот разбередивший мою душу день закончился столь нелепо; поэтому я сбавил шаг, лишь добравшись до поворота улицы.

Каллаж не слишком ласково встречал своих строителей! Хотя на небе взошла луна, я не раз сбивался с пути. Я вернулся домой поздно ночью, ощупью пробираясь во тьме, совершенно обессиленный.

Мне было тридцать лет, когда я встретил Симона Дурбена. Это произошло как раз в то время, когда в столице все разговоры только и вертелись вокруг строительства Каллажа. И все газеты трубили только об этом. Не было ни одного светского вечера, где бы не сталкивались противники и сторонники проекта. «История Юга» Лепренса-Ларди, которая за двадцать лет не разошлась тиражом даже в тысячу экземпляров, была тогда переиздана и пользовалась большим спросом у читателей.

Речь шла о том, чтобы воздвигнуть на обширной, дотоле заброшенной территории, изобилующей мошкарой, где лишь изредка встречались рыбаки и скотоводы, город, который служил бы одновременно и морским портом, а вместо плохоньких проселочных дорог построить большое шоссе, соединяющее этот район с центральной частью страны и столицей. Я знал, как талантлив и настойчив был автор проекта Симон Дурбен и какую трудную борьбу с различными министерствами пришлось ему вынести в течение ряда лет из-за этого строительства. Однако новый президент отнесся одо-

брительно к его проекту и, более того, проявил к нему большой интерес, быть может узрев в этом возможность оставить свое имя в анналах истории. Поговаривали также, что увлечение проектом в известной мере объяснялось тесными связями президента с крупной банковской корпорацией. Предполагалось, что в этих местах имеются залежи бокситов, меди и нефти и что стоит правительству проявить инициативу, как в дело включатся также крупные частные компании. Кстати, об этом в печати не упоминали ни слова, но зато вовсю трубили о филантропических целях проекта. Против проекта яростно выступала лишь одна оппозиционная газетенка, но ее читало не более пятисот человек. Короче говоря, Дурбену предоставили широкие возможности, и я был достаточно хорошо наслышан о нем, чтобы представить себе, какую бешеную деятельность он развернет.

Узнав, что заместитель Дурбена по административным делам подвел его, отказавшись от места в последний момент, и что Дурбен срочно ищет кого-нибудь на эту должность, я предложил свою кандидатуру. Я закончил с отличием Высшую административную школу, предлагаемая работа была мне интересна, кроме того, сама личность архитектора, его талант, легенды, которые о нем распространялись,— все это вызывало у меня желание поработать бок о бок с этим человеком. Признаюсь к тому же, что прошлое оставило в моей душе незалеченные раны и привкус горечи. Мои родители тяжким трудом возделывали небольшой клочок принадлежавшей им земли под Барлу, и, что говорить, у них в карманах не слишком водились деньги. Мне повезло, если хотите, только потому, что я был единственным сыном. Собрав последнее, что нашлось в наличии, мои родители едва-едва смогли наскрести ту необходимую к стипендии прибавку, которая позволила мне отправиться «получать образование». Однако в школе сынки из буржуазных семей, несмотря на свою воспитанность, давали мне время от времени понять, что мы сделаны из разного теста. Не исключено, что я слишком болезненно воспринимал такого рода вещи. Как бы там ни было, эти молодые волкодавы обладали острыми клыками. Они быстро расхватали богатых наследниц и — используя родственные связи, давление или свои миллионы — крупные государственные посты. Я же тем временем читал Гомера и был влюблен в машинистку. Разве мой деревенский школьный учитель не внушал мне постоянно, что надо знать свое место в жизни, что человек из народа должен оставаться среди народа, что народ исполнен добродетелей и что в жизни нет ничего благороднее, чем бескорыстие, бедность и самоотверженность? Да и в устах моего отца слово «честолюбец» означало «подлец». Как видите, во мне были воспитаны такие качества, что охота на оленя в частных владениях сиятельных господ мне не угрожала. Пока мои однокурсники управляли заводами, железными дорогами и целыми провинциями и разъезжали в «роллс-ройсах», я надрывался, чтобы создать культурный центр на далекой окраине столицы. Я был не глупее других, но меня оставлял равнодушным запах денег и славы. Короче говоря, по ходившему тогда модному выражению, я «не попал в струю».

Мои дела усложнялись еще и тем, что я пережил неудачную любовь, что мне уже исполнилось тридцать и нервы мои были расшатаны до предела. Я не мог более переносить парад сытости и тщеславия. Здесь наш век начал смердить. Но я знал, что Дурбен был человеком иной породы; о нем говорили по-разному: вдохновенный художник, безумец, гений, маньяк и даже — святой. В любом случае не чета этим ничтожным технократишкам — а их тысячи,— которые буквально рыли носом землю.

Я отправил данные о себе на конкурс и ждал ответа с бьющимся сердцем — как ждут свиданья с женщиной.

Ответ пришел через три дня. Срок совсем небольшой, ибо в подобных случаях ожидание иногда превращают в пытку. Но я сгорал от нетерпения, и мне эти три дня показались вечностью. На мою кандидатуру «обратили внимание» и меня хотели видеть. Я тщательно побрился, надел белую рубашку и галстук.

Управление Дурбена находилось неподалеку от Национального парка, я хорошо знал это здание, которое справедливо считалось одним из шедевров этого архитектора. Повсюду царила простота, сила и гармония. Когда я входил в то утро в здание, сердце мое екнуло и легкая дрожь охватила меня, как это обычно случалось, когда я испытывал большое эстетическое наслаждение. Стоя перед флорентийским собором, руинами Дельфов, любуясь поразительными пейзажами Кастилии или каким-либо полотном Пуссена, я чувствую вдруг, как меня охватывает дрожь. Такие же эмоции вызывал у меня и «дом Дурбена», как его запросто называли здесь. В его интерьере не было ни ковровых покрытий, ни хромированной стали, ни зеркал, до которых так жадно наше общество нуворишей, в нем была возрождена красота романских монастырей. И это мне сразу понравилось.

Молодая женщина в белом с изяществом молодой послушницы вышла из бокового притвора.

— Вы, вероятно, господин Феррьер?

— Да.

— Входите, пожалуйста. Господин Дурбен ждет вас.

Я видел его издали на разных приемах, а его фотографии часто встречались в газетах: красивую львиную голову освещали глаза поразительной голубизны.

Он тут же заявил мне:

— Мы собираемся создать нечто грандиозное. Я думал о строительстве Каллажа на протяжении многих лет, и теперь мы приступаем! Вы знаете об этом, конечно?

— Да, знаю.

— Так вот, на протяжении многих лет, и это мне далось нелегко...— Он сделал рукой жест, словно хотел отогнать муху.— Ну, а вы?

И тут, забыв все заготовленные мною заранее осторожные слова, я выложил ему все: и мое желание что-то построить, и мое восхищение его талантом, и как меня с давних пор привлекал к себе Юг, и даже как мне осточертела столица и опротивели светские морды власть имущих.

Он улыбнулся, и в его слегка меланхоличной улыбке угадывалась мысль: «Как вы еще молоды!», но одновременно сквозило благосклонное отношение к моим словам.

— Знаю, знаю,— просто сказал он.

Что он знал? И что хотел этим сказать? Или это было брошено невзначай?

— Вы как-то работали с моим приятелем Жарделем. Я разговаривал с ним, он вас знает и питает к вам глубокое уважение. Для меня этого вполне достаточно.

Он знал обо мне почти все досконально и говорил со мной о моей прошлой работе, как будто она его интересовала с давних пор.

Вглядываясь в его голубые глаза, я думал о том, каким умом и обаянием он обладает, мне казалось также, что ко мне он относится с симпатией.

— Пойдемте! — произнес он, встав из-за стола.

Он шел передо мной по коридору, который спускался вниз под землю, поворачивал за угол и терялся в темноте. Дурбен толкнул какую-то дверь, зажегся лиловатый свет. В центре сводчатого зала, напоминавшего крипту овальной формы, возвышался гипсовый макет города. Рука Симона Дурбена парила над макетом, слегка касаясь то изогнутой линии пляжа, то цепи дюн, то озер и леса, а затем останавливалась над тем местом, где высилось двенадцать пирамид с едва намеченными террасами, и задерживалась здесь, обводя их углы и линии. Мне хотелось ему сказать о поразившей меня гармонии, соразмерности и простоте, добавив при этом, что такого города никто до сих пор не создавал, что постройка его оправдает любые бешеные затраты, любые разрушения природы и что в нем уже и сейчас чувствуется какая-то особая праздничность. Но я смотрел на макет и молчал. Я чувствовал, что Дурбен глядит на меня в упор, но сумел лишь произнести малозначащее: «Замечательно!»

— Итак, вот что мы будем строить,— сказал Дурбен,— уверен, что мы сумеем сработаться и найдем общий язык. Это — главное. Мы выезжаем на место строительства через три дня.

— Через три дня!

— Да, а что — вас это не устраивает?

— По правде говоря, мне все равно.

— Ну что ж, прекрасно. Итак, мы соберемся здесь в четверг, в восемь утра. Летим самолетом. До скорой встречи.

Мы пожали друг другу руки, и, когда я уже уходил, он окликнул меня и, наклонясь ко мне с заговорщическим видом, как-то по-детски сказал:

— Знаете, это будет рискованное дело!

Я вышел, слегка ошеломленный. Помнится, зима подходила к концу. В парке на каштанах уже появились почки. Я долго бродил по аллеям. Ведь я должен был радоваться, но, как всегда при резких переменах в жизни, мне было как-то не по себе, и я испытывал тревогу. Правильный ли путь я избрал? И вдруг то, что я собирался безжалостно бросить и еще несколько часов назад проклинал, показалось мне не столь уж мрачным, а Каллаж представился невероятной авантюрой, и я почти сожалел о том, что в нее ввязался. Спускались сумерки. Наступал час, когда парк закрывался и сторожа понемногу подгоняли к выходу последних посетителей, время от времени меланхолично посвистывая в свои свистки. Я всматривался в небо, стараясь отгадать, какой будет погода, но увидел лишь, что оно занималось багровым светом над крышами, предвещая ветер; невозможно было сказать, будет ли он для нас попутным.

Ощущение радости охватило меня лишь к вечеру. Я ужинал один в ресторане у подножия крепости, который любил за тишину и за то, что он походил на деревенский, как вдруг почувствовал внезапно всем своим существом какую-то необыкновенную легкость. Там, у Дурбена, я ощущал на своих плечах груз по крайней мере пятидесяти лет. Теперь ко мне снова вернулись молодость, нетерпение и жажда приключений — именно то, чего мне больше всего недоставало и чего, пожалуй, я сам из осторожности избегал. Меня притягивал Юг. В Дурбене я уже видел своего мэтра и — кто знает — быть может, и друга. И все это вместе взятое воодушевляло меня. Еще немного — и я, пожалуй, отправился бы на место строительства тут же.

Без всякой грусти я отметил, что к столице меня уже ничто более не привязывало.

Итак, все поставлено на карту. Ночью мне спалось тревожно, на рассвете я закрыл навсегда двери своей комнаты, сел в такси, которое помчало меня по серым бульварам, пропитанным заводским дымом, где не было никого, кроме дворников и рабочих на велосипедах. Я теперь уже не знал, люблю ли я или ненавижу это небо, с которого сочился мягкий грязный дождь, стекавший по стеклам машины. И этот город, с которым, кажется, я порываю теперь навсегда и в котором осталась частица моей жизни.

— Проклятая погода,— произнес шофер.— Похоже, вот-вот пойдет снег. В природе все смешалось.

— Да, все смешалось. Пора уезжать.

— И далеко вы собрались?

— Да, далековато.

Терпеть не могу летать самолетом. Однако, войдя в зал аэропорта, я увидел Симона, его высокий силуэт, седые виски, счастливое выражение лица. «А, вот и вы, Марк. Итак, начинаем!» От его взгляда и рукопожатия плохое настроение тут же исчезло. «Идите же, я вас представлю!» Я пожимал чьи-то руки: Гуру, Вирё, Мишлье. Вирё и Мишлье мне понравились, но Гуру — нет. Квадратная голова, очки, коротко подстриженные волосы, челюсти волкодава. Я знаю эту породу людей.

— Ну вот, почти все собрались,— сказал Дурбен.— Не хватает только Балана. А вот и он! Ну что ж, пойдемте!

И он повел нас энергично, словно в атаку, к выходу на взлетную полосу, где уже со свистом вертелись пропеллеры.

Закрыли двери, затих шум, и приторный голос стюардессы протяжно произнес какую-то фразу. Самолет побежал по дорожке, набирая скорость.

Пейзаж за окном накренился, накренились деревья, газгольдер, труба завода. Мы ворвались в облака.

Дурбен сел рядом со мной. Поначалу он молчал, и мне казалось, что он меня не замечает. Но вдруг, даже не повернувшись в мою сторону, он спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Ни о чем не сожалеете? Готовы к любому риску?

— Вполне.

— Великолепно. Люблю людей, которые легко порывают с прошлым. Через шесть часов мы будем в Каллаже. Увидите сами.

А пока, оказалось, нам предстояло решить ряд задач практического характера — он вынул из портфеля папки и разложил бумаги на коленях: предварительные расчеты заказов на цемент, на запасные части машин, план работ и прочие дела — все, что было разработано в его мастерской и с чем мне следовало познакомиться. Как далеки мы были от лирических тем! А самолет тем временем пытался пробиться сквозь толстый слой облаков к солнцу. Нас уже несколько раз изрядно тряхануло: мы залетели в грозовую полосу, и дождь хлестал по иллюминаторам. Самолет покачивало. Дурбен, улыбнувшись, сказал: «А жаль, если вдруг разобьемся!» Я понял, что при этом он думал не о нас и не о себе, а прежде всего о Каллаже.

Снова появились голубые проблески, и самолет стал спускаться. Дурбен посмотрел на часы. Дела его больше уже не интересовали. Он убрал папки и прильнул лицом к иллюминатору, за которым постепенно рассеивался туман и проступал пейзаж — поначалу где-то

вдалеке, а потом ближе, отчетливее: сине-сиреневатое небо, берег, где бледная кайма пены набегала на длинную песчаную прибрежную полосу, поток, выбрасывавший в море пенистые, илистые воды, разгоняемые морским течением. Между озерами светлели зеленые полосы, а там далее — значительно более темные, должно быть, леса. «Еще несколько минут,— произнес Дурбен и тут же добавил: — Вон там», указывая мне пальцем туда, где действительно можно было хорошо различить по проложенным дорогам, выровненной поверхности почвы и линиям бараков, что здесь в природу вторглась рука человека.

Но самолет приземлился не там, а направился к местному аэродрому, находившемуся примерно в двадцати километрах от побережья, он постепенно сбавлял высоту, пролетая над пастбищами, низкими побеленными фермами, над табуном белых лошадей, которые, заслышав шум мотора, помчались галопом врассыпную. Зрелище это привлекло мое внимание, и я почувствовал, глядя, как кони устремляются к сосновой роще, а их крупы и гривы словно совершают какой-то диковинный танец, что оно уже затронуло мое сердце, не то что пейзаж с высоты, похожий на географическую карту: такой же плоский и безликий. Должен признаться, однако, что и карты бывают разные и что некоторые из них не лишены своей прелести, когда на них, например, красивым узором проступают реки и озера или кружевная кайма моря. Именно таким было месторасположение Каллажа. И все же я не в состоянии прочувствовать пейзаж до тех пор, пока не окажусь в нем самом, не проникну в его глубь, не вдохну его воздуха. Я, кажется, заговорил об этом почти на языке любви.

Итак, какое-то чувство проснулось во мне, лишь только я увидел этот небольшой разбежавшийся врассыпную табун коней, соломенные крыши и деревья с пышными, густыми, как на гербах, кронами. Чувство это начало разрастаться потом, когда мы на полной скорости мчались к Каллажу в двух машинах военного типа с высокой посадкой, выкрашенных в одинаковый, отчаянно яркий, оранжевый цвет (эти машины ожидали нас на аэродроме, и мы втиснулись в них с немалым трудом).

Мне всегда казалось, что человека связывает с природой какая-то тайная связь, причем с определенным пейзажем, к которому он испытывает более или менее явное тяготение всю свою жизнь. Трудно понять, что он ищет в природе: сопричастности или возможности самовыражения, слияния с нею, а может быть, даже хочет обрести в ней смерть? Я всегда воспринимал природу со страстью, иногда оборачивавшейся для меня опасностью; впрочем, видимо, таким и должно быть отношение к ней поэта. Должен признаться, что в юности я считал себя поэтом, но почему-то все мешало этому призванию развернуться. Допуская известную игру созвучий, я сказал бы, что я стал администратором, подавив в себе литератора. Но последний по-прежнему продолжает жить в глубинах моего сознания и все больше и больше напоминает о себе с недавних пор. Два противоположных качества развивают в человеке известную раздвоенность личности.

Итак, я ехал на высокой оранжевой машине с жесткими рессорами и плохо прикрепленным брезентовым верхом под продувным ветром, рядом же со мной оказался как раз Гуру, который с недовольным видом придерживал одной рукой шляпу на голове, а другой — сжимал у шеи воротник пальто. Взгляд неподвижный. Нем как рыба. У моего соседа не было ни малейшей склонности к романтике. Правда, я вскоре перестал обращать на него внимание, захва-

ченный разворачивавшимся перед нами пейзажем. За сосновыми рощицами, верхушки которых курчавились, точно овечья шерсть, дорога пошла по зарослям шумящего тростника, прорезанного протоками черной воды, где у прогнивших причалов стояли заброшенные лодки. А из глубины болота доносилось щебетание, посвисты и крики несчетного числа невидимых птиц. Запах срезанного тростника, сваленного охапками то там, то сям по берегам, смешивался с запахом ила. Помнится, во мне поднялось тогда одновременно чувство восторга и беспокойства. Да, именно с этой минуты я почувствовал близость к этой природе, ее зов, столь неотступный, что, видимо, я даже вздрогнул, а Гуру, посмотрев на меня краем глаза, спросил:

— Вы замерзли?

— Немного.

— Ну и машина! Надо будет заделать эти щели,— произнес он и вновь замолчал.

В его глазах, несомненно, этот пейзаж ничем не отличался от других: обыкновенная строительная площадка, где он может в свое удовольствие передвигать людей и машины, как на огромной шахматной доске. Вот и все. Его взгляд мог оживиться лишь при виде бульдозера или экскаватора. Уж он-то — в этом я могу поклясться — никогда не писал стихов!

Между тем проселочная дорога вывела нас на большак, куда наши машины вылетели, отбросив на обочины густой шлейф пыли. Перед нами внезапно открылся широкий горизонт, и из лабиринта тростниковых зарослей мы выбрались на равнину наносных почв, где, трудно было понять, земля или вода — зачастую неотличимые друг от друга — породили чахлую растительность какого-то непонятного цвета, то ли окиси меди, то ли винных осадков, то ли запекшейся крови. Все казалось ядовитым и почти нереальным. Вдали, словно пластина металла, блестела поверхность пруда, вдоль которого лежал наш дальнейший путь. Шум мотора почти не нарушил покоя маленьких рачков, копошившихся в прибрежном иле.

Мы добрались, наконец, до полосы дюн, меж которых росли низкие узловатые сосны и недавно посаженные тополя, защищенные от мокрого ветра щитами. Дорога, проходившая по песку, внезапно расширилась, превратилась в своего рода «королевский выезд», и, перевалив через последний гребень дюн, мы с удивлением обнаружили, что она никуда не ведет.

Впрочем, это было не совсем так, ибо она упиралась в тщательно выровненную земляную площадку, которую я заметил еще с самолета. Налево виднелись бараки и парк для машин, выкрашенных в такой же оранжевый цвет, как и наши. Направо, в сосновой рощице,— квадратные домики. А прямо перед нами до горизонта лежало сверкающее море, врезавшееся в берег небольшим заливом.

Да, действительно здесь все уже было подготовлено. И на этом равнинном и голом месте нам предстояло воздвигнуть Каллаж.

Мы вышли из машин. Хотя был еще конец зимы, простиравшийся перед нами песок искрился на солнце, и, подходя к Дурбену, я невольно прикрыл ладонью глаза.

— Что за удивительный край! — сказал я, все еще пребывая во власти чувства, охватившего меня при виде местности позади дюн.

— Да, не правда ли! — подхватил он.

И указал рукой на равнину, которую бороздили какие-то машины на гусеничном ходу,— охваченный страстью к строительству, он видел только эту часть пейзажа.

— Вспомните макет. Мы начнем строить здесь, а затем там, около моря.

И он продолжал говорить, прочерчивая рукой линии и углы, так что казалось, будто он уже видел и ласкал свои пирамиды.

Мы молча слушали его. Вирё стряхивал с плеч песок. Остальные закурили. Затем Гуру решительным шагом направился в сторону машин. Он не мог больше ждать. Я не ошибся, предположив, что они и есть его подлинная страсть.

Итак, здесь мне предстояло жить, и я был рад, что домик, который мне отвели, был прост и красив. Я знал теорию Дурбена относительно эстетики среды и ту поразительную педантичность, с которой он стремился применить ее на практике, даже когда работал и жил на месте временно, как здесь. В нашем поселке и в общежитии рабочих по другую сторону дороги царила гармония. Можно было предположить, что Дурбен при разработке стандартных сборных зданий стремился к тому, чтобы дать в миниатюре представление о том, чем станет его строительство, подобно тому как гениальный художник в эскизе детали предвосхищает красоту своей будущей картины.

У меня были скромно обставленные комнаты со стеклянной раздвижной перегородкой, отделявшей выходящую на море террасу. Несколько сосен отгораживали мой дом от других домов и больших зданий, где разместились наши рабочие кабинеты, клуб и столовая. Я распаковал чемоданы и разложил по полкам свою одежду и книги, вспомнив тут же об иных местах, куда я приезжал когда-то, и о том чувстве ожидания и легкого головокружения, которое охватывало меня, едва я оказывался один в еще чужом мне доме, осваиваясь с его звуками и запахами. В чувстве этом была тайная радость, граничащая с беспокойством, и от страха потерять ее я непроизвольно двигался по комнате, словно хотел утвердиться в правах хозяина.

Долго потом я стоял у окна и смотрел на небо, окрашенное в розовато-лиловые тона заката, отражавшиеся в треугольнике моря, которое проглядывало между дюн. Небо у горизонта постепенно темнело. Поднималась луна, скрытая легким облачком. Я стоял неподвижно у окна, касаясь рукой холодного стекла, и приветствовал свою первую ночь в Каллаже.

Мы собрались на ужин в столовой. Был накрыт большой стол, и мы все разместились вокруг Дурбена. Он сидел, положив руки по обе стороны тарелки, настолько неподвижно, что все разговоры вокруг постепенно смолкли. В наступившей тишине слышался только шум ветра в ветвях соседнего дерева. Я думал, что Дурбен хочет произнести несколько слов, но он продолжал сидеть молча и неподвижно, будто к чему-то готовился, и я подумал — уж не собирается ли он прочесть благодарственную молитву. Мы неотрывно смотрели на него, но он, очевидно, не замечал нас. Наконец лицо его оживилось, руки зашевелились, и на губах заиграла улыбка человека, очнувшегося от приятного сна; наклонившись к своему соседу, он произнес несколько слов, точно продолжая вести приятный разговор.

Открылась дверь, и нам подали вино. Дурбен разлил его сам. Затем мы подняли бокалы и торжественно выпили за рождение Каллажа и успешное осуществление нашего проекта. Потом мы присту-

пили к еде: большой рыбе цвета железа и темному мясу с приятным вкусом дичи.

Прошли многие годы, но и теперь, когда я вспоминаю этот вечер, меня вновь охватывает ощущение тайны. Миновало всего несколько часов с тех пор, как мы перебрались из столицы в этот пустынный дом, зажатый между морем и болотами, и я знал, что в непроницаемой толще ночи он один светится маленькой полосой света. Низко висящие над столом лампы оставляли наши глаза в тени, и издалека можно было подумать, что мы — в масках. Разговор постепенно оживлялся, но голоса людей звучали глухо, как в пещере.

Дурбен говорил мало, пил еще меньше, но все мы слушали его с большим вниманием. Его спокойная, собранная сила передавалась нам, как ток.

Потом снова наступила тишина. Мощный порыв ветра пронесся по крыше, он выкручивал ветви деревьев, стучал по окнам песчаным дождем. Я слышал вдали глухой накат волн, обрушивавшихся с силой на берег.

Дурбен встал.

— Ну что ж, до завтра,— сказал он просто.— Начнем работать в восемь часов утра. Желаю вам всем спокойной ночи.

Выйдя из здания, мы быстро разошлись в разные стороны. Со звездного неба струился лунный свет.

Я с грустью вспоминаю о первых днях в Каллаже: то был счастливый период моей жизни, я смотрел на все вокруг новыми глазами в ожидании той минуты, когда, наконец, прекратится наше безделье и придет в движение вся огромная махина строительных работ. Так шахматист, расставив фигуры на шахматной доске, рассматривает в течение нескольких минут в окно мирный пейзаж, зная, что скоро он поднимет с доски фигуру и тогда начнется увлекательное сражение — что-то вроде приятной прелюдии, разворачивающейся вне времени.

Мартовские дни стояли теплые и солнечные. Меж дюн сверкало море поразительно изумрудного цвета. Ни ветерка, ни звука. Вечером после рабочего дня в кабинете или на еще пустынной строительной площадке я садился на террасе, закрывал глаза и чувствовал на своем лице тепло заходящего солнца.

Мой дом находился рядом с домом Дурбена. Было ли это преднамеренно или чисто случайно? Так или иначе я усматривал в этом благоприятный знак для наших отношений. К тому же Дурбен как-то сам сказал:

— Мы соседи, и я рад этому. Мы сможем видеться с вами в свободное время. Я на это рассчитываю. Вы же сами понимаете, что нам придется жить здесь довольно одиноко.

— Но вы говорили, что к вам приедет жена.

По едва заметной тени, прошедшей по его лицу, я почувствовал, что совершил оплошность, затронув какую-то тайную рану.

— Да,— сказал он,— да, конечно. Через некоторое время, летом... — Затем взгляд его оживился.— И дочь тоже. Мне кажется, ей будет интересно присутствовать при рождении нового города. Да и этот край она должна полюбить. Ей одиннадцать лет. Она замечательная девочка, вот увидите. Правда, наверное, так говорят все отцы.

Над нашими головами тесной стаей пролетели фламинго, развернувшись все разом в едином розовом колыхании.

За сосновым лесом ближе к лагуне расположился рабочий поселок. Кстати, набор рабочей силы оказался для нас одной из сложней-

ших проблем, так как по странной причине наши объявления о найме, развешанные по мэриям этого края, дали весьма слабые результаты: появились лишь небольшие группки боязливых людей, у них бегали глаза, и выглядели они так, словно предали отца и мать. А ведь здешний край был беден и отрезан от остальных районов страны. Правительство предлагало хороший заработок и всевозможные привилегии. Гуру разражался бранью, когда оставался среди своих, но перед рабочими не раскрывался:

— Вам поразительно повезло! Расскажите об этом своим братьям, родственникам, друзьям.

Но те смотрели на него молча, непроницаемым взглядом.

— Честное слово, кто-то настраивает их против нас: местные главари, старики или женщины, уж не знаю даже и кто. Похоже, что до сих пор здесь водятся колдуньи. Нам только того не хватало, чтобы это место оказалось про́клятым!

Были развешаны дополнительные объявления. Обратились негласно к епископу Сартаны, чтобы кюре в своих проповедях замолвил словечко о нашей стройке. Платили даже деревенским сторожам, чтобы они оповещали о ней с барабанным боем. Было много шума — впрочем, мне позже рассказывали, что они не очень-то старались и в результате набрали всего пятьдесят человек, а нам было нужно пятьсот!

Гуру по-прежнему ругал все на свете. Затем ему в голову пришла гениальная мысль. Жители горных районов Юга были действительно бедны, как церковные мыши. Пропитание им обеспечивали лишь козы, каштаны и репа. И при этом женщины там отличались удивительной плодовитостью, они рожали массу детей. Грузовики, отправленные по долинам, вернулись, нагруженные смуглыми людьми с длинными волосами, в кожаных шляпах набекрень. За десять дней поселок заполнился молчаливыми людьми несколько оторопелого вида. Их тут же выбрили, отмыли в душах и одели в оранжевую спецодежду компании. Гуру потирал руки и расхаживал гордо, как полковник. Ему не хватало только щелкать каблуками, когда он отчитывался на ежедневных совещаниях ответственных руководителей.

— Ну, теперь все в порядке, у нас рабочих рук достаточно,— заявил он как-то вечером.

— Отлично,— сказал Дурбен,— поздравляю. Значит, мы можем приступать.

— Когда вам угодно.

— Вначале мы соберем прорабов.

— Прекрасно.

— Получили ли третью землечерпалку?

— Да.

— А машины с цементом?

— Пришли сегодня утром.

— Прекрасно! А что эти горцы, как работают, Гуру?

— Не слишком отесаны, диковаты, но крепки и, как говорят, работают здорово. Их пока стесняет в движениях новая одежда, но попривыкнут!

— Будем надеяться.

Это совещание приобрело на редкость живой характер. Со всех сторон сыпались вопросы и ответы, везде царило необычное возбуждение, проявлявшееся в жестах и взглядах людей, и меня постепенно охватило состояние, похожее на опьянение. Я подумал, что это дуновение нового ветра. После длительных недель подготовки, топтания на месте и зачастую горьких разочарований мы чувствовали себя,

наконец, на пороге больших свершений. Дурбен и сам был взволнован: я ощущал это по его голосу и улыбке.

— Все готово. Завтра соберемся здесь, а послезавтра на рассвете приступим. На заре!

За его словами последовали восторженные возгласы «у-рр-а». Да, в самом деле, кажется, подул попутный ветер.

Кстати, о ветре. На другой день нас ожидал сюрприз. Поднялся ураган. На море появились гребни пены, и над дюнами поползли свинцовые тучи. Сильный ветер с юга поднимал песок облаком. Проснувшись, я услышал, как он стучит по стеклу. Террасу уже покрыла тонкая серая пленка песка, а в маленьком садике до самого фасада нанесло порядочную грядку. Не успел я высунуть нос на улицу, как мне в рот попал песок, и пришлось закрыть лицо воротником пиджака, как это делают туареги в пустыне.

Дурбен был уже в зале и, стоя у окна, вглядывался в этот ураган. Услышав мои шаги, он обернулся.

— А, это вы. Видели, что поднялось? Не везет нам.

— Ну, это не так уж страшно.

— Конечно нет, но не способствует работам. Кстати, когда выравнивали грунт, то вырвали траву, и теперь, естественно, ветер разносит песок. Придется укрепить грунт в ходе строительных работ.

— Что ж, посадим песчаный колосняк и тамариск.

— Хорошо.

Вошли прорабы и, сняв фуражки, стали стряхивать песок с головы и с одежды, словно прошли сквозь снежную пургу.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал Дурбен.— Так вот, нам нужно сегодня создать бригады...

Из-за воя ветра ему приходилось говорить громко.

Во второй половине дня ураган стих, и мы вышли, чтобы разгрести песок около наших домов. И больше уже не вспоминали о буре.

По правде говоря, наши мысли занимало другое. Как только были созданы и укомплектованы бригады и их примерно ознакомили с предстоявшими задачами, строительство, дотоле сводившееся к выравниванию почвы и завершению дорожных работ, внезапно оживилось. Равнина, которую утюжили гусеничные тракторы, тут же заполнилась людьми и машинами. Особенное впечатление производили огромные экскаваторы, и когда я, оторвавшись от своих дел, приходил туда, чтобы проверить на месте поставки материалов, я останавливался на минуту, чтобы взглянуть на них. Высоко в кабине крошечный рабочий, с лицом, закрытым очками,— кожаные перчатки на руках — манипулировал рычагами с удивительной виртуозностью: машина разверзала свою огромную железную пасть и, блеснув на мгновенье на фоне неба, снова с глухим звуком вонзала свои зубы в землю. Она представлялась мне в тот момент крупным зверем, неистово рвущимся кого-то схватить. Фыркая, выгибаясь и почти вздымаясь на дыбы на своих гусеницах, она вгрызалась в землю, ее пасть снова взлетала вверх, и, захлебываясь от песка, она его высыпала в колоссальные грузовики на колесах выше человеческого роста. Два таких чудовища рыли яму под фундамент первой пирамиды, а третье — вычерпывало небольшую бухту, где предполагалось создать порт. Тяжелая морская драга, прибытие которой задержалось на два дня из-за бури, наконец встала на якорь в фарватерной части бухты и изрыгала потоки грязи на дамбы. Повсюду хлопотали оранжевые лилипуты в касках, с тач-

ками, лопатами, досками опалубки. К работе приступили также мерно вращавшиеся бетономешалки.

Иногда мы встречались с Дурбеном, разъезжавшим по стройке в своем джипе. Он останавливался, отбрасывал на затылок каску, спрашивал:

— Ну как дела?

Лицо его потемнело от солнца, взгляд радостно светился.

— Все идет нормально. Уже поступили металлические балки.

— Отлично. А запасные части для бетономешалок?

— Их высылают самолетом.

— Хорошо.

И он снова исчезал в облаках пыли.

Да, все началось хорошо. В течение первых недель работы шли по плану, и мы испытывали лишь небольшие трудности: канавы наполовину засыпало песком, в сыпучем грунте увяз грузовик, и — что представлялось значительно серьезнее — в рабочем поселке произошла драка между горцами и жителями болотного края. Они испокон веков враждовали из-за прав на пастбища, лежавшие на границе двух районов, и, что говорить, терпеть не могли друг друга и обменивались на своих диалектах весьма крепкими выражениями. А так как у тех и других — особенно у людей с побережья — в жилах текла горячая кровь, то иногда в ход пускались ножи, а ножи в этих краях поистине страшны: из острой стали, с короткими костяными рукоятками. Так однажды вечером дело и дошло до поножовщины: раздались крики, кто-то упал. Гуру бросился туда, начал размахивать руками, убеждать, вызвав этим немалое удивление у противников. Обменявшись разъяренными взглядами и нанеся друг другу раны, они быстро успокаивались.

Но это довольно обычное явление на всех крупных стройках, и нам нечего было жаловаться. Деньги и материалы прибывали в указанное время, рабочие из горных районов работали на совесть, среди технических кадров царило согласие, и при телефонных разговорах по интонации голосов я чувствовал, что в министерствах к нам относятся с вниманием. Кроме того, все предвещало сухую погоду, и мы могли спокойно работать до начала осенних дождей.

К концу третьей недели, однако, произошло событие, поразившее меня и воспринятое мною, как грозовое облако на фоне нашей однообразной жизни. Другие, впрочем, увидели в нем всего лишь необычное забавное происшествие, по поводу которого пошутили, поболтали несколько дней в столовой, а потом позабыли, перейдя к другим, более актуальным темам. Что же касается меня, то я не мог так быстро отделаться от впечатления и воспринял все со смешанным чувством тревоги и замешательства, так как мне виделось в этом дурное предзнаменование.

Однажды утром я зашел в кабинет Дурбена. Положив папки с текущими делами на стол, я стал с карандашом в руках докладывать о положении дел. И тут раздался стук в дверь. Вошел Вирё, руководивший одной из бригад,— человек надежный, цельный, предельно честный. Он извинился и сказал, что хочет поговорить с Дурбеном. Срочное дело.

— Что такое?

А вот что. С утра его бригада должна была заниматься выравниванием небольшого бугра между строительными площадками двух пирамид. Бульдозер начал работать, поначалу все шло хорошо, но потом сталь врезалась в скалу. Скалы в том краю почти не встречаются,

и здесь на скалу, говорит он, наткнулись впервые. Она оказалась огромной. Машина начала извлекать скалистую породу из земли, и работа пошла медленнее. Внезапно показался какой-то ход. По нему можно было пробраться, слегка согнувшись. Направились вглубь с фонарем и обнаружили нечто странное: вроде могилы. Он не знает, как поступить. Ждет указаний.

Он стоял, держа каску в руках, и вид у него был огорченный.

— Вы правильно поступили, что пришли,— сказал Дурбен.

Строители, как известно, не очень-то рады таким находкам, на которые словно мухи на мед слетаются толпы археологов, любопытных краснобаев, обычно имеющих поддержку в высоких сферах, и вообще те, у кого вдоволь свободного времени. Строителям же, наоборот, приходится укладываться в жесткие сроки. У них только и слышишь мрачные рассказы о том, как приходилось откладывать или вообще прекращать работы из-за нескольких обнаруженных камней. Поэтому иногда водители бульдозеров умеют притвориться слепыми. Другой на месте Вирё так и поступил бы — мол, ничего не видел, ничего не знаю,— но он не из таких: он человек боязливый, совестливый, к тому же, надо прямо сказать, он наткнулся на огромную глыбу.

— Да, вы, конечно, правильно поступили,— повторил Дурбен.— Пойдемте посмотрим! — И обернувшись ко мне: — Пошли вместе?

Я горел нетерпением. Мы тут же сели в джип и на полной скорости ринулись вперед в облаках пыли.

Бульдозер стоял неподвижно около развороченного холма, и мотор его молчал. Водитель с непроницаемым, безразличным видом курил, прислонившись к гусеницам машины. Рабочие, присев на корточки в тени грузовика, тихо переговаривались между собой и замолкли, как только мы приблизились. В нескольких метрах от бульдозера между развороченными скалами виднелась темная расщелина, в которую мы и проникли втроем с фонарями в руках.

Вначале между высокими серыми камнями шел узкий коридор. Мы с трудом стояли в нем во весь рост, но по мере продвижения он стал ниже — пришлось пригнуть голову; когда же мы приблизились к тому месту, которое в свете фонарей действительно напоминало склеп, потребовалось слегка согнуть колени. Я подозреваю, что те, кто строил эту пещеру, возможно, хотели, чтобы люди не могли пройти сюда с высоко поднятой головой, а входили бы в смиренной позе, согнувшись чуть ли не в три погибели. Дурбен двигался впереди меня, словно большая обезьяна. По временам его каска, задевая о скалу, издавала глухой звук. Позади меня пыхтел Вирё. Было странно, что запах плесени и сырости, столь характерный для подземелий, здесь вовсе не чувствовался. Я дотронулся до стены — она была совершенно сухая.

Помещение оказалось небольшое, округлое, сводчатое, похожее на улей; и мне тут же подумалось, что оно в миниатюре напоминает гробницы в Микенах. Вдоль стен были расставлены небольшие кувшины, плоские камни, рога быков и куски дерева, почерневшие словно от огня. И никаких надписей. Вероятно, сооружение относилось ко временам до возникновения письменности. В центре высился саркофаг из черного массивного камня, тоже без малейшего орнамента — тот самый, о котором рассказывал Вирё. Теперь он направил на него луч своего фонаря, сказав: «Вот здесь», как будто нам и так это не было ясно.

Дурбен провел рукой по плите саркофага, наши взгляды встретились, и я прочел в его глазах то же чувство тревоги, которое овладело

мной, как только мы вошли в круглый склеп; очевидно, Вирё его не ощущал, потому что спокойно предложил: «Ну, что, откроем?» — точно разговор шел о консервной банке. И тут же добавив: «У меня есть все, что нужно», достал из темноты лом.

Дурбен немного поколебался, затем произнес: «Ну что ж, давайте» и тут же снял свою руку с плиты — он не желал принимать в этом участия. Взгляд его теперь выражал явное напряжение.

Вначале металл скользил по базальтовой скале, но Вирё, наконец, нашел щель, плита сдвинулась, и я медленно отвел ее, причем в голове моей возникали какие-то странные ассоциации: наложение щипцов, роды и затем нечто еще более странное — девственность. Наконец отверстие оказалось достаточным, и Дурбен, у которого руки были свободны, направил в него луч своего фонаря.

Там на боку, в позе, напоминавшей положение зародыша, лежал маленький скелет с угловатыми коленями. По тонким костям было нетрудно узнать женщину, скорее даже девушку, а зеленые камешки, рассыпавшиеся вокруг шеи, напоминали бусы, у которых истлела нитка. На лице еще сохранились остатки кожи, затвердевшей и потемневшей, как у мумии. Вместо глаз в орбиты вставлены были два камня того же цвета, что и бусы, и от этого казалось, что мертвая смотрит на нас зеленым взглядом. Из-под кожи проглядывали кости, а по краям саркофага блестели мелкие белые кристаллики, и я поймал себя на нелепой мысли — уж не бальзамировали ли в те времена трупы, пропитывая их солью?

У правого плеча лежала статуэтка птицы со сложенными крыльями, длинным клювом и крючковатыми лапами. В ногах покоилось другое животное, похожее не то на жабу, не то на дракона,— оно служило подставкой наподобие тех, на которые кладут поленья в камине.

Мы стояли молча. Я слышал учащенное дыхание Дурбена и его покашливание, затем рука его опустилась в гробницу, и он осторожно взял один из камней ожерелья. На его ладони лежал неизвестный мне камень цвета глубинных вод с мелкими круглыми пятнышками, напоминавшими зрачки. Возможно, ритуал удаления глаз и замены их камнями объяснялся именно этим: покойную как бы наделяли десятками глаз.

Дурбен, до сих пор не произнесший ни слова, сказал тихим голосом, будто находился в церкви:

— Что же, можно идти.

Однако он захотел, чтобы мы снова закрыли саркофаг. Вновь согнувшись, мы прошли по узкому коридору навстречу ослепительному свету, проникавшему меж скал.

Водитель по-прежнему стоял, прислонясь к гусеницам своей машины, но уже не курил. Люди в тени грузовика, кажется, забавлялись игральными костями, или бабками, которые спрятали, как только завидели нас. Чуть подальше слышался шум мотора, механических лопат, а у входа в бухту продолжала изрыгать грязь сверкавшая на солнце драга.

Вирё снова надел каску. В позе, напоминавшей стойку «смирно», держа руки по швам, он ожидал указаний.

— Переходите к следующему этапу работ,— сказал Дурбен.— Переведите бригаду в дюны около порта. Останьтесь здесь с несколькими людьми, прочно заделайте вход в пещеру и проследите, чтобы никто туда не входил!

Вирё выкрикнул приказание, повернувшись к рабочим, и они двинулись к дюнам. Водитель вскочил в машину и со скрежетом включил сцепление.

— Что вы думаете по поводу всего этого? — спросил меня Дурбен.

— Доисторическое захоронение. Если судить по сохранившимся предметам — конец бронзового века. Вероятно, жена или дочь вождя. Историки сообщают о наличии весьма древних поселений на сваях или на небольших островах...

— Да, я знаю,— ответил он и внезапно добавил: — Вы верите в предзнаменования?

— В предзнаменования? Да, иногда.

— В моей жизни предзнаменования встречались на каждом шагу. Но ведь истолковать их значение не так-то легко. В них почти всегда заложен двойной смысл. Они могут благоприятствовать вам или совсем наоборот, в зависимости от того, как их истолковывать. Вы меня сочтете, наверное, сентиментальным, но я рад, что там похоронена именно женщина. Да, меня радует мысль о том, что в самом сердце нашего города будет женщина. Но опять же неясно, обернется ли это к лучшему или к худшему. Придется менять план застройки. Надо сохранить этот холм между двумя пирамидами. Бульвар, ведущий к порту, будет огибать его. Это не так уж и сложно. Вы свободны сегодня вечером? Ну, тогда заходите ко мне, выпьем чего-нибудь вместе и потолкуем об этом.

И, сев в свой джип, он снова помчался куда-то под палящими лучами солнца.

И тут я подумал о том, что со времени прибытия в Каллаж я еще ни разу не встречался с Дурбеном вне работы. Так бывает — в отношения двух людей вмешивается какой-то злой рок, хотя поначалу, казалось, все должно было складываться иначе. Или, точнее, возникает какое-то недоразумение, которое не так-то легко потом уладить. Но событие, произошедшее этим утром, в какой-то степени выровняло наши отношения.

Окно, выходящее на террасу, открыто. Между дюнами волнуется черно-лиловое море, и над ним — полная луна. Дурбен нервно ходит по комнате взад и вперед, но лицо его спокойно.

— Я рассмотрел планы,— говорит он,— изменения будут сравнительно небольшие. Я сказал об этом Гуру, он склонен продолжать работы. Он не из тех, кто меняет планы из-за такой мелочи. Дай ему власть, и он сровнял бы захоронение с землею. Он говорит, что живые, чтобы жить, должны предать забвению мертвых. Что, кстати, довольно верно. Однако все не так просто.

— Да, это модная нынче теория: своего рода религия настоящего, религия прогресса. Именно она и лежала в основе того, что нам преподавали в институте.

— Послушайте, Марк,— вы мне позволите называть вас по имени? — главное для меня и для всех нас — построить этот город. Я слишком привязан ко всему этому,— и он жестом указывает на ту часть стройки, которая виднеется между деревьями,— чтобы влезать в рассмотрение каких-то абстрактных проблем. Но на этот раз дело идет о вполне конкретном факте. И тут я не поступлю, как Гуру, я изменю свои планы, я уважаю мертвых и не хочу нарушать их покой. Я считаю, что не может быть цемента крепче того, что спаивает живых и мертвых.

— Да, конечно, это большая сила.

— Гуру, однако, располагает другой силой, более земной, поскольку она относится лишь к земному миру и действует быстрее и дальше.

— А как же быть с глубиной?

— Кого в наши дни интересуют глубины? — И он устало махнул рукой.— Но мы влезли в абстрактные проблемы, а они мне так не по душе! К тому же влезли из-за меня. Главное, повторяю,— это построить город, и построить его хорошо. Итак, мы сохраним это захоронение. Мы построим там церковь, фасадом к морю. Мне так хочется.

До сих пор о церкви не было и речи, но я не сказал ему об этом.

— Вы хотите, чтобы я завтра направил в министерство сообщение о нашем открытии?

— Сообщение? Никакого сообщения мы делать не будем!

Я посмотрел на него с удивлением.

— Я скажу, чтобы все камни положили на место и снова закрыли проход. Вот все, что останется.— Он вынул из кармана зеленый камень и покатал его по ладони.— Да, я действительно рад, что это женщина и кроме нас ее никто не увидит.

Я почувствовал по неуверенности в его голосе, что он, вероятно, сожалеет о том, что кроме него в этом склепе побывали другие.

— Вы не боитесь, что кто-нибудь разболтает об этом? — спросил я.

— Будь, что будет! Я беру все на себя.

В словах Дурбена в какой-то мере отсутствовала логика; я не мог понять, почему он отказывается сообщить о находке, которую сам же собирался сохранить в неприкосновенности. Не было ли это проявлением тех странностей или даже той ненормальности, которую ему кое-кто приписывал? Я внимательно, по-новому взглянул на этого человека, принимавшего во многих вопросах такие разумные решения и вдруг по какой-то таинственной причине, как мне показалось, сошедшего с рельсов.

Но он уже сменил тему разговора:

— Вам здесь нравится? И работа и дом? Все идет хорошо?

Мы говорили с ним о финансах, о той поддержке, которую нам оказывали в министерствах, и он заметил, что некоторые связи были по-настоящему прочны, иные же — словно сухие ветки: не выдержат первого удара. Он перечислил несколько имен, вызвавших у меня удивление, и рассеял некоторые из моих иллюзий. У него было столько же врагов, сколько и друзей, но в настоящее время все склонялось в его пользу, и он явно намеревался поддерживать такое положение вещей.

— Я знаю, чего я хочу,— говорил он.

Когда около полуночи я выходил от него, где-то в соснах кричала сова, а вдалеке в болотах мне послышался какой-то вой.

— Спасибо, что зашли,— сказал он.— Спокойной ночи. Как-нибудь позже я расскажу вам, что значит для меня Каллаж...

А когда я пожимал его руку, он добавил:

— Скоро приедут моя жена и дочь. Сегодня утром я получил письмо. Какое впечатление на них произведет Каллаж? Как мне хотелось бы, чтобы им здесь понравилось, чтобы они поняли!..

Прежде чем войти к себе в дом, я обернулся и увидел в свете луны, что он стоит один на террасе и смотрит на море.

Дурбен говорил мне:

— Вначале всего церковь. Построим церковь. Мне хочется, чтобы она стала центром; совсем простая, чистые линии... и город будет создаваться вокруг нее... Я проработал над нею добрую часть ночи. Какая тишина! Хорошо работать ночью, в комнате никого, перед тобою кофе и сигареты, и ты ищешь решение. Теперь я вижу ее. План

готов. Через несколько дней можно начинать. Понадобится всего одна бригада: человек пятнадцать. Конечно, церковь — это важно, но она не должна отвлечь нас...

И еще:

— ...длинный треугольник света, там, вы видите, узкий, доходящий до самого трансепта, поворачивающийся в зависимости от времени дня. Пространство, тень, солнце...

Или:

— Надо закрыть гробницу. Не дверью, нет, только камнями, песком. Чтобы не осталось следов. И ни слова об этом. Кто узнает? Люди забудут. И в основе нашего города будет лежать эта тайна. К добру ли? Не к добру? Не знаю, Марк, но мы рискнем. Подобные вещи просто отбросить нельзя. Они существуют. Надеюсь, что все к добру, я чувствую это...

Я слышал обрывки этих фраз, когда мы сталкивались где-нибудь в дверях, или в шуме стройки, или же на дороге, когда встречались наши машины. Тогда Дурбен, подав мне знак, останавливался и говорил, вытирая пот со лба: «Все в порядке, Марк? Да? Ну вот и прекрасно. А знаете, я подумал, что...»

В словах Гуру звучали совсем иные ноты:

— Увеличим бригады вдвое. Будем работать по ночам. Да, с прожекторами — ничего особенного. Машины будут работать на полную мощность. И тогда — я подсчитал — закончим на месяц раньше. Вы видели Дурбена? Вы знаете, как я восхищен его талантом! Но все-таки мне кажется, что эта принцесса вскружила ему голову. Церковь? Что ж, я не имею ничего против, но...

Потом вступал Вирё и говорил так:

— Работа идет! И отлично. Все работают с подъемом, особенно горцы. Остальные похуже. За ними нужен глаз.

Все это говорилось под грохот экскаваторов, под скрип грузовиков, давящих песок, и тут же подъемные краны бесшумно разворачивались в лучах солнечного света и изящными движениями молодых девушек поднимали на своих платформах грузы цемента и балок.

Я чувствовал, что мы так вовлечены в этот отлично налаженный механизм, что на праздные размышления времени не остается почти совсем. Дни целиком были заполнены какой-то суетой, расчетами, бумагами, обрывочными разговорами, телефонными звонками. Почти ни минуты покоя и отдыха, разве что короткими ночами, но Гуру и их собирался заполнить работой, как опасные бреши в плотно уложенной стене. Но именно так и живут сейчас люди: они хором и во всеуслышание трубят о необходимости досуга, но, получив его на самом деле, не знают, чем заняться. Я понимал, что подобная кабала почти равносильна наркотику, что она подавляет мою личность и плавит меня в каком-то общем горниле, и я начинаю даже, почти не удивляясь, испытывать нечто похожее на счастье, хотя и знаю, что оно содержит немалую долю наркоза. Что же касается края, лежащего за стройкой, того края, который захватил мое воображение в день нашего прибытия и с которым я собирался при первом же случае познакомиться получше,— то теперь он уже казался мне таким далеким от Каллажа, что стал почти нереальным. Картины, встававшие передо мной недавно, как-то странно отдалились и точно стерлись. И даже, если мне иногда в минуту затишья приходилось глядеть с высоты строительных лесов на этот глухой болотный край, у меня возникало всего лишь туманное желание как-нибудь побывать там,— так названия иных городов вечно влекут вас к себе, но вы, вероятно, никогда не посетите их, до самой смерти.

По воскресеньям мне, как правило, приходилось приводить в порядок финансовую отчетность, и иногда я настолько уставал, что внезапно засыпал и просыпался только к сумеркам.

Так прошли первые дни. Они оставили у меня довольно точные, но слегка абстрактные воспоминания, подобно геометрическим построениям, которые производили в ту пору модные художники. Теперь по истечении времени я понимаю, что, несмотря на явные тому приметы, я так до конца и не «заболел» стройкой.

Весною дюны покрылись маргаритками и бессмертниками. Из песка вылезли огромные синеголовые чертополохи, похожие на искусно выточенные стальные звезды. Грузовики давили их шинами, а морской ветер разносил быстро высыхавшие колючки. Болото на несколько дней наводнилось перелетными птицами, но, вероятно напуганные гулом моторов, они улетели дальше на север.

Первая пирамида поднималась вверх, постепенно выходя из своих лесов. Сумбур первых недель сменился четким ритмом работы. Уже заложили фундамент второй пирамиды, и экскаваторы рыли котлован для третьей.

Драга продолжала прокладывать фарватер между двумя валами высохшей грязи. Экипаж ее, поначалу недоверчивый, теперь с большим интересом выходил на берег — играть в карты или домино с горцами, а субботними вечерами принимал участие в попойках, которые нередко заканчивались драками. Гуру спешил на место происшествия, размахивал руками, вновь увещевал, усмиряя поднявшуюся бурю. Отныне это превратилось в одну из его обязанностей.

И без того небольшое число рабочих из местных жителей стало по непонятной причине уменьшаться. Получив заработок за неделю, они уходили в субботу якобы навестить свои семьи, и только их и видели!.. Попробуй разыщи человека в этом лабиринте болот!

— Честное слово, их похищают,— утверждал Гуру.

К счастью, горцы держались стойко.

День весеннего равноденствия принес нам сюрприз. По небу плыли пепельные облака. Страшные порывы ветра молотили берег словно кулачными ударами, вздымая облака песка, из-за которых было невозможно дышать. Замотав платками лица, люди пытались бороться со шквалом. Крики прорабов заглушали порывы ветра, свистевшего в сваях, и хлопанье сорвавшихся брезентовых навесов. Наконец, хлынули потоки дождя, и за несколько минут все изменилось до неузнаваемости. Пришлось прервать работы и бороться со стихией, так как котлованы для фундаментов превратились в наполненные грязью ямы, а маленький ручей за несколько часов поднялся на три метра и угрожал снести мост... У драги сорвалась якорная цепь, и ее бросало из стороны в сторону, пока она не уткнулась, наконец, своей мордой в песчаную отмель. Дурбена можно было видеть повсюду: в клетчатом непромокаемом плаще, по лицу льются струи воды. Его страстное желание побороть стихию передавалось людям и удесятеряло наши усилия. Так длилось три дня. И вот ночью буря внезапно стихла. Наступила тишина, появились звезды, а на рассвете в промытом дочиста небе поднялось солнце. Однако нам потребовалось целых три дня, чтобы залечить свои раны.

Примерно к этому же времени мы заметили, как в глубь территории, экспроприированной государством, вторглись огромные стада черных быков, которые паслись на сочных травах у лагуны. С вершины пирамиды они были хорошо видны в бинокль, видны были и пастухи —

верхом на белых маленьких лошадях. На заседании комитета был поставлен вопрос, не следует ли им сделать соответствующее внушение, но порешили закрыть на все глаза, дабы избежать столкновений. К тому же они не причиняли никакого ущерба и паслись на приличном расстоянии от посадок тополей. Ведь в конце концов они уберутся сами, и не о чем будет говорить.

Однако шли дни, а стада быков все не уходили и даже постепенно продвигались в глубь нашей территории по косой линии, которая явно привела бы их в конце концов прямо к молодым посадкам с северной стороны. Когда ветер дул в нашу сторону, до нас доносилось мычанье быков, иногда тихое, печальное, иногда — грозное, как сигналы, на море предупреждающие о тумане. И невооруженным глазом можно было видеть, как с наступлением сумерек зажигались костры; их разжигали пастухи, о которых шел слух, будто они носят одежду из кожи и спят прямо на земле, завернувшись в шкуры. Поговаривали о возможных стычках с ними, так как пастухи эти якобы принадлежали к какой-то секте мстителей, и с ними их соотечественники остерегались связываться. Эти слухи принес нам Гуру, который, кажется, создал у себя нечто вроде разведывательной службы. Он явно считал себя министром внутренних дел Дурбена, много суетился, принимая таинственный вид. Дурбен только улыбался и не мешал ему действовать.

Мне, уставшему от обыденности нашей жизни, казалось, что от пастухов веет романтикой. Я помню, как рассматривал по вечерам со своей террасы их горящие костры и меня вдруг охватывало желание тут же на машине подъехать к ним по болотным дорогам, чтобы посмотреть, как они меня встретят и что скажут, хотя говор их, конечно, был мне недоступен.

Я представлял себе, как они, наподобие монгольских воинов, сидят на корточках перед горящими кострами и пьют виноградную водку, заедая ее огромными кусками мяса. А вокруг них — мрачной мычащей стеной быки с торчащими острыми рогами.

Отгоняя от себя эти видения, похожие на бред, я бросал на песок сигарету, которая жгла мне пальцы, и, вдохнув в последний раз морской воздух, возвращался в кабинет.

Там меня ждали огромные черные папки, и я до поздней ночи погружался в финансовые расчеты.

Бывало, меня будил яркий свет или пение птиц, и тогда я вставал на восходе солнца. Перекинув через плечо полотенце, я выходил из дома. Воздух был тих и прохладен — ветер никогда не поднимался до полудня. Над пустынной стройкой парили чайки, и слабый дымок струился из бараков, где горцы — я знал, что они встают рано,— очевидно, варили кофе. Я проходил между дюнами по одной и той же песчаной теснине, среди бессмертников и синего чертополоха, высыхавшего на солнце с каждым днем все больше и больше, и добирался до песчаного берега, где вплоть до самого горизонта не было видно ни души.

И тогда привычным движением я оборачивался и убеждался, что стройки отсюда не видно вовсе, точно ее внезапно поглотили пески. Не было ничего, кроме песка и моря, сине-голубого, безмятежного, настолько слившегося с небом, что две-три рыбачьи лодки со спущенными парусами, вышедшие на ловлю мидий, казались подвешенными в каком-то неопределенном пространстве.

Я шел по песку у края воды и сосредоточенно рассматривал то, что выбросило на берег море: ракушки, водоросли, перышки чаек, а иногда и мертвую птицу, кишащую насекомыми, а однажды утром я обнаружил кусок доски от лодки с выжженным названием «ЛУНА».

Бросив на песок полотенце, я входил в море, постепенно и плавно погружался в прозрачную воду, ощущая ее нежное прикосновение. Когда вода доходила мне до плеч, я заплывал, но недалеко, а затем, возвращаясь, смотрел, как за дюнами сверкают верхушки подъемных кранов. Каждый раз их появление в этой пустынной местности было для меня неожиданностью — еще минуту назад я мог бы подвергнуть сомнению само их существование,— и их возникновение отчего-то действовало на меня успокаивающе. Я продолжал плавать в полной тишине, и зыбь убаюкивала меня. Затем, закрыв глаза, я ложился на песок лицом к солнцу и пытался забыть обо всем, но это давалось нелегко, так как предстоящие дела вереницей папок и цифр преследовали меня. Иногда я предавался праздным мечтам об островах, о лицах и телах тех женщин, которых я когда-то знал, но вместо них все чаще и чаще стало появляться видение некого воображаемого существа с черными волосами, темной кожей, как у тех крестьянок, что попадались мне в болотах и не поднимали на меня глаз. Мне казалось, что я ощущаю пряный запах тела незнакомки. Быстрым движением она поднимала свою грубую юбку и, сверкая голыми ногами, увлекала меня в тростниковую хижину. Потом снова меня начинали одолевать цифры. Я вставал и возвращался к Каллажу тем же путем, что пришел.

Стройка уже оживала оранжевыми пятнами машин и рабочих; вращались подъемные краны, драга выплевывала грязь на оконечность мола. Я снова шел в свой кабинет. Утренняя передышка кончалась, видения исчезали, я погружался в жару и дела наступившего дня.

Должен сказать, что известие о приезде Элизабет Дурбен несколько ошеломило меня. Признаюсь, я о ней почти не вспоминал. Масса работы, налетевший ураган, появление пастухов, пробудившее во мне смутные мечтания,— все это постепенно вытеснило образ маленькой принцессы: голова моя и так шла кругом. Не удивительно, что и об Элизабет я позабыл. И когда однажды вечером Дурбен сказал мне: «Они завтра приезжают», я чуть было не задал нелепый вопрос: «Кто — они?» Слова уже были на кончике языка, я едва удержался и довольно неловко пробормотал лишь: «Ах да, конечно!»

Но Дурбен, кажется, ничего не заметил: он думал о чем-то другом. С тех пор как мы приехали строить Каллаж, я видел его постоянно возбужденным, словно охваченным каким-то внутренним огнем, а теперь, казалось, он был почти робок. Он беспрестанно курил и теребил ключи в кармане.

— Я хотел бы попросить вас об одном одолжении, Марк.

— Да, пожалуйста.

— Дело вот в чем. Мне было бы приятно... мне хотелось бы, чтобы вы поехали со мной завтра на аэродром, если вам это не трудно.

— С удовольствием.

— Прекрасно,— сказал он, успокоившись.

По дороге на аэродром Дурбен, видно, опять разволновался. Он вел машину слишком быстро.

— Мы опоздаем.

— Да нет же, у нас еще больше часа в запасе.

— Правда?

Чтобы отвлечь его, я пытался говорить о Каллаже, но на этот раз он меня почти не слушал.

И вот наконец аэродром — маленькая высохшая равнина с редкими купами низкорослых сосен и розовыми крышами ферм; по одной из дорожек катится дребезжащий драндулет, и почему-то кажется, что он может направиться на заросшую сорняками взлетную площадку.

Самолет, конечно, опаздывает, стоит страшная жара, и в плохоньком зале ожидания мы чувствуем себя, как рыбы в аквариуме, которым не хватает кислорода.

Наконец, самолет, слегка подскакивая, приземляется. Мы подходим к трапу. Из самолета выходят ослепленные солнцем люди.

— Вот они! — говорит Дурбен.

Стройная женщина в красном костюме держит за руку девочку, одетую тоже в красное. Темные очки, на волосы накинут легкий шарф — она походит на принцессу из кинофильма, у нее уверенная походка, присущая аристократам,— так и чувствуются длительная практика игры в теннис и танцы. Удивительно, как можно много прочитать на лице человека, идущего вам навстречу и не знающего, что за ним наблюдают, пока на лицо его еще не надета маска.

Мне показалось, что за несколько мгновений, пока она шла в сторону террасы аэровокзала, я обо всем догадался. Затем она заметила Дурбена, он поднял обе руки. На ее губах появилась улыбка, показавшаяся мне лишь приличествовавшей случаю. Девочка же принялась от радости прыгать, и косички ее затряслись. Но мать — очевидно, сжав ее руку — одернула ее, и она снова зашагала степенно.

Элизабет безусловно была очень хороша собой: гармоничные черты лица, чуть затуманенный взгляд светло-голубых глаз, загадочная улыбка. Лицо с портретов Леонардо. В ней сочеталась мягкость облика святой Анны с гордостью красавицы с фероньеркой. Но Элизабет принадлежала к числу тех женщин, красота которых вызывает во мне тревогу, ибо кажется мне опасной западней: она лишь поверхностна, словно вуаль, под которой угадываются потемки души. Зато меня пленили живой взгляд и вздернутый нос Софи. В ее душе я не чувствовал мрака. Она сделала мне небольшой реверанс и состроила гримаску солнцу.

По дороге к Каллажу, когда Элизабет сообщала Дурбену новости столичной жизни, лишь изредка бросая рассеянный взгляд на окрестности, я видел, что Софи, как некогда я, рассматривает пейзаж с большим интересом. Я стал рассказывать ей о болотном крае, отметив про себя, что знаю о нем не больше того, что прочитал в книгах. Ей же хотелось знать буквально обо всем: о жителях, растениях, животных. Особенно о животных.

— Вы там часто бываете?

— Никогда не был.

— Никогда?

— Все не хватает времени...

— Как жаль!

Она покачала головой. Потом, когда мы проезжали пруды, бурный восторг у нее вызвали утки.

Когда же мы приехали в Каллаж, она долго рассматривала строящиеся пирамиды, но ничего не сказала.

Софи зевала, как котенок. Сидя на подушке у окна, она увлеченно читала книгу, лежавшую у нее на коленях, не замечая ни наших голосов, ни звона стаканов. Краем глаза я наблюдал за нею. (Впоследствии я всегда сожалел, что у меня не было детей.) Она то хмурила брови, то улыбалась, то почесывала нос, а потом вдруг зевнула, показав ровные белые зубки, розовый язык и часть нёба. С первого же взгляда она показалась мне красивой, но в этом ангелочке явно таился бесенок. Больше всего мне понравилось, как она

зевает. Надо обладать большой естественностью, чтобы вести себя так непринужденно и одновременно пленительно в месте, которое условно можно было назвать гостиной. Я убедился в том, что светскость, напугавшая меня в ту минуту, когда она сделала реверанс на аэродроме, была поверхностной — наподобие лака — и уже стала сходить.

Конечно, не только я заметил это, так как Элизабет сказала:

— Софи, я полагаю, тебе пора ложиться.

— Хорошо,— ответила Софи, не поднимая глаз от книги, в которую она снова погрузилась.

Она, однако, не сдвинулась с места, разработав, по всей вероятности, издавна тактику проволочек. «Я полагаю» означало лишь первое предупреждение, с которым можно было не считаться.

Я подошел к Софи.

— Что ты читаешь?

Она подняла на меня голубые глаза поразительного лавандового оттенка.

— «Злоключения Присциллы Темануар». Вы читали?

Мне пришлось признаться в своем невежестве.

— Ах,— произнесла она,— как жаль.

— О чем же говорится в этой книге?

— Это рассказ об одной девочке, которая спустилась на парашюте в центре Африки. Кроме мыла и зубной щетки у нее ничего не было, и ей пришлось бы плохо, если бы она не познакомилась с разными животными, которые выручили ее из беды. Вот животных я действительно люблю. Там рассказывается про очень забавную змею боа. В конце книги она выходит замуж за муравьеда, и у них родится много детей.

— В самом деле? Какой странный конец.

— Я его только что придумала,— призналась она смеясь.— Я еще до конца не дочитала. А вы мне так и поверили?

— Почему бы нет?

— Правильно, почему бы нет? Может быть, конец действительно такой. Я сама буду писать рассказы про всяких животных. Я люблю лошадей, пауков, муравьев. Я очень хочу увидеть быков и фламинго.

— Если хочешь, я отвезу тебя к болотам.

— Ах, это было бы замечательно!

— Я поговорю с твоей мамой.

Элизабет сочла, что это неплохая мысль и что в следующее воскресенье мы поедем туда все вчетвером. Симону эта затея тоже понравилась, но в последнюю минуту выяснилось, что у него срочная работа, поэтому мы поехали без него. Я всегда чувствовал себя с Элизабет несколько натянуто, но полагал, что она начнет расспрашивать меня о Каллаже, о жизни, которую мы вели до их приезда, и что эти темы представят для нас общий интерес. Однако она, наоборот, принялась рассказывать о столице и узнавать, не знаком ли я с таким-то или таким-то, имена которых либо пробуждали у меня слабые воспоминания, либо не говорили мне ничего. После получаса подобных попыток она прервала разговор, приняв меня за провинциала, что в ее глазах, я уверен, было равнозначно дураку. Софи, прижав нос к стеклу, с большим интересом рассматривала болотный край.

— Ну так где же фламинго? — спросила Элизабет.

И в самом деле их на прудах не оказалось, хотя, как мне говорили, их видели там всего за несколько дней до этого. Мы пошли по песчаной дорожке, но Элизабет шагала с трудом, так как туфли у

нее были на высоком каблуке. К тому же Софи увязла в грязи, пытаясь сорвать в канаве ирис. Мать выбранила ее, и она угрюмо замолчала. Фламинго так и не появились, и единственное, что нам удалось увидеть,— это несколько цапель вдалеке.

— Любопытный край,— произнесла Элизабет, когда мы возвращались назад,— но должна признаться, я не люблю таких равнин.

Это вызвало у меня раздражение — как если бы она упрекнула меня за мой слишком длинный нос, что в общем-то примерно так и есть. Мне явно не везло в моих отношениях с Элизабет.

Позднее мне снова представился случай поехать в болотный край, но уже только с Софи. Мы добрались до берега пруда, находившегося за посадками тополей, и шли по насыпи, где был свален в кучи тростник, которым здесь кроют крыши. По одну сторону — блестящая темная поверхность воды, по другую — огромные тростниковые заросли, в которые то тут, то там уходят узкие таинственные тропы. И все это — у самого Каллажа. Вдалеке, в жарком колеблющемся воздухе, виднелась вершина большой пирамиды, но как только мы отводили от нее взгляд, легко было представить себя в неведомых землях. Кричали птицы. Не то мускусная крыса, не то выдра, пошелестев сухими листьями, нырнула в воду.

Софи говорила шепотом. Она спрашивала:

— Кто это там? Вы видите? Два острых ушка, черные глазки...

Она чувствовала себя свободно, была весела. Она шагала рядом со мной, но по временам отходила чуть в сторону на цыпочках, прижав к губам палец, либо вставала на четвереньки, пытаясь поймать какое-нибудь насекомое или лягушку. А то вдруг начинала прыгать по воображаемым клеточкам «классов», и при этом косы ее разлетались в стороны.

Мы дошли до конца насыпи, где меж черных свай виднелась затонувшая лодка, и, остановившись, смотрели, как солнце спускалось к топи, над которой носились стаи чаек. Фламинго мы так и не обнаружили, о них напоминали только попадавшиеся на берегу розовые перышки.

Однажды вечером мы заметили между дюнами одно из больших стад, о появлении которых к северу от Каллажа нам уже сообщили. Софи забросала меня вопросами. Я рассказал ей о пастухах, об их грубой одежде, о слухах, которые ходили на их счет. Ей все хотелось знать.

— Поехали к ним.

— Они не очень-то любят жителей Каллажа.

— Почему?

— Из-за пастбищ. А главное — они не хотят менять своего образа жизни.

— А что, из-за Каллажа им придется его изменить?

— Они так думают.

— Возможно, они правы.

— Возможно. А тебе нравится Каллаж?

— Мне нравятся пирамиды, которые строит мой папа. Они красивые. Но лучше бы их построить где-нибудь в другом месте. Мне больше всего нравится болотный край. Я хотела бы там скакать целыми днями на лошади или же самой превратиться в лошадь. У меня была бы длинная белая грива...

По дороге в город она рассказывала мне о своей школе, куда надо было возвращаться в октябре, о своих подружках, о книгах и о том, что Присцилла не вышла замуж за муравьеда, а сама превратилась в муравьеда.

— Вот почему я захотела стать лошадью.

Я подвез ее к дому. Поднимаясь на крыльцо, она перескакивала через ступеньки, на пороге обернулась и, тряхнув косичками, скрылась за дверью.

Я вернулся в свой кабинет и снова погрузился в расчеты.

Однажды ночью...

Но прежде всего говорил ли я вам, что страдаю бессонницей? Правда, не той ужасной, что не дает всю ночь сомкнуть глаз, но все же обычно три-четыре часа у меня было бессонных. Это длится неделю, а то и месяц. Конечно, ничего особенно страшного. В голове моей вертелись расчеты прошедшего дня, какая-то забота, которую я надеялся забыть во сне, или же какие-то слова, сказанные вскользь,— они почему-то вдруг вспыхивали, как лесной пожар. Было ли тому причиной возбуждение или усталость? В первые месяцы пребывания в Каллаже меня часто одолевала лихорадочная бессонница, которая усугублялась июльской жарой. Я вертелся в кровати, потел, а жужжание над моим ухом извещало меня о том, что нашим экспертам по борьбе с насекомыми не удалось истребить москитов. Я приобрел привычку вставать. Я читал (помнится, именно тогда я вздумал перечитать «Фауста» Гёте), сидел на террасе или же бродил по стройке. Ночи были ясные. С прудов доносилось кваканье лягушек, небо над головой — все в звездах, над морем — луна.

Невдалеке от меня чуть светились террасы пирамид и огромные безмолвные машины. Стада пастухов отошли вглубь, к болотам, так что костры их были теперь едва заметны. Светились окна в хижине ночного сторожа, я видел неподвижный силуэт хозяина, видел, как время от времени он подносит ко рту сигарету или листает страницы газеты. Иногда я сталкивался с ним во время его обхода. Он направлял мне в лицо луч фонаря.

— А, это вы? Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Мы обменивались обычно несколькими словами и в конце концов познакомились. В дни, когда с моря дул ветер, медленно и беззвучно вращались высокие подъемные краны.

Итак, однажды ночью я вышел из дома. Было очень душно. Гроза бродила вокруг да около и никак не могла разразиться. По временам облака закрывали луну, и все внезапно погружалось во тьму. Я дошел до «гавани» — так мы называли район будущего порта — в надежде найти у воды прохладу. Здесь и в самом деле дышалось лучше; предполагали разбить на этом месте бульвар, а пока повсюду валялись строительные материалы и всякий мусор. Слышался шум прибоя, словно воду засасывало куда-то меж свай. В фарватерном канале на носу драги горел сигнальный огонь.

Проходя вдоль парапета, я услышал звук шагов, а затем шепот. По другую сторону парапета, в дальнем конце пустыря, на фоне неба показалась какая-то фигура; я подумал вначале, что это сторож, и хотел было окликнуть его, но его жест — словно он хотел позвать и предупредить невидимых товарищей, скрывавшихся в тени,— остановил меня. Человек пригнулся к земле, и хотя в темноте было невозможно различить ни лица его, ни одежды, в его облике, как показалось мне, было что-то нагловатое. К нему подошли еще две фигуры. Я застыл, стараясь слиться с камнями, но, очевидно, эти люди меня заметили, а может, заметили мою тень: она растянулась по земле, как только луна выглянула из облаков. Кто-то шепотом позвал их, и все трое исчезли так бесшумно, словно на ногах у них была войлочная обувь.

Я не принадлежу к числу отважных, или скажем иначе: на рожон не полезу. Я не бросился за ними в погоню, но ограничился тем, что, выждав некоторое время, решился заглянуть за парапет. Они подходили уже к краю пирамиды и потом, завернув за угол ее основания, исчезли. Луну снова затянуло облаками, и когда наступила темнота, при которой бесплодны всякие попытки дальнейших поисков, у меня пропали последние угрызения совести. Чуть позже мне показалось, что я услышал конский топот.

Показался свет: на этот раз это был сторож. Я крикнул ему:

— Вы видели их?

— Кого?

— Трех человек. Вон там!

— Нет,— ответил он.

— Что им здесь делать в такое время?

— Это, наверное, рабочие.

— Я слышал конский топот. Вы ничего не замечали раньше по ночам? Со стройки ничего не исчезало?

— Нет.

Но по слегка неуверенному тону его голоса, по лаконичности его ответов мне показалось, что он знает гораздо больше, чем хочет сказать.

— Странно. Вы не думаете, что сюда могли забрести из любопытства пастухи?

— Вряд ли,— сказал он, смеясь.— Вам известно, что этих людей интересуют только быки, и по этому поводу здесь подшучивают. Поговаривают, например, что у них бычьи хвосты. Так вот, сами понимаете, Каллаж...

— А вы сами-то откуда? — спросил я его.

— Из Модюи.

— Где это?

— Да тут, в болотном крае, деревня...

— И далеко отсюда?

— Девять или десять километров... Ну что ж,— сказал он вдруг,— спокойной ночи, мне надо еще сделать обход.

— Спокойной ночи. Если вам вдруг попадется какой-нибудь пастух, приведите его ко мне. Мне бы хотелось увидеть их вблизи, да заодно и проверить, нет ли у них рогов под шляпой.

— Ну, этого я вам не говорил.

Он отошел, водя вокруг своим фонарем, освещая то кучу досок, то перевернутую тачку, то стену, которая шла вдоль пирамид.

И тут я заметил надпись, выведенную большими черными буквами.

— Посмотрите-ка! Вон там!

Мы оба наклонились, и я прочел вначале слово «Внимание!», а потом далее: «Убирайтесь с Юга!» В словах этих было что-то угрожающее, даже несколько зловещее, и я помню, как меня охватило неприятное чувство, похожее на то, какое вызывает анонимное письмо. Вы живете мирно, ни о чем не подозревая, а тем временем за вами наблюдает незнакомый человек, судит о вашем поведении и начинает вас за что-то ненавидеть. Я дотронулся пальцем до букв. Надпись была еще свежей.

— Ну вот видите, ваши пастухи не так уж безразличны к Каллажу,— сказал я сторожу.

Он посмотрел на надпись. На этот раз он был явно поражен.

— Пастухи, вряд ли... не думаю. Завтра я сообщу об этом.

Отойдя от него, я подумал, что доверять ночную охрану местному жителю, да еще родом из болотного края, было, вероятно, не-

осторожно. Надо будет сказать об этом Гуру. Но в конце концов мое ли это дело? Я вдруг вспомнил про пастухов и про бычий хвост. Ну и ну! Действительно ли все шло так хорошо, как полагал Дурбен? Видимо, нет. Я отметил про себя, однако, что я почему-то не слишком огорчился из-за этого.

С той ночи, положившей начало скрытой борьбе, которую вел против нас пока еще невидимый противник, надписи стали появляться все чаще и чаще. Их утром смывали, а потом снова обнаруживали: на стене, на щите, на грузовиках, на рабочих машинах — то были огромные буквы с подтеками, выведенные дегтем; казалось, их нарочно старались писать неряшливо, будто писавший стремился запугать нас и обезобразить строящийся город. Да и тон их становился все резче и резче. Дело дошло до того, что появились надписи: «Не надо ли сжечь Каллаж?» Еще немного — и все этим бы и кончилось. Гуру пришел в ярость. Он усилил охрану, будучи всегда и во всем дипломатом, не стал увольнять местных сторожей, а приставил к ним людей надежных, не связанных с этим краем. Он создал также бригаду, смывавшую надписи; вооруженная скребками и моющими средствами, она на заре, до того как рабочие выйдут на работу, счищала мазню со стен. Гуру утверждал, что его разведывательная служба уже напала на след и что рано или поздно враг будет раскрыт. Не пастухи ли это? Нет, он не думает, а если и так, то они являются лишь орудием в руках тайной мощной силы. Надо было терпеливо распутать пока еще запутанный клубок. Его осведомители, сказал он, этим занимаются.

К тому же, казалось, принятые меры принесли свои плоды: счищать надписи созданной Гуру бригаде приходилось лишь изредка. Но как только нам показалось, что мы победили, последовала новая вспышка. Еще раз ночью все измазали дегтем. Дальше этого, однако, дело не шло, мы не могли жаловаться на настоящий саботаж. По всей видимости, наш неведомый противник не решается наносить непоправимый ущерб. Он просто действовал подобно назойливой мухе, дразнящей быка.

Меня удивило, что больше всех это р а з д р а ж а л о Дурбена, ибо я полагал, что, увлеченный своими поистине огромными замыслами, он должен стоять выше мелких неприятностей.

— Как вы относитесь к этим угрозам? — спрашивал он меня.— Что это значит? И откуда это?

— Думаю, что из болотного края. Возможно, это пастухи. Во всяком случае, я так думаю. Тогда ночью эти пачкуны, на которых я наткнулся, удирали на лошадях.

— Но почему пастухи?

— Все, конечно, из-за пастбищ. Они настоящие фанатики. Для них ничего не существует, кроме скота.

— У меня такое впечатление, что дело серьезней, что кто-то настроен против стройки Каллажа. Но все же — почему? Эти люди живут в нищете. Вы видели их дома в болотах? Знаете, какой у них средний годовой доход? Я прочитал «Историю Юга» и познакомился со статистическими данными: одна десятая часть того, что зарабатывает рабочий в столице. Они выступают с протестами совершенно справедливо и испокон веков выбирают в парламент депутатов, входящих в оппозицию, и те, кстати, выступают оппозиционно даже внутри оппозиции. Да это и понятно, потому что с ними никогда не считались. Но сейчас все должно измениться, все и з м е н и т с я для них.

— Да, если они хотят этого.

Он посмотрел на меня удивленно.

— Вы хотите сказать, что они, может быть, хотят жить по-прежнему в такой нищете?

— Скорее в бедности.

— Ну, если хотите, в такой бедности. В таком унизительном положении. Мне это кажется невероятным. Мы платим им жалованье, о котором они не могли даже мечтать, обеспечиваем социальным страхованием, и ведь это только начало. Возникнет город, порт, дороги, новые возможности заработка. А когда внимание всей страны будет привлечено к Югу, мы сможем осушить их земли, дать им тракторы...

— А они любят свои болота и своих лошадей.

— Но кто же собирается отнять у них это? Вы ведь знаете, Марк, что́ мы можем им дать, знаете, как мы уважаем их обычаи. Мы же не разорители.

— Я просто пытаюсь понять этих людей.

— Может быть, мы по незнанию совершили какие-нибудь ошибки? Ведь мы пришли с Севера, и вполне вероятно, что они относятся к нам с недоверием. Да, с ними надо было бы поговорить, разъяснить им. А мы проявили равнодушие. Но ведь столько надо было всего сделать!

— Гуру думает, что все образуется.

— Я знаю, знаю... Гуру делает много, но...

— Что «но»?

— Ему чего-то недостает: воображения, что ли, или, может быть, сочувствия к людям. Мне хотелось бы, Марк, чтобы вы немножко занялись этими делами, попытались бы разобраться. Надо бы поговорить, вот только с кем?

— Я подумаю.

— Спасибо,— сказал он.— Признаюсь, я обеспокоен. Возможно, напрасно, по глупости. Но работается плохо, когда что-то беспокоит.— Он резко сменил тему разговора: — Моя жена здесь скучает, ей не нравится Каллаж, и я чувствую это. Я думаю, она не понимает всей важности того, что мы здесь сейчас делаем. Да, она скучает, вот в чем дело. Она любит жизнь в городе, я хочу сказать — в построенном уже городе.

— А Софи?

— Софи прекрасно! На днях в ней открылась страсть к живности. Приходит вечером домой с коробками, наполненными пауками, кузнечиками, стрекозами, а вчера притащила скорпиона. Она тоже говорит о быках, лошадях... Не знаю, кто ей внушил это. Забросала меня вопросами о пастухах. Но что я могу ей сказать? Да, ей еще захотелось иметь лошадь.

— Ну видите, и ей тоже.

Он засмеялся.

— Да, ей тоже. Я не ответил ей отказом. Надо подумать.

Элизабет совершенно замкнулась в себе.

Поначалу ее видели на стройке вместе с Дурбеном. Он оживленно говорил, показывая рукой на большие белые сооружения и рисуя то, что однажды должно здесь возникнуть на песках. В этой руке — и счастье, и любовь, и просьба ласки, и ожидание ответа. Элизабет смотрела бесстрастно. Большие черные очки скрывают ее ничего не выражающее лицо. Волосы ее уложены в узел и гладко причесаны на висках. По временам на тонких губах появляется улыбка, которую можно, пожалуй, назвать жестокой. Но Дурбен, конечно,

ничего не видит, он продолжает показывать на простирающуюся за машинами и кранами песчаную равнину, и губы его по-прежнему двигаются, хотя не слышно, что он говорит. Может быть, именно потому он продолжает говорить, чтобы не наткнуться на эту гнетущую стену молчания, тяжесть которого он не может не чувствовать.

Элизабет красива. Походка настоящей королевы. Легко догадаться, что ее платья, как бы скромно они ни выглядели, сшиты лучшими портными столицы. Здесь, на юге, ее светлые волосы и кожа поражают всех. При ее приближении мужчины опускают глаза и углубляются в свою работу. Если Дурбен обращается к ним, то они отирают со лба пот и смотрят только на него, а не на нее — точно ее не видят. Но стоит ей отойти, они украдкой смотрят на нее. Не просто с удивлением, кажется, она вызывает страх.

Зачем она приехала в Каллаж? Она не любила ни этой почти дикой равнины, ни стройки — она быстро поняла, что не займет в ней центрального места. Неужели Дурбен простодушно рассказал ей о «маленькой принцессе», не сдержав своего волнения? Боюсь, что так и было. Элизабет посетила церковь, строительство которой еще не закончилось. Я тоже там был. Я вглядывался в лицо Элизабет. Под белыми сводами в пересекающихся лучах света она осталась холодна как лед, и я вдруг подумал, что такая женщина может ревновать даже к мертвой.

Я полагал, что море примирит ее с Каллажем, но огромный пустынный пляж пугал ее, мелкий песок, вздымаемый малейшим дуновением ветра, раздражал ей кожу, и Элизабет жаловалась на страшную жару. Она рассказывала мне о курортах, где обычно проводила лето: об огромных отелях, парках, теннисных кортах, казино. Я знал эти города, где роскошные здания крепостной стеной подступают к морю. Так вот что она любит! Должно быть, здесь ее все пугало, она чувствовала себя одинокой, беззащитной.

Потому-то она постепенно и уходила в себя. Их новый чистенький дом стоял в тени сосен. Спасаясь от солнца, она опускала шторы. Дверь дома открывалась только тогда, когда Дурбен рано утром шел на работу или Софи с картонкой в руках и сачком на плече легкими шагами пробиралась между дюнами к первой лагуне, которую превратила в свои владения. Элизабет совершенно не показывалась. Можно было подумать, что в доме никого нет.

Вы уже знаете, как я люблю помечтать. Сколько раз я представлял себе Элизабет в белой комнате, на стены которой сквозь планки жалюзи полосками падает свет. Она едва одета, на ней лишь легчайший халат — я обратил на него внимание вскоре после ее приезда, когда она еще выходила на террасу. Скрестив вытянутые ноги, она полирует себе ногти или часами расчесывает волосы, а может быть, раскладывает платья, которые ей некуда надевать. Слегка причмокивая, она ест грейпфрут. Перелистывает журналы или книги, которые по ее заказу приходят каждую неделю из столицы,— конечно, это модные романы, она читает и бросает их недочитанными на ковер. Она ставит одну из тех пластинок, которые мне кажутся ужасными,— джазовая музыка, самый последний крик моды: когда ветер дует в мою сторону, до меня доносятся ее обрывки, и это единственные признаки жизни в раскаленной жаре дня. Она лежит на ковре, согнув колени, и долго рассматривает потолок. Я легко представляю себе, как ее рука тянется за стоящей рядом с постелью бутылкой виски, она наливает себе немного в стакан и разом выпивает. Облизывает языком край стакана, улыбается самой себе. Она постепенно опускается. Еще немного виски? Так, значит, виски — ее слабость! Но не заблуждаюсь ли я? Ведь у меня нет никаких доказательств.

Служанка уходит. Солнце садится. Элизабет становится скучно. Головастики, саламандры, скорпионы, которых приносит Софи, наводят на нее ужас. Дурбен вернется с обожженным лицом, восторженный или озабоченный. Она спросит:

— Что так поздно?

— Нужно было закончить работу.

Он, возможно, станет объяснять, но она его едва будет слушать, а под конец скажет:

— Зачем я здесь? Такие пустые дни... Давай поедем куда-нибудь, проведем несколько дней вместе. Ну, например, в субботу и в воскресенье.

— Я понимаю тебя, Элизабет, но сейчас это невозможно. Вот через три месяца, осенью...

Тогда, словно внезапно подхваченная волной, она кричит:

— Мне надоело! Болтаюсь здесь без дела. Я никому не нужна. Уеду!

— Ну, успокойся, Элизабет...

И он снова пустится в объяснения: Каллаж... времени мало... его жизнь поставлена на карту... нетерпение... терпение... Он положит ей руку на плечо, но она оттолкнет его и посмотрит на него злым, холодным взглядом, который я несколько раз перехватывал.

— Нет.

Он подумает, что Софи, которая напевала вдалеке в своей комнате, конечно, все слышала. Сейчас она молчит. Она обеспокоена, насторожилась. С минуту он колеблется, а затем выходит, захватив с собой неотложные дела, за которыми просидит до полуночи. Наступят сумерки, и прекрасные сине-лиловые блики лягут на море, но ни она, ни он ничего не увидят...

На смену невыносимо жарким дням приходили мягкие вечера; пели птицы, трещали кузнечики, из рабочих бараков доносились звуки гитары. Под звездным небом журчал ветерок.

Дурбен подарил Элизабет большую белую открытую машину, и я поймал себя на мысли о том, что таким образом, сознательно или нет, он нашел ей игрушку, но что такие игрушки иногда приводят не к добру.

До сих пор я видел болота только мимолетно у самого Каллажа или с основной дороги. Короче говоря, я не знал ничего о болотном крае. А ведь это мир, в который нужно войти. Со стороны его не узнаешь, как не узнаешь женщины, которой едва коснулся. Образ женщины мне пришел на ум потому, что я уже понял: в такие места легко влюбиться, и я чувствовал, что был к этому готов.

Я поехал наугад по неизведанным дорогам. Остановил машину. Ветер шелестел в камышах, колыхал тонкие метелки на их концах. Вдали перекликались птицы. Их крылья с шорохом касались сухих листьев. Я шел по насыпи вдоль канала, временами невидимый зверек нырял в воду. То тут, то там попадались черные плоскодонки, сети и шалаши из лозы — тоже черные и потому напоминавшие орудия пыток. Да, решительно здесь на деготь не скупились; я принялся думать о том, что этот край поразительно удобен для засад. Внезапный налет из тростниковых чащоб, быстрый удар — и скрылся, никто тебя не увидит! Только поистине бесшабашный человек может рискнуть пуститься в погоню! От беспокойства меня бросало то в жар, то в холод. Разве не подобное чувство испытываешь к женщине, в которую влюбляешься? Как видите, я снова обращаюсь к языку любви.

Солнечный закат над прудами, перелетные птицы над головой, известковые стены домов, стадо лошадей на равнине, поросшей плакун-травою,— все приводило меня в восторг. Еще немного — и я позабыл бы о существовании Каллажа, о миссии, возложенной на меня Дурбеном.

Но вот я вернулся к действительности и, спасаясь от манивших меня сирен, направился в сторону деревень, которые в этом краю, где фермы очень разбросаны, представляют собой лишь горстку приземистых домишек вокруг церкви. Я вспомнил о своем обещании Симону, к тому же у меня всегда была слабость к выполнению тайных поручений.

Харчевня, подумалось мне,— идеальное место, чтобы позондировать почву. В данном случае слово «харчевня» звучало слишком громко: забегаловка, темная комната вроде кухни, столы и скамьи, запах пепла и мух. Картежники посмотрели на меня косо и стали разговаривать потише. Я заказал для приличия бутылку вина и как ни в чем не бывало попытался вступить в разговор. Поговорили о том о сем, но как только речь заходила о Каллаже, лица становились непроницаемыми, словно их спрашивали о луне! Впрочем, обо мне быстро навели справки: примерно через неделю на меня смотрели как на вполне известную личность.

Итак, никаких сведений я не выведал, кроме того, что в целом к нам эти люди относятся неважно. Ну и открытие! Я, правда, утешал себя тем, что торопиться некуда и что в конце концов мне представится случай разузнать что-либо о тех пачкунах, которые время от времени малевали на стенах или кранах.

— Ну как? — спрашивал меня Дурбен.— Что узнали?

— Да ничего особенного. Люди относятся недоверчиво. Говорят о чем угодно, но не о нашей стройке. Тут уж не разожмут рта. Им явно не нравится Каллаж. Но на то, чтобы гоняться по ночам с ведрами дегтя, они явно не способны!

— У вас есть какие-нибудь предположения?

— Пока нет, но думаю, что вскоре кое-что разузнаю.

— Вы удивительно терпеливы, как я успел заметить.

— Да, я себя сдерживаю, ибо догадки могут подвести. Вы правы: я о ч е н ь терпелив.

— Терпение — одна из главных добродетелей.

— Во всяком случае у меня это, пожалуй, главная добродетель.

— Каковы же другие? — спросил, улыбаясь, Дурбен.

— Обязательность... верность...

— Правильно,— сказал Дурбен.— Я добавил бы еще — скромность. Что касается наших дел, то, если вы не возражаете, продолжайте свое расследование. Впрочем, кажется, это не так уж вам неприятно.

Я чувствовал, что беспокойство у Дурбена рассеялось, уступив место простому любопытству. К тому же рвение сторожей свершило чудеса. Какой-то патруль напал однажды ночью на пять или шесть человек, они поспешно скрылись. Умчались на белых конях. Однако в этом краю все лошади белые! Что же касается пастухов, то они, подойдя к Каллажу почти на два километра, стали постепенно удаляться и, наверное, ушли бы скоро за озеро.

— Хороший признак,— сказал Гуру.— Надо запастись терпением!

А Дурбен на это:

— Нет, я положительно окружен терпеливыми людьми! А как ваше расследование, Гуру?

— Подвигается понемногу. У меня есть важные сведения, но их надо проверить. Через несколько дней я представлю вам доклад.

— Прекрасно. Жду вас до победного конца.

Дурбен бросил на меня понимающий взгляд и принялся обсуждать проблемы поставок цемента и арматуры.

В этой области все шло как нельзя лучше — материалы продолжали поступать, министерство проявляло щедрость. Мы чувствовали за своими плечами солидную поддержку и были на небесах.

Как-то вечером, выходя с заседания, Гуру подошел ко мне.

— Вы домой? Может, пройдемся вместе?

— С удовольствием.

— Понимаете, мы уж очень много работаем. Иногда полезно и пройтись.

— Да, конечно.

Когда я устаю, особенно после заседаний, мне хочется побыть одному, однако я не так близок с Гуру, чтобы признаться ему в этом. Вечерняя прогулка под звездами — как это на него не походило! Что хотел от меня этот тип? Я посмотрел на него украдкой. У него был насмешливый и хитрый взгляд. Он даже слегка насвистывал.

— Какая погода! — воскликнул он.— Нам, право, благоприятствуют небеса, хотя не обходится и без неприятностей... Кстати, расследование меня забавляет, хотя до сих пор оно не принесло особых результатов. Но мои люди сообщили мне кое-что интересное.

— Правда?

— Например, говорят, что появился еще один человек, занимающийся тем же.

— Неужели?

— Говорят, он очень похож на вас! Забавно, не правда ли? Вам надо было бы меня предупредить, что вы надумали разыгрывать из себя Шерлока Холмса.

Его вопросы и ирония начали раздражать меня. Взяв на себя роль полицейского префекта, он слишком серьезно в нее вошел. Я ответил ему довольно резко:

— У вас есть возражения против того, что я по временам захожу в деревенский трактир выпить стакан вина?

— Конечно нет,— сказал он добродушно.— Наоборот. Чем больше людей брошено на прорыв, тем лучше!

— Я разнюхиваю, вот и все!

— Прекрасно, продолжайте! Унюхаете что-нибудь примечательное, сообщите.

Я пожал плечами. Я не очень-то представлял себя в роли осведомителя, мне вовсе не хотелось давать отчеты Гуру.

— Послушайте,— продолжал он,— вы раза два, не зная того, разговаривали с моим человеком. Мне известно, что вы сталкиваетесь с трудностями. Так вот, на всякий случай я сообщу вам кое-что. Знаете ли вы «Лиловое кафе» в Модюи?

— Нет.

— Вам нужно туда как-нибудь сходить. Очень любопытное место.

— Любопытное? В каком отношении?

Он бросил на меня хитрый взгляд.

— Во многих, увидите сами.

Мы подошли к моему дому.

— Ну что же, всего хорошего,— сказал Гуру.— У вас очень милый садик. Так помните: «Лиловое кафе».

По вечерам я слышал под моим окном песенку:

У меня есть белый камень,
Есть сердце, есть рыжий дрозд,
Два дворца, три камелька.
Я королева...

Я выходил на террасу и видел, как Софи в саду вытягивает носик, будто собачка в ожидании сахара. Или прячется за сосной. Я видел ее тень, но прикидывался озадаченным и говорил громко, чтобы она слышала меня:

— А я думал, тут кто-то есть. Вероятно, почудилось.— Она не двигалась, но я догадывался, что она улыбается. Я добавлял: — Ну, конечно же: здесь столько летающих фей.

Или:

— Это, наверное, призрак большого розового фламинго.

Тут она выскакивала из укрытия.

— Я королева болотного края!

Иногда она оказывалась королевой горлиц, или пчел, или морей.

— Ты меня видел?

— Нет.

— Точно?

— Точно. Я вижу только тени.

— А что ты делаешь?

— Я работаю.

— Вечно ты работаешь.

— Да, часто.

— Как мой папа. Смотри, что я нашла.— И протягивала руку.

— Не вижу. Ты далеко стоишь. Заходи.

— А я тебе не помешаю?

Она входила ко мне в кабинет, лохматая, в брюках, перепачканных в тине, на кофточке — колючки.

Она приближалась ко мне, крепко сжав кулачок. И быстро раскрывала его, чтобы показать новое чудо.

Заметив, что Софи не обращает внимания на Каллаж, я спрашиваю ее как-то, что она думает про стройку: про бульдозеры, скреперы, подъемные краны и драгу. Неужели эти скрежещущие, пыхтящие чудовища, поедающие песок, больше ее не интересуют?

— Нет,— отвечает она,— не очень.

Она пожимает плечами и строит гримаску. Ей больше нравятся лягушки, насекомые. Ну что такое грузовик или бульдозер по сравнению с жуком? Вчера она рассматривала глаз у мухи. Вот это да! Разве людям сделать такой глаз? А еще мухи умеют думать, это точно. Она даже видела, как они смеются. А как я думаю — они смеются, ведь правда?

Она тут же перескакивает на звезды. Это ей рукой подать. Что там за звездами? Небо. А за небом? Опять небо и снова небо. Она про это часто думает, особенно по вечерам, у нее даже голова начинает кружиться. Я говорю: Паскаль, бесконечные пространства... О, это она знает: папа ей говорил. Все равно непонятно. А вот интересно, верю ли я в бога? Она «в общем-то» верит, только вот никак не может его себе представить. А что такое смерть? Она видела мертвых зверей и птиц, у нее у самой как-то птица умерла. Говорят, люди становятся птицами, жуками, ящерицами, а птицы — людьми, или деревьями, или цветами. А дети? Откуда они берутся? «Ну это ты спроси у мамы». Да нет, она

не про то, это она тоже знает. Но они являются откуда-то издалека, как ручейки; текут-текут под землей, выйдут на поверхность и снова уйдут в землю. Да кто же про это рассказал? Никто. Сама придумала. Она часто про это думает, особенно вечером в постели. А ночью видит сны.

— А ты видишь сны? — спрашивает она.

— Меньше, теперь гораздо меньше. А я, когда был такой, как ты, помню, видел сны каждую ночь.

— И я их вижу часто-пречасто. Вот вчера видела сон про Каллаж. Там не было больше ни деревьев, ни моря, один песок. А пирамиды стали мягкие и таяли, как масло. Папа плакал. А я ему сказала: «Давай сядем на коней, помчимся в облака!» Краски были такие чудные; помню небо, ну, совсем красное.

Когда мы кончили первую пирамиду, мы отметили это событие в духе сельских ярмарок. Приехал представитель из министерства, устроили банкет, произносились речи. Все это не во вкусе Дурбена, но он знал, что нужно поддерживать свою популярность в столице, и не был так наивен, чтобы не понимать, что напоминать о себе необходимо. Прибыли и журналисты. Каллаж занял видное место на первых полосах газет. Спектакль обставили по всем правилам: разбили бутылку шампанского, повесили гирлянды флажков, крупным планом снимали бульдозеры, лица рабочих. Со всех сторон летело: «старина»... «поздравляю»... «какая работа!» Элизабет, вся в белом и, честно говоря, поразительно красивая, демонстрировала улыбку, какой я прежде у нее не видывал. День прошел удачно: на заре тщательно смыли кое-какие надписи, несмотря на усиленную охрану появившиеся за ночь, а отсутствие местных властей, единодушно игнорировавших приглашение Дурбена, обошли молчанием. Его раздражал сам факт и то, что кое-кто из журналистов мог использовать его для скандала. Впрочем, скандала-то вряд ли следовало опасаться, ведь господа, прибывшие из столицы, совершенно не разбирались в положении на Юге, а для местных жителей, с другой стороны, каждый, кто приехал с Севера — у власти он или в оппозиции,— для них ничего не значил. Просто тот же сброд, с которым нечего и разговаривать.

Вечером устроили прием, а потом бал в столовой. Элизабет была ослепительна. Ее видели под руку с представителем министра, но в конце концов это входило в ее роль. Дурбен устраивал дела, и я видел, как он пустил в ход все свое обаяние. Мы с ним не обменялись и двумя словами, он только бросал мне многозначительные взгляды, очевидно означавшие: и чего только не приходится делать! Делал он все это, правда, весьма умело. Я, пожалуй, принял бы его старания за чистую монету, если бы не заметил в его взгляде предназначавшуюся мне иронической искорку. Но несколько раз я видел, как он вытирал платком взмокший лоб.

Я был со всеми вежлив, и только. Я приехал сюда не для того, чтобы заниматься светской болтовней. От нее мне становилось не по себе, чтоб не сказать больше. В полночь я сбежал. На двухстах метрах меня не раз останавливали патрули. Гуру знал свое дело!

Я долго стоял на террасе, курил и смотрел на звезды. Море обрушивало волны на песчаный берег, и не знаю почему, я с грустью подумал о фермах, затерянных среди болот, где, наверное, устраивают другие праздники, на которые нас никогда не пригласят.

За соснами выделялась в свете прожекторов верхушка пирамиды. Да, красиво. Не зря Дурбен сегодня обхаживал гостей и вытирал взмокший лоб. Он добился своего.

Я потушил сигарету и пошел спать, но чувство смутной грусти меня не покидало. На праздниках, в минуты триумфов я всегда чувствовал себя чужаком и словно уже предвидел беды и напасти.

Я чуть не забыл упомянуть, что во время речи государственного секретаря вдруг поднялся ветер и растрепал ему волосы и листки с выступлением. На всех посыпался мелкий песок, как пепел вулкана. Но в упоении торжества никто не обратил на это внимания.

Назавтра гирлянды сняли. В общем все вошло в привычную колею, снова закрутились бетономешалки. Участники спектакля убрали галстуки в шкафы и снова натянули рабочую одежду. Я решил, что глупо сердиться на Дурбена за эту комедию, и когда он вошел в мой кабинет и сказал со вздохом облегчения: «Ну что ж, вернемся к серьезным вещам!» — я позабыл о всех обидах, посетивших меня ночью на террасе. Я подумал еще и о том, что блюсти чистоту души — дело нехитрое, только оно плохо совместимо с властью.

— Вы вчера рано ушли,— сказал он мне на прощанье.— Вы не любите таких празднеств?

— Я просто устал. Извините меня.

— Поверьте, я не больше вас люблю такие вещи, но иногда приходится поступаться своими вкусами, чтобы защитить то, что для нас важно. Вот и приходится играть, и я научился играть. Но вас, Марк, я ни в чем не упрекаю. Вчера все прошло хорошо.

— Я рад, искренне рад. Жаль, что...

— Да что вы. Просто ваше присутствие придавало мне храбрости. Элизабет, конечно, была в восторге, но это дело другое...

— Она замечательно выглядела.

— Она всегда замечательно выглядит в таких случаях. Она бы с удовольствием праздновала завершение пирамид каждое воскресенье. Но пирамиды надо сперва построить!

Несколько дней я упорно работал над финансовым отчетом, который нужно было представить в министерство. Я проводил вечера над ведомостями, и у меня не оставалось времени разъезжать по округе. Но иногда я откладывал дела, закуривал сигарету и думал о болотном крае. Меня занимало «Лиловое кафе», о котором говорил Гуру. Надо при первом же случае туда наведаться. Я посмотрел карты. Разыскал Модюи: оказалось, это маленькая деревушка, домики разбросаны в тростниковых зарослях. Ничего особенного. Я туда никогда не ездил. А ведь ночной сторож, кажется, сказал мне тогда: «Я вон оттуда — из Модюи» и ткнул куда-то в сторону пруда. Я погасил сигарету, взял карандаш и стал выверять колонки цифр.

По ночам я стал лучше спать. Но иногда мне приходилось бродить по стройке, теперь освещенной прожекторами. Идея пришла в голову Гуру в день, когда праздновали завершение пирамиды, и эта мера оказалась удачной. Требовалась лисья хитрость, чтобы проникнуть на стройку незамеченным. Но тут-то и произошел один потешный случай: пачкуны пробрались ночью к морю, и утром на корпусе драги оказалась длинная грязная надпись, хлестко рекомендовавшая экипажу причалить к другим берегам. Шутники явно обладали чувством юмора, и их игра с нами в прятки мне почти нравилась. Капитан драги, однако, держался другого мнения и счел себя оскорбленным. Он спал на своей посудине, торжественно величал ее «судном» и не мог перенести того, что «судно» измалевали у него под носом. Нам не нравился этот напыщенный и глуповатый тип, говоривший о море как о пылкой любовнице и не отходивший ни разу от берега более чем на две мили, а наши шутки по поводу происшествия его еще больше озлобили. Он решил, что его преследуют все, и три дня кряду ужинал один у себя на борту. Как видите, вышла целая комическая история.

Ну, а Элизабет носилась в своей белой машине, поднимая на дорогах столбы пыли. Она вела машину, высоко подняв голову, опираясь локтем на дверцу, не проявляя ни малейшего интереса к окружающей природе. Кое-кто считал ее сумасшедшей, но красота ее всех волновала. А я представлял себе ее скуку, праздность и тоску и знал, что она ездит в настоящий город, чтобы хлебнуть единственно приятной ей жизни.

Иногда в темноте я слышал, как шуршат ее шины по гравию. Я подходил к окну и видел сквозь деревья ее светлый силуэт; она быстро взбегала на крыльцо и исчезала за дверью.

Окончив свой отчет, я обнаружил, что меня одолевает одна мысль: съездить поскорее в болотный край и посмотреть, что это за «Лиловое кафе», которое наводило меня на неясные мечтания, пока я был погружен в ведомости. Небо предвещало грозу. Тяжелые черные тучи наползали с моря, плыли над колыхавшимися зарослями тростника. Вдруг прилетели фламинго, черные на фоне медного заката. Они дружно сделали разворот, и крылья их в последних лучах солнца стали темно-розовыми. Я раньше так долго и тщетно искал птиц, что разволновался при их появлении. Я онемел от восторга, стоял на берегу канальчика, по которому ветер гнал волны, и смотрел на эту веерную легкость.

Уже совсем стемнело, когда я двинулся дальше и долго плутал по дорогам, напоминавшим одна другую,— указатели здесь так же редки, как прохожие. В конце концов я доверился звездам. Но признаюсь, я сам удивился, когда в свете фар вдруг увидел название деревни — дегтем на деревянной планке. Звезды привели меня куда следовало, но надпись дегтем произвела на меня не меньшее впечатление.

Модюи оказалась захудалой деревушкой: среди растущих как попало тополей и кипарисов десяток домишек в свете тусклых фонарей. Я без труда отыскал «Лиловое кафе» на маленькой площади: в краю, где царит оливково-зеленый цвет, двери и ставни его резко выделялись свежим слоем лиловой краски. Не свидетельство хорошего вкуса, конечно, но зато тут был налет тайны.

Я толкаю дверь и вхожу в большую комнату, выбеленную известкой и полную галдящего народа. За самым длинным и шумным столом передают по кругу большой ковш. Ну и ну! У них у всех на головах кожаные шляпы! Мне сразу вспоминаются пастухи. Значит, у этого скота Гуру и в самом деле есть нюх?

Я сажусь в углу. Никто и так не обращает на меня внимания, кроме нескольких стариков, которые смотрят искоса, потягивая вино из стаканов. Уж не они ли прославленные осведомители Гуру? Это было бы прекомично. Красивая девушка с распущенными темными волосами приносит мне кувшинчик вина. Я тут же закуриваю сигарету и сквозь дым разглядываю зал.

Скоро я уже чокаюсь с пьяницей за соседним столом, от него пахнет потом и конюшней. Для начала я спрашиваю его, что делают вон там с ковшом вина?

— Ах, там? Да тут такой обычай: парень прощается с холостяцкой жизнью. Собрал приятелей и мертвецки напьется. Так уж заведено!

— А вы не из его приятелей?

— Ну вот еще! Наоборот. Видите, это вон тот высокий темный, с бакенбардами, рот — как кобылий зад. Грубый, скотина.

Он понижает голос и, дыша мне в лицо винным перегаром, поясняет:

— Мы с его отцом не поделили пастбища. Тут такого не забывают. Он завтра женится, за девушкой дают порядком земли, зато такая потаскуха, он еще узнает, почем фунт лиха. Ничего! Через год вылезут

рога из-под шляпы. Пока-то он держится, но надолго его не хватит. Смотрите, какие у него глаза. Небось уже три бычьих головы на стене видит. К ночи его отвезут домой на тачке. Обычай. Вот я и жду, хочется посмотреть... А вы нездешний? Путешествуете?

— Да, путешествую.

— Я так и думал,— говорит он и наполняет мой стакан.— Доброе вино, правда? Черное, настоящее. Нравится? А край наш нравится?

Я отвечаю, что край мне нравится, но он, не слушая, сам говорит о здешней жизни: море, солнце, болота, и люди работают сколько надо, не больше. Времени вдоволь, не то что на Севере. Он ничего против меня не имеет, наоборот, я ему даже нравлюсь, но уж на Север он ни за что не поедет: лучше умереть. У него хижина в болотах, какое-никакое стадо, лошади. Немного рыбачит, охотится на уток, на синьгу, кое-что мастерит и живет себе понемногу. Свободен, как ветер! Два раза в год он ездит в город на ярмарку, и с него хватит! И вот край хотят переделать! Видел я Каллаж, эту жуть?

Я отвечаю с безразличным видом, что видел. Разговор приобретает интересный оборот.

— Каллаж,— говорит он,— это лучшие наши пастбища, и зачем же тут строить город? Я знаю этот край как свои пять пальцев: ветры, песок, половодья. Надо изловчиться, чтобы в бурю войти в порт. И чем все это кончится? Они еще хлебнут, уж поверьте.

— Хлебнут?

— Еще как. Не нужен нам этот город. Сперва выискались тут такие, поддержали стройку, легкий заработок любят. Но ветер меняется. Как в Каллаже. Ведь город — значит банки землю отберут, начнется разврат и все такое прочее! А нам что достанется? Если и привалят денежки, то не в наши карманы. И поди знай, будут ли в болотах осенью утки из-за этих их машин. Фламинго уже улетают, видали?

Он продолжает бормотать, что единственное его желание — покой и утки... Юг — это им не колония...

— Ты слишком много болтаешь! — говорит ему темноволосая девушка, которой я подал знак принести еще кувшинчик.

— Не хватало только, чтобы в дело ввязывались бабы! — говорит пьяница и отворачивается.

А за тем столом начинают петь. Ковш, покачиваясь, переходит из рук в руки. Все громче звучат сиплые, грубые голоса. Я спрашиваю служанку:

— Что они поют?

— Песню, на здешнем языке.

— О чем же она?

— Да так, о разном...

— Ну, например?

— Да не знаю, поют вот: «Мы живем под солнцем гордые и свободные...», ну всякое.

— Вот как!

— Да это так, песня...

— Красивая песня.

— Да, песня красивая. И старая, как мир. Ее у нас поют все, с детства. Ее поют в день паломничества.

— Паломничества?

— Да, в сентябре, в Сартану. Вот красота! Собираются жители болотного края, цыгане и даже крестьяне с гор. Вы бы туда съездили поглядели. Приносят статую святой на морской берег, окунают в воду. Танцуют, поют, ходят на церковную службу три дня подряд.

Я смотрю ей в лицо — смуглое, широкие скулы и слегка раскосые глаза — и думаю, что не врут исторические книги, рассказывая о лю-

бовных приключениях между девушками этого края и берберийскими пиратами.

— Вы здешняя?

— Да,— отвечает она,— живу совсем рядом.

— И тут работаете?

— По вечерам прихожу в харчевню, помогаю дяде и двоюродной сестре.

Сквозь дым я вижу, как дядя, усатый старик, уже поглядывает искоса в нашем направлении и проявляет нетерпение. Наконец он кричит:

— Мойра!

— Ну?

— Тебя ждут. Отнеси-ка им поскорей вина!

— Иду.

Я быстро спрашиваю:

— Скажите, с кем это я только что говорил? Он пастух?

— Ну, можно и так назвать. В общем, бездельник.

— Он интересно рассказывает.

— Интересно? Удивляюсь. Небось выпил лишнее. Не слушайте, все глупости мелет... Извините, мне надо идти.

И она идет между столиками, стройная, с тяжелой черной косой до пояса. Так ее зовут Мойра. Какое странное имя! А когда она наклоняется ко мне, я чувствую резкий мускусный запах ее волос и тела.

Дальше все мешается. Мне приносят еще вина, но уже другая темноволосая девушка, более грузная, с широкими бедрами статуи и не очень-то разговорчивая. Пьяница объясняет мне, что это дочь хозяина — Изабель. «Красивая, но с характером!» Он кричит мне в ухо: «Передайте северянам, передайте непременно...» Я киваю. Голоса становятся все пронзительней, а жених, бледный, со взмокшим лбом, сидит, уставившись в стену, будто видит привидение. «Скоро,— гогочет мой сосед,— скоро привезут тачку!» Я выхожу. Звездная ночь качается. Меня рвет.

Я вернулся домой с тяжелой головой. В висках стучало, а в голову лезли нелепые идеи: плавать, уснуть в камышах или бродить до зари по пляжу. Я, конечно, ничего подобного не сделал, но, кажется, завел странный разговор с луной, или это в голове у меня звучали обрывки песен, которые несколько раз фальшиво затягивали пившие за большим столом. Как это сказала Мойра? «Живем под солнцем гордые и свободные». Отлично сказано! И я подумал о том, как приятно видеть женщин, слышать женщин, чувствовать их запах. Я поддал ногой корзинку со скомканными счетами. Хохоча, я лег спать. Моя кровать была как лодка.

Я проснулся, во рту горько, весь во власти противоречивых чувств. От вечера, проведенного в Модюи, остался привкус приключения, но я отлично понимал, что меня раззадорили и оставили ни с чем. Да, в общем-то меня провели. Кто-то снова хитро запутал все следы.

В столовой шутили по поводу моих припухших глаз и отсутствия аппетита: «Что-то тебя не видно вечерами». «Ты, кажется, шатаешься по деревням?» «Тут что-то кроется!» А кое-кто, не стесняясь, прямо отпускал шутки по поводу моих любовных похождений. Я не обращал на них внимания. В конце концов меня оставили в покое, перейдя к вечным разговорам о стройке или о последних политических событиях, которые меня уже давно не интересовали. Я рассеянно прислушивался к разговорам об инцидентах на восточной границе, которые, кажется, повлекли за собой дипломатический протест.

Коллеги раздражали меня, особенно их пустая болтовня. Что связывало меня с этими людьми, кроме строительства Каллажа, превратившегося для меня в обыденность? С тех пор как приехала Элизабет, Дурбен редко обедал в столовой, и компания Гуру и ему подобных вряд ли могла меня утешить. Мишлье оседлал любимого конька — патриотизм:

— Хватит с нас провокаций!

А Гуру ему на это, как всегда, умиротворяюще:

— Ну зачем обострять? Инциденты случаются часто...

— Ссоры буржуев между собой! — крикнул кто-то.

Началась перебранка. Я выпил кофе и вышел. Настроение было отвратительное: хотелось громить все подряд.

Стройка в обеденный перерыв поразила меня безобразием. Иногда летом в полдень стираются краски и все становится пепельным. Или это мой собственный взгляд обезображивал все кругом?

«Не пойду в Модюи,— сказал я себе.— Есть дела и поважнее, чем пьянка с пастухами. Ну, а женщины...»

Я, кажется, даже выругался, послав к черту этот край, черное вино и самого себя. Я всегда тяжело переношу похмелье, меня одолевает тайный стыд, который мне самому неприятен. Очевидно, пуританские раскаяния я унаследовал от северных предков. Что и говорить, они не располагают к веселью.

После обеда я получил письмо от приятеля, который писал о столице, последних спектаклях, модных книгах и новостях в нашем тесном кружке. Один разводился, другой женился, у третьего открытая связь с молодой актрисой. Состоялся вернисаж, где выставили одни только синие картины. Пошла мода на длинные юбки с разрезом до бедра у дам и на красные брюки у мужчин. Или наоборот? А как Каллаж? — спрашивал он. О Каллаже много говорили в связи с открытием первой пирамиды. Правительство уже всерьез рекламирует строительство, подчеркивает престиж, величие, филантропические цели строительства. Все прекрасно! Но за кулисами поговаривают, что этим делом все больше интересуются банкиры и скоро разгорится борьба за прибыли.

Я читал именно это место, когда ко мне вошел Дурбен, весь в пыли.

— Ну как? — спрашивает он.

— Да смотрю почту.

— Есть что-нибудь важное?

— Нет. Ничего особенного.

Я рассказал ему о том, где был накануне, о том, что там обнаружил: недоверие и хитрость.

— Да,— говорит он.— Надо их убедить. Рассеять нелепые слухи. Они ничего не понимают, и их кто-то настраивает против нас. Но только с кем разговаривать? Вы знаете их имена?

— Пока нет.

— Сходите туда снова, узнайте.

— Хорошо.

Я вдруг чувствую облегчение от того, что мне надо опять побывать в «Лиловом кафе», и Дурбен своей просьбой снял с меня всю ответственность.

— Да, кстати, я получил письмо из столицы от приятеля. Там много говорят о Каллаже после того, как мы отметили постройку первой пирамиды. Разгорелись прежние споры. Говорят, будто банки уже нацелились, ждут своего часа... Об этом пишет не только оппозиционная печать.

— Знаю,— говорит он.

— И здесь, в болотном краю, тоже так думают. Они не вникают в тонкости. Просто чувствуют, что опасность грозит со всех сторон, и готовы идти до конца.

— Ну и ну! Знали бы они, какую борьбу я выдержал, какие меры предосторожности, гарантии... Но в общем-то я понимаю их недоверие: они уже столько натерпелись. Но сейчас...

Он встал, перешел к окну, из которого была видна зачерпывающая песок землеройка.

— Это верно, банки ждут своего часа. Но недавно выявлен целый ряд скандальных историй, и они осторожничают и на время притаились. У нас есть несколько месяцев, а может, даже и лет. Я воспользовался моментом, чтобы выйти со своим проектом. Просто появилась наконец возможность. Большинство политиков поддерживает меня по весьма сомнительным причинам, их мотивы не похожи на наши. Ну и что ж! Важно все понимать. Я, наверное, кажусь вам циником?

— Да нет, — говорю я.— Вы строите Каллаж.

— Это верно. Я не из тех, кто во всем разуверился, но я не хочу предаваться иллюзиям. Я многое усвоил за последнее время, потерся среди людей, ну, а нам с вами это нелегко. Теперь-то я знаю, что, кроме горстки преданных людей, мне не на кого рассчитывать и даже дружба не выдерживает испытания корыстью, тщеславием или жаждой власти. Я смотрю на все трезвым взглядом, защитившись броней. Что делать, иногда и мне приходится прибегать к хитрости, чтобы с нею же бороться. Но главное во мне не затронуто. Мне пятьдесят лет, Марк. Я хочу построить этот город. И я его построю.

Я видел, как за его спиной разворачивалась, захлебываясь песком, землеройка. А чуть дальше, ревя как зверь, сражался с препятствием бульдозер.

— Я знаю теперь, что всю жизнь стремился построить Каллаж. Город, возникший в моей голове. Я им одержим, он мне дороже всего. Я хочу оставить после себя след. Мы оба этого хотим, Марк, я это понял, как только вас увидел.

Я неопределенно качнул головой. Его речь не слишком пришлась мне по вкусу — громкие слова мне всегда претили, и я знал, что не стою его похвалы. Легко сказать — оставить след, я-то знал, что мои мотивы не столь возвышенны.

Он сел к моему столу, доверчиво положив на него руку и рассеяв этим жестом мою неловкость.

— Да, мы живем в довольно подлую эпоху, я не завидую тем, кто чувствует себя в ней вольготно. Культ современности, скоростей, показного! Как будто человеку этого достаточно! Поверхность, одна поверхность! Человек пытается скрыть собственную пустоту с помощью денег и вещей. Когда говорят о чем-то священном, все смеются. Я задаюсь вопросом: уж не подписала ли сама церковь смертный приговор богу? Ее служители часто кажутся мне иллюзионистами, которые вызывают призраков из темных углов. В век небоскребов процветают вертящиеся столы спиритов, а святого духа извлекают, как кролика из шляпы во время фокуса. Что же дальше-то будет? Вы ведь знаете, есть храмы, где священники рядятся клоунами, чтобы завлечь детей, а в других иконы малюют по рецептам рекламы и службу ведут на жаргоне предместий под звуки тамтама, потому что тамтам нынче в моде. И странно, в наш век позитивизма появилась вдруг целая армия волшебников, колдунов, пророков, астрологов, хиромантов, которые не гнушаются счетно-вычислительными машинами и счетами в банке. А сколько сект! Чему только не поклоняются: проститутке, черной собаке, утробному плоду! А в прошлом году, помните, много писали о какой-то банде, прославлявшей культ смерти в какой-то пещере, уж не

помню... Так где же он, бог, как его ни называй? — Он показал в окно, на законченную пирамиду в лучах солнца.— Вот почему я обрадовался, когда мы нашли маленькую принцессу. Я вошел в склеп, и меня охватил священный трепет. И захотелось построить церковь. Мы скоро ее закончим, она будет белая и светлая. Священника в ней не будет.— Он встал, провел рукой по глазам.— Простите, Марк, я отрываю вас от работы, да и стоит ли говорить о таких вещах? До завтра.

После его ухода я подумал, что заразился безумием Дурбена, и это благородное безумие. Только при чем тут бог? Разве не достаточно просто строить красивый, удобный город, чтобы там жили люди? Но надо было кончать расчеты, и даже бог не мог сделать их за меня.

В июле началась страшная жара. Раскаленное солнце висело над Каллажем, люди работали голые до пояса, уже черные, как мавры. Все стало смахивать на африканский поход, и Дурбен, носившийся в своем «виллисе», грудь нараспашку, с коричневым лицом, на котором проглядывали светлые полосы морщин, напоминал мне морских завоевателей, прославлявшихся в свое время печатью. Да, в его взгляде появилось напряжение, неистовость, та самая, что поражала меня у прославляемых. Он носился по дорогам, изучал карты, отдавал приказы, инспектировал, воодушевлял, ругал, наставлял. Он был сразу повсюду. По ночам в его окне долго горел свет. Как будто его поджимало время и подгоняло нечто, ведомое только ему одному.

А положение на стройке было по-прежнему неплохое: воздвигались стены, их все так же пытались пачкать, но это стало делом привычным, в столице нас по-прежнему поддерживали, а инциденты на восточной границе, как всегда, завершились туманными дипломатическими извинениями. Располагал ли Дурбен еще какими-то секретными сведениями или просто страсть его накалилась, как страсть к женщине, которая вот-вот исчезнет навсегда? Как бы там ни было, он жил словно в лихорадке... Он худел. «Вы полагаете? — спрашивал он.— Пустяки. Это от жары. Поживем — увидим...» И он исчезал.

Элизабет тоже жаловалась, что совсем его не видит, целый день он на стройке, а ночью работает в кабинете и от усталости там же валится на походную кровать. Она не жаловалась, а отпускала колкости, которых Дурбен не слышал. У него в голове были одни пирамиды. Он раскрывал рот, только чтобы говорить о пирамидах. «Я повторяюсь»,— признавался он иногда. Если в его присутствии кто-то отваживался затеять разговор о другом, он слушал из вежливости, но по взгляду его было видно, что это его не интересует.

Такие страсти у таких людей бывают заразительны. Страсть Дурбена захватила нашу пеструю компанию, хотя у некоторых она едва проявлялась, как слабеющая в конце разбега волна. Но я должен сказать, что в то время у всех был «порох в пороховницах», за исключением Элизабет, которая оставалась равнодушной.

Я не без волнения встречался с ней на дорогах. Она водила машину быстро, волосы ее развевались по ветру, лицо закрывали огромные темные очки. Она издалека махала рукой в ответ на мое приветствие и исчезала в вихре пыли. Да, я сознавал свое волнение, но она и раздражала меня, и вызывала даже подспудный гнев, точно в увлеченье бешеной гонкой, цель которой оставалась мне неясна, она меня покидала и предавала. Конечно, я был привязан к Дурбену, но не только это одно определяло мое отношение к ней. Я не люблю внешней холодности, в которую рядятся некоторые красивые женщины. И мне претит,

если они проявляют полное равнодушие к делу, которому я предан, а у нее я скоро почувствовал не только полное равнодушие, но даже презрение. И если уж говорить начистоту, мое тщеславие страдало от ее взглядов, скользивших по мне, словно меня и нет.

В течение многих месяцев я обходился без женщины, точнее, почти без женщин. Я переношу это довольно легко, когда охвачен грандиозным замыслом, который для меня превыше всего, которым заполнены мои мысли и поглощены силы. Именно так и захватил меня Каллаж в ту пору. И если я съездил несколько раз в Сартану к женщинам, то скорей побуждаемый рассудком, чем желанием. Как водится, стройка и масса одиноких мужчин привлекла стаю пташек, которые обосновались в низких домишках неподалеку. За исключением нескольких страшил, все были довольно привлекательные создания, хоть от них и пахло потом и кожей. Экзотика хоть куда! Зато эмоций не требовалось. После кратких переговоров о цене они становились бессловесны и проворно задирали юбки в тесных альковах, побеленных известкой. Я возвращался от них, уверясь в своей мужской силе, но с чувством отвращения. Такой дешевкой себя не обманешь.

Зато я вернулся в «Лиловое кафе», и скоро у меня вошло в привычку проводить там вечера. Я заканчивал работу, садился в машину и ехал в болотный край. Я бродил в тростниковых зарослях, чтобы глотнуть свежего воздуха, я приезжал в харчевню, пока там было пусто, в час между ужином и картами, гладил собаку, приветствовал последних выпивох и садился поболтать с Мойрой и ее двоюродной сестрой Изабель.

Вскоре меня стали пускать на кухню — признак доверия. Не всякого считают достойным увидеть то, что скрывают от посетителей: иногда это лучше, иногда хуже, чем зал, открытый для всех. Здесь кухня оказалась лучше. Я заставал старуху у печи, а Изабель и Мойра резали хлеб, доставали вино, мыли посуду или еще что-то делали в темных углах. Они смеялись, завидев меня, отпускали шутки по поводу моего обгоревшего лица, хорошего вида или соломинки, приставшей к полю моего пиджака. «Он встретил на болоте Чумичку». Они фыркали и толкали друг дружку локтями. Я не знал, кто такая Чумичка, но не сомневался, что это либо столетняя здешняя старуха, либо какая-то уродина. «Замолчите, вы, дуры!» — кричала на них старуха, а сама смеялась и говорила, поворачиваясь ко мне: «Да не слушайте вы их, милый господин, они сами не знают, что плетут. Молодые, вот черт в них и сидит! Ну хватит, Мойра, налей-ка нам лучше по стаканчику!»

Босоногая Мойра подходила и наливала вино. Я видел разметавшиеся волосы, капельки пота на лбу. От ее кожи пахло мускусом. Мы со старухой чокались, потом она поднимала с кастрюли крышку и говорила:

— Вы только понюхайте! Ну, что скажете?

— Великолепно! Боюсь, мне не устоять!

— Вот видите! Мойра, поставь-ка прибор.

И я все чаще и чаще ужинал в харчевне, предпочитая острые мясные блюда старухи безвкусной пище в столовой и компанию девушек — компании моих коллег. Я садился за стол и расстегивал ворот рубашки. Еще немного — и у меня бы завелись здесь свои вещи, как, например, кольцо для салфетки. Я видел за окном дальний край заросшего двора, канальчик, весь в камышах, резвившихся уток, плоскодонку на причале. В воду легко падал косой луч света. Я прикрывал глаза, я забывал о Каллаже.

Ровно в восемь входил старик и садился напротив меня на другом конце длинного стола. Он вытаскивал из кармана нож со штопором и быстро проводил по лезвию большим пальцем, словно готовился к поединку, но ограничивался тем, что трижды ударял по столу костяной ручкой. По этому сигналу Изабель вносила супницу с супом. Вначале она наливала старику, потом мне. Женщины ели, стоя на кухне. Старик звучно втягивал суп. Между супом и вторым мы обменивались несколькими словами о погоде, о болотном крае. О Каллаже речь никогда не заходила: словно я свалился на них прямо с небес. Потом подавали сыр. Наконец, старик складывал нож. «Ну что ж, пойду скот посмотрю». Он сгребал в ладонь крошки, бросал их в рот и выходил.

В дверном проеме появлялась мордочка Мойры. Она входила украдкой, за ней Изабель. Мойра снова сверкала босыми ногами. Она садилась напротив меня и закуривала сигарету. То были минуты нежности. Меня забрасывали вопросами: что я сегодня делал? А Дурбен? А Элизабет? Она утром промчалась по деревне на машине. На бешеной скорости. До чего красивая! Какие волосы! И куда это ее несло? А волосы она красит? А часто я ее вижу? Она заворожила их, особенно Изабель, которая мечтала о светлых волосах, о подведенных, как у Элизабет, глазах, платьях и украшениях. Я говорил: «Но ведь вы обе гораздо красивее ее!» У них округлялись глаза, они восклицали, считая, что я над ними смеюсь: «Да нет же, нет!» — «Давайте-ка лучше поговорим о вас; что нам эта Элизабет!» О них? Да что о них можно рассказать? Они не считали себя достойными внимания: дикарки!

Я настаивал: «А что вы делали сегодня?» «Сегодня,— переспрашивала Мойра,— сегодня? Да вот...» И тут ее прорывало. Она встала сегодня на рассвете, вышла и увидела за домом несколько фламинго. Все утро работала: срезала камыши. Потом обедала. На обед ела рыбу, поджаренную на углях. Передохнула после обеда, поехала с Изабель на лошадях купаться к морю. Ну, а потом вернулись в харчевню. Вот и все. Больше ничего. Но я расспрашивал, сколько же было фламинго, какую рыбу жарила она на углях? Куда ездили купаться? На последний вопрос они не хотели отвечать. Очень красивое место. Тайна. Надо сохранять в тайне то, что любишь...

Я увидел огонек вызова в глазах Изабель. Я подумал про Каллаж. Я упал с неба на землю! Да и картежники начали собираться, и старуха причитала в дверях кухни, что времени уже много и ей не справиться, нужна подмога. Изабель и Мойра поднимались. Передышка кончилась, и уже я стоял один у окна, где закат поджигал камыши. И тут на меня находила тоска, и рассеять ее мог только сон.

Вернувшись к себе, я иногда находил под дверью послание от Софи, нацарапанное на клочке бумаги, и читал его при свете луны:

«Я нашла маленького скорпиона, он почти голубой, и еще красивый розовый камень. Вот увидишь».

Или:

«Я выпустила шесть улиток в твоем саду, а ракушки пометила красным крестиком. Если найдешь такую, положи в эту коробку».

Иногда у меня сжималось сердце:

«Птичка умерла. Я ее похоронила сегодня вечером...»

Бывало, она оставляла стишок. Вот что я нашел на мятой пожелтевшей бумажке в одной из папок с делами Каллажа рядом с фотографией самой Софи — косички, склоненная головка и приличествующая случаю улыбка.

Вот ее стишок.

**МЫШКА**

Я нашла в саду мышку — в три сантиметра
коротышку.
Может, она и есть знаменитая
Аладдинова мышка?
А как проверить, что это Аладдинова
мышка?
Я измерила ее в саду, она — коротышка.
А какой длины знаменитая Аладдинова
мышка?
Мышка в саду — в три сантиметра
коротышка.

А на полях сидела ослепительно лиловая мышка. Помню, стишок произвел на меня большое впечатление. Софи мне определенно нравилась, и я находил в ней бездну талантов.

Перечитывая эти строки, я вижу теперь, как угасло к той поре мое увлечение Каллажем. Странно, сейчас меня трогает больше то, что тогда было на втором плане: мгновения, места, лица, особенно женские, и лицо маленькой девочки. Удивительная вещь — память, ее не проведешь! Но в ту пору я еще не отдавал себе отчета в своем легком охлаждении и посвящал Каллажу свои дни и большую часть дум. Я все еще был во власти того порыва, который с первых же дней совлек меня с пути. Я восхищался Дурбеном, я любил его. Склонившись над гроссбухами, я мечтал о прекрасном городе и верности людей. Но вот наступал вечер, и я слышал иной зов. И тогда я садился в машину и уезжал из Каллажа в болотный край.

Этот зов, даже много лет спустя такой же настойчивый, мешался с шорохом ветра в тростниках, с шелковым шелестом бесчисленных камышовых метелок, с дальним гомоном птиц на пруду. Да, вот оно: всю низкую равнину перед наступлением темноты охватывало волнение, она вся вздымалась, как растревоженный зверь. Но за этим зовом я чуял другой, тайный: его мне бросала тишина и, сами того не зная, два юных женских существа.

Я в них влюблялся. Впрочем, в обеих сразу. У Изабель мне больше нравились голос, руки, посадка головы, а у Мойры — волосы, глаза и гибкость стана. То жест одной трогал меня, то улыбка другой, у той — живость, у другой — нежность. Но говоря по правде, я и не пытался их разъединять, встретиться с одной из них наедине я бы ни за что не решился. И потом я знал, что они сильно привязаны друг к другу и шага не могут ступить одна без другой. Как два цвета, они чудесно сочетались и дополняли друг друга, и нравилось мне именно это сочетание.

В Мойре, правда, было больше тайны: волосы сфинкса, черное платье, молчаливые взоры. Я разузнал кое-что о ее прошлом: она потеряла родителей в раннем детстве, училась в плохонькой школе, дрожала от холода и молилась, а потом перестала молиться совсем. Окончив школу, она сразу вышла замуж за здешнего рыбака, но вскоре он погиб в грозу на море. Да, много смертей, и некоторые утверждали, будто у нее дурной глаз. Я же находил эти глаза слишком прекрасными, чтобы этому верить, а то, что по пятам за ней бродила смерть, делало ее для меня еще трогательней.

Вы уже, наверное, догадались, что я тайно предпочитаю Мойру. Я мечтаю о ней чуть больше, чем следует. Я твержу ее имя — Мойра,— и я вижу каяки в устье реки, тростниковые хижины, высоких

мавров в тюрбанах и девушек, которых насилуют в густых травах, взоры у них гневные, но влажные, и они собирают разбросанную одежду, а рядом приводит себя в порядок усатый насильник. Иногда я сочиняю романтическую историю из тех, о которых пишут в романах: глава пиратов, влюбленный в крестьянку, уходит с разбитым сердцем в море или, быть может, бросает из-за нее корабль и укрывается в болотном краю. А вдруг это королевич, и потому необычное имя передается из поколения в поколение, да и осанка ее напоминает горделивую осанку королев. Мое воображение разыгрывалось, когда я думал о Мойре, хотя в глубине души я этим историям не верил. Они лишь утоляли жажду приключений, когда строительство Каллажа стало обыденностью.

По вечерам, когда старик оставался в лугах со своим стадом, мне удавалось иногда ужинать с девушками.

— Мойра, почему ты ходишь босая?

— Потому что я люблю чувствовать под ногами землю. То прохладную, то горячую. Разве ты не любишь трогать вещи руками? А я люблю ощущать все ногами. Когда я босиком, я как коза.

— Коза?

— Да.

— Дикая?

— Да, совсем дикая.

— А что ты любишь?

— Воду, землю, свободу.

— Как в песне.

— Да, как в песне! Ну а ты, зачем ты строишь этот Каллаж?

— Молчи, дерзкая девчонка,— кричала старуха.

— И что только будут делать в Каллаже с нами, дикими козами? На привязь посадят?

Я пытался им объяснить, защитить Каллаж, но без прежней уверенности и сам понимая, что мои доводы никого не убедят.

Старуха качала головой.

— Ну, там видно будет. А как у вас дела? Как идет стройка?

Я рассказывал о третьей пирамиде, которую начали строить, о строительстве порта, о том, что уже создана улица, построена церковь. Я рассказывал о пачкунах, которые опять измалевали нам кран, и о новой стычке между рабочими с гор и из болотного края. Я много чего им рассказывал. Старуха слушала и жевала хлеб. Я умолкал.

Мойра смотрела на меня и вздыхала. Но даже в упреках ее была нежность, которая не оставляла меня равнодушным.

Я чувствовал, что Дурбен все больше беспокоится. Как только он получал почту из столицы, он запирался в кабинете и выходил озабоченный, с тревожной морщиной поперек лба. Но он ничего не говорил, а я не отваживался задавать ему вопросы, которые вертелись у меня на языке.

Однажды утром он садится напротив меня:

— Мне надо поговорить с вами, Марк. У меня такое впечатление, что наверху против нас что-то затевается...

Увы, это не просто впечатление. Сперва он думал, что это бредни паникеров, но теперь совпадали многие данные, и уже нельзя не верить слухам, еще глухим, но они быстро распространяются. Кое-кто уже рассчитывает, мечется, плетет заговоры не против него самого, а против Каллажа. К гарантиям, которые были ему предоставлены, теперь относятся как-то несерьезно. Поговаривают, что его затея — утопия, идеализм. Того гляди, предложат «реалистические» измене-

ния! И за всем этим банки, могущество и хитрость которых, как он понимает сейчас, он недооценил. Сейчас он больше ничего сказать не может, но он уедет. Там будет виднее. Он все выяснит, начнет борьбу, если нужно. Это дело нескольких дней.

— Я чувствую,— сказал он,— что наши подлинные враги не здесь, не в болотном краю. Они стоят у руководства, и если мы не будем настороже, они начнут поддерживать южан.

Он встает. Он решил сражаться, и ему не сидится!

Вечером я вижу у входа в харчевню лошадей с чудными седлами из рыжей кожи. В зале шум голосов. Я обхожу кругом и черным ходом иду на кухню. На сей раз старуха не рада моему приходу. Она кивает на столик в углу:

— Садитесь-ка. Я вам подам.

— У вас сегодня полно народу!

— Суббота, бывает.

— Пастухи?

— Да. Всяких хватает.

— Вернулись стада графа,— говорит Мойра, входя в кухню со стаканами.

— Графа?

— Да, графа Лара. Крупного здешнего землевладельца. Не слыхал?

— А ну-ка закрой дверь и ступай людей обслуживать. Живо!— кричит старуха.

Я слегка отклоняюсь и смотрю в зал. Я никогда не видел вблизи пастухов, пасущих большие стада, но такими мне их и описывали. Коричневые лица, бороды и волосы, стянутые на затылке. Одежда почти вся из кожи, от сапог до шапки, и рубахи распахнуты на груди. А на поясе нож в черных ножнах.

Сейчас они спокойные мирные люди, но могут, видно, превратиться в грозных противников, и, зная об их отношении к Каллажу, я предпочитаю держаться от них подальше. То, что мне хочется выведать о болотном крае, от них все равно не узнать, да и местный говор для меня совершенно непонятен.

Я спросил у старухи:

— А где их стада?

— Там, на пастбищах,— говорит она с неопределенным жестом.

— И много скота?

— Четыреста-пятьсот голов.

— И все это принадлежит графу?

— Да нет, здесь несколько стад... Ну и галдеж! Мойра, закрой дверь!

— Ну что ж, я пойду!

— Как вам угодно. Суббота, вечер, сами понимаете... Выходите черным ходом!

Но когда я собираюсь идти, Мойра шепчет мне на ухо:

— Мы с Изабель завтра идем на пляж. Пойдем с нами! Ждем тебя к одиннадцати. Поедем верхом.

В одиннадцать часов лошади уже стоят под фиговыми деревьями и отгоняют хвостами мух, насевших на крупы. Я взбираюсь в седло как можно ловчее. Легко сказать — ловчее: лошади в этих краях строптивы — сплошные мускулы и нервы, и хотя в общем-то я взбираюсь в седло, но без особой грации. Девушки наблюдают за мной исподтишка. Для них сесть в седло так же просто, как дышать. Куда уж тут надеяться на снисходительность, тем более что обе большие насмешницы. Поэтому само молчание их для меня уже лестно.

— Ну, двинулись!— кричит Изабель воинственно.

Мы едем по дороге, идущей вдоль канала позади харчевни. Впереди Изабель, она насвистывает сквозь зубы, затем я и Мойра. Дорога все время петляет. Кругом заросли тростника, и кое-где проглядывает темная вода, узкие тропинки. Я окончательно сбиваюсь, но тут Изабель громко свистит, девушки останавливаются и объявляют, что завяжут мне глаза — такое правило, они решили меня допустить в это тайное место, но не хотят, чтобы я знал туда дорогу. И тут Изабель прибавляет:

— А то вдруг ты захочешь здесь что-нибудь построить...

Но Мойра тут же ее перебивает, и я заключаю, что попал сюда именно благодаря ей, а недоверчивая и ревнивая Изабель лишь с трудом ей уступила.

Мойра подходит совсем близко, и я чувствую, как ее нога касается моей. Вдруг ее лошадь ржет. Мойра снимает с головы платок и плотно завязывает мне глаза, и от него идет сильный мускусный запах ее кожи. Он перемешивается с запахом коней и пьянит меня. Я ничего больше не вижу и могу ориентироваться по запахам и звукам. Они вдруг стали странно четки: звяканье кольца, фырканье коней, жужжание пчелы.

Мойра проверила, плотно ли повязан платок. Ощутив ее пальцы на своей щеке, я испытал желание лизнуть их или куснуть. Но ни того, ни другого, конечно, не сделал. Мойра отъезжает, и мы снова продолжаем путь, вначале шагом, потом рысцой. Я слышу, как Изабель насвистывает почему-то уже позади меня. Потом смолкает. Подковы глухо стучат по торфу и песку.

Я часто видел во сне, как вслепую бреду по подземной, полной звуками ночи. И всегда меня вел — неизвестно, к худу или к добру — невидимый поводырь, которого я представлял себе не иначе как женщиной. И на сей раз я пустился в увлекательное путешествие с волнением, с примесью легкого страха и, убаюкиваемый размеренным бегом коней, уже не знал, как бывает во сне, бодрствую я или сплю.

И тут я слышу крик Изабель, она понукает лошадей, и те уже мчатся, они словно взмыли в воздух, и уже не слышно стука подков. Вот в лицо хлещет свежим ветром, новыми запахами, и голос Мойры:

— Можешь снять повязку. Приехали. Гляди!

Я развязываю платок. Меня слепит яркий свет. Мы стоим на вершине белой высокой дюны, лицом к морю.

Потом я не мог вспоминать тот день или, точнее, минуту, когда я снял платок и увидел доселе незнакомое место не без чувства легкой растерянности, словно две колдуньи навсегда сбили меня с моего пути. А они и впрямь походили на колдуний: волосы развевал ветер, глаза горели, белые зубы сверкали на солнце; две юные красивые колдуньи отводили лошадей в расщелину дюны, куда сосновая роща бросала низкие тени.

Привязав лошадей, они раздеваются. У той и другой глухие черные купальные костюмы, таких давно никто не носит в столице. Но в таком возрасте, с такими фигурами можно ходить и в мешке. Я смотрю на них украдкой, волнуюсь и сравниваю их фигуры. Изабель поплотней, у нее шире бедра, высокая круглая грудь, сдавленная тканью; Мойра — тоньше, прямей, а груди у нее острые. Я снова спрашиваю себя, какая мне больше нравится, и прихожу к выводу, что, как ни странно, они мне нравятся обе и мне не хочется их разъединять. Я тут же представляю себе обеих у себя в постели, и видение так волнует и пугает меня, что я гоню от себя эти мысли.

— О чем ты там размечтался?— кричит Изабель.— Пошли купаться.

И они спускаются к морю впереди меня — так бывает все время с тех пор, как мы вышли из харчевни. Я вхожу в воду и плыву рядом с ними. Они молчат, распущенные волосы плывут по воде. Я поворачиваю назад и вижу один песок до самого горизонта.

После купания мы перекусили и выпили черного вина, которое они принесли с собой в бурдюке из козьей шкуры. Мы запрокидывали головы и вливали в рот вино, стараясь не захлебнуться, а оно текло прямо в горло, булькая, как ручей. Девушки мастерски владели этим искусством и обучали меня, я несколько раз облил себе грудь, но в конце концов научился пользоваться бурдюком. Мойра меня обтерла. Чувствуя на своей коже ее пальцы, я снова понял, что она мне нравится больше и что я тоже ей нравлюсь. Мы выпили еще, потом смотрели, как скарабеи скатываются с песчаных склонов, оставляя за собою след, легкий, как письмена. Я спросил девушек, разбирают ли они эти строчки, и они ответили, что, конечно, если постараться, понять можно, они ведь колдуньи.

— Ну тогда попробуйте прочитать, что скарабей вывел около моей ноги.

Я спросил у них, как распознать колдунью. По длинным волосам — был ответ. Но только они не настоящие колдуньи, у них в болотном краю считают, что колдуньи все светлые.

— Значит, Элизабет колдунья?

Они молча переглянулись.

— Некоторые здесь так и думают, но мы — нет. Волосы у нее не такие уж длинные. И потом, у нее голубые глаза, я хорошо рассмотрела в последний раз. А у колдуний глаза зеленые.

— Или сиреневые.

— Да, зеленые или сиреневые. А у великих колдуний — так у тех один глаз зеленый, а другой — сиреневый.

— Значит, Элизабет не колдунья.

— Да, вряд ли.

Они хотели знать, считаю ли я ее очень красивой. Я ответил, что да, считаю, но, по моему мнению, они еще красивей.

— Не верю,— сказала Мойра.— Мужчины больше любят блондинок. Я ведь вижу, как они на них заглядываются.

— Да,— сказала Изабель.— Заглядываются, а потом попадаются. Им бы их бояться надо, а они на них женятся.

— Но, может, они женятся на блондинках с короткими волосами.

— Да, возможно, но по ночам волосы быстро отрастают. Как лес. Мужчина ничего не замечает, а утром его находят задушенным.

— Но с вами-то мне нечего бояться.

— Нет. Скарабей около твоей ноги написал: «Закрой глаза, повинуйся голосу. У тебя есть хранительницы».

Мы растянулись на песке и глядели на чаек, круживших высоко в небе. Они рассказывали, что чаек здесь считают душами моряков, а если попадается черная или серая чайка, это — душа горца. Но их очень мало: у горцев вообще-то души нет. Потом они начали сравнивать своих лошадей, каждая расхваливала свою, и они чуть не рассорились, а меня разморили вино и жара, я дремал и слушал их вполуха. Мне казалось, что я расстался со своим телом и теперь я наполовину из солнца, наполовину из земли — и так будет длиться вечно.

Но вот девушки встали и объявили, что пора двигаться в путь и что мне придется снова завязать глаза. Я запротестовал для приличия:

— Зачем?

— Не задавай вопросов. Иди за нами. Сегодня ты обещал слушаться.

Раз уж я принял правила игры, приходилось следовать им до конца. В полной темноте я снова отдался мерной раскачке лошади, спускавшейся с дюны и, видимо, удалявшейся от моря, так как ветерок становился слабей, а жара ощутимее. Я слышал, как сбоку шуршат камыши и снова насвистывает Изабель. Так мы ехали примерно полчаса.

Наконец мне разрешают снять повязку. Все выглядит иначе. Мы в ста метрах от большого хутора за изгородью из тамариска. Перед нами длинный побеленный фасад дома с закрытыми зелеными ставнями; справа что-то вроде часовни с колоколенкой, амбары и загон, и оттуда несколько лошадей, настороженно подняв уши, наблюдают за нами.

Изабель показала мне на дверь, выходившую в большой мощеный двор.

— Иди,— сказала она,— тебя ждут.

Я смотрю на нее с удивлением, потом на Мойру, та улыбается и утвердительно кивает. Я колеблюсь, не знаю, как поступить, а потом медленно иду к двери, над которой, по обычаю края, прикреплены бычьи рога. Мне кажется, что дверь приоткрылась. Я оглядываюсь. Обе девушки исчезли.

Я постучал в дверь. Она приоткрылась чуть больше. В темном коридоре меня поджидал неподвижный силуэт.

— Входите, пожалуйста. Я знал, что вы придете.

Я ничего не понимал и не двигался с места.

— Я не знаю, кто вы такой.

— Граф Лара. Это вам ничего не говорит?

— Да, я о вас слышал.

— Ну что ж, прекрасно.

Мои глаза привыкали к полутьме, и я уже разглядел графа. Это был высокий человек лет сорока пяти — пятидесяти. На нем была рубашка из грубого полотна и кожаные бриджи, заправленные в высокие сапоги Одежда пастухов. Длинные волосы, свисавшие усы, кожа на лице сперва показалась мне изрытой шрамами, но на самом деле то были следы давно перенесенного фурункулеза. Но лицо было красивое, и, как только я в него вгляделся, я тут же почувствовал, как недоверие мое исчезает.

— Входите. Простите, я пойду вперед.

В этот день меня все время кто-то вел за собой, а я даже и не думал протестовать.

Мы вошли в большую комнату, украшенную деревянной резьбой, с пустым камином, с большим крестьянским столом и скамьями; в углу стоял старинный сундук для соли такой причудливой работы, что он напомнил мне трон.

Граф приоткрыл ставни, луч солнца копьем прорезал комнату и воткнулся в навес над камином.

— Прошу вас,— сказал он, придвигая мне кресло, а сам уселся на сундук, скрестив ноги в высоких сапогах и словно утверждаясь в образе монарха.— Безумная жара, правда? У нас летом всегда жара, и к ней надо приспособиться. Те, кто строил эти дома, учитывали ее.

При грубой внешности он обладал мягким голосом и любезными манерами. Но я пока был настороже и не задавал никаких вопросов. Делая вид, будто мое присутствие в его доме — вещь вполне естественная, я надеялся вывести его наконец из равновесия.

— Хотите бокал вина? Да? Отлично.— И он наполнил два бокала.— Я его делаю сам. У меня небольшой виноградник в болотах, но это так, ради забавы. Настоящее мое занятие — скотоводство.

Я кивнул головой, ожидая продолжения.

— Да, у меня стада. Отличные животные. Может, видели их неподалеку от Каллажа?

Итак, слово наконец сорвалось с его уст, и он заговорил о Каллаже. Все это я уже слышал: для постройки города выбрали странное место, у входа в порт два противодействующих друг другу течения, а главное — здесь сильные ветры, они взметают песок. Я ответил, что мы уже посадили деревья, и собираемся укрепить дюны песчаными колосниками, и вообще все предусмотрено. Он пожал плечами.

— Что вы тут сделаете? Это все иллюзии... Если бы вы знали край, как я... Эту землю надо чувствовать, ее нельзя насиловать...

Неужели он затащил меня в свое логово только для того, чтобы говорить все то, что я уже знаю? Я чуть не задал ему несколько вопросов по поводу его посланниц. Но тут же счел это неуместным и сдержался. Я понимал, что в его глазах они лишь мелкие посредницы и что он хочет вести разговор на ином уровне.

Когда теперь я вспоминаю об этой сцене и о той дерзости, с какой граф похитил меня,— ведь это было самое настоящее похищение, хотя и осуществленное необычным способом,— я сам поражаюсь тому, что даже не подумал возмутиться. Человеку в моем возрасте и с тогдашним моим положением не следовало допускать подобное обращение не протестуя, хотя бы приличия ради. Но ничуть не бывало; граф спрашивал меня, я вежливо отвечал и смотрел, как он вертел бокал в луче солнца. Должен признаться, я был буквально очарован. Потом, задумываясь над причиной, я гадал, уж не проснулся ли во мне тогда инстинкт предков-крестьян, которые ни за что не позволили бы себе шутить с графом, даже если его генеалогия сомнительна.

— Я много слышал о вас,— сказал он.— Вас уважают. Даже любят. Мне хотелось с вами познакомиться, поговорить...

— Но вы применили для этого довольно... странный способ.

— Что ж, немного таинственности не мешает. А вам она не нравится? Пирамиды г о с п о д и н а Дурбена, например, красивы—я иногда гляжу на них в бинокль, когда бываю у своих пастухов,— но вам-то как раз не хватает таинственности. Вы не согласны со мной? Нет? Ну что ж! Очевидно, таинственность на Юге понимают иначе, чем на Севере. Что же до моего «способа», как вы его назвали, то, по-моему, способ довольно остроумный. К тому же знайте: вы мой гость, в доме я один, и вы можете уйти в любое время, если вам неинтересна наша беседа.

— Она мне интересна.

— Тогда оставайтесь. Еще немного вина? Да? Отлично. Я хочу поговорить с вами о Юге. Но вы уже начинаете его познавать. Например, я уверен, сегодня пополудни вы хорошо почувствовали его красоту и прелесть...

Он принялся говорить о том, как отвратителен современный мир: скученность, пошлость, безобразные промышленные сооружения, власть денег и господство газет, гибель богов. Все вперемежку. Он разгорячился, встал и принялся ходить взад и вперед перед камином. Он любовно проводил рукой по столу, проходя мимо него: «Посмотрите, какой цвет, фактура. Вишневое дерево. Ручная работа — люди понимали красоту, у них она была в крови и в сердце». А потом: «Я зажигаю по вечерам керосиновые лампы. У меня нет машины, и я не читаю газет. Новости я узнаю от пастухов. Время не имеет для меня значения, вот это и есть жизнь...» И он указывал широким жестом

на землю, воду, свои стада, солнце. Жесты и голос стали театральными, и я уже начал уставать от его речей, хотя в глубине души сочувствовал кое-каким его идеям. Я знал, как можно ему возразить, но вместе с тем понимал, что это бесполезно: таких одержимых не переспоришь. Их можно только слушать или делать вид, что слушаешь.

Он, вероятно, заметил, что я устал. Только что казалось, будто, увлекшись собственным выступлением, он забыл о моем присутствии, но вдруг он взглянул мне прямо в глаза, утих, потер себе нос и со вздохом сел.

— Обо всем этом я говорю вам для того, чтобы вы поняли, что Каллаж стоит у нас поперек горла.

Я почувствовал, что настала моя очередь. Я описал ему характер Дурбена: его бескорыстие, страстность, щедрость, стремление сохранить образ жизни людей и природу болотного края, уверенность в том, что Югу необходимо дать новый импульс жизни, не заражая его духом продажности. Я говорил и дорого бы дал за то, чтобы все это было правдой.

Я увидел, как он отрицательно покачал головой.

— Нет, нет,— сказал он,— невозможно! Мне очень хотелось бы верить в чистоту намерений Дурбена, но он стал орудием, а может быть, даже и жертвой. За ним стоит столько всяких людей. Я говорю не о вас, а о банках...

И тут, в силу старого профессионального инстинкта, я насторожился. Ни слова! Граф и так уже обезоружил меня, но довольно! Тут он от меня ничего не добьется!

— Да, банки. Один стремится захватить побережье, другой — внутреннюю часть края. С одной стороны, интерес к спекуляциям на жилищном строительстве, с другой — к нефти. Для вида взяли на себя кое-какие обязательства, но вовсе не намерены их выполнять!

Он располагал хорошей информацией, но устаревшей.

Вопреки его утверждениям, время кой в чем уже сыграло свою роль, и то, что он не читал газет, особенно финансовой хроники, ставило его в невыгодное положение. Иначе он бы заметил в последние дни сообщения о весьма симптоматичном повышении курса акций. Он не знал главного, а я не собирался его просвещать. Но гордиться мне было нечем, и я понимал, что он все узнает довольно скоро.

Солнце садилось. Лара пожал плечами, и вдруг стало ясно, что он устал.

— Как жаль!— сказал он.

Я не мог понять, чего ему жаль: того ли, что так быстро садится солнце, или что эпоха наша так нелепа, что наша встреча, от которой он, вероятно, чего-то ждал, не уничтожила разделявшей нас пропасти. Или ему удалось прочесть в моих мыслях, что его краю угрожают беды, каких он себе и не представлял?

— И все же вы мне нравитесь,— сказал он.

И я тотчас ответил ему:

— И вы мне тоже.

— Ну что ж, и это неплохо,— сказал он, улыбаясь.

Мы оба растрогались. Немного помолчали.

— Если позволите, я откланяюсь.

— Да, конечно, конечно, как хотите... Вас, наверное, ждут. Ну что ж, теперь мы знакомы, и нам, безусловно, представится случай еще увидеться.— Он быстро поднялся с места, проводил меня до порога и протянул мне руку.— Счастливого пути! Болота на закате очень красивы. Разглядите их получше! К тому же со вчерашнего дня на болотах у Пло появилась стая фламинго. Ваши проводницы об этом знают и, конечно, их вам покажут. Вот уже несколько месяцев, как

фламинго где-то скрываются. Если они покинут нас навсегда, это будет дурным предзнаменованием.

Я пересек пустынный двор, где уже пролегли длинные тени, и пошел по дороге. У первого поворота, за тамарисковой рощицей, мои спутницы поджидали меня. Они не задавали мне вопросов, и я тоже не стал им ничего говорить. Странно, но ни одна не предложила завязать мне глаза, и я любовался закатом, который, как и обещал граф, оказался великолепным. Вода в просветах между камышами выглядела лиловой, а когда мы подошли к прудам, стая фламинго взметнулась в небо широкой дугой, и каждая птица четко выделялась против солнца. Потом вся стая дружно сделала разворот, и крылья сразу окрасились розовым.

На другой день Дурбен вернулся из столицы. Он был бледный, измученный. Одно веко нервно подергивалось.

— Ну как?— спрашиваю я, едва он появляется.

— Новости неважные. Я все вам расскажу. Какие негодяи!

Он повидал всех. Упорно сражался, но дело куда хуже, чем он мог предположить. Скрытая зараза распространялась в финансовых и политических кругах. Симптомы ее он заметил даже среди своих друзей. Было ясно, что люди почуяли возможность нажиться на Юге. Кое-кто откровенно говорил о наживе, кое-кто — о духе времени и о том, что необходимо расширить сферу деятельности, а кое-кто — но часто это были одни и те же люди — о человечности и филантропии. На самом деле каждый норовил урвать кусок. Молочные зубы повыпадали, и вместо них отросли клыки, смахивающие на клыки хищников.

Первоначальные проекты сочли слишком скромными и начали разрабатывать новый план, который, как и следовало ожидать, распространялся на заповедную зону. Дурбен им напомнил об обязательствах. Но ему в ответ лишь пожимали плечами и говорили о «конъюнктуре» и «внутренней динамике». К тому же, мол, местные жители обрадуются, что цены на их земли поползут вверх. В проигрыше не будет никто!

— Это не так-то просто,— отвечал им Дурбен.— Вы их не знаете. Они держатся за свой образ жизни. Постарайтесь их понять.

— Вот увидите, они изменят свои взгляды.

Дурбен пытался объяснять, доказывать. Его вежливо слушали, ему обещали, что будут считаться с его мнением в частностях, но в целом он наталкивался на стену непонимания.

— Посмотрите, вот эти планы,— сказал он мне.

От Каллажа тянулись две заштрихованные зоны, словно гигантские крылья развернулись вдоль побережья и уходили концами в глубь края. Дурбен указал на них пальцем:

— Здесь будет аэродром. Там — жилые районы. Дальше промышленная зона. И повсюду — нефтяные разработки!

— Но ведь это еще не утверждено.

— Да. Это только проект, но его воспринимают вполне серьезно.

— И какие сроки выполнения?

— Два-три года. Может, меньше. Но пока надо построить Каллаж. И вот тут-то они в моих руках, ведь сейчас только я могу это сделать. И все же, если я выступлю против проекта в целом, они сразу от меня отделаются. На мое место охотников хватает, и кое-кто с нетерпением ждет, когда же я отступлюсь. Вот и приходится хитрить, выигрывать время, сражаться. Да, надо остаться и сражаться. Вместо нас никто этого не сделает. Нам нужно построить этот город, наш город!

Он сжал кулаки, снова он был одержим своей страстью.

— А как здесь? — спросил он.— Все нормально?

Я кратко отчитался ему в делах, а затем рассказал о своем разговоре с графом, не уточняя обстоятельств, при которых мы встретились. Дурбен слушал и покачивал головой, но я видел, что он поглощен собственными мыслями и слушает невнимательно. Неделю назад он тут же захотел бы встретиться и поговорить с Лара. Но на этот раз, слишком утомленный, он сказал:

— Да, надо бы с ним повидаться, поговорить. Мы это устроим, как только дела наладятся...

Однако шли дни, мы протестовали, маневрировали, принимали оборонительные меры, а о графе Лара никто не вспоминал.

Именно в это время произошел случай, который поразил воображение жителей болотного края. Стадо быков примерно в сорок голов вместе с вожаком бросилось в канал и потонуло. На рассвете охранники обнаружили трупы, прибитые к плотине. Тут уж языки развязались. В быках здесь понимали толк: дело было невиданное. Один старик утверждал, что примерно такое же произошло в начале века, но подробностей он не помнил. Он выжил из ума, был известный пустомеля и запутался в своих воспоминаниях. К тому же в его истории речь шла не о стаде, а о нескольких животных. Его рассказ все в одно ухо впустили, в другое выпустили. Сейчас произошло что-то неслыханное, и сравнить такое можно только с кровавым дождем, говорящей лошадью или трещиной на солнце. Каждый старался найти объяснение. Перебирали страх, жажду, общий психоз, землетрясение, влияние луны, но ни одно из объяснений не могло удовлетворить людей, которые испокон веков занимались скотоводством. Кто-то придумал даже версию о «летающих тарелках», и она имела некоторый успех. Постепенно дошло и до Каллажа, хотя событие произошло далеко от строительства. Ну ясно, подъемные краны, загрязненная вода, разрытая земля, вечный шум стройки — кажется, достаточно, чтобы взбесить благородных животных, привыкших к пустыне и свободе. А ведь то, что губительно для быков, не может быть полезно для человека. Естественно, что такие разговоры не способствовали нашим успехам.

В харчевне меня встречали с кислой миной. Изабель обращалась со мной чуть ли не как с убийцей. Но во взгляде Мойры я читал не одно только снисхождение. А должен признаться, я никогда не оставался безразличен к чувствам, которые вызывал.

Я решил в течение ближайших дней не показываться в «Лиловом кафе». Шум в конце концов утихнет. Что же касается Мойры, то я могу навестить ее дома, и у нас для разговоров найдутся другие темы, кроме гибели быков.

Она жила на берегу пруда в низком доме, крытом камышом, где поселилась после замужества, а потом осталась после гибели мужа. Под тамариском висели полуистлевшие сети, привязанные к кольям. Черная потрескавшаяся лодка стояла у причала.

Дверь хлева открыта, и я чувствую теплоту и сладковатый запах животных и сена. В темноте слышно мычанье, позвякивает цепь, да ласточки шуршат крыльями на лету. Мойра сидит на табуретке, прижавшись щекой к корове: она доит. Темные волосы неотличимы по цвету от коровьей спины, и я вижу лишь неподвижный профиль и мелькающие руки, а из-под них вырываются струйки молока и звучно стекают в металлический подойник. Она не услышала, как я вошел, и продолжает работу, прерывается лишь для того, чтобы погладить

корову, если та начинает брыкаться, и успокоить ее тихим голосом.

Когда я окликаю ее, Мойра оборачивается и улыбается:

— А, это ты? Я уже почти кончила, садись!

Я пристраиваюсь на краю кормушки, прямо в паутину, и говорю:

— Продолжай, не обращай на меня внимания. Мне приятно смотреть, как ты работаешь, я люблю хлев: детство я провел в деревне. Узнаю знакомые запахи...

Мы потихоньку продолжаем говорить о разных вещах, а молоко звонкими струйками течет в ведро. Она спрашивает, не хочу ли я парного молока. Берет с желоба большую кружку, наливает до краев и протягивает мне.

— Это тоже, Мойра, напоминает мне детство. Я ничего не забыл. Я всегда смотрел на мать и поражался тому, как ловко она доит корову. Сам-то я почти ничего не мог выдоить.

— Хочешь — научу?

— Давай попробую.

Я сажусь около нее, и она мне показывает, как надо брать вымя всей рукой, а не тремя пальцами, и как надо давить сверху вниз. Я чувствую в кулаке нежную и теплую плоть, а рядом колено Мойры. Запах ее волос смешивается с запахом коровы и соломы.

— Вот так! — говорит она и направляет мою руку, но у меня получается не лучше, чем прежде: течет тоненькая, как ниточка, струйка.— Вот так! Нажимай сильнее. Видишь, теперь уже получше!

Я стараюсь, но больше всего мне хочется поцеловать Мойру в шею под прядями волос, что свисают около самого моего рта. Я говорю:

— Ну ладно! На сегодня хватит. Ты меня поучишь в другой раз.

Она кончает доить корову и тем временем расспрашивает меня, как идут дела на стройке, а я отвечаю, что работа продвигается хорошо, но у нас неприятности в столице с политиканами и банкирами.

— У тебя озабоченный вид,— говорит она.— Так чего же они хотят?

— Да не знаю. Вероятно, обмануть нас... Лучше поговорим о другом!

— Как хочешь. Пойдем, я покажу тебе дом.

— Хорошо. А ты не боишься жить одна?

— Чего же бояться? И потом, у меня есть собака, лошади.

— А может, лучше бы тебе жить в харчевне?

— Нет. Это совсем близко. Десять минут, и я там. Я люблю это место. Я ведь дикарка... Зайдешь на минуту?

Внутри дома обстановка, типичная для этого края. Я уже к ней привык: белые стены, печь с балкой, тяжелая мебель из рыжего дерева. Охапки трав прикреплены к балкам и наполняют комнату ароматом. Сквозь приоткрытую дверь я вижу другую комнату, а там кровать и ветки самшита на стене.

— Вот мое жилье! — говорит она.— Тебе нравится?

— Да.

— Совсем не то, что Каллаж.

— Здесь гораздо лучше, чем в Каллаже. Мне, наверное, не надо бы так говорить, но, если бы мне предложили выбор, я предпочел бы жить в доме вроде твоего.

— Ты можешь приходить сюда, когда вздумается.

Немного смутясь, она встает возле печки и рассказывает мне о своем доме, о лошадях, а потом добавляет:

— Ты знаешь, жить одной не всегда приятно. Никто не ждет, когда возвращаешься вечером. Бывают ночи, когда тишина в болотах непереносима!

Я смотрю из окна на поверхность пруда совсем рядом и думаю, что мы, наверное, впервые остались с Мойрой одни, без Изабель. Сидя подле нее в хлеву, я, наверное, мог бы поцеловать ее, и она, вероятно, не воспротивилась бы. Но наступает темнота, и я вдруг отдаляюсь от нее: «Она мне нравится, и только! Как мог я минуту назад думать о том, чтобы...» Мне уже хочется, чтобы с нами была Изабель.

— Уже поздно, Мойра, мне пора.

— Да, верно, а меня уже ждут в харчевне.

Закрывая за мной дверь, она вздыхает.

В последующие дни я видел ее только в присутствии Изабель или старухи. История с быками заглохла, и мы снова мирно проводили вместе вечера на кухне. Но теперь они оставляли во мне чувство неудовлетворенности, и я повторял: «Ну что ты за дурак! Сам не знаешь, чего хочешь. Ведь достаточно только пожелать...» Но я всегда был такой: я так долго вынашивал неясные желания, что возможность их удовлетворить делалась для меня почти неприятной — мне бы не осталось о чем мечтать. Однако другой голос подсказывал мне, что я старею, что в мои годы сомнения ни к чему, ведь скоро-скоро мне придется только дремать в углу у камелька. Душевные распри не продвигали моих дел ни на йоту, и я, как и прежде, сидел в «Лиловом кафе» за тарелкой супа и украдкой поглядывал на Мойру.

Вскоре у нас вошло в привычку прогуливаться после обеда по берегу пруда. Изабель говорила: «Идите-ка вдвоем, у меня нет времени!» Мы шли сперва молча. Закат угасал в неподвижной воде. Свежий ветерок дул с моря, и мы начинали тихо переговариваться. Я рассказывал ей о своей работе в Каллаже, о своих сомнениях и беспокойствах. А она говорила: «Да не думай ты об этом! Представь себе, что ты где-то далеко. Что ничего больше нет». Я видел в темноте ее белые зубы. «Только болота, ты да я. Слушай!» И она объясняла мне, как называются разные звери, рассказывала о детстве, поверяла свои тайны.

Как-то вечером она долго говорила мне об Изабель. Ей хотелось бы на нее походить: быть сильной, крупной и чтобы волосы были прямые.

— Ты видел, как она причесывается? Ей идет? Как ты считаешь? Я думала, ты влюбишься в Изабель.

— Но я же влюблен в тебя, и ты это знаешь.

— Правда? Скажи еще раз!

Но я вдруг целую ее в глаза, в губы, в плечо.

— Я люблю тебя, и наступит день, когда я покажу тебе как.

Я полагал, что она начнет кричать, ударит меня по щеке, как это случалось в наших забавах с Изабель. Но ничуть не бывало — она смотрит на меня серьезно и спрашивает:

— Правда? А когда?

Эти слова у нее вырвались, и она уже кусает губы. Мы, кажется, оба удивлены.

Вообще-то я не люблю слишком предприимчивых женщин, я достаточно нагляделся в столице на свободные нравы. Несмотря на мои эмансипированные повадки, в глубине души я романтик, и мне гораздо милей долгое знакомство, изучение характера, постепенная сдача позиций. Требуется время, чтобы утихли мои опасения. А Мойра вдруг сама идет мне навстречу! Но ведь она же не девочка, была замужем за рыбаком, погибшим в болотном краю. Наверное, у нее бывали и другие мужчины, и я снова терзаю себя вопросами: сколько их было и при каких обстоятельствах? А вдруг у нее и сейчас кто-то есть?

Слова Мойры сперва пугают меня. Она ведь колдунья, и мне кажется, что она расставила мне ловушку в темноте. Стоит двинуться — и я попадусь в капкан. Я смотрю на Мойру, она кусает губы, и мысль о ловушках исчезает. Я вижу только ее глаза, лицо и тело, я чувствую, как она дрожит.

Я спрашиваю:

— Сегодня ночью?

— Да,— говорит она,— да.

Мойра заперла за нами дверь. Мы одни в доме, а на него спустилась болотная ночь. Вокруг бродят собаки, иногда слышно, как они сопят. Ее дядя пошел ночевать в хижину на лугу, где пасутся коровы. Но кто знает, вдруг он придет — вдруг несчастный случай, вдруг лошадь заболела. Я так и слышу, как он стучит в дверь и кричит: «Открой, Мойра, скорей! Что ты там делаешь?» А она, вся сжавшись в темноте и боясь пошевельнуться, не знает, что ему ответить, и шепчет: «Вылезай в окно. Там, сзади». А потом кричит: «Иду, иду, я спала». А я — в глупом положении, наскоро одеваюсь, бегу, рубашка расстегнута, брюки натянуты как попало. А вдруг за мной бросится собака! Видите, как иногда у меня разыгрывается воображение.

Ко всему прочему я не могу оставить машину поблизости от харчевни. Я говорю, что поставлю ее где-нибудь в укромном месте и приду. Я выезжаю и начинаю петлять по дорогам, отыскивая примету: ветряк, засохшее дерево, груду камыша. Илистая почва пересохла на солнце, в свете фар вдруг появляются лошади, шарахаются и скрываются в темноте. Наконец я нахожу тамарисковую рощицу и прячу там машину. При слабом свете луны, впотьмах я спешу назад. В доме горит только одна лампа — в спальне. Мойра, одетая, лежит на постели. Сапоги она поставила перед очагом, волосы распустила.

Вот лампа погашена. Я ищу в темноте лицо и тело Мойры, но мысли мои далеко. Волосы одевают ее, как живое платье под моей рукой. Я никогда не думал, что они такие длинные, я чувствую их на своей коже и вдруг вздрагиваю, словно коснулся звериной шкуры. Видите, какой я глупец: вечно разрываюсь между желанием и страхом. Я делаюсь неловок, а потом мне стыдно за мою неловкость. Мойра молчит, почти не двигается и чуть посапывает: живут только ее губы.

Когда наши тела разобщаются, она тихо вздыхает, и по этому вздоху я понимаю, что она далеко не удовлетворена. Но, словно охваченная раскаянием, она тут же нежно целует меня и, закрыв глаза, кладет голову мне на плечо.

— Хочешь спать?

— Да,— отвечает она.

— Разбуди меня рано, до рассвета.

Комната наполнена запахами сохнущих трав. Поднялся ветер, и камыши шумят, точно волны. Где-то лает собака, видно, заметила зверя, может, лисицу или барсука. Издали с болот ей вторят другие собаки.

По ровному дыханию Мойры я понимаю, что она заснула, а сам лежу с открытыми глазами и прислушиваюсь к ночным шорохам в чужом доме. Каллаж, такой близкий, кажется мне дальней точкой в космосе. Он такой маленький по сравнению с порывами ветра и огромными пространствами болот. И вдруг я понимаю, что городу, гордости его создателей, грозят темные, неведомые силы.

Мойра поворачивается во сне, произнося невнятные слова. В этот ночной час не сплю, наверное, только я один. Но может быть, Дурбен тоже думает о судьбах Каллажа, склонившись над проектами в слабом свете лампы, изредка отрываясь, чтобы взглянуть на пирамиды в лучах луны. А кто еще? Мне вдруг представляется граф — где-то да-

леко, в уединении. Возможно, горестные думы согнали его с постели, и он ходит теперь по огромным гулким комнатам и разговаривает сам с собой, призывая богов к отмщению. Каллаж! Над его колыбелью склонялись не только феи!

В конце концов я засыпаю, но сон мой тревожат сновидения, а скоро звенит будильник и окончательно будит меня. Было еще совсем темно, но уже пели петухи. Я вновь слился в объятии с полусонной Мойрой, и на этот раз все получилось гораздо лучше.

Наступила пора перемен. По ряду предварительных признаков я должен был заранее об этом догадаться, но ничего не заметил, потому что дела поглощали все мои мысли и время и почти не давали поразмыслить. У меня не было ни времени, ни желания прислушиваться к неясным взволнованным голосам, пробуждавшимся во мне. Я упорно работал. Я восхищался Дурбеном, следовал ему во всем, а он не щадя сил прокладывал наш п у т ь.

Что же такое случилось со мной за несколько дней или недель и незаметно, но сильно подействовало на меня? Человек без задних мыслей пускается в неведомый край, который отчего-то кажется ему знакомым, словно он видел его во сне, попадает в чужой дом, встречается и говорит с людьми, выслушивает их мнения, вроде бы ничем его не затронувшие, и вдруг у него под ногами слегка колеблется почва. Он даже не успевает этого заметить: все происходит в несколько мгновений. Он пускается в обратный путь, возвращается домой, но никогда уже впредь не будет он прежним.

Склонившись над гроссбухами у себя в кабинете, я все чаще и чаще удалялся мыслями в иные края и с удивлением обнаруживал во всем, что окружало меня в течение многих месяцев, удивительную безликость. Я ведь говорил, что Дурбен, который все четко продумал здесь — даже мелочи,— стремился сделать каждую деталь простой и красивой. Но его мирок из стекла и металла стал мне вдруг чужд, и пирамиды за окном уже слегка раздражали меня. Я смутно предвидел, что геометрической этой архитектуре не стать обитаемой. Порождение разума, только для разума она и предназначалась. Есть ли здесь место тайне? Маленькая принцесса замурована в саркофаге, а церковь, воздвигнутая над ней как надгробье, служит лишь для игры света.

Я сам не понимал неожиданной перемены в моих настроениях. Но я узнал за это время болотный край, его могучие ветры, его обитателей, с ними я успел даже сблизиться, и они оказали на меня скрытое влияние. Особенно Мойра: я видел ее по вечерам и всякий раз задавался вопросом, действительно ли ее люблю. Да, люблю, конечно, но необычно и тревожно: слепое влечение не только к женщине, но ко всему тому, что открылось мне через нее о бесчисленных тайнах края. Мне казалось, что я открыл в ней женщину наших древних преданий, неотделимую от природы. Запах ее, когда мы с ней сливались, был похож на запах темных вод, влажного песка, взмыленных коней. И снова мне на ум приходило слово «колдунья», как накануне той ночи, когда мы стали близки.

По временам мне казалось, что она действительно колдунья. Каких только личин не носит колдовство, и самая невинная может оказаться самой опасной. Я угадывал ее власть над болотами, где полно магических знаков: бычьи черепа над деревьями, тростниковые треугольники, перевязанные конским волосом, соляные кресты на камнях, глиняные статуэтки, исколотые булавками, или кое-что похуже — пригвожденные птицы, подвешенные рыбы, а то и черный, на-

колотый на длинный шип, паук, на которого я наткнулся как-то вечером.

Это было, помнится, неподалеку от соляных разработок, куда Мойра затащила меня, сказав, что это тайник, в который так просто не проникнешь, но, мол, она из любви ко мне его покажет. Мы шли по извилистой тропинке среди камышей, камыши сплетались у нас над головами, и временами казалось, будто мы идем по подземелью. Затем она осторожно раздвинула тростники, и я увидел клетки соляных бассейнов, разделенных узкими перегородками, соляную пирамиду и амбар, вокруг которого кто-то копошился. Вода в бассейнах была совсем лиловая и, как и белизна соли, поражала взгляд на фоне болотной зелени. Солевар в длинном фартуке из кожи двинулся к нам. Мойра быстро отступила за камыши и потянула меня прочь. Вот тут-то я и увидел того паука.

Замечая такие знаки — а вокруг соляных разработок их попадалось много,— я останавливался и спрашивал Мойру:

— Что это? Что это значит?

— Старинный обычай края, он существует испокон веков. Старухи все еще в это верят...

Но ей не хотелось вдаваться в подробности.

— А ты? Ты веришь?

— Ну, не очень-то.

И все же она призналась, что иногда произносила заклинания и даже делала соляные кресты. Для чего? Да так. Глупости. Она и сама не понимает зачем. Но по выражению лица и по молчанию ее я догадывался, что она что-то скрывает. Я вспомнил охапки трав, подвешенные к балкам потолка у нее в спальне. «Для настоев?» Не очень-то убедительно!

Как видите, довольно странные мысли для человека, занимающегося финансами. И когда Дурбен приходил ко мне поговорить о цементе или о банках — которые, кажется, несколько умерили свой пыл,— все это, несмотря на всю конкретность, казалось мне нереальным, и я не всегда выслушивал его с должным вниманием. Иногда он даже прерывался:

— У вас какой-то странный вид, Марк,— усталый. Уж не больны ли вы?

Я ссылался на работу, на бессонницу. Говорил, что схожу к доктору.

— Да, да, обязательно. Остерегайтесь! Говорят, здесь бывают еще случаи лихорадки.

Я краснел, но Дурбен уже говорил о другом, и во взгляде его я видел совершенное чистосердечие.

Когда я расспрашивал Мойру о графе и моем посещении его дома, она сразу становилась уклончива. Или же посмеивалась: «Ну зачем тебе это? Какой любопытный!» — и тут же меняла тему. Надеялась, что я не буду настаивать.

— Давно вы с Изабель знаете его?

— Очень давно. Его здесь все знают.

— Где же вы с ним видитесь?

— В харчевне.

— Но я никогда его там не встречал.

— Он приходит туда по утрам.

— Каждое утро?

— Нет. Иногда. Он земли объезжает, и, когда его стадо пасется поблизости, он заходит к нам часов в одиннадцать.

— Что ж он у вас делает?
— Что и все: привяжет лошадь, войдет, поздоровается и сядет.
— А потом?
— Пьет абсент.
— Всегда абсент?
— Да.
— Значит, верен своим привычкам. А с вами разговаривает?
— Говорит с родителями Изабель.
— А с тобой?
— Редко.
— Но ведь договорился же он с тобой, чтобы вы устроили со мной встречу.
— Дядя ему рассказал, что ты ходишь в харчевню, и графу захотелось с тобой познакомиться. Мы пообещали, что поедем на пляж и остановимся около его дома. Вот и все. А что ты хочешь выяснить?
— Почему ему захотелось познакомиться именно со мной?
— Откуда я знаю?
— Оттого, что я из Каллажа, а Каллаж его очень интересует.
— Ты думаешь?
— Да. Ты знаешь, конечно, что он думает о Каллаже.
— Не знаю, но, наверное, он против строительства. Это, по-моему, ясно.
— Он действительно настроен к нам враждебно. Но он обаятельный человек и с очень хорошим вкусом. Не из тех, кто изъясняется с помощью дегтя.
— Еще бы!
— Ты видела его после нашей прогулки?
— Да, мельком как-то.
— Ну и что ж, он остался доволен?
— Не знаю, он ничего не сказал. Да что тебя так занимает вся эта история, Марк?

Я пожал плечами и признал, что она права: я беспокоюсь из-за пустяков и есть другие темы для разговора. Она стала рассказывать мне о приближавшемся богомолье. По болотным дорогам уже съезжались в фургонах цыгане. Готовили быков к боям на арене. В харчевне только о том и говорили. Мы собирались поехать в Сартану вместе с Изабель. Она вынула из шкафа платье, приготовленное для празднества: длинное, черное, с лиловой отделкой. «Смотри, нравится? Сейчас примерю». Я никогда не видел ее такой красивой: длинная, тонкая, с узкой талией. Она подняла руки, откинула назад волосы, попросила: «Застегни-ка у меня на спине пуговицы!» Я воспользовался этим и поцеловал ее в шею, и платье было так же быстро снято, как и надето. Потом она спрашивала меня, поедут ли в Сартану Элизабет, Симон и Софи. Жалко, если они пропустят такое зрелище! Заодно и она бы на них поглядела. Я отвечал, что не знаю их планов, но переговорю с ними сегодня же вечером.

Лежа подле Мойры в спальне, среди смешанных запахов трав и ее тела, я почему-то думал о графе и его связях с людьми из «Лилового кафе». Они по-прежнему оставались для меня загадкой, как и он сам.

Выйдя ночью из дома Мойры, я заблудился в камышах. Луна пряталась в облаках. Идя на слабый отблеск болотных вод, я искал примет того места, где оставил машину, но напрасно: болотные тропы похожи одна на другую. Иногда птица вдруг шуршала крыльями, кто-то хрипел, булькала вода или всплескивали, ныряя, зверьки. Вдруг

меня охватила тревога, как в страшном сне, когда бредешь на ощупь в потемках и успокаиваешься, только проснувшись, хотя и потом еще долго не можешь отделаться от неприятного осадка.

Я остановился на пересечении двух тропинок и прислушался к ночным звукам. Сквозь шорох листьев мне почудилось надвигающееся металлическое лязганье, будто что-то волокли по дороге. Я испуганно кинулся в чащу, с чавканьем увязая в болоте. Но вот кто-то приблизился вплотную, дыша мне чуть не в лицо.

Облака разошлись, и в свете луны что-то белое, огромное, задрав голову, надвигалось на меня. Это лошадь волочила цепь, она прошла совсем рядом, не заметив меня, и скрылась в темноте. Металлическое лязганье отдалялось и вскоре сменилось тихим ропотом воды и листвы, а я, с колотящимся сердцем, весь в поту, стоял в глухой незнакомой тьме, пронзенной пением одинокой птицы.

Я бывал в Сартане всего несколько раз, да и то по вечерам, и она вспоминалась мне городком, обнесенным стеной и башнями и будто вросшим в песок между морем и болотами. Но теперь городок сильно разросся, множество людей приехало на богомолье. На улицах и площадях разбили бивуаки, они не уместились в стенах города и растянулись до берега моря. Кого только не было тут! Я видел шумных цыган, их египетские профили, темный загар их красивых лиц, горцев, ростом пониже, замкнутых, притворно сдержанных, и среди них оказались и наши рабочие, обрадовавшиеся случаю повидать родственников и друзей. Были тут и жители болотного края, их кони, привязанные к ограде, били копытами о землю. В городке образовалось несколько поселений, их жители, не выказывая открытой неприязни, почти не общались, держались друг от друга на большом расстоянии. Между тяжелыми, крытыми брезентом повозками горцев и расцвеченными фургонами цыган лежала ничейная земля в несколько десятков метров, и по ней бродили только собаки.

Я обещал Мойре зайти за ней в церковь и в спешке проталкивался сквозь шумное стойбище цыган, среди черных глаз и оголенных плеч. Никогда я так остро не сознавал, до чего же Мойра похожа на женщин этой расы. Я бы почти не удивился, выйди она вдруг из фургона — босоногая, в платье с воланами.

В церкви темно, кроме слабого света, текущего сквозь узкие окна, горят только тоненькие свечки перед статуями святых, наряженных в торжественные одежды. Подле них висят ex-voto [1]. Открыта лишь боковая низенькая дверца — надо наклонять голову при входе,— через нее сочится темная толпа и, как вешняя вода, заполняет всю церковь до хоров и алтаря: мужчины, женщины, дети. Стоит запах пота, гомонят голоса. Тут цыгане и пастухи, а у самых дверей толпятся горцы, они выделяются темной одеждой и, входя в церковь, наверное, испытывают такое чувство, будто лезут прямо в пасть к волку. Из ризницы, где горит множество свечей, идет жар, как из печи.

Я стою у колонны подле алтаря между молодой цыганкой, кормящей грудью ребенка, едва прикрытого грязными тряпками, и морщинистым темнолицым стариком, который ни с того ни с сего раскрывает рот и рыгает. Пот льется у меня по шее. Я ищу глазами Мойру, но не могу найти ее в толпе, а толпа давит со всех сторон и теснит меня от колонны, где я все же держусь, заодно защищая безразличную ко всему молодую мать, а ребенок, бросив грудь, пускает пузыри, точно рыба в грозу. Старик тяжело дышит и потом вдруг почему-то шарит

[1] Приношения по обету *(лат.)*.

руками по выщербленным старым камням. Из ризницы на высоко поднятых руках выносят статую черной богоматери, и на лик ее падает отблеск свечей. Я с удивлением замечаю, что у нее тот же тонкий нос и широкие скулы, что у Мойры, а Мойры все нет нигде. Вдруг рывком отворяется главный вход, и в церковь врывается прямоугольник солнечного света. В дверях епископ, он медленно продвигается вперед по главному нефу. Митра, крест и лиловая мантия сверкают среди нищей толпы, как золотой самородок в грязи, толпа, расступаясь, тянет к нему руки и детей, а он благословляет их скупым, вялым жестом, с застывшей улыбкой на скучном лице. За ним, воздевая руки и гомоня, как утки, ползут на коленях женщины.

Епископ поднялся по ступенькам алтаря, он еще раз благословляет толпу, садится в кресло и, откинувшись на прямую спинку, застывает в неподвижной позе. Тогда встает священник и, кажется, говорит — губы его шевелятся, но до толпы доносятся лишь обрывки фраз: «Братья мои... ваше увлеченье... ваша вера...» Он пытается жестом унять народ. «Ведь вы в храме божьем... тише...»—говорит он. Вот крики утихают. Доносится лишь дальний рокот с площади, а в церкви всхлипы и плач детей. Священник улыбается, подходит к аналою, открывает Библию и медленно, по-крестьянски читает, но теперь его голос звучно гремит на всю церковь:

— «Соль — добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль».

Он поднимает голову, простирает руки и, устремив взгляд вперед, замолкает, стараясь привлечь внимание толпы, но толпа все еще взбудоражена и не может угомониться. Затем, отказавшись от безуспешных попыток, он продолжает проповедь:

— Мои дорогие братья, вы слышали слова Христа: «Соль — добрая вещь» и знаете, насколько они правильны, ибо живете на соленосной земле либо пришли сюда, проделав долгий путь. Да, долгий путь, и в конце пути, усталые, но преисполненные надежды, вы увидели башни нашей церкви и гору соли, высокую, белую, вкусную и похожую на башню храма божьего, ведь только бог дает смысл нашей жизни, а соль придает смысл нашей земле...

Он продолжает примерно в том же духе с полчаса, а потом вдруг заявляет, что есть люди, которые хотят отнять у этой земли смысл и причиняют вред не только жизни, но и богу. Притихшая толпа слушает, устремив взгляды на священника, а тот, опираясь на аналой, говорит уже осипшим голосом.

Вот он останавливается, словно размышляя. Затем поднимает голову и снова говорит о том, что соль — в сердцах и душах всех присутствующих в церкви, как была она в сердце и душе святой, и что всем вместе надо сохранять то, что можно сохранить, и спасти то, что можно спасти. «Да услышьте меня, и да будет с вами бог. Аминь».— «Аминь»,— громко вторит толпа в едином порыве, а священник утирает лоб и поворачивается к епископу, и тот слегка ему кивает.

Затем следует минута всеобщего смятения, нарастает шум, слышатся выкрики: «Да здравствует наша святая!» Я все ищу глазами Мойру в полутьме, застланной дымом свечей. Я поднимаюсь на цыпочки, но сзади кто-то тянет меня за рукав и заставляет опуститься. Ну и ну! Через несколько рядов от меня я замечаю Элизабет, хотя узнать ее трудно. Волосы туго стянуты платком, лицо закрыто темными очками. Я хочу протиснуться к ней, но тут же вижу рядом с ней человека в черном бархатном костюме: граф Лара.

Вот в глубине храма, наверху, со скрипом открывается железная дверца, и все взгляды устремляются туда. Дверца стопорится, показываются растерянные лица, потом снова поддается, и в ней появляется

огромная рака, и чьи-то руки спускают ее на веревках. Она медленно ползет вниз, и ее приветствуют крики и лес поднятых рук с колыхающимися свечами.

А я смотрю на Элизабет и графа рядом с ней и поражаюсь такому совпадению. И вдруг вижу, как граф тянет руку к руке Элизабет и ее пожимает. И хотя на лицах их ничего не отражается, я понимаю, что жест этот — свидетельство их близости и что, кроме меня, никто этого не заметил, ведь все взгляды прикованы к раке. Вот грянул гимн. Я отступаю на несколько шагов, и толпа заслоняет от меня эти руки, которые так и стоят в моих глазах, вызывая головокружение. Элизабет и Лара! Непостижимо! Да, меня окружают тайны!

Руки людей над алтарем исступленно тянутся к раке. Она опускается, загасив протянутые к ней свечи, все хотят прикоснуться к ней руками, одеждой, губами. А внизу цыганки препираются, кому облачать святую. Наконец святую ставят на помост, и четыре человека в белых, как у мясников, блузах поднимают его и несут через всю церковь, словно огромный праздничный торт. Священник машет кадилом, епископ безразлично благословляет темную толпу, тянущуюся за статуей к солнечному свету. Молодая женщина рядом со мной протяжно кричит.

Я нашел Мойру на площади, а процессия в сопровождении пастухов верхом на лошадях уже направлялась к морю. В руках у Мойры были самшитовые четки, глаза блестели сумасшедшими искорками.

— Где ты была, Мойра? Я тебя искал.

— Я тоже. Я стояла за хорами. Потеряла в толпе Изабель. Возьми-ка меня под руку, а то снова растеряемся.

Мы пробираемся по узким улицам вместе с толпой, распевающей песнопения, и среди хриплых, почти нечеловеческих голосов голос Мойры выделялся прозрачной чистотой. Процессия вышла за стены города и сразу растянулась по всему берегу, и те, кто нес статую, и всадники, а потом и все прочие зашли прямо в воду. Я хотел удержать Мойру, но она вырвалась и бросилась во взбаламученную воду возле самых лошадей. Она задрала юбку до колен и изо всех сил старалась дотянуться рукой до статуи. Ее окатило волной, и она подошла ко мне вся мокрая, облепленная платьем.

Когда мы возвращались в город, я спросил ее, не попадалась ли ей Изабель.

— Нет,— ответила она,— но мы еще с ней встретимся. Какое великолепное шествие! Ты любишь танцевать? Можно сегодня вечером потанцевать.

В самом деле, мы нашли Изабель на площади, где уже играли оркестрики из тамбуринов и гитар. Она сильно подвела глаза и была в новом платье, но явно не в духе и сразу набросилась на Мойру: «Почему ты ушла, ведь я же просила не уходить. Я тебя искала, искала!» На меня она почти не взглянула. Но я уже знал ее характер и понимал, что плохое настроение рассеется, а пока лучше ее не трогать.

Я повел их в таверну, где подавали рыбу и осьминогов, которыми славится край. Изабель выпила, повеселела, и мы сидели втроем, как в лучшие времена на кухне, с той только разницей, что здесь им не приходилось обслуживать посетителей, да и не было вечных окриков старухи.

Стемнело. Зажглись огни, и город наполнился песнями, танцами, звучанием гитар, прихлопыванием в такт музыке. В свете пламени лица прекрасней, а движения резче, и я помню, как в ту ночь меня обуяла непонятная сила. Я забыл о Каллаже, я унесся далеко-далеко,

в дикую страну, с которой не в силах буду расстаться. Я танцевал то с Мойрой, то с Изабель, но чаще с Мойрой. Все, что я видел за день, вертелось в голове: церковь, шествие к морю, Мойра возле лошадиных ног, но особенно две руки, искавшие одна другую, и тревожные слова священника. Об этих последних я старался не думать. Я отдался своему настроению, целовал волосы Мойры и начинал верить в счастье.

Позже мы натолкнулись на Симона Дурбена, он прогуливался вместе с Софи. Они приехали к концу шествия, но Симон успел оценить оркестры, танцы и толпу. Глаза у Софи блестели. Я представил им своих дам, но Изабель и Мойра вдруг стушевались. Симон расспрашивал их о Сартане, церкви, шествии. Софи шепнула мне на ухо: «Это твои знакомые? Какие красивые!» — «Ты считаешь? Ты тоже красивая».— «Ну, совсем не так».

— Вы не видели Элизабет? — спросил меня Симон.

— Нет. В такой толкучке...

— Да, конечно. Она хотела приехать. Если увидите ее, скажите, что мы ужинаем вон в том ресторане. Мне надо встретиться с Гуру и Мишлье. И вы приходите, когда кончите танцевать...

Я ответил, что мы, конечно, придем. Но Изабель снова куда-то пропала, а мы с Мойрой пошли прогуляться по берегу. Постепенно исчезли шумы города. Остались лишь легкое дыхание прибоя да луна, бросавшая на море рыжую дорожку. Мойра рассказывала мне о детстве. Я так и видел сад, дом, ее родителей, лошадей, пасшихся неподалеку от соляных разработок, ее детские забавы и игры. Я думал о том, что женщина не всякому доверит свое детство. Тронутый, я положил руку на плечо Мойры и вдруг увидел зарево, занимавшееся во тьме болотного края.

Я крикнул:

— Смотри! Вон там! Что это?

— Не знаю, может, пастухи жгут сухую траву.

— В это время года? Сегодня?

— Да, правда.

Раздался глухой взрыв, потом еще два, снова один.

— Это Каллаж!

— Ты с ума сошел!

— Пошли скорей! Это горит Каллаж.

Я побежал по песчаному берегу, потом сквозь толпу. Мойра осталась позади, но о ней я уже не думал. Я разыскал ресторан, где собирался ужинать Дурбен. Он сидел за столом с Софи и инженерами. Я бросился к нему и рассказал о том, что видел и что думал по этому поводу. Он посмотрел на меня недоверчиво, побледнел и тут же поднялся из-за стола: «Немедленно в Каллаж! Что-то случилось!» Все повскакали и стали искать в темноте машины. Мы ринулись в сторону болотного края и пожара, который уже выбрасывал языки пламени поверх темных деревьев.

С этого момента все мои мысли устремились к Каллажу и Дурбену. Мойру я потерял в толпе и больше о ней не думал. Машина пробирается сквозь тростниковые заросли к разгорающемуся пожару, а я думаю только о Каллаже и Дурбене, но почему-то вдруг вспоминаю те две руки, сжимавшие одна другую в сумраке церкви. Да, этот день явно отмечен знаком предательства, и я тоже уже начинал склоняться на сторону противника. Теперь я целиком с Дурбеном. Он ведет машину на бешеной скорости. Мне хочется что-то ему сказать, положить руку ему на плечо, показать ему, что я с ним заодно,

и попросить у него прощения, сам не знаю за что. Но я не смею. Да он бы и не понял меня. Мы вместе, и этого достаточно. Ведь он же крикнул мне: «Поедемте со мной, Марк», когда бросился к машине.

Каллаж горел. По крайней мере, именно так нам представилось, когда мы пересекли мост и увидели высокие языки пламени, точно рваные колышущиеся куски шелка, и черное облако, прикрывшее луну. Мне показалось, что Дурбен застонал. Это было так на него не похоже, что я смутился, совсем потерялся и даже не решался на него взглянуть.

Но мы уже въезжали на стройку. Краны и пирамиды, как в китайском театре теней, выделялись на фоне пламени. Я понял, что они уцелели, и вздохнул с облегчением. Итак, произошло не самое худшее. Горел склад горючего у порта, бараки и несколько машин. Кто-то суетился. На огонь наведены брандспойты и огнетушители. Кто-то двинулся к нам. Я узнал Вирё, у него по лицу тек пот, на лбу зияла рана. «Что случилось?» — крикнул Дурбен. Толком никто ничего не знал, из-за праздника охрану сильно сократили. Было несколько взрывов и потом огонь. Сторожа бросились туда. Поздно. Один успел заметить, как удирали какие-то люди в масках. Выстрелил в воздух, потом дал очередь по убегавшим. Они отстреливались. «Ну-ка разыщите его!»— говорит Дурбен. Пришедший оказался из тех охранников, которые приехали издалека. Пуля задела ему плечо, поцарапала до крови. «Пустяки»,— сказал он. Так что же он видел? По правде говоря, немного: какие-то тени. Раздался выстрел, он нагнулся. «Что за тени?» Люди небольшого роста, в масках, с ружьями. А лошади у них были? Да, потом он услышал конский топот, скакали куда-то на север. По другую сторону стройки тоже стреляли. Наверное, там было несколько групп. «Идите, пусть вам перевяжут рану»,— сказал Дурбен. «Да нет, пустяки»,— твердил охранник.

Мы провели на пожаре всю ночь. Дурбен носился по стройке, отдавал распоряжения. Его видели повсюду. Барак быстро потушили, остальное оградили от огня. Но цистерны с горючим погасить оказалось трудно. Они горели до утра, и в темноте постепенно проступали ободранные и дымящиеся куски листового железа. Измученные, мы молча смотрели друг на друга и вытирали со лба пот.

Сквозь дым я заметил Элизабет, она стояла неподвижно, поджав губы. Она была еще в том белом платье, которое я видел накануне в Сартане, оно выглядело нелепо среди нашей изодранной, закопченной одежды. Она подошла к Симону. Они что-то сказали друг другу. Он прислонился к крылу машины и поднес спичку к сигарете. Рука у него дрожала. Он смотрел на пирамиды, белые в лучах восходящего солнца.

Меня поразило, как Дурбен вел себя после пожара. Я ждал, что увижу его растерянность, уныние. Но нет, испытание, казалось, удвоило его силы. На другой день он уже собрал ответственных за строительство и приказал им, усталым и невыспавшимся, немедленно снова начать работу, используя все резервы. Не хватит машин — пусть работают лопатами и кирками. Нет горючего, встанут автомашины, пусть возят на тачках. Ни в коем случае не допустить рабочего спада. Дурбен твердо, спокойно выговаривал: «наша стройка», «наш город», «наша задача». Я смотрел на повернутые к нему лица и видел, что всех пробрало. Он не мог теперь не чувствовать, что мы его любим, потому что никто не протестовал, никто не сказал слово «невозможно». Мы загорелись, как во времена наших первых встреч, когда обсужда-

лось основание Каллажа. Предложения неслись со всех сторон. Драма, нарушившая обыденность последних месяцев, даже самым прозаическим людям привила вкус к неожиданностям и испытаниям.

Меня же, я помню, словно подняло волной. После колебаний и смятения я снова встал на правильный путь.

Мы вышли из зала, и Дурбен направился ко мне. Ему хотелось, чтобы я пошел с ним. Ему надо звонить в министерства, знакомым, друзьям. Нам требовалась помощь, и притом немедленная: цистерны, горючее, машины. Надо убеждать, а это иногда нелегко. Он сказал странную фразу, в ней были наивность и сила: «Я хочу победить!»

Он звонит. Информирует, просит, убеждает. Я вижу его лицо, вижу напряженность в руках и плечах, но в голосе ее нет. Между двумя звонками он оборачивается: «Бензин у нас будет. Машин придется обождать неделю-две, а может, больше...» Теперь надо обращаться к банкам. Голос становится жестче. Как я понимаю, там застигнуты врасплох, надо проконсультироваться, обдумать. «Время не терпит,— говорит Дурбен.— Сообщить подробности? Зачем? Я настаиваю. Да. Да. Срочно перезвоните. Договорились!»

Он кладет трубку, и его рука слегка дрожит. Мгновение слабости. Он вытирает платком лоб. Впервые я вижу, что он почти подавлен. «Ах, Марк, почему нам — людям, спаянным доверием и верой, нельзя действовать самостоятельно, без их поддержки и санкции! Они же ничего не видят, ничего не понимают. Их логика для нас губительна!»

Никогда еще мы не были так близки друг другу.

Тактика Симона заключалась в том, чтобы преуменьшить политическое значение случившегося, но подчеркнуть всю серьезность нашего материального положения. Он знал силы противников, занимавших высокие посты, их способность использовать каждый неверный ход. И хотя напряженность на восточной границе спала, она все еще тревожила всех, как эндемическое заболевание, которое врачи умеют облегчать, но не лечить. Всегда остается угроза новой вспышки. А когда болезнь тянется долго, она расшатывает нервы.

Столицу лихорадило. Симон обращался за советом к друзьям. Он знал, что нам угрожают две опасности. С одной стороны, правительство под влиянием назревавших событий могло потерять всякий интерес к Каллажу. С другой — оппозиция могла придраться к событиям на стройке и выдвинуть их как доказательство того, что стране грозит раскол и чуть ли не гражданская война. Среди молодежи всегда найдутся нигилисты, интеллигенты, жаждущие самоотверженных, отчаянных поступков, симпатизирующие «повстанцам» Юга. Все это подливало масло в огонь, раздувало споры и распри. Может, кое-кто уже тайно подумывает о создании групп добровольцев?

Я обратил внимание Дурбена на то, что существует еще более опасная угроза: грубые репрессивные меры сразу же восстановят против нас население болотного края. Он ответил, что этой возможности он и сам не исключает. Он не сможет отказаться от мер охраны, какие ему предложат, только потребует, чтобы их осуществляли осторожно. И, конечно, дело надо расследовать.

Важно было избежать всякой шумихи. Отсюда и настойчивый, но спокойный тон Дурбена, и странная осторожность, никак не вязавшаяся с его темпераментом.

Но без журналистов не обошлось. В разгар лета с информацией совсем туго, и событие в Каллаже подбросило им сенсацию. До кровопролитий, правда, не дошло, но журналисты налетели на богатую

находку. О Каллаже писали только тогда, когда закладывали город, и позже — когда торжественно открыли первую пирамиду. И тут же про него забыли. Упорство, настойчивый труд, терпение — разве эти заголовки привлекут читателей? А вот кровь и слезы — дело другое! Журналисты чуют запах смерти издалека. На другой день после происшествия они налетели, как воронье на поле боя.

Нельзя было шага ступить, не натолкнувшись на одного из этих типов, вооруженного авторучкой, блокнотом и фотографическим аппаратом, а в лучшем случае и беглым знакомством с сокращенным изданием «Истории Юга» Лепренса-Ларди, проглоченным в поезде между двумя станциями. Они щелкали фотоаппаратами, старались снять во всех ракурсах перевязанную голову раненого охранника на фоне пирамид, лазали по лесам, проникали в бараки, раздавали сигареты, как дикарям раздают яркую дребедень. Одного, страшного фанфарона, разгуливавшего по солнцепеку с непокрытой головой, хватил тепловой удар, и он рухнул лицом в песок. Его тут же вывезли со стройки. Он оказался первой настоящей жертвой, и это поохладило пыл остальных.

Да и успехи у них оказались не блестящие. Они ничего не сумели разузнать, потому что никто ничего не видел, а кто хоть что-то знал о случившемся, не собирался кричать об этом во всеуслышание. Вряд ли им больше повезло в болотном краю, я знал его жителей, таких проныр они терпеть не могли. Интересно, как они выглядели в «Лиловом кафе» около Изабель, Мойры, старухи с кастрюлями и старика, прочищавшего зубы и складывавшего нож после еды. Они везде наткнутся на молчание, их везде ждет неудача. Рассказывали, что один проныра добрался до самого графа. Представляю себе, как он идет по двору, сжавшись, когда на него рычат собаки. Окна у графа наглухо закрыты. Репортер идет как на приступ крепости. Граф наблюдает за ним сквозь щелку в ставне. Граф спрашивает себя, что могло здесь понадобиться этому болвану, но тот один, и граф не слишком беспокоится. Он кричит: «Что вам нужно?» Крик идет невесть откуда, репортер вздрагивает. Если подобный разговор имел место, он протекал между человеком и ставней. Тот, кто стоял на солнцепеке, был не в лучшем положении. Я знаю этот двор: в полдень — раскаленная печь!

Снова голос:

«Кого вам нужно?»

«Графа Лара. Мне сказали...»

«Что вам сказали?»

И тот начинает объяснять, что он журналист и хочет поговорить о происшествии. Он хотел знать мнение...

«Какое мнение? О каком происшествии?»

«Конечно о Каллаже. Мне хотелось бы знать...»

Голос говорит, что ничего не знает: газет здесь не получают, в доме нет радио. Подобными вещами не интересуются, живут как в старые времена, и вполне хорошо!

И вдруг граф повышает голос:

«А собственно говоря, какое происшествие? Что вам-то о нем известно? Мало ли что случается. К тому же граф живет совсем не здесь. В двух-трех километрах отсюда, по дороге в болота направо...»

«Но мне же сказали...»

«Что вам сказали? И кто сказал? Вместо того чтобы совать нос в такие дела, лучше бы научились пользоваться картой. Здесь никто не интересуется происшествиями, зато тут знают дороги!»

Именно так, я полагаю, граф отправил любопытного в глубь болот, где, надеюсь, его не засосало трясиной. Иначе он стал бы второй жертвой событий.

Помимо первого вторжения в нашу жизнь, довольно комичного, но не совсем невинного, ибо, ничего не выведав, эти господа дали волю воображению и наплели небылиц, последовало еще одно вторжение, о котором я узнал от Софи. Она позвала меня из сада, в руках у нее была коробка из-под обуви. Можно ко мне? Она бабочку поймала.

— Огромную! Хочешь посмотреть?

— Еще бы!

Она взбежала по лестнице, прижимая коробку к груди.

— Все работаешь?

— Да. Но я с удовольствием посмотрю на твою бабочку. Совсем будет грустно, если у меня когда-нибудь не окажется времени смотреть на бабочек.

— Вон смотри, в угол забилась...

Я не большой знаток природы, но от лицейских лет у меня сохранились кое-какие сведения. Это оказалась сумеречница, правда очень большая. Подрагивали крылышки.

— Знаешь, что это? — спрашивает Софи.

— Да, это сумеречница, или «мертвая голова», из породы ночных.

— А,— говорит она.— Редкая порода?

— Такие большие встречаются редко. А что ты с ней собираешься делать?

— Да вот буду на нее все смотреть и смотреть. А в полночь выпущу с балкона. Я ее на луну отправлю.

— А где ты ее нашла?

— Да за бараками, там солдаты живут.

— Солдаты? Какие солдаты?

— Да, здесь теперь солдаты. Капитан сразу пришел к папе. Он очень громко говорит и щелкает каблуками.

Вообще-то солдаты были не настоящие, просто отделение сил внутренней безопасности, используемых правительством на так называемом «внутреннем фронте». Их ненавидели те, с кем они боролись, и тайно презирали те, кто их на это посылал. Но такова уж судьба наемников, источник их вечной горечи, которую они пытаются заглушить, учиняя массовые расправы. Мы знаем их по газетным фотографиям. Плечом к плечу, как скала, в высоких сапогах, черных касках, вооруженные дубинками и гранатометами, противоборствуют они беспорядочным волнам забастовщиков, студентов и прочих поборников независимости. Что-то вроде рейтеров и гладиаторов. Или грубых гигантов, отражающих на батальных картинах Учелло [1] стройные ряды коней и копий. Милое наследство прошлого, нечего сказать. Достойная награда за нашу скромность!

Я спрашиваю Софи:

— Ты знаешь, где они?

— Вон там в роще.

Полдень. Мы выходим. Солнце стоит над головой, и дюны покачиваются в дымке. Софи прижимает к груди коробку с бабочкой.

Грузовики, крытые черным брезентом, стоят под деревьями четкими рядами, бампер к бамперу. Несколько рабочих боязливо поглядывают издали на обливающихся потом молчаливых парней с оружием наготове. Все неподвижно, за исключением маленькой землечерпалки, которая продолжает работать где-то вдалеке.

Софи приоткрывает коробку, заглядывает внутрь и объявляет, что бабочка смотрит на нее блестящими глазами.

---

[1] Паоло Учелло — флорентийский художник начала XV века. Известен своими батальными полотнами *(прим. перев.)*.

Я понимал, в какое неловкое положение попал Дурбен. Ему направили гарнизон, отказаться от него он не мог, а согласившись, еще больше компрометировал мечту о прекрасном, счастливом городе, которую по-прежнему вынашивал. Каллаж быстро превратился в укрепленный лагерь. Капитан Баро лихо щелкал каблуками и блистал талантом организатора. Город немедленно обнесли сторожевыми постами, и между ними циркулировали патрули. Ночью по песку шарили прожекторы. На опушках рощицы среди стрекота цикад то и дело звучали окрики часовых: «Стой, кто идет?» Раза два, увидев движущиеся тени, они прибегли к наивернейшему средству устрашения и стреляли по кустам. И всего-то ради зайца или телки!

Противник больше не показывался, и можно было бы вообще усомниться в его существовании, если бы на почерневшем песке не остались куски обгоревшего толя и железа. В жару болото мирно дремало. Огромные стада снова отошли к северу, и лишь изредка мы видели вдали силуэт одинокого всадника на вершине дюны.

Одними оборонительными мерами не обошлось. Пока наемники возводили фортификации вокруг Каллажа, работники специальной полиции тоже не дремали и рыскали по болотному краю. А уж эти-то были вовсе не профаны вроде меня или тех, кого подсылал Гуру, переодев опереточными крестьянами,— нет, это были профессиональные следователи. Они проникали туда не как-нибудь, а имея мандаты на обыск, окружали фермы, перерывали там все вверх дном, оставляя после себя разбросанное белье. Они работали на совесть, но ничего не нашли. Мозговой центр заговора — если таковой был — оказался еще ловчее их. Я подозревал, что граф причастен к пожару, хотя, сколько бы у него ни шарили, кроме вил и недоуздков, никто бы ничего не нашел. Но я молчал о своих догадках. Да и доказать бы я ничего не мог.

О Мойре я не слышал ничего с того самого вечера, как оставил ее на улице в Сартане. Увидев зарево над Каллажем, бледное лицо Симона, я разом с ней порвал. Только что она владела моей душой и телом и вдруг сразу перестала существовать. Днем меня мучили сомнения, страхи, усталость, а ночью я впадал в тяжелый сон, но он не снимал напряжения. О «Лиловом кафе» я и не помышлял.

Она тоже не искала встреч. Ни письма, ни привета! Но от нее я и не ждал ничего иного: такая не сделает и шага к примирению. Может быть, мучается, но не стронется с места. Я чувствовал, как между нами — неизвестно почему — все больше разверзается пропасть. Я испытывал даже болезненное удовлетворение и удерживался от жеста, который бы все рассеял.

А Элизабет все носилась мимо на своей машине, бледная, с напряженным лицом, повязав волосы шарфом. Я поднимал руку, но она чаще всего меня не замечала. Я думал: «Ну не безумица ли?» — и тут же: «До чего хороша!» — и следил за ней глазами, пока машина не исчезала в пыли. Теперь-то ясно, куда она ездит. Сколько раз я себе это представлял! Она направляется в болотный край, едет по узким дорогам среди тростников. Останавливается, открывает калитку в ограде, которой обнесено пастбище. Быки поближе поднимают головы. Боится она их или нет? Нет, характер у нее решительный. И ведь это стада ее любовника. Из гордости она не спешит и не показывает волненья, как тореадор, который после выпада отступает от быка с

безразличным видом, она лишь слегка подобралась и в показной храбрости даже не оглядывается на него через плечо.

Пустившись в романтические домыслы, я уже не мог остановиться. Она прячет машину в кустах тамариска. Я иду следом за ней по тайным тропкам сквозь лазы в кустарнике. Она боится привлечь к себе внимание, хотя прислуга у графа не болтлива; уж я-то знаю. Интересно, куда она идет? В большую комнату или в гостиную? А может, прямо в постель. Скорее всего в постель, и я не огорчусь, если с Элизабет, казнившую меня высокомерьем, станут обращаться грубо. Вот она снимает шарф и, тряхнув головой, распускает волосы. Лара молчит. Он целует ее в затылок, в плечи. Она расстегивает платье, а он — уже обнаженный — отбрасывает простыню. Постель стоит в тени; слегка распалив Элизабет, он предоставляет действовать ей, и, когда она, в исступлении, тянет к нему лицо, искаженное мукой желанья, он смотрит на нее насмешливо и, точно снисходя, берет ее.

Сцена, целиком придуманная мною, мне нравится, хотя и свидетельствует о моей извращенности. Но ведь я, как и все, читал в юности Фрейда. Я был по-своему влюблен в Элизабет, потому и приписывал графу поведенье, о котором мечтал сам, хотя никогда бы себя так не вел, даже если б представился такой случай. Но, может, я немного очарован и самим графом Лара? Не скрою, грубые люди, от которых пахнет лошадью и потом, всегда привлекали меня, хотя и немного отпугивали.

Я представляю себе, как они спят друг подле друга. За окном ржут лошади, лают собаки, трещат стрекозы. Она просыпается, вытягивает из-под простыни змеиную гибкую руку, целует графа в плечо, он бормочет во сне. Она покусывает его умелым ртом, и кажется, они снова сплетаются в объятиях.

О чем они говорят, лежа пресыщенные, в изнеможении, в жаре и глядя друг на друга без желаний? Она рассказывает о детстве, о матери, о большом доме, полном тайны, где пахнет лавандой и звучат гаммы и голоса. Говорит о музыке, о книгах. Он притворяется, будто слушает, а сам думает о другом: ему неинтересно. Он спрашивает: «А как твой муж?» Она не хочет отвечать: «Ах, оставь, замолчи!» Или, может быть, он настаивает, и она говорит: «Я его очень уважаю, но больше его не люблю. А как твои дела?» Тут он, наверное, говорит о земле, о ферме, которая принадлежит его семье уже несколько веков, или о своих сумасбродных идеях. Говорит о Юге, его величии, истории, о том, как здесь умеют жить, и об угрозе, которая над ним нависла из-за чужого стремления к наживе. Его призвание — сохранить Юг таким, как он есть. Надо стоять на страже, отбивать натиск варваров. Тут Элизабет, наверное, восклицает:

«Но Симон не варвар!»

«Да, конечно, его обманули, одурачили, просто одурачили!»

«Тебе бы надо с ним поговорить».

«Безнадежно».

«Нужно держаться,— повторяет он,— придет день, и мир узнает истину о Юге».

Он одержим своими идеями. Ничего не скажешь, он красив, глаза сверкают темным огнем. Элизабет встает, надевает платье. «Ах, все прекрасно, но мне пора уходить!» Это она говорит чуть усмехаясь. Вместе с платьем к ней вернулось достоинство, изысканность. Может быть, она хочет взять реванш. Поэзия упирается в прозу банальной связи.

Она целует его в лоб, она ускользает в тени кустов тамариска, а он остается один, он курит, и в голове носятся неясные образы.

Или вот еще другая сцена. Я почему-то вижу их друг против друга за столом. Она сидит прямо, волосы падают на плечи. Он в бархатной куртке, как тогда в Сартане. Он говорит очень серьезно, что хочет приучить ее к настоящей еде. Им приносят зажаренную на решетке говядину, дикую утку, куропатку, угрей, морских рыб, лежащих на стеблях укропа, козий и овечий сыр на листьях инжира. Он бросает: «Немного пережарено... дичь осенью лучше... Зато рыба прекрасна!» Рекомендует взять немножко зелени, добавить каплю оливкового масла. О сырах он может говорить бесконечно. Он по вкусу определяет, из какой они деревни, даже в каком стаде их делали и какой пастух. Он говорит о них так же вдохновенно, как о конях и о Юге. Да, вот этот сыр сделан «со знанием дела», а тот «грубоват», а тот — «[illegible]». Она ест, кивает.

— Ты слушаешь, что я говорю? — спрашивает он.

— Да, конечно.

— Хорошо!

Та же процедура с винами, граф сам наливает в хрустальные бокалы.

Кстати, я заметил, что у Элизабет округлились бедра и грудь, появился румянец на щеках. А ведь совсем недавно она поражала аристократической изящностью манекенщицы. Все это от любви, но и от увлечения земной пищей тоже. А ведь ей это идет! Да и дома у нее пища стала вкуснее: исчезли грейпфруты, сандвичи с сыром, суфле. Она стала тщательно подбирать вина. Изгнав из дома минеральные воды, она научилась пить вино, слегка пробуя его губами, а потом с удовольствием допивая до конца. Муж бы очень удивился, будь он более внимателен или менее к ней безразличен. Да и вообще Элизабет изменилась. Но Симон, кажется, ничего не замечал. За едой он задумчиво молчал, затем, склоняясь ко мне, шептал на ухо: «Надо во что бы то ни стало кончить пятую пирамиду до дождей! Как полагаете, люди выдержат?» А как-то вечером, пространно рассказывая мне о ловком шантаже наших банков, он сказал: «Извините, я вам надоедаю со всеми этими делами, но мне не с кем поговорить. Элизабет всегда был противен Каллаж. Хорошо еще, что она соглашается здесь жить! Наверное, у нее есть на то свои причины...»

Интересно, знал он? Догадывался? Я как-то раз даже подумал, что он закрывает на все глаза, чтобы драмы и разрывы не отвлекали его от работы.

Элизабет издалека наблюдала за нами, прикрыв веки, и наконец к нам подошла.

— И о чем это вы опять говорите? Неисправимый! Симон, я забираю у тебя Марка.

Она потянула меня к окну, выходящему на море.

— Какая спокойная ночь! Как хорошо после всего, правда? У вас усталый вид, Марк. Вы слишком много работаете. Вчера я видела, у вас допоздна горела лампа. А Софи говорит, у вас нет времени погулять. Вы знаете, она вас любит. Только о вас и говорит! Кстати, мы решили, что ей лучше уехать. Разве можно здесь оставлять ребенка после всего, что произошло?

— Да, конечно. Но я буду очень по ней скучать. А вы остаетесь?

— Вероятно,— говорит она.— Да и положение не такое уж опасное. Все уладится. У Симона всегда все улаживается... Верите ли, Марк, мне даже почти нравится этот край!

Я не могу остаться равнодушным к ее обаянью. Догадывалась ли она, что я знаю? Я тайно радовался, что держу ее в своих руках, на худой-то конец хоть в переносном смысле. В ее глазах светилась искорка, словно она хотела сказать: «Вы плохо меня знаете и слиш-

ком быстро обо мне судите, вы еще не знаете, на что я способна». Я и в самом деле не знал, но больше всего хотел, чтобы она не мешала Дурбену в делах, ведь его дела стали моими. Она могла рассчитывать на мое молчание.

Элизабет снова заговорила о Софи, о прочитанных книгах, о прогулках. «На Юге иногда выпадают прекрасные мгновенья!» — говорит она. Ну, это уж слишком! У меня перехватило дыхание.

— Возвращайтесь-ка к Симону,— сказала она.— Он вас заждался.

Софи уехала. Она побудет у знакомых в столице, а потом отправится в пансион. Она ужасно не хотела уезжать. Считала дни, оставшиеся ей в Каллаже, вставала ни свет ни заря, чтобы не пропустить ни мгновенья последних летних дней. Как-то утром мать забыла ее разбудить, и она расплакалась о потерянных, как ей казалось невозвратно, часах.

Когда она садилась в машину, увозившую ее прочь из Каллажа, у нее снова выступили на глазах слезы, которые она попыталась скрыть жалкой улыбкой. Я подошел ее поцеловать, и она мне шепнула на ухо:

— Я вернусь к рождеству. Я буду часто писать. А ты отвечай, ладно? Напиши, вернулись ли на пруды фламинго. И еще напиши...

— Поторопись, Софи. Мы опаздываем,— сказала Элизабет, которую раздражало долгое прощанье.

— Да, конечно, я буду отвечать. Время пролетит незаметно, вот увидишь. Учись получше!

Но я уже достаточно знал Софи, чтобы понимать, что время потянется для нее долго, особенно первые недели, и ей часто взгрустнется по Каллажу. Ну, а потом ее захватит школьная жизнь, праздники, друзья и Каллаж хоть и не изгладится из ее памяти, но отступит и станет приятным воспоминанием, не вызывающим боли.

Я представил себе Софи на севере, в октябрьском тумане. Она в форме пансионата: плиссированная юбочка, синий жакет, гольфы и лаковые туфельки. Две тугие косички падают на спину. Южный загар сошел, она бредет по коридорам с книгами под мышкой. Она пишет, склонясь к парте и посасывая наконечник авторучки, изредка поднимает глаза и похлопывает ресницами. Как я знаю все эти жесты! Она снова обучилась реверансам, отточенной речи и безукоризненной вежливости.

Но еще я представляю себе, как во время уроков она толкает локотком крышку парты и, открыв коробку, поглаживает пальцами засохшего жука, останки стрекозы, ракушки или большое розовое перо, которое мы нашли однажды вечером на берегу пруда, к ее великой радости. И вот тут-то она вспомнит Каллаж и, надеюсь, и меня.

Машина скрылась за дюнами, и мне показалось вдруг, что в истории Каллажа открылась новая страница и нас ожидает трудное время — многие признаки его предвещают.

Я услышал, как Симон вздохнул рядом:

— Нам ее будет не хватать.

Меня тронуло, что он сказал «нам».

— Да,— отвечаю я,— ей было здесь хорошо, она полюбила этот край.

— Жаль, что я не мог уделять ей время и так мало ее видел. Чудесный возраст, жаль, что быстро проходит. Вот вернусь вдруг когда-нибудь к ней и застану уже взрослую девушку. И, конечно, пожалею о потерянных часах ее детства. Но город не ждет. Мне ка-

жется, будто я несу его на плечах. Ах, Марк, мало нам нашей единственной жизни! И кто заставляет нас ввязываться в такие переделки? Жуткие переделки, и они поглощают все время и душу. Иногда я спрашиваю себя, не попался ли я в западню. Ведь живут же люди спокойно, возвращаются по вечерам домой, целуют жен, играют с детьми. У них свои заботы, но не такие, о них можно забыть, и они проходят. Но строить город! И все равно я ни с кем бы не поменялся! Вот кончу Каллаж... А там... будь, что будет. Но что будет? Софи уехала, Элизабет...— он покачал головой,— Элизабет дело другое.

Он чуть не пустился в откровенности. Я смущенно отвел глаза.

— Но Софи скоро вернется, к рождеству. И вы возьмете несколько дней, отдохнете.

— К рождеству?.. А, ну да...

Рядом прошел патруль с ружьями на плече, унтер-офицер отдал нам честь.

— Да, верно,— говорит Симон.— Надо бы как-нибудь взять выходной. Ну, посмотрим. Пока рано загадывать. Пошли взглянем на стройку, Марк. После пожара все так медленно продвигается. Надо непременно возобновить прежний темп!

И вот целую неделю потом я работаю до одурения, веду беседы с Симоном, стараюсь искупить свои прегрешения. Пытаюсь забыть «Лиловое кафе» и не слишком страдать от одиночества. А потом говорю себе, что вести так себя — глупо и когда-нибудь я еще пожалею о последних днях лета в болотном краю, о его красоте, которая все чаще приобретает для меня облик Мойры. И я сознаю, что не прощу себе в будущем свою обманутую радость.

Да Мойра и не имела отношения к истории с пожаром.

Она здесь просто как дерево, как прекрасное, любимое дерево во время бури. Разве можно осуждать дерево за разбушевавшуюся стихию? История — четкая, но безжалостная машина. Но любовь не имеет к ней отношения. А стройка стала зловещей: часовые, окрики «кто идет?», пароль, и где-то там — бурная деятельность полиции. Мысли мои путаются, желания неотступно преследуют меня. Я нервничаю, бесцельно слоняюсь по комнате, а если подхожу к окну, то к тому, что выходит на болота. Там, вдали, над зыбью камышей загораются первые огни.

Однажды вечером, не в силах сдержаться, я сел в машину и поехал в «Лиловое кафе». Там царило необычайное волнение. До меня донеслось несколько слов, и я сразу же догадался: вечером был обыск. Полицейские убрались только час назад. Старуха на кухне кричит: «Свиньи! Все вверх дном перевернули! И рагу подгорело!» Она смотрит на меня косо: репутация Каллажа сегодня сильно подмочена.

Я вежливо спрашиваю, что произошло. Она долго ворчит, а потом говорит, что полицейские несколько часов рылись в доме и, конечно, ничего не нашли, да и что тут найдешь? А вчера перерыли ферму Патис. Куда они завтра бросятся? Когда же это кончится? Она всегда знала — от Каллажа только и жди разных бед.

Ее послушать, так подумаешь, что на стройке ничего не произошло, а взрывы и пожары свалились с неба. «Вы думаете,— говорит она,— зря перелетные птицы стали улетать на два месяца раньше? Дурная примета. На лугу нашли трех мертвых куликов, и никакой дроби. Ничего. Конец света!»

Но тут я вижу Мойру, она подходит и шепчет мне на ухо:

— А, это ты? Где пропадал? Что случилось? Взял и бросил меня!

— Но ты-то могла бы подать весточку...

— Ну да, повсюду полиция рыщет. Говорят, почта не доходит в

Каллаж: письма вскрывают. Столько слухов... А ты, ты почему не приходил?

Она говорит это кисловатым тоном, потихоньку, в углу, чтобы не привлечь внимания. А Изабель едва здоровается и бросает на меня мрачный взгляд.

Но через четверть часа я прощен. Мы сидим, как всегда, у окна. Мойра гримасничает, изображает полицейского офицера, Изабель и старуха хохочут. А я думаю о Симоне и тучах, что собираются над нами, и со слабым раскаяньем вновь соскальзываю в лагерь противника.

Я брякаю наобум:

— А что думает граф?

Все тотчас смолкают, смех затихает, точно я помянул дьявола.

— При чем тут граф?

— Но есть ведь у него свое мнение!

А они-то почем знают? И почему это у него есть какое-то мнение? Он живет в глубине болотного края, у него хватает хлопот с быками и лошадьми, зачем ему ввязываться в истории? Да если у него и есть мнение, он не станет трубить о нем во всеуслышание.

На меня снова поглядывают косо, и я предпочитаю отступить.

— Я ведь просто потому, что...

Но они слишком яростно возмущались, и мне уже трудно поверить в их неведенье.

Я снова повадился к Мойре, но дни стали короче, и я добирался до нее лишь к сумеркам. Собака сперва лаяла, а потом, узнав меня, подходила потереться о мои колени. Я стучался — три удара с паузами, два подряд — условный сигнал. Дверь приоткрывалась.

— Ты?

— Да.

— Входи быстрей!

В камине горел огонь, стол был накрыт, в глубине белела постель. Я целовал Мойру, а она касалась моих рук и щек. «О, уже прохладно! У тебя усталый вид!» И в самом деле, в конце работы меня теперь часто мутило от усталости, и снять усталость помогало только вино. Усевшись у огня, поставив ноги на подставку для дров, я рассказывал о наших трудностях, о моих сомнениях, беспокойстве. Мойра, низко склонившись, готовила еду на раскаленных углях и молчала, но я знал, что она слушает. Я знал, что, при всей ее нежности ко мне, злоключения Каллажа ее не тронут. Я умолкал и помешивал в камине дрова. Я слышал за окном шумы болот и чувствовал себя узником в волшебном мире ветра, воды и тьмы, и во тьме плыл Ноев ковчег — дом женщины, склонившейся к очагу, заслонив лицо распущенными волосами. Все погибало, и мы, единственные, спасемся. Нас несет потоком, и неизвестно, к какому берегу мы пристанем.

Я клал руку между юбкой и кофточкой Мойры, где была тонкая полоска темной кожи, и так сидел. Ее тепло под моими пальцами только и было надежно.

Мы ужинали, сидя друг против друга, и Мойра понемногу оживлялась. Она рассказывала о мелких происшествиях дня: у Изабель плохое настроение, с большого пастбища исчезла лошадь, над прудом пролетели утки, говорят, жандармы в черных касках перетрясли все хижины в болотном краю возле Модюи.

Я слушал ее, чтобы отвлечься от своих забот, но тотчас мысленно к ним возвращался.

Однажды вечером, когда меня особенно огорчило настоятельное требование из столицы об изменении нашего проекта, Мойра вдруг сказала:

— Почему бы тебе все это не бросить?

— Как — бросить?

Хоть иной раз и одолевали меня усталость и отчаяние, никогда ничего подобного не приходило мне на ум. И вот Мойра, положив локти на стол, с невинным видом предлагает мне дезертировать.

— Ну да! Ты же сам говоришь, что с Каллажем не получается. Хоть Дурбен с банками и не заодно, но он против них бессилен. А банкиры знают, чего им надо, их не перехитришь. Чего же еще упираться-то?

— Это тебе Изабель напела?

— Почему Изабель?

— Или граф!

— С ума сошел! Разве я его вижу, графа этого! Честное слово, ты о нем только и думаешь.

— Но такая мысль...

Она говорит, что стада переместились на север и граф больше не приходит в «Лиловое кафе». Да и при чем тут граф? Но что верно, то верно: у них был разговор с Изабель, а та в бешенстве и кой-чего ей наговорила.

— Она говорит, идиотка я, что встречаюсь с тобой. Ну, ты ведь ее знаешь!

— А, понимаю...

— Вот бросишь Каллаж, и все станет проще.

— Ну да! А что я буду делать, если брошу Каллаж?

— Не знаю... Оставайся хоть тут, кто тебя будет искать?

— Ну да, оставайся тут,— говорю я с улыбкой.— Ты будешь запирать меня на ключ, кормить тушеным мясом, и мы будем целый день предаваться любви! И ты это всерьез, Мойра?

— Конечно нет! — говорит она со вздохом.— Я знаю, ты никогда не бросишь своего Дурбена. Вот уж чудище!

— Поздно. Давай ложиться.

— Давай.

Она убирала со стола, засыпала угли золой и в одной ночной рубашке расчесывала волосы. Потом гасила лампу, залезала в постель и прижималась ко мне.

— Ах, жалко! — говорила она.

— Что?

— Жалко, не смогу удержать тебя навсегда.

— Ты задержишь меня на целую ночь.

— Да, верно.

— И я вернусь завтра.

— Да.

— Сними рубашку.

— Хорошо.

Но образ графа неотступно преследовал меня. Однажды на рассвете я вышел от Мойры, направился в «Лиловое кафе» и увидел вдали всадника, он показался из тамарисковой рощи. Прямой, слегка откинувшись, как принято на Юге, он скачет по солончаковой равнине. Одной рукой держит поводья, другую положил на бедро. Под надвинутой на глаза черной шляпой я узнаю графа. Не размышляя, я бросаюсь в кусты и наблюдаю за ним сквозь ветки. Он направляется прямо к кафе, останавливается, озирается, привязывает лошадь к дереву во дворе. Решительной походкой поднимается по ступеням, толкает дверь и входит.

Лошадь потряхивает гривой и пофыркивает. Вдали мычит бык. С куста долетает жужжанье пчел.

Я долго стою и смотрю на глухой фасад, ничего не ожидая, и думаю только о том, что увидел: о появлении всадника. Я до сих пор волнуюсь, вспоминая ту сцену, и слово «всадник» влечет за собой сильные, тревожащие образы. Что за наваждение? Моя ли память хранит очарование древнего поверья или общая память поколений? В детстве я видел в лесах псовую охоту, ловчих, собачьи своры. Теперь это кануло в вечность. Люди в красном пробирались подлеском, всматривались, бросали отрывистые приказы, оставляли горьковатый запах пота. Отец клал на землю вязанку хвороста, толкал меня за дерево: «Стой на месте», и я чуть не ждал, что вот он снимет шляпу и поклонится, как, по свидетельству учебников истории, это делалось при появлении господ. Но нет! Он бормотал сквозь зубы жуткие ругательства. А вдали слышался рог. Потом я прочел еще много книг и легенд, узнал воинов Учелло, всадников Дюрера. Когда я служил на Севере солдатом, один офицер каждое утро проезжал мимо на лошади. Гарцевал по снегу, исчезая в лесных зарослях у реки. Всадник моего воображения всегда отправляется либо к женщине, либо на убийство.

Но вот новый всадник — граф, в сапогах, перетянутый ремнем, с высоко поднятой головой, с ним я не мог уверенно связать ни убийство, ни женщину, хотя идеи эти смутно бродили у меня в голове. Я предпочитаю думать, что он просто сидит в углу зала, покуривает трубку и, поглаживая собаку, между затяжками мелкими глотками попивает абсент. Но так ли все просто?

Я вижу, как старик выходит из боковой двери, сморкается в кулак, направляется к амбару. Где-то мерцает огонь. Вдруг конь задирает голову, поворачивает ее к болотам и ржет.

Я вздрагиваю, стряхиваю оцепененье, продержавшее меня несколько минут в тени куста, и спешу в Каллаж.

Однажды утром мы узнали, что граф арестован. Новости, как водится, сопутствовали невообразимые слухи: в болотном краю якобы несколько часов длилось сражение, один полицейский — или даже несколько — убит, другие завязли в зыбких песках, загорелась ферма. Еще бы немного — и оказалось, что граф бросил против полицейских черных быков. Так возникают легенды, но ведь я видел, как влиял Лара на жителей края. Не всякий способен так взволновать чужое воображение. Если бы, к примеру, арестовали старика, никто бы этого не заметил. А поскольку речь шла о графе, событие разрасталось до эпических размеров. Но никто не распространял слухов, будто графу удалось бежать, хотя, казалось, почему бы и нет? И тут я поймал себя на мысли, что если он дал себя схватить, значит, он сам этого хотел.

Финансовые расчеты, естественно, продвигаются плохо, если в голове вертятся такие мысли. Вдруг будто случайно я вспоминаю, что мне срочно надо уладить одно дельце с молодчиками из специальной полиции. Я мчусь в их расположение и натыкаюсь на унтерофицера, который до приторности со мной любезен с тех пор, как узнал, что мы земляки. Поговорили о делах, потом я как бы невзначай бросаю:

— Ну что, удачная была ночь?

Достаточно взглянуть на него, чтобы понять, что он провел ее без сна.

— Да так себе,— отвечает он, подавляя зевок.

— Охотились за лисицей?

— Да вроде как.

Пусть мы и из одного департамента, он все равно мне не доверяет. Соблюдение служебной тайны для этих людишек превыше всего.

— Поймали лисичку?

— Да вроде.

— Как говорят у нас: «Охотился за лисой — поймал барсука, скажи спасибо, что не вернулся несолоно хлебавши».

Он смеется. Напоминание о том, что мы родом из одних мест, сделало его доверчивей.

— Не очень-то приятно носиться по ночам по проклятому краю! В моем-то возрасте! Ранним утром в болотах жуть как холодно, ей-богу. А разъяренным быкам нипочем наша форма, а уж собаки... Например, сегодня утром...

— Сегодня утром?

— Да. Получили мы кое-какие сведения об одном типе, он живет в большой роще где-то в глуши. Приезжаем черт-те когда: еще и не начало светать. Пробираемся, конечно, потихоньку. Входим во двор, а из-за изгороди на нас бросается свора собак: огромные, черные, в жизни таких не видывал, свирепые донельзя, вот-вот вцепятся в икры.

— Да ну!

— Ага. И тут же открывается дверь и выходит наш голубчик, одетый, в шляпе, все как полагается — представляете? — в эдакую рань, ну будто нас поджидал. Кличет собак, те тут же, значит, ретируются, а он нам кричит: «Подходите! Чем могу служить?» Нет, вы только подумайте: «Чем могу служить?» А я ему: «Полиция» — и под нос мандат об аресте сую. Он рассматривает мандат, будто это визитная карточка, и говорит эдак насмешливо: «Ну что ж, входите, господа, я в вашем распоряжении».

Мне представляется граф ранним утром, свежевыбритый, в бархатном костюме и черной фетровой шляпе, чуть сдвинутой на затылок. Да, узнаю его изысканную вежливость. Значит, у него были свои «сведения». Он провел полицейских в прихожую, потом в большой зал, указал благородным жестом на кресла:

— Садитесь, прошу вас!

А они ему смущенно:

— У нас туго со временем. Обыск, знаете...

— Как вам угодно. Будьте как дома.

А сам, наверное, тайно посмеивался: ведь документы свои, если таковые вообще имелись, он давным-давно надежно где-то припрятал. Я отчетливо представляю себе эту сцену и зарю за окном, обрисовавшую лица и затмившую свет лампы.

Я спрашиваю с невинным видом:

— И нашли что-нибудь?

— Ничего. Но его забрали. Кажется, сильные подозрения. Пока содержат в доме предварительного заключения в Вилларе. Но нужны доказательства. Да их искать — как иголку в стоге сена. Кстати, насчет сена, есть вести с родины?

Ясно, больше он ничего не скажет, но я уже знаю все, что хотел. Я произношу несколько вежливых фраз и бегу к Симону.

Я застаю его на террасе вместе с Элизабет. Мы немного болтаем о том о сем, затем я роняю:

— Да, между прочим, знаете новость? Графа Лара арестовали.

Симон отвечает, что новость они знают с утра, но не придавали ей значения, а подробности неизвестны. Будущее покажет! Я исподтишка смотрю на Элизабет. Та и бровью не ведет.

— Ведь вы, кажется, с ним встречались, Марк? — спрашивает Симон.— Помню, вы мне рассказывали...

— Да, встречался.

— И вы полагаете, он причастен к ночному пожару?

— Ну, об этом надо спросить специалистов!

— Вы считаете, они способны на столь тонкие дела? — спрашивает Элизабет.

— Они, по-моему, не умники, но и не дураки. Во всяком случае, им не откажешь в известной последовательности.

— Не уверена, что последовательности тут достаточно!

Я думаю: «До чего хорошо сыграно! Ясный, безмятежный взгляд! Да, женщины умеют врать. Они это делают с блеском». А она так спокойна, так безмятежна, что уже начинает казаться, будто мне все примерещилось. В конце концов доказательств-то почти никаких. Что я знаю? Только две руки искали друг друга в темноте церкви. Да и видел ли я их в самом деле или мне это только почудилось? Я пытаюсь восстановить в воображении сцену, но все утопает в тумане, и я не могу из него выбраться.

Я в силу своей профессии обладаю рациональным умом, так, по крайней мере, мне кажется, человек сложен, у каждого свои слабости, свои причуды, и я, как и все, иногда из мухи делаю слона. И вдруг на террасе, пересеченной резкими тенями, я начинаю подозревать самого себя в ошибке.

— Кажется, люди в болотном краю очень уважают графа,— говорит Симон.— Если он не причастен к пожару, мы попадем в историю. Как они ко всему отнесутся?

— Одно несомненно: они не любят особые войска.

— Я сам их не люблю, Марк, и вы это знаете. Ах, во все надо вникать! Попытайтесь разобраться хоть немного в том, что происходит!

— Я уже пытался.

Элизабет вносит на подносе напитки. Она уложила волосы узлом.

— Льда положить? — спрашивает она.— Да, Марк, я получила письмо от Софи. Она чувствует себя прекрасно. Знаете, настроение у детей быстро меняется! Она просит вас поцеловать и обещает сама вам написать.

В самой плотной ткани иногда спустится петля, и тогда постепенно рассыплется вся основа. Опасность над нами висела с давних пор, но теперь мне кажется, что арест графа — случай на вид незначительный — ускорил развитие событий.

Как и предвидел Дурбен, весь болотный край пришел в волнение. Полицейские облавы длились несколько недель и уже накалили атмосферу, но сейчас население стало проявлять открытую враждебность. В «Лиловом кафе» возбужденно обсуждали события и поминали даже о ружьях, правда, будто в связи с охотой на кабанов. Сам старик, всегда сдержанный, теперь вступал в разговор. Кровь заговорила. Им вспомнилось, как доведенные до отчаяния предки нападали на королевские войска, на пиратов или — еще похуже, хоть прозаичнее — на сборщиков налогов. Я смотрю на их лица, сжатые кулаки и тревожные взгляды и понимаю, что значит для них граф, а ведь это от меня скрывали, полицейские, стреляя наугад, попали в яблочко. Интересно, сами-то они это сознавали?

— Ну что, доволен? — кричит Изабель.

Ее выпад приводит меня в замешательство, я не понимаю, при чем тут я. В общем шуме я пытаюсь объяснить, что мне нравится граф и все они тоже. Это ведь ясно. Я оборачиваюсь за поддержкой к

Мойре, но та избегает моего взгляда. К старухе, но та с сомнением качает головой.

— Нельзя сидеть на двух стульях,— говорит Изабель.— Приходится выбирать.

Я стараюсь объяснить, что все не так просто, что Дурбен хорошо понимает их, а к особым войскам он не имеет отношения. Он бы сам с радостью избавился от солдат! Но им не до таких деталей. Страсти накалились, и защитная речь никого не убеждает. Я умолкаю, и тут открывается дверь и входит сосед, в сапогах, с самострелом в руках — самодовольный вояка. Увидев меня, он замирает на пороге. Все начинают что-то говорить, его оттаскивают в угол. «Садись и сиди тихо!» Старуха кричит, что не хочет неприятностей, с нее довольно.

Я пользуюсь случаем и подхожу к Мойре.

— Они с ума сошли, дождутся, что их всех перебьют. Полиция ничего не имеет против графа. Его освободят.

— А ты откуда знаешь?

— Я говорил с полицейским, уверяю тебя, у них нет против него ничего. Потерпите!

— Вечно терпеть!

— Да ведь он и не пытался бежать. Он уверен в себе.

— Это ты так думаешь. Рассказывают такое...

— Мойра...

— Отстань!

И она исчезает на кухне.

— Лучше уходи,— говорит Изабель.— Война, а ты в чужом лагере. Если расскажешь Дурбену, что здесь видел...

— Да,— говорит старик.— Если пастухи приедут, как бы дело не кончилось плохо.

В последующие дни мне казалось, что тут больше дыма, чем огня. Ни одного серьезного инцидента. Если в болотном краю что-то и готовили, то где-то в потайных местах, в тростниковых зарослях, а специальные войска не отваживались туда сунуться. К тому же после своего знаменательного подвига они притихли и только усиленно патрулировали главную дорогу. Над болотами повисло белое солнце.

Зато последние рабочие из болотного края, до сих пор хранившие верность нам, после субботней получки не вернулись на стройку, и — еще того хуже — их примеру последовало человек тридцать горцев, и теперь рабочих на стройке не хватало. Последствия запугивания? Начало паники? Страх? Гуру был удручен. Он никогда не доверял рабочим из болотного края, но к горцам благоволил. Он даже к ним привязался. Их бегство он воспринял как предательство. Хорошо налаженный механизм начал сдавать, и речами тут не поможешь. Он предложил комитету установить премии, чтобы задобрить рабочих. В качестве ответственного за финансы я выдвинул обычные возражения, не слишком, правда, обоснованные. Дурбен их сразу отверг. «Ну, деньги-то мы найдем! Главное — держаться!» Он на все был готов, лишь бы держаться.

На другой день вдруг уехала Элизабет, и я не мог избавиться от мысли, что ее отъезд так или иначе связан с последними событиями. Дурбен сказал, что она решила уехать из-за сложного положения на Севере: Софи нужна мать, да и не стоит женщине оставаться чуть ли не в осажденной крепости. «Во всяком случае, не такой женщине, как Элизабет!» — добавил он, но в его голосе я заметил скорей беспокойство, чем облегчение. Все это походило на пустой предлог, и воображение мое тотчас заработало. Известно, что оно у меня работало усиленно, когда речь шла об Элизабет.

Может, она выбрала «свой лагерь», как говорили в «Лиловом кафе»? Три месяца назад я поклялся бы, что это не так, но теперь допускал такую возможность. В каждой женщине, даже самой холодной, есть романтичность или, если хотите, безрассудство. Все зависит от обстоятельств!

Я воображал, как она ринулась в Виллар, поселилась под вымышленным именем в скромной гостинице предместья, бросилась в тюрьму, выдав себя за сестру или кузину Лара. Ей не поверили, но притворились, что верят. Ее красота примирила тюремщика с собственной совестью. Волнующая сцена в переговорной. Она вся в черном, трогательная. Он — благородный, насмешливый. Или, куда прозаичнее, она привезла ему передачу — апельсины. Мне представлялось, как она кокетничает с судьями, готовит его освобождение или — кто знает — побег. Я завидовал Лара, во-первых, из-за Элизабет, а во-вторых, оттого, что ему не надо в ы б и р а т ь лагерь. Лагерь достался ему вместе с землями обаянием и манерами. Как просто!

Я склонялся над гроссбухами. Они навевали на меня тоску. Я думал: «Ты сошел с ума! Элизабет, конечно, с Софи. Угроза войны, опасность здесь — все это вполне вероятно, все это правда. А я сочиняю истории с апельсинами!»

Я думал и о Мойре, не знал, как мне встретиться с ней.

В этой сумятице я сохранял, однако, достаточно хладнокровия, чтобы соображать, что положение Каллажа с каждым днем становится все хуже. Иногда я думал: выхода нет. На настойчивые просьбы нам отвечали молчанием. Мы теряли поддержку. Нам ее предоставляли лишь тогда, когда Каллаж казался влиятельным столичным деятелям источником престижа и доходов.

Однако трудности, вставшие перед нами, упорство Дурбена, отказывавшегося менять проект, согласованность его противников, которые, нащупав слабое место, били по нему изо всех сил, постепенно подорвали наши позиции. Да и слухи о войне, реявшие над страной, как коршуны над курятником, не способствовали нашему делу. Дурбен, кажется, их игнорировал, отметая мысль о возможности войны, как назойливую муху. Несколько недель он не брал в руки газет, его раздражали звуки радио, а если я пересказывал ему какое-нибудь грозное сообщение, он не слушал меня. Каллаж стал его родиной и миром. Его ум был поглощен незаконченной пирамидой, и он дневал и ночевал на стройке, сам наблюдал за работами и увещевал людей, как капитан корабля во время бури.

Денег не хватало. В последние недели я чувствовал, как ресурсы тают, а ночной пожар нас чуть не разорил. Но Дурбен не хотел меня слушать. «Просто тяжелая полоса,— говорил он.— Надо держаться. Министерство слишком далеко зашло и не может отступить. Все образуется!» Я не хотел развеивать иллюзии, которые давали ему силу выстоять. Осторожность — одна из моих добродетелей, а может, мой самый крупный недостаток. На месте Симона я бы давно все бросил и уехал. Но меня заразила его страсть, меня как бы втянуло в его мощный фарватер. Я любил в нем те черты, каких не было во мне самом.

Но вот как-то утром я получаю телеграмму из министерства. Прежде чем ее вскрыть, я уже догадываюсь, о чем она. Час от часу не легче! Положение на восточной границе обострилось, и банки прекращают выплату кредитов. Нам предписывают прекратить работы, и словцо «временно» в телеграмме не внушает мне доверия. Я тут же несу телеграмму Симону. Он читает и бледнеет. Я представляю себе,

что он, сильный, прямой, чувствует сейчас, как почва ускользает из-под ног. Наступает гнетущее молчание. Он сидит на походной кровати, положив руки на колени, уставившись в одну точку. Я вижу, как у него на лбу выступает пот, и слышу собственный голос:

— Надо что-то сделать, позвонить...

Он поднимает на меня блуждающий взгляд, как боксер на ковре в ожидании рокового удара, и вдруг встает:

— Да, да... позвонить. И я поеду...

Телефонная сеть перегружена, слышен треск, чужие голоса. Наконец нас соединяют с центром. Министр срочно выехал на границу. Нас отсылают от чиновника к чиновнику. Вызывают генерального секретаря, он настойчиво твердит содержание телеграммы — изменить ничего нельзя. Друзья Дурбена тоже твердят о сложной ситуации. Они сделают все, что от них зависит. Но пока ничего не поделаешь. Симон упрашивает, но все без толку, наконец говорит: «Да, я понимаю, да», и голос у него совсем упавший. Он кладет трубку. За окном я словно впервые вижу большой подъемный кран, его обсела стая чаек. Я слышу крики патруля, охраняющего стройку.

И тут происходит сцена, удивительная для всех, знающих Симона. Он вдруг хватает телефонный аппарат, бросает его об стену и разбивает. Потом добивает его пинком ноги. Не злость, скорее крепкая решимость.

И я понимаю, что Симон пойдет наперекор всему и вся.

«Раз они нас бросили, я найду денег»,— заявляет Симон. Ему нужно два дня, не больше. Он едет один. В его отсутствие руководить работами будем мы с Гуру. Работу ни в коем случае нельзя прекращать.

Уже потом я узнаю, что он сделал: заложил свою недвижимость, распродал с убытком акции различных обществ, собрал все сбережения. Но не тронул личного состояния Элизабет. На это у него уходит два дня. И он возвращается с видом победителя.

А газеты уже вовсю трубили о войне. Снова замелькали крупные заголовки об инцидентах на границе, отзыве послов. И огромными буквами во всю полосу — сообщение о мобилизации трех призывных возрастов.

Мы заканчивали вершину пятой пирамиды. Не хватало топлива. Невероятно трудно было доставать запасные части. Кончался цемент. Мобилизовали Вирё, Мишлье, треть рабочих. Но горцы, оставшиеся нам верными, работали день и ночь. Симон был тут же, он убеждал, он работал, как офицер, у которого истребили весь взвод и который сам берет в руки винтовку и стреляет. Он почти не спал, не брился. В глазах горел безумный огонь.

Стоял октябрь, на Юге это сезон дождей, и вдруг они начались как-то утром. Налетел сильный ветер с песком, море разбушевалось, выбрасывало на берег пену. Непогода перекинулась на болотный край, все затянуло туманом, ветер обрушился на пирамиды с неистовостью зверя. Земля исчезла, мы словно висели в пространстве. Жалобно стонали тросы. С террас каскадами хлынула вода, горцы, спрятавшись в укрытия, смотрели на потоп с покорностью, свойственной их племени. Симон терзался бессилием. Вдруг его осеняет идея. Воспользовавшись затишьем, он велит поднять на леса большие брезентовые чехлы, и рабочие, лазая по балкам, как по мачтам, закрепляют их веревками. Нам видно, как они, в клеенчатых плащах, борются наверху с ветром, а чехол вырывается из рук и хлопает, словно парус. Промучившись несколько часов, накричавшись на ветру, мы, наконец, соз-

даем хоть и не слишком надежное, но укрытие и снова можем начать работу.

Когда через три дня шторм стих, мы оказались без сил, среди луж и обломков.

Капитан Баро объявил нам о своем отъезде. Он получил приказ. О «перемещении», как это звучало на его жаргоне. Он оставил нам двадцать солдат и одного унтер-офицера для облегчения эвакуации. Я спросил, кто будет ответственным, и он назвал моего земляка. Может, оно и к лучшему. Мы не знали точно, какова миссия этого отряда: охрана или надзор. Может, и то и другое. Многовато для человека, не отличающегося сообразительностью. Во всяком случае, мы получили кой-какую отсрочку, и, видя взгляд Симона, я не сомневался, что он постарается как следует ее использовать.

Капитан произнес несколько трескучих фраз о «серьезности обстановки», о «прекрасных воспоминаниях», которые он сохранит о нас и Каллаже, но его призывает долг.

— Может, еще встретимся.

— Кто знает? — сухо отвечает Симон.

— Ну что ж, желаю удачи.

Я не без опасения подаю ему руку, и он жмет ее немилосердно, по-мужски.

«Черные каски» отбыли тихо, как и прибыли, в полном молчании и порядке. С одной стороны, это сняло напряжение, но, с другой, охрана свелась к небольшим патрулям. Для лисиц, мечтавших превратиться в волков, представлялся прекрасный случай. Дверь овчарни приоткрылась, теперь ее только толкни посильней. Я, правда, думал, что они не глупее других и без риска и усилий просто доверятся течению истории. В таких отчаянных условиях на что только не надеешься...

Каждое утро я взбирался по лесам с почтой в руках. Еще издали я слышал крик Симона: «Сюда. Быстрей... Помните, будет хорошая премия...» Я подавал ему газету, он вытирал лоб, пробегал глазами заголовки:

— Вот беда!

И я чувствовал, что его огорчала не столько беда страны, сколько беда Каллажа.

— Марк, цемент достали?

— Я звонил на склад.

— Ну?

— Очень трудно было дозвониться. Линии перегружены, сами понимаете.

Я тыкал пальцем в газетные заголовки, но он не слушал меня.

— Что же они сказали?

— Что сейчас все резервы идут на фортификационные сооружения у восточной границы, у них нет свободных грузовиков. Им приказано нам ничего не поставлять. Может, потом. Они говорят, может, еще все уладится.

— Значит, ничего?

— Пока ничего.

— Эх!

Его рука сжимала рукоятку инструмента, на лбу выступил пот.

— Попробуйте-ка еще.

— Постараюсь сделать все, что могу.

В опалубку выливали последние ведра бетона.

Я иду ва-банк и звоню прямо в министерство.

— Алло, говорит Каллаж. Я хотел бы побеседовать с отделом по делам Юга.

— К сожалению, линия занята.

— Попробуйте соединить.

— Но я же говорю, это бесполезно.

— Объясните, речь идет о Каллаже. Очень срочно.

— Вы что, газет не читали? Сейчас есть дела поважнее Каллажа.

— Очень прошу, попытайтесь.

— Ладно, попробую. Ждите.

— Спасибо.

— Алло. Не получается, еще подождите.

— Ладно.

— Алло! Это Каллаж. Говорит Марк Феррьер. Мне срочно нужно с вами переговорить. Мы в труднейшем положении. Ни денег, ни горючего. Срочно вышлите бензин. Если нам придется эвакуироваться...

— Ждите наших распоряжений.

— Да, но...

— Слушайте. Горючего нет и не будет, ничего не будет. Если вы сами не знаете, я вам скажу: через несколько часов начнется война!

Война! Я говорю Симону: «Война», но он качает головой, не желает слушать. Лицо у него исхудало за эти недели. Он оброс бородой и похож на изможденного Христа. Мы неразлучны. Он предложил мне перейти на «ты». Он все время на стройке — и под солнцем, и при свете факелов — и словно держит в руке последнюю горстку повинующихся его голосу, а скорее, соблазненных обещанным щедрым вознаграждением людей. Однако с каждым днем эта группка тает, потому что горцы чуют конец и уходят со стройки по ночам. Пустеют бараки, и ветер заносит их песком. Каждое утро я недосчитываюсь людей, а под койками образуются целые песчаные пляжи. Мы уже израсходовали последний мешок с цементом.

Я повторяю: «Симон, война!»

— Да,— отвечает он,— да. Что тебе сказали насчет снабжения? Как дела с горючим?

— Ничего. По-прежнему ничего.

Его осенила мысль. Он знает одного мастера-цементщика в ста километрах от Каллажа, хороший парень, и Симон оказал ему кое-какие услуги. Он позвонит ему и попросит продать все запасы. У нас еще есть деньги, мы можем заплатить приличную сумму наличными. Мы долго ждем у телефона, и Симона соединяют только в 11 часов вечера. Наш звонок поднимает мастера с постели, и сперва Симон ничего не может ему втолковать, а потом он отвечает, что ничего не поделаешь, все запасы заморожены правительством. Симон обещает хорошо заплатить, тот не поддается. Симон повышает цену. Тот, кажется, колеблется и, наконец, обещает сделать все возможное, только надо приехать сразу, пока полиция не взяла склады под контроль.

— Мы приедем через три часа,— говорит Симон.

— Ладно,— отвечает тот, окончательно проснувшись.— Я буду на месте.

Никогда я еще не видел у Симона такого лица: оно вдруг разгладилось, помолодело. Он хохочет.

Разбудили Гуру и прораба. Через полчаса — два грузовика наготове. Симон решил взять первый грузовик, а Гуру — второй. Дорогу он знал. Горючего у нас хватало. Все шло хорошо.

Мы выехали из Каллажа в ярком свете луны; странно белели строгие пирамиды. Мощным фронтом высились они над пустынным берегом. Ничто не нарушало ансамбля. Только вершина пятой пирамиды была не закончена, и, глядя на эту брешь, я вдруг понял, почему Симону так хочется оставить миру законченную работу. Сперва он хотел, чтобы пирамиды сослужили службу человеку, но с тех пор, как развеялись его иллюзии, он стремился лишь к одному: создать прекрасное. Красота уцелеет. Вот почему ему не терпелось довести дело до конца.

Заурчали моторы, шины побуксовали в песке, но вот мы выбрались на дорогу. Проехали мимо «Лилового кафе». В нем было уже темно. Свет фар скользнул по фасаду, отбросил тени деревьев, похожие на руки, и все осталось позади. Симон вел машину быстро, курил одну сигарету за другой, вглядываясь в дорогу. Тростники шелестели на ветру, который поднимал мчавшийся грузовик, и в просветах между ними я видел лошадей, бледных как привидения, испуганно дергавших взлохмаченными гривами.

А вот и шоссе, огни заплясали по нашим лицам. В каком-то поселке Симон сбился с пути, ругаясь, остановил машину, проверил место по карте, а сзади тарахтел второй грузовик. И снова вперед. Еще шестьдесят километров, еще сорок... Вдруг нас остановил полицейский заслон. Электрические фонари, черные каски, лязг оружия. Симон сжал зубы. Наступило замешательство. Пошли за офицером. Симон стал любезен, убедителен, на ходу сочинил бог знает какую историю. Документы у нас были в порядке, и нас отпустили.

У склада нас ожидал человек. Впустил на территорию грузовики и закрыл ворота. У него был небольшой трактор с подъемником, и мы быстро закончили дело.

— Надо бы еще несколько мешков! — попросил Симон.

— Нет, невозможно.

— Еще тридцать.

— Да нет же...

— Двадцать.

Кончилось тем, что он дал нам еще десять. Он приготовил нам кофе, мы молча его выпили. Симон отсчитал деньги.

— Вот. Спасибо.

— Если это вас выручит...

— О, вы даже себе не представляете!

Тот выглянул на улицу и только потом отворил ворота. Мы отправились в обратный путь.

Большую часть дороги я проспал. Я предлагал Симону подменить его, но он отказался:

— Нет, я предпочитаю за рулем. Все равно не сомкну глаз.

— Ты думаешь?

— Абсолютно убежден! Спи! Впереди трудный день.

— А ты?

— Ну, я...

Он махнул рукой с беззаботностью юнца, чем-то страстно увлеченного и позабывшего обо всем на свете.

— Понимаешь, Марк, я счастлив. Когда имеешь в руках что-то осязаемое, прочное, нужное — об этом и следует думать. Да, я счастлив, как тогда, когда узнал, что могу строить Каллаж, а может, даже и больше. Странно! В самых отчаянных положениях бывают удивительные вспышки счастья. Обо мне не беспокойся, Марк. Спи!

В конце концов я задремал. Вдруг просыпаясь, я видел то яркий свет фар, то фасад здания, то силуэт дерева и снова засыпал под шум мотора.

Наконец, я проснулся. Лицо Симона, освещенное светом автомобильного табло, было спокойно, морщины разгладились.

— Где мы? — спросил его я.

Он повернул ко мне голову и улыбнулся.

— Теперь близко. Осталось километров тридцать. Скоро начнет светать.

И в самом деле, я увидел, как посветлел горизонт, звезды на небе догорали. По смешанному запаху застоявшейся воды и сена я понял, что мы въехали в болотный край. Я закрыл глаза. Запах стал резче. Такой вот запах вдыхал я по утрам в тот ранний час, когда деревня встает от сна, а я покидал дом Мойры.

Мойра! Она сейчас еще спит: волосы распущены, рука изогнута, лицо прижато к простыне. Как я знаю эту детскую позу! Но странно, я ничего не чувствую, и даже слово «детская», связанное с ней, не трогает меня. От ее чар не осталось и следа, и я не ощутил грусти, скорее, чувство избавления, точней, даже выздоровления. Да, эта ночь мгновенно, как по волшебству, излечила меня. Словно в сказке: пропел петух, и чары колдуньи исчезли.

И вдруг отчетливо проступили те мучившие меня в течение недель подозрения, в которых я не хотел разбираться, пока Мойра имела надо мной власть. Это она завлекла меня в болотный край — так соблазняют дезертиров,— это она полонила меня, отвезла к графу и старалась отвадить меня от Симона. Ведь это она раззадорила меня рассказами про богомолье в Сартане, и подбила нас в ночь пожара отправиться туда, и сняла со стройки тех, кто мог бы ее защитить. Все прояснилось, как вдруг проясняются строки письма, когда складываешь разорванные клочки. Сердце у меня падает, и я даже охаю, а Симон, обернувшись ко мне и встретив мой взгляд, говорит:

— Тебе что-то приснилось?

Я не стал ему возражать. Уже рассвело, солнце скользило по верхушкам камышовых зарослей. Было прохладно, и в резком свете восхода на лице Симона снова проступили морщины.

Мы проехали сторожевой пост под удивленным взглядом часовых и поставили грузовики рядом, под деревьями. Дурбен соскочил на землю. Я видел, как он рассматривает пирамиды. Он сказал просто:

— Что ж! Часок отдохнем, а потом встретимся на стройке.

Мой краткий сон прервал звон будильника. Небо было ясно, но поднялся южный ветер, и тонкие полосы песка уже лежали на террасе. Я быстро оделся и бросился к Симону.

— А ты уже готов! — сказал он.— Хорошо! Тут же отправимся.

У подножья пирамиды дул сильный ветер, забивал песком глаза, затруднял дыхание. Симон посмотрел на леса вверху пирамиды, беспокойно глянул на часы:

— Что они делают? Можно подумать, там никого нет!

Напрасно он звал людей: голос тонул в огромном каркасе, ветер свистя обрушивался на балки.

Мы стали взбираться по лестнице, а потом по времянкам до рабочей платформы в поднебесье, но никого там не нашли.

— Куда они подевались? Может, меня не поняли? Скорей к рабочему поселку!

На полпути мы встретили Гуру и прораба и вместе направились к баракам. Там никого не было. На полу валялись матрасы, бутылки, мятая бумага. Пользуясь нашим отсутствием, последние горцы, очевидно, ночью ушли из поселка. Симон совершил оплошность, выплатив

им деньги накануне, и обещанные высокие ставки и премиальные не удержали никого. Я представил себе тайные переговоры: одни говорили, что больше не верят в успех, что над городом, вероятно, висит проклятье и он принесет несчастье всем, кто останется работать. И все сдались. Уложили в мешки жалкие пожитки, побросали спецодежду, снова натянули кожухи из шкур. Ускользнули со стройки по тропинкам, только им одним известным, под носом у часовых. Молча пересекли болота, прошагали пешком всю ночь, и теперь уже, видно, взбираются в горы, вдыхая запах каштанов.

Симон побледнел. Не сказал ни слова. Он лицом к лицу столкнулся с той действительностью, которую хотел победить ночным порывом восторга. Я чувствовал — еще немного, и он крикнет: «Ну, пойдемте работать вчетвером!», но он сдержался. Просто медленно развел руками, как бы признавая свое поражение и извиняясь.

Все закрутилось быстро. Подъехал унтер-офицер с газетами и телеграммой для Симона. Всем предлагалось отправиться в армию по своим подразделениям. Унтеру приказывали уехать немедленно. Солдаты и машины уже наготове, и, если угодно, он мог нас подбросить: наутро будем в столице. Симон поблагодарил его, объяснив, что надо привести в порядок бумаги и он обождет до вечера. Я понял, что он хочет, чтобы я тоже остался; Гуру и прочие присоединились к военным. Мы пожали всем руки и остались вдвоем.

— Мне надо несколько часов, чтобы все привести в порядок,— сказал Симон.— Встретимся позже. Тебе небось надо съездить проститься.

Я кивнул.

— А мне, как ни странно, прощаться не с кем. Кроме этого, у меня ничего нет!

И он показал на пирамиды в песчаной дымке.

Я отправился не задумываясь. Когда Симон сказал, что мне «надо проститься», я ответил «да», точно это само собой разумелось. Но ведь по дороге, в грузовике, я думал о Мойре со злобой, мне казалось, что с ней не следует больше встречаться. Но обиды вдруг остыли и даже стали казаться надуманными, словно привиделись мне в кошмарном сне. Со мной так бывает — ночью меня посещают какие-то настроения, а свет дня не подтверждает, а развевает их. Так и с Мойрой. Буря миновала, остался только легкий осадок. Собственно говоря, мы ведь расстались с ней еще до последних событий. В театральных терминах — мне оставалось только красиво уйти со сцены.

Я вхожу в «Лиловое кафе». Старик уже в зале, я впервые вижу его с газетой. Он говорит: «Небось знаете новости. Все сначала! Вот беда-то!» — и добавляет, что принимал участие в первой войне. У него нет иллюзий. Расплачиваться всегда приходится простым людям. Нет, эта война не для него, не для людей Юга! И он еще долго бурчит себе под нос что-то в этом духе. Я не слыхивал от него прежде таких пространных речей, разве что он говорил с быками.

Из кухни выходит старуха.

— Ну как?

— Да вот, уезжаю.

— Когда?

— Сегодня.

— А!

— Вызвали телеграммой. А где Изабель и Мойра?

— С лошадьми в болотах. Там, за домом.

— Ладно. Найду.

Я вижу их вдалеке, у зарослей тростника. Они отводят лошадей на большой выгон. Я машу им, и, заметив меня, они поворачивают и

скачут ко мне галопом. Волосы их развеваются на ветру, платье туго обтягивает груди, и я вспоминаю поездки на пляж, наши игры, минувшее лето и думаю о том, что оно сохранится в моей душе как последняя память о мирных днях.

Они спешиваются, и по их лицам я вижу, что наша ссора забыта.

— Что случилось? — спрашивает Изабель.

Мне хочется рассказать им все: о Симоне, о ночной поездке, о покинутом Каллаже, но я сдерживаюсь и говорю только, что уезжаю. Они смотрят на меня недоверчиво, Изабель забрасывает меня вопросами: куда я еду? Что буду там делать? Долго ли продлится война? По правде говоря, я сам этого не знаю, отвечаю наугад и спрашиваю себя о том, как представляют себе войну эти две молодые женщины в песчаной пустыне, среди камышовых зарослей.

— Оставайся, Мойра,— вдруг говорит Изабель,— а я отведу лошадей. До свиданья, Марк. Ты ведь еще вернешься, правда?

Она уже вскочила на лошадь и несется прочь галопом. Мойра стоит передо мной и покусывает губы, как всегда в минуты волнения или растерянности.

— Не верится, что ты уезжаешь. Когда ты узнал?

— Несколько часов назад.

— Ах, вот так, вдруг... Тебя давно не было. Я тебя ждала.

— Да у нас все не ладилось. И потом мне казалось, ты и не хочешь, чтоб я приезжал.

— Понятно, но... Ах, надо привыкать к тому, что больше я тебя не увижу.

Она держит вожжи, успокаивает лошадь, а та, закусив удила, тянет голову вверх.

— Да, надо привыкать жить одной.

Мы оба не знаем, что говорить, и я думаю: «Она не устраивает сцен, принимает все как должное. Она сумеет забыть». Я благодарен ей за то, что она предоставляет мне возможность «красиво» удалиться. Но мне самому стыдно от этого.

— Ты оставил у меня книги,— говорит она.

— Пусть у тебя будут, там они мне не нужны... Ну что ж, Мойра, мне пора.

— Уже? Можно я провожу тебя хоть до машины?

И пока мы идем рядом:

— Ах, Марк, что с нами будет? Неужели война надолго? Но ты скоро вернешься, я верю, и ты мне напишешь. Да?

— Да, я напишу.

Ее лицо сияет, и я думаю, она быстро утешилась. Мы неловко целуемся, и я почти равнодушно чувствую под рукой ее плечо, вдыхаю запах ее волос. Я отстранился, не смея в последний раз взглянуть ей в глаза. Я крикнул: «До свиданья», но знал, что оно означает «прощай».

Я вижу, как отдаляется «Лиловое кафе», потом исчезает за поворотом, и с беспокойством вспоминаю о Симоне. Как же я решился уехать и оставил его одного хотя бы на час? Ведь мало ли что он мог наделать в отчаянии: пустить себе пулю в лоб, заплыть далеко в море, броситься с пирамиды. Я помчался быстрее, отбрасывая шлейф пыли в тростниковые заросли. Вдали над прудом птичья стая треугольником пробиралась к югу. Я промчался мимо брошенного сторожевого поста, песчаный вихрь подхватил и закрутил какие-то лоскутья. Темнело. На дюны с пеной набегали волны. Я был уверен, что Симона нет в живых.

Я взбежал на крыльцо, перескакивая через три ступени, и ворвался, кажется, не постучавшись. Симон, склонясь над столом, упаковывал вещи. Он был совершенно спокоен. Ни о чем меня не спросил, бросил лишь несколько замечаний о том, «как быстро скапливаются разные вещи и бумаги». Часть он сжег, остальное придется оставить. Да здесь и нет ничего особенно ему дорогого. Но я увидел, как он взял со стола маленький зеленый камешек, стал крутить, держа на свету, ничего не сказал и сунул камешек в чемодан.

Мы выезжали в сумерках. Симон запер дверь, постоял в раздумье, мне показалось, что он хочет забросить ключ в песок, но он опомнился и положил его в карман. Мы сели в машину, и он повел ее не оглядываясь.

После той ночи в дороге, когда он долго говорил о Каллаже, надеждах и испытаниях, о постигшей нас неудаче и прекрасных часах вдохновения, которые мы пережили вместе, я больше не видел Симона. Он погиб в первые же месяцы войны в танке, на Севере. Я был унтер-офицером фортификационных укреплений на востоке. События решались на Севере. Мы обменялись всего несколькими письмами. И он пропал. Наконец, я получил извещение от Элизабет: Симон погиб десять дней назад от прямого попадания снаряда в танк. Сгорел вместе с экипажем. «Я знаю, Вы были привязаны к нему и к Каллажу, который, как я теперь думаю с раскаянием, я не слишком любила. Он просил перед отъездом сообщить Вам, если с ним что-то случится. Он вернулся с Юга, отрешившись от всего. Он не верил в эту войну...»

Помню, я долго стоял под навесом, становилось холодно, сердце мое сжималось, но я не мог пошевельнуться, а потом кто-то вошел, задел перегородку прикладом ружья... Ко мне обращались, но я не понимал слов, отвечал невпопад. Позже я еще раз перечитал письмо. Да, Элизабет осталась и тут верна себе: элегантность, достоинство, трезвость мысли, но страдания в письме я не нашел. Долго еще по ночам, в кошмарах, я видел смерть Симона. Он лежит с черным лицом, тело бугристое и почему-то блестящее и застывшее, как гигантская окаменелость, которую извлекли из древних пластов. Иногда мне кажется, что он смотрит на меня, губы шевелятся, он хочет что-то сказать. А иногда он мне представляется базальтовой статуей, недвижной и вечной.

Известно, как трагически кончилась эта война. Самые богатые наши провинции были опустошены, мы потерпели поражение и подписали мир на жестких условиях. Новому правительству хватает забот, столько прорех надо заделать и некогда думать о землях Юга, да и зачем они ему?.. Среди членов правительства — кое-кто из прежних врагов Симона. О Каллаже не вспоминают. Тут уж не до жиру, быть бы живу...

Я вернулся с войны растерзанный, скорее духовно, чем физически. Я четырнадцать месяцев провел в крепости в ожидании невидимого противника, а он предпочел нанести нам удар на другом фронте и взял нас с тыла, не дав возможности хоть раз выстрелить из пушек. Да, тяжело. Никаких доблестных поступков. У меня хватало свободного времени между поверками часовых, да и позже, в лагере для военнопленных, я думал о Каллаже и обо всем, что на расстоянии представилось мне постепенным долгим паденьем.

Мойра сперва писала мне, потом перестала. И вот через несколько месяцев снова пришло письмо. Она собирается замуж. За одного домовладельца в Сартане. Он ей нравится, да и жизнь в болотном краю стала трудновата для одинокой женщины.

В плену я все чаще подумывал о том, не перебраться ли мне после войны поближе к Каллажу. Мне стало казаться, что иначе я жить не смогу.

Выйдя из лагеря, я сразу отправился навестить Элизабет. Она жила вместе с Софи в центре столицы в большом белом доме, где я впервые встретился с Симоном перед отъездом в Каллаж. Она занимала на верхнем этаже огромную квартиру с подвесным садом. Был вечер. Сквозь ветви сверкали городские огни, гул автомашин напоминал шум прибоя.

Элизабет была безупречно любезна. Все так же хороша собой. С первой минуты меня неприятно поразило то, что она ничуть не изменилась. Поговорили о Симоне, о войне, о моем плене. Симона уже два года не было в живых, но он оставался мне по-прежнему близок, и только, слушая Элизабет, я вдруг почувствовал, какое расстояние нас разделило.

Софи я едва узнал. Она стала взрослой девушкой. Я даже непроизвольно заговорил с ней на «вы». И опять я ощутил отчуждение. Она станет красивой, как Элизабет, но будет, как мать, далекой и властной.

Когда я уже откланивался в дверях, она вдруг спросила:

— А там вы были?

Я поднял на нее глаза и встретил прежний ее взгляд.

— Нет.

— Поедете?

— Наверное... Потом.

Больше она ничего не спросила. Мне показалось, что она уже думает о другом. А как бы хотелось, чтобы она произнесла тем, прежним голосом: «А я туда поеду», или: «Я туда никогда не вернусь». Хоть что-то сказала бы, лишь бы с чувством.

— Что вы теперь собираетесь делать? — спросила Элизабет.

— Не знаю. Думаю, чтобы начать, надо во что-то верить, а война разрушила все, во что я верил... Наверное, уеду в глушь на два-три года. Пока средств хватит. А там посмотрю...

Я знал, конечно, что поеду на Юг, что больше нигде не смогу начать жизнь заново, но не сказал об этом ни слова.

— Понимаю,— сказала она.— Но вы ведь к нам еще приедете, правда?

Бесшумный, обтянутый серым лифт оторвал меня от двух одинаковых улыбок. Я медленно падал вниз. Горло мое перехватила страшная грусть.

Я снял этот хутор между берегом и болотами. У меня есть на что жить: мне ведь почти ничего не надо. Иногда я сам себе кажусь живущим в отдалении хранителем пирамид: ведь я все о них знаю. Тут, кроме меня, почти ни души. И те, кто остался, понемногу все забывают, вот и у старухи все больше и больше меркнет память. И все-таки однажды я спросил у нее, знает ли она Модюи. Еще бы! Как свои пять пальцев. Там ее сестра жила. Хорошая деревня. «А вы-то откуда знаете Модюи?» Я сказал, что как-то провел там несколько дней, снимал комнату в «Лиловом кафе». Как поживают хозяева? Хорошо, только вот дряхлеют, во время войны дела-то шли неважно: вся молодежь на фронте была. Да, ведь они дочь замуж отдали. Не сказать, чтобы рано. А какая красивая девушка! Ее двоюродной сестре, Мойре, той и вовсе не повезло: собиралась за одного живот-

новода, да в последний момент сорвалось. «Бедняжка, с детства ее преследуют несчастья». Старуха еще что-то говорила, но я уже не слушал. Я твердил себе, что, возможно, не все еще потеряно, достаточно беглой встречи, только захотеть — и связь, казавшаяся порваной, вдруг возобновится. Да, достаточно случая. И может, однажды я еще попытаю счастья.

— Вроде вы от всего этого настроились на мечтательный лад! — сказала старуха.

— Может быть, что ж... воспоминания... А графа Лара вы знаете?

— А как же! Владелец лучших быков во всем болотном краю. У него были неприятности во время постройки Каллажа. Его арестовали, потом освободили в начале войны. Он вернулся на хутор, но говорят, с тех пор у него появились разные странности. Очень гордый человек, его побаиваются, да и уж очень любит женщин,— добавила она смеясь.

Вот с ним-то, наверное, я поеду как-нибудь повидаться. Да, наверное, поеду. И если только он не пальнет в меня из ружья сквозь щели в жалюзи, у нас найдется о чем порассказать друг другу.

*Гузарг,*
*июнь 1973 — май 1975.*

## О романе Жана Жубера «Человек среди песков»

Роман «Человек среди песков» был удостоен в 1975 году премии Теофраста Ренодо — одной из самых почетных литературных премий Франции. Книга несколько месяцев фигурировала в списке пяти наиболее читаемых произведений. Через год после ее выхода Французское телевидение показало фильм, созданный по этому роману. Такой успех провинциального литератора, в основном — автора стихотворных сборников, не случаен. Роман, очевидно, затронул какие-то серьезные и волнующие современников духовные и нравственные проблемы сегодняшней жизни.

«Человек среди песков» оказался одной из тех книг, в которых отразились характерные для французской литературы 70-х годов попытки «заглянуть в суть», то есть увидеть и показать «глубинные» причины явлений общественной жизни и скрытый механизм их функционирования. Такая тенденция в литературе была вызвана резким обострением общественных противоречий во Франции первой половины 70-х годов в связи с разразившимся в стране социально-экономическим кризисом. Обнажилось органичное глубокое неблагополучие самой основы социальных структур. В печати, в обширном потоке социологической, философской, политической и даже религиозной литературы стали широко обсуждаться вопросы глобального, обобщающего характера: содержание понятий «прогресс» и «цивилизация», цель и смысл общественного развития, его философско-этические основы, дилемма — прогресс или природа, капитализм и судьба народа и т. д.

Естественно, что художественная литература не могла пройти мимо этих поисков причин социального неблагополучия и выявления смысла общественного развития. Наиболее подходящей формой для раскрытия таких «глубинных» проблем стал так называемый роман-притча, имеющий во Франции богатую национальную традицию. Пример такого рода литературы, один из ее наиболее значительных образцов — роман Робера Мерля «Мальвиль» (1972), недавно переведенный на русский язык.

«Человек среди песков» также может рассматриваться как роман-притча, типичный для Франции 70-х годов. Но чувствуется, что он написан поэтом. Интеллектуальность и проблемность, свойственные жанру, облекаются здесь в лирическую, красочную и метафорическую, поэтичную форму.

Почему обречена на провал мечта талантливого архитектора Симона Дурбена — построить на берегу моря прекрасный город, где жили бы счастливые люди?

Мы видим в романе, как на практике она оборачивается грубым вторжением городской цивилизации в патриархальный мир жителей гор и болот вокруг Каллажа. Обитатели окрестных деревень и горные пастухи враждебно относятся к Каллажу. Они знают то, чего не хочет знать фанатически увлеченный своей мечтой Симон Дурбен: за ним идут банки, эксплуататоры, крупный капитал, разрушится веками сложившийся уклад жизни и те формы человеческих отношений, которые кажутся аборигенам естественными и единственно подлинными. Противопоставление капиталистической цивилизации патриархальному бытию крестьян стоит в центре повествования. Между

этими двумя враждебными мирами оказался рассказчик Марк Феррьер. Восхищенный почитатель Симона Дурбена, Марк в то же время сближается с крестьянами, ибо он влюблен в деревенскую красавицу по имени Мойра (что означает по-гречески: богиня судьбы, и этим подчеркивается символическая роль персонажа). Такая раздвоенность рассказчика побуждает его, а вместе с ним и читателей задуматься о смысле и цели Каллажа и стоящего за ним капиталистического прогресса. Противопоставление буржуазной цивилизации и патриархального уклада принимает постепенно четкую форму контраста между миром искусственных, ложных ценностей и подлинных, естественных. С одной стороны — металл, стекло, цемент, холодные машины, приносящие прибыль, а с другой — живая, теплая жизнь, свободолюбивые, гордые люди и прекрасная, нетронутая природа. Улетают красивые фламинго, погибают перелетные птицы, бросаются в воду стада, смятенные наступлением города. Жубер поэтически передает красоту природы, обреченной на гибель, когда будет построен Каллаж. Защита природы сливается в книге с защитой простых, подлинно человеческих отношений, оказавшихся под угрозой.

Образ архитектора Симона Дурбена приобретает глубоко трагический смысл. Всей своей деятельностью он протестует против бездуховности мещанского мировоззрения, против потребительской идеологии, выражающейся в погоне за деньгами, вещами, наживой. Но Дурбен пошел ошибочным путем, стал, по существу, игрушкой в руках тех сил, чью идеологию он не принимает. Это своеобразный Дон Кихот в песках, оказавшийся один, без опоры, без помощи, утративший смысл и цель своего существования. В этом социальном одиночестве — его трагедия.

В романе не удалось построить Каллаж. Его поглотили пески. Но в реальной жизни нечто подобное было создано в 60-е годы: на берегу Средиземного моря вырос город Гранд-Мот, состоящий из белых домов-пирамид. Они приносят колоссальные доходы.

Антикапиталистическая направленность книги Жубера очевидна. Но его протест перекликается с той формой критики буржуазного общества, которая была характерна для литературы романтизма XIX века. И это, очевидно, не случайно. Автор порой сознательно стилизует повествование под старинный романтический роман, что сказывается и в описаниях природы, и в обрисовке некоторых персонажей (например, граф Лара, имя которого вызывает в памяти имена героев Байрона и Мюссе), и в рассказе о любви Марка и Мойры. Но такая стилизация — своеобразная форма неприятия современного буржуазного общества, некий «экологический романтизм», используемый, однако, с реалистическими, социально-разоблачительными целями.

Роман Жана Жубера — книга не только умная и поэтичная, но, написанная рукой мастера, побуждает к размышлению и дает представление о сложных и глубоких социальных и нравственных исканиях современных французских писателей.

**Ю. УВАРОВ**

## К 150-летию со дня рождения Льва Толстого

**Х. К. ПАРМЕДЖИЯНИ.** Болгария
Иллюстрация к роману «Война и мир»

# ЯН КОЗАК

# *Гнездо аиста*

РОМАН

*Перевод с чешского Л. ЛЕРЕР и И. БЕРНШТЕЙН*

## *V. Охота на диких кабанов*

1

Гойдич, сжимая в руке ружье, стоял на одной из вершин покрытой снегом гряды холмов. Противоположный склон слепил глаза мерцающим блеском, над головой сияло белесовато-голубое небо, солнце, казалось, было покрыто инеем. И царила ничем не нарушаемая тишина. Здесь властвовала над всем суровая искристая зима.

Лежавшую перед Гойдичем большую поляну окаймляла полоса густых лесопосадок, спускавшихся в глубокую ложбину. Поляна была сплошь испещрена следами животных, которые перебегали через нее, направляясь к старому лесу, вздымавшемуся за спиной Гойдича. Лес этот тянулся по гребню и за Трнавкой спускался к пастбищу. Следы при таком морозе покрылись пушистым инеем.

Гойдич подышал на замерзшие руки. Поднимаясь на вершину Гирьяча, он вспотел, и теперь ему сразу стало холодно. Какая чудесная тишина! Лишь хрупкий наст ослепительно белого снега слегка поскрипывал при каждом его шаге.

Какая тишина! — говорил он себе. Тишина и покой. Господи, да мог ли я себе представить, что где-то в мире есть еще тишина и покой? В нашем сегодняшнем мире?.. Сколько же времени прошло с тех пор, как мне подарили ружье? Без малого семь месяцев. А в лесу я впервые. Я знал, что так все и будет!

Ему было холодно, но он улыбался. Тишина и сверкающая белизна вызывали в нем ощущение какого-то необыкновенного покоя. Ведь человеку так хочется хоть ненадолго забыть все тревоги и огорчения, жестокость и суровость жизни, так хочется хоть на короткое время отвлечься от забот...

И тогда тоже был точно такой мороз, только еще шел снег, вспомнилось ему. Он сказал Катержине, что не сможет зайти к ней вечером,— он должен был принимать участие в важном деле. «Это и наше дело, Катка. Оно нас обоих касается»,— сказал он ей. Она в ту пору еще мало знала его и не понимала, почему он так взволнован. «Ты боишься?» — спросила она. Но и он не сразу понял, что она имеет в виду, даже когда повторила свой вопрос. Потом только сообразил:

---

Продолжение. Начало см. в № 7 за 1978 г.

боялась-то она. Газеты пестрели заголовками: «Обнаружены склады оружия», «Функционеры национально-социалистической партии готовят антиправительственный путч», «Внезапное продвижение американской армии к нашим западным границам», «Советский Союз в любом случае будет выполнять условия союзнического договора»... Всюду — на улицах, на предприятиях — собирались группами люди, о чем-то толковали.

В те февральские дни он не думал о себе. Это были священные мгновенья. Без колебаний бросился бы он даже туда, где его подстерегала смерть... Перед ним открывалось будущее. То был звездный час. Сколько раз ощущает его в своей жизни человек?

И все же в те дни он не совершил ничего особенного. Написал только листовку для словаков, которые так же, как и он, работали в чешском пограничном городе. Да дежурил на телефонной станции химического завода — он работал там после окончания техникума,— дожидаясь сообщений из районного комитета партии.

А потом они вышли на улицы. Проходили мимо засыпанных снегом развалин и потемневших жилых домов, мимо складов и фабричных ворот. Несли лозунги: «Долой министров-реакционеров!», «Да здравствует правительство Готвальда!»

Шли, подняв воротники пальто, в замасленной рабочей одежде, пропитанной запахом химикалиев. Вместе с ними, с рабочими-химиками, шли железнодорожники, врачи, служащие. В демонстрации участвовали уже не только коммунисты. Рабочие, которые прежде голосовали за национальных социалистов, клерикалов и социал-демократов, шли теперь вместе под красными знаменами. В колоннах слышался девичий смех...

Гойдич смотрел на ясное, чистое небо, на сверкающую белизну снега и улыбался. Но в уголках его рта таилась горечь — жизненный опыт развеял в прах его прежние простодушные представления о том, что двигаться вперед к новой жизни они будут быстро, что с массовой коллективизацией дело будет обстоять просто, что новый человек родится вдруг сам собой,— наивные представления, будто все пойдет как по маслу! Но он хотел жить и добиваться светлого будущего, не идя ни на какие уступки, и этого желания не утрачивал никогда.

А ведь тут действительно неправдоподобная тишина, неправдоподобная чистота.

Он ждал. От холода у него дробно стучали зубы. Пытаясь согреться, он стал притоптывать, но делал это осторожно, чтобы не скрипел снег. Хоть он был в перчатках, пальцы у него закоченели. Перекладывая ружье из одной руки в другую, он попеременно отогревал их в рукаве. Края поднятого воротника заиндевели от его дыхания.

Вдруг в этой тишине откуда-то снизу донесся стук дятла. Это был первый громкий звук, который он здесь услышал. Вслед за тем он увидел вспугнутую птицу. Она вылетела из лесной чащи и пролетела высоко над ним. И только потом он понял, что слышал вовсе не постукивание клюва о кору мертвого дерева, а стук трещотки загонщиков.

Может, мне попадется олень или кабан, подумал он. Правда, загонщики могут вспугнуть и волка, и рысь, и дикую кошку... Но в зайцев я стрелять не стану... Нет... Интересно, что сказал бы отец, увидев меня с ружьем... А тот кабан... я все еще вижу следы кабаньей крови на лице отца, когда он в ужасе от содеянного мною схватился за голову. И вот теперь я сам... Если бы отец был жив, он глазам бы своим не поверил. Ты, отец, политикой никогда не интересовался. Будущее тебя, конечно, занимало, но каким было оно для тебя? Каждое утро приносило тебе заботы: чем накормить восемь ртов и как раздобыть себе щепотку табаку да глоток сивухи. Мясо? Всего два раза в неделю.

Кусочек мяса всегда давался в конце обеда — это было лакомство, «пища богов». Как прокормить восемь вечно голодных ртов — вот что означало для тебя будущее! И все же ты не мог не сделать того, что ты сделал. О чем ты думал, когда в последний раз смотрел на осеннее солнце?

Гойдич, следя за птицами, дышал на ладони, притоптывая на месте. Птиц становилось все больше и больше; шумно хлопая крыльями, они вылетали из зарослей кустарника, словно стрелы, и с испуганным щебетом взмывали над ним ввысь.

С резким криком пролетели над его головой сойки и уселись неподалеку на высоком буке. Загонщики приближались: в прозрачном воздухе время от времени раздавались удары топоров и крики.

Вдруг из зарослей напротив послышался тяжелый топот и хрюканье. У Гойдича бешено заколотилось сердце. Он быстро снял перчатки, поставил ружье на боевой взвод и приложил к курку палец. Наконец-то! — подумал он.

Сквозь густые заросли продирался вепрь. С треском ломались ветки кустарника, беззвучно сыпалась снежная пыль. Гойдич еще не видел зверя, но уже старательно целился; по звукам следил за его бегом и вглядывался в щель прицела поверх клинышка мушки на синевато-сером стволе ружья. Видишь, как жду я тебя, думал он. Но я должен оставаться совершенно спокойным, чтобы рука была твердой.

Снег сыпался с ветвей уже у самых ближних кустов. Ну вот... Ты уже мой... Нет, не мой, а отца. Я отдаю его тебе, отец!

Ему показалось, что в кустарнике мелькнула огромная черная туша. Вепрь, раздвигая и сминая кусты, все время бежал вдоль поляны.

Ну что же это такое?! Ага, тебе не хочется выходить из чащи? Что ж, беги! Только скоро снова наткнешься на загонщика — они ведь идут веером, сохраняя определенные интервалы. Беги, да только пуля все равно поджидает тебя. Нет, в голову целиться не стану, буду стрелять в грудь, чтобы пробить сердце. Если бы ты знал, какую я испытываю радость, слыша тебя! Видать, здоровенный ты зверь, вон как топаешь! — подумал он. Ничего, мы разглядим тебя как следует, хоть тебе и не хочется сейчас выходить из кустов... На этот раз, отец, клыки я уж не сломаю!

Сжав губы в узкую полоску, он осторожно переводил ствол, не отрывая глаз от клинышка мушки. Вдруг совсем близко раздался чей-то громкий крик, затем послышались испуганные хриплые голоса, удары топора.

— Осторожно! Осторожно, он тут!

— Тут — слева! Вот дьявол, будь ты неладен!

И снова наступила тишина. Зловещая тишина, после гулкого топота зверя.

Гойдич замер. Господи, что случилось? Палец на курке слегка вздрогнул и с трудом оторвался от него.

Гунар в подпоясанной бечевкой пятнистой немецкой штормовке наклонился над большим глубоким следом в снегу. Осторожно, словно боясь повредить его, он приложил к нему покрасневшую от холода ладонь.

— Черт возьми! Вот это да! — воскликнул он с неподдельным изумлением и в то же время со злостью.— Такое не часто случается!..

— Я его видел совсем близко,— сказал Штенко и показал топором в сторону, куда умчался зверь.— Пробежал шагах в десяти от

меня. Да где там — в восьми, не больше. Ты и представить себе не можешь — не кабан, а просто танк! Это же самая настоящая подлость с его стороны — удрать от нас!

— Так что же ты, сукин сын, не трахнул его топором?! — взорвался Гунар.

— Легко сказать — трахнул топором! Это же не кабан, а танк. Вот такой! — Штенко раскинул руки.— С доброго коня! Матерь божья! Такого страшного зверя мне в своей жизни еще не доводилось видеть. Я еле успел отскочить в сторону. Даже топор затрясся со страху. Ей-богу, не вру! — заключил он, обернувшись к Олеяру.

— Заткнись! — тяжело дыша, сказал Гунар.— Я пошел... Да... За нами ведь должен был идти стрелок — где он?

— Думаешь, меня это не бесит? — снова заговорил Штенко.— Жрать дома нечего, а тут такая свинья сбежала, можно сказать, прямо с тарелки!

— Заткнись! — повторил Гунар и зашагал по тропе.

В это время к ним подошел лесник, и Штенко стал пояснять ему:

— Вот тут пробежал. Боже ты мой! Вы только посмотрите, какие выкрутасы он выделывал!

— Черт возьми! Это же тот самый матерый вепрь... — Лесник расстроенно глядел на следы.

Услышав слова лесника, Гунар остановился.

— И такая зверюга ускользнула от нас... — с досадой заметил он и спросил: — А где молодой Копчик? Ведь у него было ружье. И он мог пойти за нами.

— Мог,— сказал Олеяр, стряхивая снег с шапки и плеч.

— Это уж не твоя забота, Пишта,— сказал лесник.— Я поставил его у Спалениска. Кто-то должен был прикрывать фланг. Ведь у нас мало ружей.

— Надо же, упустить такого зверя! — ворчал Гунар.

Гойдич продолжал стоять, вперив взгляд в землю. Он был взволнован. Два ряда глубоких следов терялись в кустарнике и зарослях сухого бурьяна. Мало ружей? А ведь можно было взять на охоту Бриндзака — тот не раз предлагал составить компанию, подумал он и вздрогнул. Нет, только не его... Нет. Бриндзака ты с собой брать не стал бы. Вот и расплачивайся. Кабан этот был у тебя уже на мушке, мчался навстречу собственной гибели. И может быть, именно потому, что не было Бриндзака, зверь и ускользнул, а мы все остались с носом... Загонщики злятся и смотрят на тебя голодными глазами. Еще бы! Ты же пообещал каждому добрый кус мяса, если уложишь кабана...

Гойдич отвел, наконец, взгляд от следов и осмотрелся. Загонщики, сбившись в кучку, стояли рядом с трещотками, палками, топорами.

Гойдич достал из кармана фляжку. Наливая стопочку, он с трудом заставил себя улыбнуться.

— Я уже давно держу этого вепря на примете. И был уверен, что сегодня-то с ним расквитаюсь,— сокрушался лесник.

— Да-а, нам здорово не повезло... — сказал Штенко, почтительно поглядывая на фляжку.— Такое не часто случается...

— А я уже видел его мертвым,— сказал Гойдич.— Ночью мне приснилось, что я уложил кабана. Отчетливо помню даже, как проводил рукой по его жесткой щетине.

— Вы, должно быть, не с женой спали! — прищурив глаза, ухмыльнулся Штенко.

— А ну-ка попридержи язык! — понизив голос, одернул его лесник и скользнул взглядом по лицу Гойдича.

Остальные переглянулись, заулыбались.

— Как ты сказал? Я не с женой спал? Ах ты, негодник! Раз так, не получишь от меня ни капли! — добродушно отшутился Гойдич.

— Правильно,— сказал Гунар.— Да ведь он и сам мог трахнуть того кабана топором. Кабан либо сразу свалился бы, либо мы его добили бы.

— Тогда беру свои слова обратно,— сказал Штенко и облизнулся.— Да, черт возьми, беру обратно! Такая водка, как у товарища секретаря...— Он повернулся к Гунару, который, утерев рот, отдал Гойдичу стопку: — Не то что твоя! После твоего ликера кажется, что проглотил сосновую шишку.

Штенко потянулся к стопке, и Гойдич наполнил ее.

— На, пей, раз взял свои слова обратно!

— Ну, следующий от нас не убежит. Такое невезенье дважды не повторяется,— сказал Штенко и, причмокнув, выпил.

— Надо же, ни одного выстрела не сделали!.. А там осталось что-нибудь? — покосившись на фляжку, спросил Гунар.

На тропе, из-за поворота, показались Сойка и Павел, оба с ружьями за спиной. Гунар, прищурив глаза, оглядел обоих.

Обернулся к ним и Гойдич. Всего четыре ружья, подумал он. Но еще есть надежда...

От мороза и резкого ветра лицо у него кололо словно иголками. Ноги и руки совсем окоченели. Холод вдруг нагнал на Гойдича уныние. Ох, чует мое сердце, ничего уже сегодня с охотой не выйдет, подумал он.

— Теперь мы пойдем к Сивой студне,— сказал лесник.

Гойдич протянул фляжку Сойке, и тот одним махом выпил все, что в ней оставалось.

— Мать честная! Хороша водочка, да побольше бы ее! Стужа-то ведь лютая! Ну-ка, Гунар, возьми у товарища секретаря ружье! — решительно распорядился Сойка.

— Не надо! — запротестовал, рассердившись, Гойдич.

Он еще раз обвел долгим взглядом залитую солнцем, искрящуюся белую поляну и полосу густых лесопосадок, где скрылся зверь.

Один выстрел в тот день все же был сделан — Сойкой. Убитая им лисица лежала в сенях дома лесника, а сам Сойка бодро уплетал гуляш. Настроение у него было отменное. Когда загонщики собрались идти в корчму, он сунул руку в карман.

— Возьмите! Будет вам еще на пол-литра!

Сколько же ты им дал? — думал Гойдич. Нет, давать ты наверняка не умеешь. А может, умеешь? Быстро же ты этому научился. Жаль, что я не стал сегодня героем. Чертов кабан, почему же ты улизнул от меня? Вот дьявольское невезенье! — досадовал он.

Он тоже ел с аппетитом. Гуляш из мяса косули с винным соусом был просто объеденье. Гойдич вылавливал в соусе ягодки можжевельника, накалывая их вместе с кусочками мяса на вилку, и с наслаждением отправлял в рот.

У жены лесника, которая накрывала на стол и подавала им еду, лицо раскраснелось, а глаза сияли от счастья и гордости. Радостно смущенная, предупредительная, улыбающаяся, она ставила на стол миску с гуляшом, хлеб, тарелку с колбасой, пододвигала рюмки. Каждое ее движение говорило, как дорожит она тем, что у нее такие гости. Она отдала бы им и последнее...

Гойдич медленно отодвинул тарелку. Он вдруг почувствовал усталость. Его, видно, разморило в тепле после чистого морозного воздуха

и сытной еды. У него слипались глаза, он щурился и, смущенно улыбаясь, оглядывал горницу.

Его дожидались здесь Петричко, Иван Матух и Плавчан. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу на продавленном диване, держа в руках тарелки с гуляшом. И еще тут был парнишка, который устроился в углу на табуретке и ел, макая в подливу хлеб. Кто же он? С виду приятный. Ах, да — это сын старого Копчика. Вернулся с военной службы и стал работать в кооперативе. Таких немного. Как видно, по наследству передается не только ремесло. Ведь это Трнавка... Ружье ему дал лесник. А вот загонщики, кажется, его не очень жалуют. А тот развязный мужик, когда шли мы сюда, приложил к плечу палку словно ружье и стал за его спиной кривляться, передразнивать... Он явно насмехался над ним. А я уже было...

— Почему вы не едите — вам не нравится? Ведь вы, должно быть, проголодались... — прервала ход его мыслей жена лесника.

— Что вы! Все так вкусно, просто замечательно. Но я уже сыт, просто больше не могу...

— Правда? Тогда, может, горячего вина? Или чего покрепче?

— Горячее вино с гвоздикой — это наш фирменный напиток,— заявил лесник. И принялся разносить гостям стаканы и чашки с вином, которые наполняла у плиты жена.

— За лисичку! — сказал Сойка, подняв стакан.— У супруги будет отличный воротник! Все-таки удача! — Настроение у него было просто блаженное.— Можно мне еще гуляшу? — спросил у хозяев Сойка и стал накладывать себе в тарелку, приговаривая: — Бери, бери еще, Эвжен!

Гойдич взял было свой стакан, но вино показалось ему слишком горячим, и он его отставил. Смущенно оглядевшись, Гойдич поднялся и вышел из горницы.

Павел обеими руками держал чашку с горячим вином. Он никак не мог согреться. Впервые был в лесу с ружьем, и ничегошеньки не попалось на глаза, так ни разу и не выстрелил, с досадой думал он и с наслаждением вдыхал пряный запах гвоздики, приятно щекотавший ноздри.

Он зажмурил глаза, отпил немного. Первый глоток! Им словно бы ополаскиваешь рот, горло и даже сердце. После него и легкие чисты, как стеклышко.

Горячее вино взбудоражило Павла. Его злил Сойка, чавкающий за столом. А вот Гойдич — совсем другой человек, подумал он.

В горнице вдруг наступила тишина. Павел осмотрелся и заметил, как переглянулись между собой Петричко, Иван и Плавчан.

— Послушай,— сказал, обращаясь к Сойке, Петричко,— мы очень нуждаемся сейчас кое в чем... У нас нет кормов.

Сойка, в единственном числе восседавший за столом, медленно повернул к ним голову.

— Это в Трнавке?! Вот те раз! Теперь еще и вы начнете канючить. Мне только этого не хватало! — возмутился он. И хотя в комнате было по-прежнему жарко и душно, он вдруг словно оледенел. Но встретившись взглядом с трнавчанами, снова вспыхнул и раздраженно добавил: — Я знаю, ваши канальи прячут сено на чердаках. Так и в других деревнях делают. Я знаю. У них осталось для «приусадебных» коров и свиней то, что они запасли для всего своего скота. Но раз коровы теперь в общем хлеву, так они и корм для них должны дать. Почему же вы сразу его не забрали?

Сойка нахмурился.

— Да и я так думаю,— сказал Петричко.— Мы дали маху, конечно. Нас интересовало только то, что было в хлевах. Немного сена мы,

наверное, наскребли бы, но зерно они определенно закопали. На этот счет у них есть опыт.

— И еще у нас нечем платить людям. Потому они и относятся наплевательски к работе,— внятно сказал Плавчан.

— Нет, черт возьми! В Трнавке должно быть и сено и зерно,— скребя подбородок, раздраженно продолжал Сойка.— Ведь не могут они исчезнуть бесследно. И тут все будет зависеть от вас самих.

— Надо было сразу сделать полный расчет кормов на каждую корову. И сена, и соломы, и зерна. А потом собрать лошадей. Мужики наши теперь занимаются извозом на лесозаготовках,— сказал Петричко, кольнув взглядом лесника.

— Что поделаешь, и нам это нужно,— проворчал лесник.— Мы же государственный сектор, у нас свой план. От районного начальства мне тоже порядком бы влетело, если бы я этот план не выполнил. Да и пусть мужики заработают себе на зиму немного деньжат. Тебе, братец, радоваться бы надо, что вы еще не завели общей конюшни. Чем бы вы теперь кормили лошадей?

— Лошади — особый разговор,— возразил Иван.— У кого они есть в деревне? У Хабы, Бошняка, Резеша...

— Да ну вас! — прервал его Сойка.— Знаю я их, этих саботажников! Не волнуйся, мы подумаем, как быть дальше. И вообще, оставь сейчас же эти разговоры! Надеюсь, ты хоть это-то соображаешь? — обращаясь к Петричко, сказал он.— Если товарищ Гойдич в кои-то веки выбрался сюда, ему надо дать передохнуть... Черт возьми, думаешь, ему не надоели все наши дела?!

Сойка наколол на вилку кружочек колбасы, но прежде чем отправить его в рот, показал вилкой на волчью шкуру, висевшую под распятием, и спросил лесника:

— Где ты подстрелил этого леопарда?

Тут в горницу вернулся Гойдич. Он взял свой стакан и отхлебнул — вино было еще теплым, приятным. Хозяйка продолжала хлопотать возле плиты. Все сидели как прежде, со стаканами и чашками в руках.

— Ну что, выпьем? — добродушно улыбаясь, предложил Сойка и поднял стакан.— Пусть, как говорится, колбаса знает, что ее человек съел, а не собака!

Гойдич, однако, уловил какую-то напряженность в этой теплой, аппетитно пахнущей едой горнице.

— Что у вас произошло? — спросил он.

Но тут к столу подошла, шурша юбкой, лесничиха.

— Может, вам еще немного горяченького винца? — спросила она Гойдича и, не дожидаясь ответа, стала доливать ему стакан.

Сойка весело промурлыкал себе что-то под нос, потом положил на плечо лесничихи руку и запел:

Полюби меня, милашка,
Ляг ко мне и скинь рубашку...

— Ишь какой!.. Ну и шутник же вы!— сказала она.

— А почему бы и не пошутить иногда? — стал оправдываться Сойка.

Гойдич почувствовал на себе пристальные взгляды трнавчан.

— У нас нечем кормить скот,— упрямо повторил Петричко.

Сойка досадливо махнул рукой. Черт бы тебя побрал, Петричко! Где это видано, возить в Трнавку жратву для коров? Бьюсь об заклад, что у таких, как Бошняк и Резеш, чердаки битком набиты сеном. И пусть у тебя, братец, не трясутся поджилки от страха перед этими реакционерами и хулиганами.

Так вот оно что... Значит, тут уже шел разговор об этом, смекнул Гойдич. Хорошо бы подольше ничего такого не слышать! Побыть еще немного, хотя бы мысленно побыть там, на холмах, среди тишины и покоя. Дожидаться кабана. Ведь он уже был у меня на мушке. Там я забыл обо всем, даже о морозе... Но покой и внутренняя раскованность, которые я обрел на этих холмах, исчезли так быстро. Всего каких-то четыре-пять часов продолжалось мое блаженство. И вот снова трудности, снова дьявольски сложная работа... — с горечью думал он.

— Нас маленько подвело время, Петричко,— сокрушенно сказал он.

— Конечно,— со вздохом подтвердил Сойка.— Область вкатила нам такие задания, что ой-ой-ой! До конца года надо было разместить в кооперативных хлевах более трех тысяч коров и две тысячи свиней. Представляешь? — Он уставился на Петричко.— А куда их согнать? Вот мы и кинулись опрометью строить хлева. В других селах с ними обстояло ведь не так, как у вас в Трнавке.

— Да, нам пришлось срочно построить в районе восемь коровников и пять свинарников,— пояснил Гойдич.— А это отняло у нас все силы. И мы оказались в чертовски трудном положении. Но поступить иначе было нельзя. Не создав крупного животноводческого производства, мы ничего не изменим к лучшему.

— Нам уже теперь почти нечего класть в кормушки,— растерянно сказал Иван и глубоко затянулся сигаретой.

— Верю. И так не только у вас, а всюду. Потому что новые члены оставили корма у себя,— продолжал Гойдич.— Мы думали, что они... ведь это же все-таки их скот... Вот и получилось досадное недоразумение. Неужели они не понимают, что сами подрубают сук, на котором сидят?

Гойдич отпил глоток вина, помолчал немного.

Время, опять все упирается в него. Нам так необходимо время, подумал он и вслух сказал:

— Вот в следующем году, когда общими силами уберем общий урожай, будем в выигрыше. А этой зимой придется туго. Весна поможет нам окрепнуть. Весной у вас, Петричко, уже не будет никаких трудностей с пастбищем,— улыбнувшись, сказал он и придвинул свой стул поближе к дивану.

Я же знал, что так оно все и получится. При чем тут досадное недоразумение?! — слушая Гойдича, думал Сойка. И чего бояться? Требовать надо! Дал корову — так и выкладывай для нее корм. Это же ясно, как дважды два четыре. Я бы с ними не церемонился... Но он молчал, рядом с Гойдичем он всегда чувствовал себя не в своей тарелке.

— До весны-то еще дожить надо! — заметил Иван.— Ведь пока только январь...

— Еще только начало зимы,— уточнил Петричко.

— Мы просили областной комитет оказать нам срочную помощь,— с ободряющей улыбкой сообщил Гойдич.— Кормами. А потом ведь существуют инвестиционные фонды, кредиты. В создавшейся ситуации банк тоже мог бы нам помочь, выделить средства для строительных бригад и на нужды животноводства. Но, конечно, тем кооперативам, где станут выполнять нормы.— Он поглядел на Ивана.— Такие меры вас расшевелили бы, как ты считаешь?

Гойдич любовно вглядывался в лицо Ивана. Оно было ясным, открытым, от него всегда исходило удивительное спокойствие и уверенность. Но Иван только молча пожал плечами.

— А что скажешь ты? — спросил Гойдич Петричко.

— Я на это не очень-то рассчитываю.

— А ты? — спросил Гойдич Плавчана.

— Я тоже,— ответил Плавчан.

Но Петричко вдруг оживился:

— Ты сказал — вы просили помочь с кормами?

— Да. Надеюсь хоть сколько-нибудь раздобыть,— ответил Гойдич. Он, правда, знал: надежда эта до смешного мала, особенно для тех, кто дошел, как говорится, до ручки. Но все же... Он снова поглядел на Ивана и спросил: — Что с тобой? Ты боишься?

— У меня какое-то скверное предчувствие,— сказал Иван.— И оно растет, как на дрожжах.

Гойдич промолчал. Да, я тебя понимаю, подумал он. Я тебя хорошо понимаю.

— Знаешь, придется вам еще раз обратиться к новым членам,— сказал он и попытался улыбнуться.— Спишем с них недоимки по поставкам. И вообще все, что они задолжали за эти годы. Мне, по совести говоря, и не хотелось бы видеть железнодорожные составы, груженные изъятым у них сейчас зерном, мясом, молоком, яйцами. Надо зачеркнуть прошлое и начать новую жизнь, да так, чтобы во всем был порядок и ясность. А пока между нами и ими какая-то темная завеса. Мы должны что-то сделать и пойти им навстречу, должны вернуть их доверие и уважение, расшевелить их.

— Попробовать стоит. Это мы можем сделать,— сказал Иван.

— А получится так, будто мы что-то клянчить пришли к ним,— упорствовал Петричко.

— Надеюсь, вы меня поняли правильно.— Гойдич протянул руку к стакану.— Не будем себя обманывать. Мы попытаемся кое-что раздобыть для вас, но вы сами должны сделать в Трнавке все, что только в ваших силах.

Иван молча кивнул.

— Ты пойми, дружище, ведь это только начало. А весной мы поднимемся на ступеньку выше. О нас уже писали и в «Руде право», и в братиславской «Правде». А наш областной секретарь товарищ Врабел докладывал об успехах Горовецкого района в Праге в Центральном Комитете...— самодовольно сообщил Сойка.— Ведь это же, черт возьми, что-нибудь да значит! У нас сразу стало на четыреста шестьдесят четыре процента больше кооперативов, и крестьян объединено в них в семь раз больше, чем было летом. Говорю вам: нигде в республике дело с кооперативами не двигалось так быстро, как у нас. Мы взялись за него сразу, поднажали, и теперь у нас все позади, а многим еще только предстоит за все это браться. Как говорит товарищ секретарь, весна поможет нам окрепнуть. Теперь мы всем покажем, что значит хозяйствовать сообща — пусть видят, как можно при нашей власти жить...

Павел незаметно вышел из дома во двор.

Смеркалось. Мороз был трескучий. Возле сарая на расчищенной от снега площадке стоял красный «москвич», капот его был прикрыт тряпьем и одеялом. Проложенные во дворе тропки лесничиха посыпала песком и золой. У ворот проходила дорога, укатанная и наезженная санями, на которых возили бревна. Петричко заботливо посыпал ее мелкой щебенкой.

Из леса выехали две телеги с дровами. В упряжках были лошади Бошняка и Резеша. От дома лесника дорога круто спускалась к деревенской площади.

— Павел!..— Услышал он звонкий голос и оглянулся. Между заборчиками пробиралась девушка в зимнем пальто и платке. Павел не сразу сообразил, кто это.

Он стоял, погруженный в свои мысли, и только когда из-под светлого шерстяного платка почти рядом с ним блеснули знакомые глаза, он воскликнул:

— Илона?! Откуда ты взялась?

Он не видел ее уже несколько месяцев. После истории с Хабами она в Трнавке не показывалась. Хабы тогда целую неделю не разговаривали с Олеярами. Дошло даже до того, что Дьюри во дворе — на глазах у всех — ударил Анну. И, наконец, Олеяры пришли просить прощенья, и Бернарда прокляла Илону. Она говорила всем, будто дочь ее от того, что творится в Трнавке, помутилась разумом. У нее, мол, нервное заболевание, и поэтому ей лучше жить в городе.

— Так ты вернулась? — испытующе посмотрев на девушку, спросил Павел.

Илона покачала головой.

— Нет. Я была у матери Пишты Гунара. Она просила прийти, ей нужны лекарства. Уже неделя, как слегла старушка.

Илона, зябко поеживаясь, огляделась — не идет ли кто? Она уже наткнулась на Бошняка и Тирпакову. Зузка, увидев ее, крикнула: «Что тебе здесь надо, выродок несчастный? Опять притащилась?» Илона, конечно, ее не испугалась, но приятного в этой встрече было мало. Ей не хотелось, чтобы ее видели в деревне, и потому от автобуса она шла гумнами. Даже домой не заглянула. Только с дедушкой встретилась за сараем у забора. Обняла его, поцеловала и пошла дальше.

— Ты был в лесу, Павел? Слыхал, что там случилось?

— Случилось? — удивился он.— Как будто ничего особенного...

— Мой отец, Пишта Гунар и Штенко нарочно упустили того кабана,— сказала Илона.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю,— уверенно сказала она, бросив на него искрящийся взгляд.— Бабушка Гунарова мне рассказала. Теперь они собрались в корчме и отмечают это.

— Так вот оно что...

Своим сообщением Илона огорошила Павла. Правда, у него и самого возникали такие подозрения. Достаточно было загонщикам нарушить порядок, и зверь мог легко, пропетляв между ними, уйти. А ведь каждый должен был получить свою долю кабаньей туши. И хотя у них дома есть нечего, они нарочно упустили этого огромного кабана.

— Чего ради ты говоришь мне об этом! — спросил он.

— Не ради вас, ради себя,— нахмурив брови и резче, чем прежде, сказала Илона. Вопрос Павла, казалось, обидел ее.

Павел медленно чиркнул спичкой, которую уже давно держал в руке, закурил.

— Мне надо идти,— сказала Илона.

Она туже завязала платок, подышала на озябшие пальцы.

— Куда идти? В Горовцы?

— К автобусу. Боюсь опоздать...

— Подожди. Я провожу тебя...

— Это чокнутую-то девчонку? — смеясь, спросила она.

Павел тоже рассмеялся.

— Ну, пошли! — сказал он, глядя ей в лицо.

Снег скрипел у них под ногами. Дорога тут была еще не расчищена.

# VI. Странная весна

## 1

Какой мне прок от того, что поют птицы? — подумал Гойдич. Он стоял у окна кабинета, смотрел на узкий дворик, через арку ворот видел ноги прохожих. Было раннее утро, начинался теплый и пасмурный весенний день. На высокой стене, огораживавшей двор, пел скворец. Даже в воздухе чувствовалось, что земля ожила. На деревьях распускались почки.

Сколько же прошло с той минуты, когда он поднялся со стула, который снова ждет его у рабочего стола? Совещание закончилось в одиннадцать часов вечера. На окутанном клубами дыма столе заседаний еще валялись окурки, спички, клочки бумаги — как после каждого совещания или заседания бюро. И хотя рано утром приходит уборщица и открывает настежь все окна, в кабинете его всегда стоит табачный запах — все здесь прокурено насквозь.

Гойдич отошел от окна, но продолжал слушать скворца. Да, он покинул эти стены почти в полночь, а сейчас еще нет половины седьмого. Дорога — домой и обратно, ужин, завтрак, недолгое ворочанье с боку на бок в постели и каких-то четыре часа беспокойного сна. И вот теперь несколько свободных минут перед обычным сумасшедшим днем, когда лавиной обрушиваются телефонные звонки, посетители, совещания, заседания... Те минуты, когда он может обдумать предстоящие в этот день дела.

Итак, химкомбинат в Глинном. Нет, с этой питьевой водой с ума сойдешь... Надо срочно раздобыть не менее двух цистерн. Они должны непрерывно курсировать туда и обратно. Но лучше, если бы их было три. Надо сейчас же вызвать Ридоша и сказать, чтоб поднажал. Вообще строительство это с самого начала словно кто заколдовал. Сперва крестьяне не хотели продавать участки. А после первого собрания, на котором он держал речь, его чуть ли не палками прогнали. Потом приходский священник отказался дать согласие переместить статую святого Йозефа и явился на строительную площадку с процессией возмущенных прихожан. Они выдержали настоящий бой, чтобы перенести статую в сквер за Глинным. Но для этого сквер пришлось привести в порядок.

А поиски по всей республике нужных специалистов, а трудности с жильем — ведь надо было разместить четыреста человек! А сколько сил стоило ему обеспечить город автобусами! О строительных материалах и говорить нечего... Начальник строительства — его каждодневный посетитель. «Если ты, товарищ секретарь, не раздобудешь мне это с помощью партии, мы горим с планом». Значит, партия должна все обеспечить и всех подгонять?! И еще начальник строительства говорит: «Хорошо, что железные балки тяжеленные, их не утащишь, как известь и цемент. Иначе понадобились бы сторожевые собаки». Сторожевые собаки на строительстве первого в районе промышленного предприятия! Первого завода, который даст людям работу, возможность жить. Да, надо не меньше двух цистерн, но лучше три. Если водопровод проложим к осени, это будет просто счастье! Надо поскорее увидеть Ридоша... Но его пока нет — слишком рано...

А еще нужны — ох как нужны! — зерно и сено. Где их взять, и так, чтобы не украсть. Скот гибнет от бескормицы, хотя мы оказали кооперативам помощь. За последние семь недель пали шестьдесят четыре коровы! А выполнение поставок? Господи! Сколько всяких бед...

Он озабоченно провел ладонью по лбу, отыскал на столе отчет, который вчера вечером, перед заседанием бюро, Павлина должна была переписать. Страшные цифры...

*Чичава.* В прошлом году в марте сдала 7350 литров, в нынешнем — 1348. *Трнавка.* Год назад — 4209 литров, теперь — 906. И это при том, что я еще в феврале велел послать им вагон сена и кое-какой фураж. Кооперативные села снизили поставки на тридцать пять процентов, а единоличные — на пятьдесят один процент. Но ведь так не может продолжаться! Врабел прав, когда возмущается: «Ты что же хочешь, чтобы к нам везли молоко из других областей?»

Еще две недели, думал он. Еще две недели надо нам продержаться. А тогда — подножный корм! Первые пастбища и новое зерно в земле. Подножный корм...

Гойдич слабо, страдальчески улыбнулся.

Ждал ли он когда-нибудь весну с таким томительным нетерпением, как в этом году? Может, только в ту первую после знакомства с Катержиной зиму. Хотелось поскорее выбраться с нею из Усти и отправиться за город, на лоно весенней природы, на празднество цветущих черешен в Залезли или же на Ветруши.

Нет. Никогда еще он не ждал прихода весны с таким нетерпением, как в нынешнем году. Когда ночью его разбудил первый дождь, он вскочил с постели, подошел к окну и долго стоял, умиленный и растроганный, глядя, как оседает снег. Стук капель напомнил ему школьный звонок, возвещавший конец урока математики и начало урока пения. Глуховатый шум дождя ассоциировался у него с образом весны.

Да, весна должна нас выручить, думал он. Пока же нас отбросило назад. Назад? Да... Сколько невообразимых трудностей принесли нам новые кооперативы. Этот лавровый венок, гордость нашего района, зажал нас, словно тиски. Едва успеваем перевести дух и то и дело лезем в карман, который давно опустел.

А наш первый сев, Врабел? Даже эти торжественные минуты, когда в духовитую землю закладываются первые зерна — основа нового урожая, обернулись для нас такой бедой.

Умер Сталин. И Готвальд умер... Боже мой, сразу два удара! Я никогда и в мыслях не допускал, что такое может случиться, даже когда Сталин заболел. Разве жизнь умирает? — спрашивал я себя и отвечал: нет, она никогда не умирает. Но только до Сталина и Готвальда настоящая жизнь для нас была за семью печатями. И не приди они, что с нами стало бы?.. А вот теперь распускают слухи, злословят, мол, партии нашей конец. Тем подлецам, конечно, хочется, чтобы так было, чтобы вместе с Готвальдом и Сталиным умерла и партия. *Мы думаем — Готвальд, говорим — партия, говорим — Готвальд, думаем — партия.*

Он машинально протянул руку к книге, лежавшей на пачке газет, и принялся листать ее. На него вдруг нахлынуло давнее волнение, которое во время учебы в партийной школе оставило свой след на полях одной из страниц этой книги в виде трех размашистых восклицательных знаков и жирной волнистой черты под строчками текста:

«Речь идет здесь о том, что социализм успешно наступает на капиталистические элементы, социализм растет *быстрее* капиталистических элементов, удельный вес капиталистических элементов ввиду этого *падает*, и именно потому, что удельный вес капиталистических элементов падает, капиталистические элементы чуют смертельную опасность и усиливают свое сопротивление...

На этой основе и возникают *на данной стадии развития, при данных условиях* соотношения сил, обострение классовой борьбы и усиление сопротивления капиталистических элементов города и деревни».

Как это ясно, логично, подумал Гойдич. Когда читаешь Сталина, у тебя как будто открываются глаза. Железная логика. Сталинская. Надо выкроить время — еще раз кое-что перечитать и обдумать.

Значит, так было и тогда. Все это до нас и за нас уже испытали на себе русские рабочие, и мы теперь как бы плывем со спасательным кругом. Стало быть, все наши трудности и беды вполне естественны и не должны удручать. Удручать настолько, чтобы это парализовало меня. Значит, все это — следствие обострившейся классовой борьбы?

Да, страх, страх перед социализмом заставил врага начать войну в Корее, размышлял он. А это вынудило нас... Не будь этих обстоятельств, мы, несомненно, действовали бы иначе. Осмотрительнее. Ведь тактику всегда определяет ситуация — и тут Врабел совершенно прав. Вот почему нам пришлось потуже затянуть пояс.

Правда, когда я думаю об этом, во мне все протестует. Но если партия считает, что так надо? Неужели мы не вправе прибегнуть к подобным мерам, если приходится выбирать между войной и миром?

Господи, хоть бы не было войны! Я слишком хорошо знаю, что это такое. А новая была бы куда страшнее всех прежних, вместе взятых. У них теперь атомная бомба, и нам надо связать их по рукам.

Видимо, все зависит от того, насколько мы укрепим свой тыл, убеждал он себя. Войны, пожалуй, уже не будет. Наверное, и в деревне нам удастся организовать производство наилучшим образом и показать рабочим и крестьянам на Западе, что при социализме можно и хозяйство хорошо вести, и жить хорошо. Мы устранили много несправедливостей и насилия, и если что-то еще осталось, то только потому, что приходится преодолевать сопротивление прежних хозяев и помогать тем, кто противится новому по незнанию. Да, мы должны быть сильными, чтобы уберечь людей от ужасных страданий, на которые обрекла бы их война. Мы сохраним им жизнь и откроем дверь в лучший мир.

Да ведь вы платите медный грош за золотой дукат, глупцы! Я эту новую жизнь вижу совершенно отчетливо. Она — как залитая солнцем улица. Во имя нее я буду трудиться, отдавать свои силы, пока в груди моей бьется сердце. Пройдет какое-то время, и вы с благодарностью станете похлопывать нас по плечу и начисто забудете обо всех страданиях — и об этой зиме, и об этой весне. Еще две недели — и зазеленеют пастбища, и будет подножный корм.

Он закурил и, улыбнувшись, подумал: тогда и у меня появится досуг. И я того кабана, что так коварно от меня ускользнул, обязательно уложу.

— Павлина! — крикнул он.

Никто не отозвался. Было слишком рано. Но во дворе звучал ее смех — молодой, беззаботный.

Гойдич снова подошел к окну. Скворец улетел. У подъезда стоял, держа в карманах руки, Сойка и разговаривал с какой-то крестьянкой. На лестнице раздавались чьи-то голоса, с улицы доносился пьяный крик. Когда же этот пьянчуга успел нализаться?..

Снизу Гойдича увидели и поздоровались с ним. Он помахал рукой и, глубоко вдохнув в себя утренний воздух, закрыл окно.

Павлина появилась в дверях.

— Подготовь мне почту, девочка, да побыстрей. Я уеду.

— Хорошо́. Сейчас.

Когда она садилась за стол, в уголках губ ее еще теплилась улыбка.

## 2

Павел ждал у телеги. Его лошади жевали, похрустывая, сено, позвякивали удилами. Воз Гудака уже отъехал. Штенко, Эмиль Матух и Дьюри Хаба нагружали телегу Резеша, утрамбовывая навоз вилами. Из разрытой навозной ямы поднимался белый пар. Его клубы время от времени скрывали от Павла дальние холмы. Леса на их склонах казались непривычно прозрачными — деревья еще были голыми, но посветлели — как-никак весна!

Наконец-то она пришла. Но на душе у Павла было тревожно. Поля пустовали. Лишь на днях их начали удобрять навозом. Хотя уже давно пора было сеять. Черт знает что! Так он никогда не работал — изо дня в день с утра до ночи на ногах. И лошадей совсем заездили. А ничего толком не сделано. Да и может ли быть иначе, если мотаются вот так всего несколько человек. Новые члены кооператива выходят на работу лишь изредка. То, видите ли, земля слишком мокрая на полях, то им надо заняться своим приусадебным участком. Вот и попрятались у себя. Ничто — ни уговоры, ни приказы — на них не действует. А раз так, то перестали выходить на работу и некоторые старые кооператоры, из тех, что были зачинателями. Канадка с Гудаковой уже несколько дней не заглядывают в хлев. Не будут, мол, работать, пока не получат оплату за свой труд. Оплату! Та-ак! Но где ее взять, из какого кармана?

Когда собирали скот — все представлялось ему совершенно иначе. Он мысленно видел, как вся деревня от мала до велика дружно выходит в поле — ведь об этом писали и в газетах. Украшенный гирляндами трактор, лошади с цветами и лентами на хомутах распахивают межи. И даже играет музыка. А почему бы и нет? В газетах тоже говорилось об этом. Тут могла быть и карусель, и тир, и всякие лотки-палатки — так же, как на престольном празднике. Люди варили бы себе тут же на кострах кто голубей, кто кур, кто говядину или потроха. Можно было бы даже зарезать свинью — кооперативную, конечно,— и устроить общую пирушку с хорошей выпивкой. А в тире ты мог бы выстрелить в жестяного кузнеца — пузатого мужика в зеленой шляпе с кисточкой, кулака, не иначе. И тут все могло быть так, как было в части, где ты служил. Помнишь наставление: *«Когда ты стреляешь, товарищ, представь, что в центре мишени — предатель»*. Возле тира могли бы быть и качели.

Качели? Как бы не так! Хорошо, что сегодня хоть кто-то притащился на работу. Павел смотрел на воз Резеша. Один только Резеш и привел своих лошадей. Дьюри Хаба и Эмиль Матух пришли без тягла — охромели, приболели, мол, коняги. Да, пока возили дрова леснику, у них с упряжкой все было в полном порядке.

Павел переминался с ноги на ногу, недовольно поглядывал на парней.

Работали они с прохладцей, казалось, сперва долго примерялись, куда бы им воткнуть вилы. Навозу на первой подводе почти нисколько не прибавилось. Сколько же возов удастся вывезти до вечера? Хорошо еще, что Резеш тут. И с лошадьми. Павел и сам не знал, почему радовался этому.

Подойдя к Резешу, Павел спросил:

— А где Бошняк? Не приехал?

Утром Павел видел, как Бошняк запрягал лошадей, и думал, что он будет на них возить навоз.

— Нет, не приехал,— вяло ответил Резеш.

Казалось, он стоя спал.

Зато Дьюри смерил Павла насмешливым взглядом и повернулся к нему спиной. Павел стиснул зубы. Он злился на себя за то противное чувство, которое охватывало его всякий раз, когда он встречал взгляд Дьюри. Дьюри отнял у тебя Анну, говорил он себе. Но, может, не так это и плохо, раз она сама захотела выйти за него. Дьюри тебя даже спас от чего-то скверного, раз Анна сама пошла за него... Пожалуй, он тебя спас получше самой пресвятой богородицы. И все-таки *Анна была твоей прежде, чем стала его...*

Павел закурил сигарету. Поправил у лошадей хомуты, поднял вожжи. Похлопал по спине жеребца.

За спиной его вдруг раздался приглушенный смех.

— Эй, Палко, ты слышишь меня? — крикнул Штенко.

Уже в этом непривычном дружеском обращении Павел почувствовал насмешку. Штенко смотрел на него, расплывшись в глуповатой ухмылке.

— Послушай, братец, мы с самого утра ломаем себе голову... Спать с бабой — это что, работа или забава? Ты как думаешь? Не знаешь? Эх... братец! А я скажу, что забава это, а не работа! Потому что, если б это была работа, то вы бы уже давно нас на нее погнали.— Голос его звучал весело.

Все уставились на Павла. А он молчал и улыбался. Потом снова закурил.

— Я думал, ты в этом понимаешь толк,— продолжал, ухмыляясь, Штенко и бросил на Дьюри красноречивый взгляд.

Дьюри окаменел.

Павел глубоко затянулся; сигарета подрагивала в его пальцах.

— Котелок у тебя варит! Но ты не очень-то мозги свои забивай всякой дребеденью, а то, чего доброго, живот вдруг схватит и до нужника добежать не успеешь — все пятки в дерьме будут.

— Об этом не беспокойся. Дерьмо тебе стеречь не придется — это же не баба, к другому не убежит,— не унимался Штенко.

У Павла бешено застучала в висках кровь.

— Что ты городишь? — зло оборвал он Штенко.

Стало тихо. Парни глядели то на Павла, то на Дьюри.

— А ну-ка накладывайте побыстрее! Надо, чтобы я еще хоть раз обернуться успел. Пошевеливайтесь! — обращаясь к остальным, сказал Павел.

— Куда ты так спешишь с этим дерьмом? — не скрывая своего презрения, спросил Эмиль хрипловатым голосом.

Потом медленно и устало заговорил Дьюри.

— Лошадей мог бы и поберечь —они же не ваши! — Он обвел взглядом парней и, облизнув пересохшие губы, спросил:— Ну что, наложить ему как следует? Он уже давно набивается...

Павел тоже обвел их взглядом. Они стояли напряженные и следили за ним, а он все внимание сосредоточил на Дьюри.

— Что ж, попробуй,— холодно сказал Павел.

Дьюри опирался на вилы, обеими руками сжимая рукоятку. Злая усмешка обнажила его мелкие, как зерна риса, зубы. Белки глаз покраснели.

Когда-то, еще детьми, они с Дьюри забрались на вершину Рубаниска, чтобы добыть из гнезда сарыча птенцов. Чета сарычей, кружившая над гнездом, накинулась на Дьюри. Павел полез на дерево, чтобы помочь ему, но Дьюри свалился оттуда и здорово расшибся. Из разодранной ноги кровь лилась ручьем, но он мужественно терпел боль.

Павел оторвал от своей рубашки рукав, крепко перевязал Дьюри рану и, взвалив его на спину, стал спускаться по склону. Дьюри пытался было возражать.

— Ладно, ладно! Подумаешь какая важность! А нога быстро заживет,— успокаивал его Павел.

Идти с такой ношей по крутому склону, покрытому рытвинами и густо поросшему кустарником, было, правда, нелегко.

Назавтра Дьюри приехал к ручью верхом на Рызаке — сказал, что ему трудно ходить. Слез с лошади и сел на берегу.

— Хочешь прокатиться? — спросил он Павла.

— Ты ради меня приехал, Дьюри?

— Нет,— ответил он.

Но Павел знал, что Дьюри специально для него привел Рызака.

Он вскочил на коня вне себя от счастья. А был это довольно старый грузный мерин. Павел крепко ухватился за его шею и стал колотить босыми пятками бока. Ему не так-то легко было заставить лошадь перейти на рысь, но, добившись этого, он поскакал на графский луг, чтобы похвалиться перед отцом, который с Олеяром и Гудаком косил там сено.

Отец глянул на мерина, потом на него. У отца вдруг как-то странно застыло лицо, и в голосе его тоже было что-то странное, но Павел не понимал, в чем дело,— ему ведь было только двенадцать.

— Вечером мы пойдем ловить раков, Павел. Смотри не запропастись куда-нибудь,— недовольно сказал отец.

Павлу стало досадно, но лишь на мгновенье — ничто не могло лишить его радости. Он долго носился по мягкому, словно ковер, лугу и ерошил гриву Рызака. Когда же он, наконец, вернулся к ручью, Дьюри уже с нетерпением озирался по сторонам, потому что давно должен был возвратиться с мерином домой.

— Ну что, накатался? — спросил он.

Вот тогда Павел впервые заметил, что у Дьюри от волнения краснеют белки глаз. Они у него покраснели и тогда, когда он, свалившись с дерева, терпеливо переносил боль.

Оба знали, что драки им не миновать. Остальные примолкли. Дьюри отбросил вилы и зашаркал ногами, словно хотел очистить от грязи сапоги перед дракой.

Павел инстинктивно чувствовал, как все насторожились. Они придвигались все ближе, все теснее обступали их с Дьюри. Резеш загасил о колесо телеги сигарету. Павел знал, что Эмиль, Штенко и Резеш будут смотреть и выжидать, а если и вмешаются в драку, то, конечно, на стороне Дьюри. Но знал он также и то, что отступить не может. Он бросил сигарету и затоптал ее.

Дьюри, слегка сутулясь и пошатываясь, приближался к нему. Он спокойно, даже приветливо улыбался.

Они уже были на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Сейчас он выбросит руку вперед и ударит меня, подумал Павел. Внимание! Помни: Дьюри — левша.

Павел сжал кулаки и посмотрел прямо в глаза Дьюри — белки у того покраснели еще больше.

Но в эту минуту, словно из-под земли, между ними вдруг вырос Петричко. С непокрытой головой, забрызганный грязью, с гаечным ключом в руке. Не успел Павел опомниться, как Петричко оттолкнул их друг от друга и словно жезл поднял вверх гаечный ключ.

— Что тут у вас происходит? — строго спросил он.— Почему не работаете?

От растерянности все онемели и стояли как вкопанные.

— Вы что, языки проглотили?

Никто не ответил.

Эмиль не отрывал взгляда от гаечного ключа, который сжимал Петричко. Потом потер ладонью впалые небритые щеки и, посмотрев в глаза Павлу, сказал скорее ему, чем Петричко:

— Дьюри ведь отнял у него Анну.

Павел почувствовал, как у него к лицу прилила кровь. Пальцы Петричко с силой сжали его руку.

— Слишком много ты себе позволяешь, Эмиль! Уж не хлебнул ли ты лишнего? — спросил Петричко.

— Я сказал только, что Дьюри увел у него Анну,— медленно повторил Эмиль.— Чего ты вмешиваешься? Раз у них есть счеты из-за бабы, они должны разобраться.

— Да ведь ты сам первым вмешиваешься,— глухо ответил Петричко.

— А иди знаешь куда?! — огрызнулся Эмиль.

— Попридержи язык! Ты же пьян...

— Что, дохнуть на тебя? — спросил Эмиль.

— Считай, что уже дохнул,— сказал Петричко и, обращаясь к Павлу, продолжал: — Ладно, парень, хватит! Плевать тебе на их трепотню! Пойдем, ты мне нужен. А они пусть нагружают навоз.— Он снова сжал его руку.

— Беги в костел и ставь свечку своему угоднику, что цел остался! — сказал Павлу Дьюри.

— Ну, что ж, поставлю,— сказал Павел и снова посмотрел Дьюри прямо в глаза.

— Ты что на него так смотришь? Да он тебя разок стукнет, и ты остаток жизни своей на карачках ползать будешь,— съехидничал Штенко.

Но Павел с Петричко уже направились к сараю.

Павел разжал занемевшие кулаки, напряжение постепенно покидало его тело. Но оставалось недовольство собой, гнетущее ощущение того, что он сплоховал.

— Что это вы там затеяли? — спросил Петричко.

Павел молчал. Он чувствовал злорадство и враждебность следивших за ним. Трус. Ты должен был первым ударить его. Чего ты ждал? Было страшно, да? А ведь все уже могло быть позади. Ты мог бы расквасить ему морду. Конечно, и тебе досталось бы порядком. Но это могло уже быть позади. Ты просто трус!..

И все-таки Павел всем своим существом чувствовал облегчение. Хорошо, что дело не дошло до драки именно сейчас, при нынешних обстоятельствах.

Но ведь там появился Петричко. Значит, ты был бы не один, если бы в драку вмешались остальные. Значит, ты мог бы с Дьюри справиться. Нет, ты не должен был упустить этот момент.

Да, драки нам не миновать, снова пронеслось в мозгу Павла.

Он обернулся. Парни начали работать, Дьюри лениво поднимал вилы.

— Так что же все-таки произошло? — снова спросил Петричко.

— Ничего,— неохотно ответил Павел.— Ты же видел, ровным счетом ничего.

— Ну, раз ничего, так выбрось эту историю из головы!

Петричко подошел к старой сеялке. Немного поковырялся в ящике для семян, крышка которого никак не захлопывалась, потом потрогал пальцем разболтанный сошник и сбил гаечным ключом с него ржавчину.

— Что-нибудь в этом смыслишь? — спросил он немного погодя.

— Давай погляжу,— ответил Павел и стал копаться в машине.

— У нас куда ни кинь — всюду клин,— сказал Петричко.— Трнавчане наши хоть и вступили в кооператив, но душой не с нами. Не созрели они еще для кооператива.

— А они и не хотели вступать...— заметил Павел.

Петричко не расслышал его слов и продолжал:

— У них всего вдосталь. Они ничего не сдали государству, и потому им есть чем прокормиться. Они должны были бы погасить задолженность, это их малость встряхнуло бы. Тогда и у нас все наладилось бы, пошло как по маслу, тогда в кооперативе был бы порядок.— Он помолчал немного.— Ты видел Бошняка? Этот шкурник снова отправился в лес. Ничего, и ему и леснику я покажу, где раки зимуют! А лесника в порошок сотру вместе с его проклятыми дровами! Вот гад какой оказался! Так и я мог бы на все чихать и заботиться только о дороге.— Он нахмурился.— И такие типы пролезли в нашу партию. Много блох забралось в тулуп, вот и не успеваем теперь чесаться. Для этого паразита еловая шишка в лесу значит больше, чем целый кооператив..

Павел слушал Петричко, но думал о Дьюри. Ведь раньше ты хотел избить его, а потом пропала охота, корил он себя. Надо было поколотить его. Постой, а не завидуешь ли ты ему? Может, ждешь случая нащупать у него слабое место и отплатить ему той же монетой?.. Анна... Анне, должно быть, казалось, что она в графский замок попала, когда к ним пришла. Она знала, чего хочет. Сама выбрала себе Хабу. А потом вот прикатила «передвижная весна»... Павел злорадно усмехнулся.

Петричко наклонился над ним с масленкой в руке, и тут послышался рокот мотора и автомобильный гудок. Они подняли головы и обернулись. Петричко, выпрямившись, долго всматривался в изгиб дороги, которая вела к воротам хозяйственного двора. Лицо у него просияло, когда во двор въехал красный «москвич».

Над полями стояла гнетущая тишина. Только за Горовцами у Лаборца и видел Гойдич трактор с двумя сеялками. Прямоугольник, по которому он двигался, все уменьшался и уменьшался. Это было приятное зрелище. Именно так оно и представлялось ему в мечтах: тракторы пашут, боронуют, сеют. Машины и на полях избавляют людей от изнурительного труда.

Но сейчас работал лишь один-единственный трактор. Трактор государственной машинной станции. И ни одной упряжки. Земля давно пробудилась, а поля пусты. Совершенно безжизненны. В Чичаве он вытащил председателя кооператива из корчмы и повез к амбару. Просеивая сквозь пальцы неочищенное зерно, он спросил:

— Почему оно еще не в земле? Вы что же, черт побери, хотите с голоду подохнуть?

Костовчик — нескладный, угрюмый мужик — был уже в подпитии. Он пожимал плечами и молчал. Ему хоть кол на голове теши, подумал Гойдич.

В Ревиште он, утопая по щиколотку в грязи, добрался до хлева, где ревел скот. Янчи, его шофер, тем временем выяснил, что скотник сегодня еще не приходил, он сеет на своем приусадебном участке. А было уже девять часов пятьдесят минут! Ну и дела! Гойдич принялся вместе с Янчи кормить коров, пока, наконец, к нему не привели председателя ЕСХК Федорчака. Гойдич поднял шум. Но шуметь было ни к чему — Федорчак сразу же заявил ему:

— Я отказался быть председателем, а нового нет — никто не хочет!

Это было уж слишком!

— Нет, ты будешь отвечать! — орал он на Федорчака.— Перед партией, перед народом. И тут у вас, в Ревиште. Ты посмотри на скотину!

Коровы лежали на холодном мокром полу, пожелтевшем от мочи. Именно здесь за зиму пало восемь коров, хотя сюда из района отправили по особому лимиту солому и сено.

И выяснилось, что коров тут доят по очереди — соответственно номеру дома. Каждый день — другие женщины. Вернее, должны доить. И каждый день та, что доит, уносит к себе домой молоко из того малого надоя, что можно было бы сдать.

— Что же это за порядок?! — спрашивал Гойдич.

В ответ лишь пожимали плечами. А позади, в дверях хлева, хищно поблескивали глаза и слышались выкрики:

— «Передвижная весна» благословила нас!

Чичава, Ревиште, Каменная поруба... Менялись лишь названия. Всюду были такие же, покрытые навозной жижей, дворы и хлева, убогий скот, почти пустые амбары, опустевшие бурты и ямы. Злые, горестные, озадаченные лица крестьян. Голые, безлюдные поля...

А почва прямо-таки на глазах созревала для сева. Мягкая и рыхлая, казалось, она одна окрашивала бесцветный, пасмурный день. Земля просто требовала семян.

Только приусадебные участки были расцвечены первыми зелеными ростками. И жизнь кипела на полях лишь одного селения единоличников — Жабян.

Гойдич видел там плуги, запряженные лошадьми или коровами, мешки зерна над семенными ящиками сеялок. Согнутые спины крестьян и вывороченные плугом пласты жирной земли, на которой будут расти картошка, капуста, сладкий перец. Тут стояли распряженные телеги с узлами, с мешками, а над межами, где жгли мусор, вился дым.

А у того мужика, что шел за упряжкой волов, повисли, словно онемели, руки, когда он увидел его машину. Красный «москвич» был тут слишком хорошо знаком...

В Жабянах крестьяне отказались сеять табак и свеклу, предусмотренные планом. Никогда, мол, у них не выращивали столько свеклы. Свекла требует очень много труда, а людей не хватает.

План... План... Ведь из области нам спустили план, в котором все было рассчитано до мелочей. Но он все же был выполнен: площади под сахарной свеклой и табаком увеличены на двадцать пять процентов... План... План...

Гойдич с ужасом осознавал, что из рук его выскользнула нить жизни, той жизни, которую он хотел создавать. *Весна — это ступенька лестницы, ведущей вверх, на которую мы поднимемся,* убеждал он себя раньше. Неужели и этой надежде не суждено сбыться?

Но ведь мы совершенно точно знали, чего хотим. Все было так ясно и уже существовало в каких-то нескольких десятках километров к востоку от нас. Мы могли заимствовать готовые образцы. Строительные леса и само сооружение. «Кубанские казаки». Разве люди не увидели в этом фильме своей будущей жизни? Ведь они заглянули в свое завтра. Неужели они ничего не понимают? Смотрят на нас так, будто их за колючую проволоку загнали. Разве мы тюрьмы тут строим? Разве перед нами нет ясной дороги к лучшей жизни? А мы ведь только начинаем.

Вот в Жабянах работают!

Краска стыда залила Гойдичу лицо, и сердце забилось часто-часто. Нет, я не струшу. Это сражение надо выиграть. Ты забыл, что говорил утром? Не уступать — и все! Эту битву необходимо выиграть. Только надо быть последовательным!

Быть последовательным, шептал он про себя, шагая по двору трнавского кооператива.

Нужна последовательность... Нужна последовательность...— мысленно твердил он, когда измученный, в забрызганных грязью и навозной жижей брюках стоял перед Петричко.

— Где председатель? Где Матух? — набросился на Петричко Гойдич.

В нем поднялась вся накопившаяся горечь. И в Трнавке поля пустуют. Господи, даже в Трнавке!

А Петричко удивленно смотрел на него. Улыбка, которой он встретил Гойдича, застыла на его губах.

— Иван? Он разбрасывает навоз.

— Почему вы не сеете?! — кричал Гойдич, все более ожесточаясь.— Ты что, не понимаешь меня? Почему зерно у вас еще не в земле? Вы же трнавские, дружище!

— Два дня назад машинная станция обещала прислать нам трактор, но он так и не пришел,— ледяным тоном ответил Петричко. — Ты не знаешь, почему его до сих пор нет?

— Трактор! А лошади? Что, у вас лошадей нет? Сколько у вас в деревне тягла? Вот тебе и Трнавка! Малая Москва! Уж и ты, Петричко, выдохся?

Павел смотрел на Гойдича в упор, но не видел его.

В неожиданно наступившей тишине с затянутого тучами неба донеслось гоготанье запоздалой стаи диких гусей. Оно быстро отдалялось и вскоре совсем стихло. Потом со двора долетел отрывистый шепот и чье-то нетерпеливое шиканье.

— Да, там сейчас получают крепкую нахлобучку,— раздался голос Эмиля Матуха.

Кап, кап, кап... Нет, это не дождь. С телеги, просачиваясь сквозь щели, стекала навозная жижа и разливалась по двору, наполняя вмятины от копыт и глубокие колеи.

Все четверо, что грузили навоз, стояли возле телеги. Эмиль опирался на вилы, Штенко вытирал рукавом нос.

Павел бросил взгляд в сторону Резеша и зажмурился,— казалось, он посмотрел на яркий огонь.

— Так получим мы, наконец, этот трактор? — упрямо повторил Петричко.— Если бы из ваших благих разговоров там, наверху, мосты строили, знаешь, сколько людей потонуло бы!..

## 4

Резеш положил заступ, вынул сигарету и окинул взглядом огород, напоминавший расположением грядок шахматную доску. Тут вырастут фасоль, помидоры, огурцы, капуста. Главное — капуста. Сало, конечно, еще только хрюкало в его свинарнике — три кабанчика поминутно подавали голос.

Зрением, слухом, обонянием ощущал он приход весны.

Когда-то я не понимал этого. Ничто и никто, даже эти поганцы не могут остановить жизнь, думал он. Вот только-только дохнуло теплым воздухом и сошел снег, зашумел освободившийся ото льда ручей, стала пробиваться первая трава. Неистребимая весенняя зелень.

И хотя в небе еще гоготали, совершая свой весенний перелет, дикие гуси, Резешу уже виделись деревья, покрытые цветами и пыш-

ной листвой. Уже плодоносило персиковое дерево, которому он только что сделал прививку; в солнечных лучах просвечивались ягодки мускатного винограда на искривленном стволе старой лозы, вьющейся по стене дома вокруг окна. Он уже мысленно смешивал в давильном прессе сизый «вельтлин», красный «мускат» и дикорастущий «изак», который придавал его вину особый аромат. Резеш даже ощущал во рту вкус напитка и любовался тем, как он искрится.

Ему виделось, как они с Марчей собирают урожай с приусадебного участка; этот клочок земли да еще полоска виноградника на Каменной горке — вот все, что у них осталось. Но ведь он может получить с этой земли вдвое, втрое больше, чем получал прежде; коровий навоз, к счастью, сохранился. Овес, картошка, кукуруза. Кукурузу он посеет, когда придет ее время. Когда расцветет первая черешня и первая пчела заберется в черешневый цветок, как говорил отец. Корма, корма!

У него уже все готово. Даже чучело стоит, чтоб отпугивать голубей и воробьев. И вот сейчас он обнаружил еще клочок земли, который можно использовать,— узкую неглубокую ложбинку за дровяником, утрамбованную каплями, падающими с крыши во время дождя. Придется как следует удобрить ее навозом и разрыхлить. Но клочок этот стоящий — земля здесь хорошо нагревается.

Резеш закурил, не выпуская из рук заступа. Дымя сигаретой, он поглядел на Марчу, которая, присев на корточки, обрабатывала тяпкой грядки. Он угадывал по движениям ее рук: вот она выбирает камешки, вот обрубает корни сорняков, вот уголком тяпки рассекает личинку майского жука. Марча, казалось, родилась для того, чтобы трудиться на открытом воздухе, и работа на огороде стала для нее радостным обрядом. Но Резеш видел, что сейчас, даже отдаваясь своему любимому занятию, она не могла скрыть охватившей ее тревоги.

Вдруг Марча, взглянув поверх его головы, застыла на корточках.

— Мишо!

Он обернулся. На другом конце двора стоял Петричко.

Они с минуту молча глядели друг на друга.

— Что это значит? — заговорил первым Петричко.— Почему ты не пришел сеять?

Опять нагонит страху, как тогда зимой...— мелькнуло в голове Резеша.

Случилось это примерно через неделю после того, как на охоте Пишта Гунар и Штенко дали удрать вепрю. Тогда уже все было иначе, не то что в ту пору, когда Иван с Павлом уводили от них Контесу, Гермину, Жофку и Гизелу. Уже отменили задолженность по поставкам и попросили новых членов кооператива сдать корма, которые они заготовили для своего скота.

Резеш ждал их, знал, что они снова придут. Он вернулся тогда из лесу продрогший до костей и только принялся было поить лошадей, как к ним пожаловали Петричко с Иваном. Марча, задыхаясь, прибежала за ним в конюшню. Но он уже заранее радовался тому, как обхитрит их. На ходу он успел условиться с Марчей — шепнул ей, как и что она должна сделать. Марча сперва как будто не поняла, а потом задохнулась с испугу и покраснела.

— Я не знаю, смогу ли...— прошептала она.

— Ты сделаешь это! — приказал он.

Он водил Петричко и Ивана по конюшне, амбару, сараям, насмешливо улыбаясь. Они забрались на чердак. Там нашли немного зерна и мякины, пару охапок соломы и сена, кучку сухой крапивы.

— Плохой был год,— сказал он им.

— А чем бы ты кормил коров, если бы они остались в твоем хлеву? — спросил Иван.

— От этих забот вы меня избавили,— ответил он.— На пастбище нас не пустили. Вот и пришлось все лето кормить коров тем, что запасали на зиму.

— Будь уверен, я отыщу, где у тебя спрятано зерно,— сказал Петричко.

— У меня зерно?! — удивился Резеш.— Вы же хлеб из этого зерна едите! Я сдал все, что требовалось, и всегда сдавал сполна, а вы у меня ищете. И разве вы не отменили задолженность по поставкам? Вот спасибо! Прохиндеям, которые никогда не выполняли поставок и торговали на черном рынке, вы все простили. И выходит, что чем больше плутуешь, тем лучше при вашей власти живется.

Резеш держался уверенно. Зерно он спрятал в надежное место — под парником, который зимой забросал соломой, а с весны прикрыл свежевскопанной землей.

Иван долго, испытующе смотрел ему в лицо. Петричко что-то ворчал. Когда они уходили, во двор выбежала Марча с полной плетенкой зерна и принялась сзывать кур.

— Цып-цып-цып! — кричала она и сыпала пригоршнями зерно, хотя время кормления еще не пришло.

Иван уставился на плетенку, потом перевел взгляд на Резеша.

Когда они ушли, Марча долго в отчаянье твердила: «Они ведь способны на все!» События тех смутных дней, когда Петричко и Павел явились к ним дождливым вечером и положили на стол бланк заявления, а потом приехала «передвижная весна», удручающе подействовали на Марчу, а затем и вовсе сломили ее...

Они тогда собрали всего-то четыре воза сена и девять возов соломы. Так что Петричко, можно считать, остался у разбитого корыта, и зимой корма у него не стало, подумал Резеш. Он был спокоен, стоял, опираясь обеими руками на заступ. Чуть в стороне, прямо над головой Петричко, на ветке яблони щебетал скворец.

— Почему ты молчишь? Придумываешь, что бы такое половчее соврать? — спросил Петричко.

— Соврать?

Резеш недоуменно приподнял брови и посмотрел на него. Потом скользнул взглядом по парнику, в двух шагах от которого стоял Петричко.

И он еще позволяет себе так разговаривать после нагоняя, что получил утром от своего партийного начальства? — возмущался в душе Резеш. Ему и самому, мне кажется, порядком достается. Да и неудивительно, что сорвался на Петричко там, на скотном дворе, такие ароматы... А теперь является этот фельдфебель и требует, чтоб я шел вкалывать. Мне даже слышатся его слова, хоть он их еще не сказал: «Ну чего ты отлыниваешь — мужик ты крепкий, ноги есть и руки тоже». Да, главное — руки. Таких, как он, устроило бы больше, если б люди появлялись на свет без головы, но зато со второй парой рук на ее месте... Да только кому она нужна, такая жизнь?.. Нет, Петричко, у вас со мной этот номер не пройдет!

— Соврать? — повторил Резеш, и ему вдруг захотелось покуражиться.— А зачем мне врать? Лошадь моя Дунца подвернула ногу.— На этот раз он действительно соврал, и ему сразу стало весело.

— Что ты хочешь этим сказать? — поинтересовался Петричко.

Марча тяжело дышала. Рядом с нею стояла Зузка в измятом, испачканном землей платье — она тоже копалась у себя в огороде, но, увидев у соседей Петричко, кинулась к ним.

— Спроси ее,— вмешалась в разговор Зузка.

— Кого?

— Лошадь,— ответила Зузка.

Марча вытаращила на нее глаза, а Петричко словно окаменел. Но он не злился, взгляд его был холоден и неподвижен.

— Так вот...— наконец произнес он.— Ты сейчас же запряжешь лошадей и поедешь сеять.

Скворец продолжал распевать над его головой.

Резеш усмехнулся.

— Ну, а если бы с лошадью все было в порядке, а просто мне самому не хотелось, что тогда? — спросил он.— Или это не важно — хочется мне или нет? — Он уже говорил в открытую, и ему снова стало весело, даже веселее, чем когда он соврал про Дунцу.

— Я еще успею разъяснить тебе это, не беспокойся,— сказал Петричко, повернулся и не спеша пошел со двора.

Резеш поглядел ему вслед — на его не слишком широкие, но крепкие плечи, на прямую уверенную спину. А Зузка крикнула насмешливо:

— Чего пугаешь аиста лягушкой?!

## 5

Вечером оба Копчика сидели у себя дома за столом; вместе с ними сидел и Демко. В последнее время вошло у него в привычку заходить к Копчикам после ужина. Отец, едва завидев Демко, сразу брался за карты. Но сегодня они не играли. Зато на столе стояла паленка. И отец сам сходил за нею. Обычно он говорил матери: «Принеси-ка бутылку» — и потом еще ждал, пока мать наполнит ему стопку. А сегодня даже кусок копченой колбасы сам принес.

— Не под фасолевую же похлебку пить? Так паленку и не почувствуешь — совсем в кишках разбавится...

Немного погодя, даже не повернув головы, сказал матери:

— Дай хлеба.

Мать встала. Молча нарезала хлеб и снова села. Она сидела не с ними за столом, а на своем обычном месте — на табуретке за печью. Как всегда, она была вся в черном и казалась сейчас еще более жалкой, чем обычно. Лицо ее под разворошенным гнездом седых волос совсем заострилось. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на Павла. Это был взгляд беспомощного человека. Губы ее что-то беззвучно шептали, расслабленные руки лежали на коленях. Она молилась.

Но при этом она считает, которую стопку я пью, подумал Павел. Мне кажется, я слышу, как она шепчет: «Господи боже, открой ему глаза!» И сразу же вслед за этим: «Ты думаешь, что смоешь грехи свои водкой или выдохнешь их вместе с табачным дымом? Скорее здоровье от этого курева погубишь».

— Ну что ж, давайте еще! — сказал отец, и они снова выпили.— Вы смотрите, что делается,— продолжал отец, отодвинув тарелку с хлебом.— Они думают, что мы им поддадимся?

Он не сказал, кому именно, но это было ясно и так — после обеда никто из новых членов кооператива не вышел на работу.

— Они просто с ума посходили,— продолжал отец.— А как вам нравится Гойдич? В области опять на него наседают, и, наверное, не зря. Надо нам быть покруче. Американцы-то все еще грозят нам войной. Напали на Корею, прямо как Гитлер. Когда тот решил захватить весь мир, первой его жертвой стала Австрия, а потом мы. Гитлер-то поначалу получил все, что хотел, а вот они Корею не получат. И эти наши тоже хороши! Хаба небось ждет их не дождется! До чего ж хочется ему, чтоб и здесь был Питтсбург! Ничего,

я ему еще покажу, какой это для словаков рай — Питтсбург.— Он пристально посмотрел на Павла.— Ведь мы не боимся их? Всяких Хаб. Хотя Хаба всегда смотрел на нас только как на поживу.

Ты думаешь, я не знаю, каково тебе, не знаю, почему ты пьешь? — мысленно говорил отцу Павел. Ты уже просто не представляешь свою жизнь иначе и никогда не отступишься от кооператива. Ты как бульдог, который уж если схватит что зубами, то не отпустит...

Демко молчал. Видно, он и не слушал отца. Смотрел на балку у двери, где на крюке висела широкополая отцова шляпа. И глаза у него были совсем другими, чем у отца. Да и сам он был другим, не таким, как отец или Канадец, хотя с давних пор вместе с ними составлял ядро и опору Малой Москвы. Был он неразговорчив, но если уж говорил, то всегда спокойно и негромко. Всю жизнь Демко работал на открытом воздухе — в поле, на карьере, а теперь его определили в свинарник. Потому, мол, что он один из самых надежных.

— Разве стоило отведывать нашего кооперативного хлеба только для того, чтобы узнать, что поначалу на зубах песок скрипеть будет? — продолжал отец.— Нет, наша партия и правительство нас в беде не оставят. Зимой вот Гойдич прислал вагон сена и отрубей, и нам удалось дотянуть до весны. Несмотря на все эти проклятые неурядицы, мы потеряли из нашего стада только двух коров. Но ведь и сами мы должны...

Да, и одна из них была корова Войника, а другая — Штенко, мелькнуло в голове у Павла. Теперь она уже не замычит под каруселью.

Он снова выпил, и отец налил ему еще.

Я знаю, почему ты пьешь, подумал Павел. А вот почему пью я, почему я так хлещу паленку? Этого ты не знаешь. Да, наклюкаюсь я сегодня!

— Говорят, Хаба пускает ночью в хлев баб, чтобы они подоили для себя коров,— сказал отец.— Этим он их приманивает к себе, и они держат язык за зубами. Вот потому утром и не дают нам коровы молока. Тут мы должны смотреть в оба!

У Павла искривились в горькой усмешке губы... Опять Хаба Дьюри... Черт возьми, почему я с ним не подрался... И почему мы должны смотреть в оба? Про что говорит отец? Ага, про хлева... Но говорить об этом бесполезно. Уследить тут вообще невозможно. Тогда старым членам кооператива пришлось бы из ночи в ночь караулить в трех хлевах сразу. Но ведь мы и так уже караулим — в нашем свинарнике с того самого дня, как там провалилась крыша. Каждую четвертую ночь хожу туда с Иваном. Сторожим свинарник, словно склад боеприпасов. Черт знает что! Хватит с меня и этого, сыт по горло! И главное, дежурить приходится тем, у кого и днем работы невпроворот, кто на себе весь кооператив тянет!.. Да, нелегкое дело, за блохами разве поспеешь!

Павел смотрел на отца и жадно пил стопку за стопкой.

Пьешь, пьешь эту чертову паленку, а от нее — ни холодно, ни жарко. Что же это за паленка — если она не палит тебя и не жжет?

Мать в своем углу зевнула, потянулась.

Хотя Павел и не смотрел в ее сторону, но она как будто стояла у него перед глазами. Почему мать все время за ним следит? Ее морщинистое лицо напряжено, она считает, сколько рюмок он выпил. Нет, это свыше его сил! Ему не вынести ее жалобных, страдальческих вздохов, ее покорности, ее шаркающих, робких шагов... Ну что это такое? Почему она не заговорит никогда сама, ведь должно же ее что-то задевать?! Отец, видно, ее смолоду в ежовых рукавицах держал. Так

пусть бы хоть теперь заговорила! Но она только молится... И за меня, наверное, тоже молится. Черт!.. А что бы она сделала, если бы я сейчас вдруг заорал? Остолбенела бы и, глядя на меня во все глаза, продолжала бы молиться. Мне уже тошно от ее безропотности и молитв. Как и от разговоров отца.

Павел опрокинул еще стопку. Полную. До самого дна.

«Гойдич... Гойдич»,— талдычит все время отец. А у меня не только в ушах, а и в печенках застрял крик этого самого Гойдича: *«Почему не сеете?»* Ты бы уж лучше взял кнут, рябой! В Трнавке у людей уши еще не законопатило, слышат хорошо. А вот с твоим слухом, видать, что-то неладно! Разве ты не слышишь, рябой, как сотрясается от ругани воздух? Ты думаешь, будто можешь еще что-то сделать? Ну-ну! Значит, ты не знаешь, что у людей на душе? Попробуй-ка пришли снова «передвижную весну». Теперь они уже не напустят полные штаны, когда увидят тебя. Попробуй только сунуться в Трнавку и пройти по ней. Пешком пройти, а не в машине ехать! Помни, рябой,— пешком! И если бы на заду твоем висел кусок жести и каждый, кто хотел тебя лягнуть, стукнул по нему, вся округа оглохла бы. Вот так-то, Гойдич... А ты орешь: *«Почему не сеете?»*

Павел встал из-за стола. Надо выйти, решил он, чувствуя, что задыхается. Он долго не мог выбраться из горницы — стены кружились, пол колыхался. Наконец, распахнул настежь дверь и вышел на улицу.

Он брел в черном весеннем мраке, жадно вдыхая прохладный ночной воздух.

А ведь Гойдич сначала тебе нравился, продолжал размышлять Павел. Ты верил каждому его слову. Ты думал: он мужик что надо! А он, выходит, просто ловкач. Надувала! Подумаешь, районный секретарь!.. Все они делают вид, будто закармливают людей сдобными булками, а подсовывают им пока что заплесневелые корки... Тоже мне, *«почему не сеете?»*

Эх, ты, толстопузая жаба! Если бы из твоих россказней мосты строили, сколько людей потонуло бы! Ему Петричко так и сказал. А мы разве не тонем, разве не погрузились по горло? Ведь нам скоро так по шапке дадут, что ого-го! И разбегутся все из кооператива.

Разбегутся? Ха-ха! Будто они там были когда-то! Будто ты, Павел, не знаешь, что все, чему расти и цвести, должно иметь корень.

А ты, ты сам, разве не корень? — вдруг разозлился он на себя. Корень, самый настоящий! Да, хорош корень, похоронщик несчастный. Чем ты лучше этого пузатого мордоворота?!

Убирайся-ка поскорее отсюда. Сматывайся, пока не поздно, не то загнешься тут! Помнишь, как мать тебе кричала вслед: *«Ты не должен попадаться в ловушку! Иди, иди! Не возвращайся сюда!»* Не возвращайся! А ты, свинья поганая, не послушался. Вот и попал в ловушку. Сидишь теперь в клетке. И все потому, что не послушался.

Ну, а как тебе надо было поступить? Да, ты уже забыл, что говорили твои приятели в казарме? «Дурак ты, Павел Копчик, старый дурак! Черт возьми, ведь у тебя, осел, такая прямая дорога! Папаша твой — старый коммунист, батрак, теперь в кооперативе. Да этому же цены нет! У тебя, что называется, все условия для роста! Нечего и раздумывать, балда! Оставайся в армии. Кончишь военное училище и получишь золотую нашивку на плечо».

А ну тебя к черту, Павел! Сам видишь теперь, что натворил, в каком болоте увяз? Давай деру поскорей, и все! Ты же просто баран! Сделай хотя бы так, как Илона Олеярова. Убежала в Горовцы и больше носу сюда не кажет! И ты мог бы...

Он глубоко вздохнул. Господи, вот это воздух! И куда это ты забрел, парень? Он остановился, широко расставив ноги, и, казалось, врос в сырую распаренную землю. Ее влажное дыхание струилось отовсюду. Оно смешивалось со сладковатым запахом прошлогодней листвы, сквозь которую уже пробивалась молодая трава.

Павел с трудом разглядел в густом весеннем мраке канавку у дороги и услышал журчанье воды — где-то близко протекал ручей. Ему вдруг захотелось пить. Он стал ощупью пробираться к ручью — кусты царапали его, ноги разъезжались в слякоти. Он поскользнулся, упал, и в лицо ему плеснула вода. Странно, а ему казалось, что до ручья еще несколько шагов.

Павел, припав ртом к воде, долго и жадно пил.

Потом с трудом поднялся. Колени и локти у него намокли, с волос, с подбородка стекали струйки воды.

Он стоял у ручья и думал: да, пора тебе, Павел, глотнуть настоящей жизни, повидать белый свет, а как будут жить в Трнавке — начхать! Ты, конечно, дашь деру отсюда. А пока наглотайся здешнего воздуха.

И он жадно глотал этот воздух. Сердцу его вдруг стало тесно в грудной клетке, а уши, казалось, слышали, как прорастают в земле корешки.

Что за ночь, она словно вывернула наизнанку его душу! Такая ночь, Павел, а ты один...

И тут на него снова нашла злость.

Олух чертов! Тебе теперь не к кому даже пойти. Нет никого, кто бы тебя обнял. Нет ни одной девчонки, возле которой ты мог бы лечь, прижаться к ней лицом... А уж как бы ты ее обнимал, как целовал... И тогда не существовало бы на свете ничего другого. И ты мог бы хоть ненадолго забыть эту вшивую жизнь, стряхнуть с себя всю накопившуюся горечь и злость. Стряхнуть их, как стряхивают с дерева груши. Пусть на одну ночь. И не думал бы ты тогда ни про каких Гойдичей. Ох, сматывай ты поскорее отсюда удочки, Павел! Мотай ко всем чертям, раз у тебя уже здесь никого нет. Мотай отсюда!

Было это у тебя с Анной, было с Верой. И давно уже тебе этого недостает... Так мотай отсюда, если ты тут совсем один. Нет, дурак ты все-таки! Да любая из здешних бабенок будет рада. Они только притворяются безгрешными монашенками, а между тем...

Лопну от досады
Или удавлюсь,
Если с милым вечером
Я не обнимусь...

Ты, Павел, конечно, и сам знаешь, как это бывает...

С кем же, дочка, провела ты ночку?
Миловалась с Андришком до зари в кусточках...

Везет же некоторым!

Рубашка терла ему плечи и спину, щекотала соски. Казалось, телу его стало тесно под кожей. Павел вдруг побежал. Ноги его скользили.

Что это, я опять возле дома? Нет, это соседский. А, черт... там кто-то стоит. Может, мне почудилось? Он напряг зрение. Нет, тут кто-то есть. А что, если это... Сердце у него бешено заколотилось. Он задержал дыхание, ухватился за планку забора.

— Это ты, Зузка?

Она и в самом деле стояла у завалинки в нижней юбке, задумчиво уставившись в темноту.

— Тьфу! Испугал. Иди своей дорогой! — сердито буркнула она.

— Зузка!

— Отстань! — сказала она тихо усталым голосом.— Снова норовишь в мой двор забраться? Ступай прочь! Иди к коровам, которых вы у нас отобрали.— Зузка горько рассмеялась.

— Что там такое? — послышался из-за полуоткрытой двери голос Микулаша.

— Ничего. Отвяжись ты, наконец! Спи! — зло прикрикнула она на мужа.

— Кто там? — продолжал сипеть Микулаш.

— Кот. Кот бегает тут возле меня,— смеясь, сказала Зузка и вздрогнула. Она постояла еще с минуту, скрестив на груди руки и сжимая ладонями плечи, словно обнимала себя, потом медленно пошла к двери.

— Зузка! Послушай, Зузка! — зашептал Павел.

Но ее уже не было.

Вот бестия! Что она — ждала тут кого-нибудь или собиралась идти коров доить?

Хотя Зузка и ушла, она все еще стояла у него перед глазами. Павел видел ее лицо, обжигающий блеск ее глаз. Настоящая Ева! На празднике, когда они танцевали, она так прильнула к нему, что у него чуть не отнялись ноги. Он еще и сейчас, казалось, ощущал ее разгоряченное тело. «Ты, я вижу, хорошо знаешь, где у пчелок мед»,— сказала она ему тогда. Мед? Хорош мед! Это же взрывчатка! Просто взрывчатка!

Вот это баба, черт возьми! Да разве бедолаге Микулашу совладать с нею, с ее телом? Ха-ха-ха! А может, это сама Зузка так истерзала и вогнала в чахотку Микулаша?.. Взрывчатка... Такой бабе знаешь какой мужик нужен? Зубастый и чтобы сила была бычья. Посмотри-ка на нее. От ее ног, от того, что повыше, от всего ее женского бесстыдства просто дух захватывает. Ее бы и слепой увидел. А как она разбушевалась тогда в конторе, как налетела на Сойку?!

И вдруг он вспомнил, с какой жгучей ненавистью смотрела на него Зузка, когда он уводил ее корову. Эта ненависть обожгла его и сейчас. Нет, надо сбить с нее спесь, в бараний рог скрутить эту бестию. Повалить бы ее, а потом смотреть, как притихнет она под тобой... Забраться в ее соты с медом.

Какая ночь! Господи... какая ночь!..

## *VII. Горечь и надежды*

### 1

Неужели ты действительно не представляешь, как было дело? А если бы я не послал тебе отчета и не разговаривал по спецсвязи, ты так и не знал бы ничего? Разве у тебя нет ни глаз, ни ушей? Ты же секретарь областного комитета! — возмущался в душе Гойдич. Он сидел за письменным столом в своем прокуренном кабинете и мучительно думал о создавшейся в районе ситуации. Разве ты туда не ездил? Ты что, по воздуху летал? Разве не видел этой картины?

У него самого она четко запечатлелась в памяти.

Ряды привядшей, давно уже переросшей свеклы; картофельная ботва, что сплелась с пыреем и чертополохом; нетронутая прошлогодняя стерня. За установленными зимой вдоль шоссе большими деревянными щитами, где сообщалось, что «*уже 38 сел нашего района*

*вступили на путь социализма»*, лежали пустые поля. Лишь кое-где на них копошились школьники, которых привезли сюда в автобусах и на тракторных прицепах из Горовцов. Да еще бригады помощи деревне, составленные из служащих магазинов, закрытых на время. Всюду пусто, печально, мертво.

Он видел эту дорогу даже во сне, и у него было такое чувство, будто он идет по улице, опаленной молнией.

Вчера к этой картине прибавилась новая. Отчетливая и яркая.

В Стакчине члены кооператива разобрали скот. Когда стадо в полдень возвращалось в деревню, они перехватили его и каждый погнал своих коров к себе в хлев. Мы приехали туда, когда там все еще были в приподнятом настроении. С нами прибыли четверо сотрудников службы безопасности. Вполне понятно. Ведь это был самовольный угон кооперативного скота, грубое нарушение устава кооператива. Мы хотели сперва провести собрание. Партийное собрание. Но нам это не удалось. Члены партии «спасались» от нашей помощи. Я сам видел, как один из них, углядев нас, выскочил из окна в сад. Это был Васил Вирчик, председатель здешней партийной организации.

Прошел час, другой... Мы ждали. Тщетно. Тогда мы пошли по домам и привели скот обратно. Не досчитались, правда, семи коров, они, мол, еще на пастбище куда-то запропастились.

В глазах людей были ненависть и ожесточение. Мы видели понурые фигуры, слышали протестующие, яростные выкрики: «Почему вы не даете жить так, как нам хочется?», «Пошли вы к черту!»

Но мы все же вернули скот в кооперативный хлев.

Делая это, я поступился своей совестью. Самовольный угон скота! Мне было ясно: если не погасить эту искру, она перебросится отсюда дальше, произойдет цепная реакция. Ее необходимо было загасить. Но разве существуют две совести у коммуниста? — размышлял измученный и осунувшийся Гойдич, задумчиво глядя на обивку стола, на котором рыжело старое пятно от пролитого кофе.

Его размышления прервал Врабел:

— Расскажи, как все было в действительности.

— Что значит «в действительности»? Ведь ты получил отчет. И мы разговаривали с тобой по телефону.

— Да. Но этому трудно поверить.

— Я могу повторить тебе все еще раз. Председатель партийной организации Вирчик был одним из первых, кто стал загонять скот в свои хлева. Мы вызовем на следующее заседание бюро весь партийный комитет и коммунистов из национального комитета Стакчина. Но что это даст? Знаешь, временами я чувствую себя мухой на липучке.

— Мы не можем идти на попятный,— сказал Бриндзак.

Врабел уставился на Гойдича.

— Не понимаю я тебя. То, что случилось у Валента, уже перебрасывается и к нам, в Горовецкий район.— Помолчав немного, Врабел резко добавил: — Это возмутительное разгильдяйство — то, что вы не сумели предотвратить назревавшую ситуацию. Подобные эксцессы мы должны ликвидировать в зародыше.

— Разумеется,— поддакнул Бриндзак.— Я полагаю, что после нашего вмешательства ничего подобного не повторится.

— Для этого нужно создать еще и предпосылки,— сказал Врабел.— Опасаюсь только, что... Но ведь летом прошлого года, приступая к организации кооперативов, мы не загадывали и не дожидались, что нам выпадет — орел или решка. Наступление наше мы должны продолжать и проявлять при этом всю свою революционную непреклонность. Враг хотел бы подорвать наш тыл. Но мы снова его атакуем и прорвемся вглубь. Вы понимаете, как это важно?.. Ведь с прош-

лого года, когда нас вынудили вести это наступление, ничего не изменилось.

Что он говорит? Новое наступление и... эксцессы! Новое наступление! Господи, да как же он хочет вести это новое наступление? Разве можно настолько вырываться вперед?..— встревоженно думал Гойдич. Эксцессы... Слово это, как заноза, застряло в его мозгу.

Гардик, председатель районного национального комитета, обернулся к нему. Когда их взгляды встретились, Гойдич почувствовал, что Гардик разделяет его тревогу, и это его согрело.

Сойка явно нервничал, он вдруг выхватил изо рта только что зажженную сигарету и смял ее. Несколько дней назад Сойка сказал Гойдичу с ухмылкой: «Ты слышал? Турция, говорят, объявила нам войну. Мы, мол, ввели у себя без их ведома турецкий способ хозяйствования!» Было это, правда, неделю назад.

Галушка и Гриц понимающе подталкивали друг друга локтем. Михалик молчал.

В прищуренных темно-карих глазах Бриндзака Гойдич увидел откровенную насмешку.

Он опять поглядел на Врабела.

Новое наступление! Ты что — ослеп? Не видишь, что происходит?

В эту минуту Гойдич забыл о своем уважении к Врабелу. В нем все сильнее закипала злость. Он молчал, но мысленно вел с ним спор.

Ты в самом деле глух и слеп. Тогда я скажу тебе прямо — мы зашли в тупик. В самом воздухе я чувствую моровое поветрие. Даже Петричко и тот совершенно растерялся, а это уже кое-что значит. А может, надо думать одно, а говорить другое? Одно мнение будет личным, а другое — служебным? Еще когда мы галопом мчались вперед, мне все это ох как не нравилось. Уже тогда, помнишь, Врабел? А теперь у тебя душа не болит за то, что происходит? Ведь мы и представить себе не могли даже еще несколько месяцев назад, что такое может статься. Разве мы не хотели в тех невероятно трудных обстоятельствах укрепить тыл? Да... Ты уже забыл, что сам говорил здесь же? *«И вам никогда не приходило в голову передвинуть фронт повыше?.. Калужа, Стакчин, Ольшава. Укрепить тыл себе и Валенту. Окропить деревни живой водой?»*

А была ли эта вода живой? Может, она была мертвой?

Нет, я человек не злопамятный. И дело тут не во Врабеле или Гойдиче, а в чем-то большем. И потому, когда говоришь сам с собой о нынешней проклятой ситуации, невольно срывается голос. Хотя ни хныкать, ни сидеть сложа руки я не собираюсь. Это же совершенно разные вещи. Будущее, Врабел, я уверен, принадлежит нам. Но что-то должно произойти. Новое наступление? Нет-нет, только не оно. Я знаю, тебе никуда не деться от собственной тени. Вот дай мне совет, как выбраться из заварухи, а я уж буду тащить свою тележку со всей поклажей, что мы на нее нагрузили. Готов языком вылизать для нее дорогу, но только мне надо наперед знать, куда толкать эту тележку... А ты — эксцессы! Новое наступление! Да иди ты ко всем чертям!

— Нет, я тебя не понимаю, Врабел,— сказал Гойдич.— Мне кажется, что мы и так зашли слишком далеко. Прошлогодняя спешка обошлась нам очень дорого. Вреда от нее больше, чем пользы. Такие успехи могут нас доконать. И ты хочешь идти дальше той же дорогой?

Гардик ободряюще кивал. Врабел сверлил его глазами.

— Боюсь... ты просто не понимаешь, что говоришь,— сказал Врабел.— Так мы можем утратить одну за другой все позиции. Черт возьми, неужели ты считаешь, что в Стакчине обошлось без вражеской

руки? Что там нет ни одного подстрекателя? Ни одного вредителя? Совершенно естественно, что именно здесь, вблизи советской границы, у врага больше всего шпионов. Здесь, можно сказать, самое уязвимое место. Мы обязаны соблюдать дисциплину гораздо строже, чем в других районах страны... Классовому врагу удалось организовать тут наиболее ожесточенное сопротивление. И какая может быть гарантия, что...

Врабел умолк, не закончив фразы. Пальцы его нервно вертели на столе авторучку. В полной тишине, воцарившейся в кабинете, слышался легкий шорох.

— Да, да,— снова заговорил Врабел,— мы больше не будем молчаливо наблюдать, если чьи-то действия, чьи-то взгляды ослабляют партию изнутри. Примиренчество порождают мелкобуржуазные теории, которые проникли в нашу партию извне. Напрячь все свои силы представляется теперь некоторым людям невероятно трудным, они предпочитают жить спокойно, без борьбы. Они призывают нас отступить, сдать неприятелю завоеванные позиции.

Гойдич вздрогнул: он уже, кажется, слышал эти слова. Сталин... Конечно, Сталин.

— И не случайно они выступают именно теперь,— продолжал Врабел.— Вы же знаете, что утверждает реакция: вместе с Готвальдом и Сталиным умерла и партия, понятно? Именно теперь наша борьба обостряется до предела...— Врабел откинулся на спинку стула, придав этой позой своей фигуре внушительность, он был небольшого роста. И продолжал с непоколебимой уверенностью: — Пассивность всегда на руку врагу, она подбадривает его. Придает ему наглости. Время еще есть. Мы всеми средствами будем продолжать наступление. И они поймут, что напрасно надеялись и ждали. Всеми средствами,— подчеркнул он.— Допустить то, что было в Стакчине,— преступная халатность... Мы, конечно, выправим положение, но маловеров придется хорошенько встряхнуть...

— Ты не прав! — вырвалось у Гойдича. Он достал из кармана смятый носовой платок и утер им лоб.— Ты не прав,— повторил он спокойнее.— Мы уже сами себя встряхнули. Тем путем, что мы шли, дальше идти нельзя!

— Ты мне облегчаешь задачу,— сказал, помолчав немного, Врабел, глядя на завесу дыма.— Да. Мы должны все подробно обсудить. Но прежде... прежде я хотел бы сообщить...— продолжал он сухим, безличным голосом и впервые за время разговора посмотрел Гойдичу в глаза: — Вчера вечером, когда ты мне звонил, шло заседание бюро областного комитета. Как выяснилось, Гойдич, ты не справился с поставленными перед тобой задачами. Мы освобождаем тебя от исполнения твоих обязанностей...

В кабинете наступила оглушительная тишина.

Что?! Кто решил? Мне же ничего... Разве я не могу отстаивать свою точку зрения?.. А не ослышался ли я? Чей это был голос? Врабела? Секретаря областного комитета? Нет. Это был незнакомый, чужой голос... Но меня должны были по крайней мере вызвать, чтобы я... Как же это так, я оказался осужденным прежде, чем стал обвиняемым? И за что? За правду. Да разве тебе ее обнаружить, Врабел, увидеть ее всю — полную правду, если ты слеп?! Правда — только в ней вся сила, и ни на что другое нельзя полагаться. Как же ее постигнуть? Что же это происходит?

Гойдича трясло, как в лихорадке.

— Я все же...— начал было он, но от волнения у него в горле застрял комок и перехватило дыхание.

Гойдич видел вокруг себя расплывшиеся словно в тумане лица.

У Бриндзака на лице — жесткая, непроницаемая маска. Этот чувствовал себя победителем. За ним стоит сила. Как у изголовья постели тяжелобольного стоит смерть.

А как же остальные, те, что вместе со мной готовили *карту?* — подумал Гойдич.

Председатель районного национального комитета, который ему сначала ободряюще кивал, уставился в стол — лицо у него было удивленное и растерянное. «Отбивайся,— сказал он ему, когда они принимали обязательство.— Задание слишком велико. Мы столько не сделаем, даже если расшибемся в лепешку». Вчера, когда они возвращались из Стакчина, он был вне себя от злости. «Не было печали, так черти накачали!» А теперь вот сидит и молчит. Будто онемел.

Слева Сойка. Этот напускает на себя равнодушие. Словно бы он меня и знать не знал никогда. Но уже подмигивает Бриндзаку.

В глазах Галушки Гойдич подметил что-то такое, что можно было принять за сочувствие и возмущение. Но еще и страх. Казалось, он говорил: «Это без злого умысла. Ты же знаешь Врабела».

Гойдич посмотрел на остальных. Но даже Михалик не ответил на его взгляд. Он курил, лоб его побагровел. Гриц был сдержан и официален.

Решился заговорить один Галушка.

— Не знаю... Но это все же, пожалуй...— медленно, осипшим голосом, начал он.

— Я хотел бы напомнить, что речь идет о решении бюро областного комитета,— прервал его Бриндзак и посмотрел на Врабела.

Галушка умолк. Несколько минут в кабинете снова царила тишина.

Гойдича бросало то в жар, то в холод. Он едва дышал. Стоял неподвижно и молча, как на похоронах. «Словно я уже сам лежу в гробу»,— прошептал он.

А потом вдруг все в нем возмутилось, восстало.

Павлина ловкими движениями закладывала в машинку бумагу.

— Что случилось? — испуганно воскликнула она, увидев выбежавшего из кабинета Гойдича.

Она вскочила. Господи, что с ним?! Какой он бледный. Под глазами темные круги...

— Ничего. Ничего. Я еще вернусь... Приведу в порядок и сдам дела...— едва оглянувшись, бросил он и вышел из приемной.

Павлина услышала еще его тяжелый вздох, вырвавшийся из груди. И тут снова распахнулась дверь кабинета и кто-то крикнул:

— Гойдич!

— Слюнтяй! Не выносишь критики! Отнесись к этому как мужчина, иначе совсем развалишься! — раздался голос Бриндзака, он прикрыл обитую дерматином дверь, и последние слова его были едва слышны.— Лучше пусть теперь развалится, чем тогда, когда, не дай бог, придет враг.

Павлину трясло. Она хотела побежать за Гойдичем, но не могла сдвинуться с места — словно окаменела.

Под аркой дома шоферы и вахтер чесали от нечего делать языки. Красный «москвич» и черный «татраплан» стояли во дворе.

Нагретая за день вечерняя улица благоухала сиренью, цветущей в палисадниках. Из костела после богослужения возвращались верующие; женщины шли с молитвенниками в руках, в праздничных пла-

точках, а во взглядах их уже была озабоченность. Подростки, которые толпились возле пивной, задевали проходивших мимо девчонок. Легкий ветерок вздувал юбки, гонял по площади пыль. Теплое майское дыхание сумеречной площади ласково овевало лица прохожих.

Но перед глазами Гойдича сейчас был его отец и с ним еще девять односельчан. Со связанными руками стояли они на краю известковой ямы. Этих десятерых без суда обреченных на смерть рабочих заставили долго поливать известь водой, и только когда с громким шипением повалили клубы сизовато-белого пара, гардисты связали их. Эти рабочие прятали в карьере двух русских пленных. И за это они теперь должны были умереть.

С братом, матерью и двумя соседями Йожко притаился в зарослях орешника над шоссе. Их трясло от ужаса.

— Господи Иисусе, может, они все-таки не расстреляют,— бормотала, стуча зубами, мать; лицо ее судорожно подергивалось.

Прогремели ружейные выстрелы. Осужденные падали один за другим прямо в дымившуюся яму. Отец и их сосед Вранюх рухнули наземь. Отец лежал, свесившись над ямой; одна нога его сползла в бурлящую известь. Тело его корчилось в предсмертных судорогах на побелевшей от известковой пыли траве.

— Ты смотри, этот хитрюга не хочет вариться в котле! — со смехом крикнул один из гардистов и направился вразвалку с винтовкой в руке к отцу.— Тьфу, чад просто глаза выедает,— злился он, прикрывая ладонью глаза.

— Да брось ты гранату, и дело с концом! — посоветовал кто-то.

— Нет, пусть коммунистическая свинья варится!

Йожко не мог больше смотреть. Закрыл глаза, прижал к ним кулаки.

— Идем отсюда! — услышал он у самого уха мужской голос.— Мы все должны уйти в горы.

Он молчал, прижимая все сильнее к глазам кулаки; но и закрыв глаза, видел, как гардист пихает отца ногой и его тело медленно сползает в кипящую известь. Он уже почти терял сознание, к горлу его подступала тошнота.

— Да столкни его вниз! — орал гардистский командир.

Йожко узнал этот голос: кричал молодой Хорват — тот самый, что убил кабана, клыки которого он сломал мальчишкой.

— Пойдем отсюда, пойдем! — кто-то волочил его за собой.— Какие мерзавцы! Какие сволочи!

И тут он снова услышал голос гардиста:

— Вот тебе — получай! Гопля! Теперь порядок... Черт бы побрал этот дым! Терпеть не могу запах гашеной извести...

Мать упала на колени прямо на хворост. Он видел только ее рот — большой рот, бормочущий едва слышно молитву, обращенную к небу: «Смилуйся над нами, господи!» И вдруг она завыла, страшно, отчаянно.

Йожко кинулся к ней. Но она выбралась на четвереньках из зарослей и побежала к яме. Обезумев, она бежала навстречу собственной гибели. Никто не смог ее удержать.

Он долго пробирался вместе с остальными по лесу в горы... Несколько месяцев они партизанили, пока не кончилась война. А когда война кончилась, он понял: всему, что прежде омрачало жизнь, надо положить конец. И в их деревне люди должны жить совсем по-другому.

Костел был переполнен.

Резеш стоял в черном праздничном костюме, теребя в руках шляпу. Верующие с трудом протискивались поближе к алтарю. Все пространство между скамьями было забито людьми, прихожане толпились и у входа. Каждому вновь пришедшему передавалось глухое волнение толпы.

Резеш поглядел в окно. Он мог часами смотреть, как лучи света проникают в храм и, преломляясь, ложатся на стены красными, синими, желтыми пятнами. Мальчиком он думал, что это очи небес.

Чуть поодаль, под распятием, на второй скамье сидела Марча. На том самом месте, где когда-то сиживала его мать. И так же, как когда-то мать, она держала в руках старый молитвенник. Молитвенник был тот же, но заботы, одолевавшие Марчу, были совсем другие.

Над алтарем трепетали огоньки свечей, отблеск их мерцал на одеяниях святых. Здесь, прямо перед алтарем, мать, когда носила его под сердцем, вышивала покрывало с длинной серебряной бахромой. Дар, обещанный небесам за рождение сына.

Сам он в детские годы не слишком-то верил в бога и радовался, когда ему уже не надо было прислуживать в храме.

Отец тоже ходил в церковь не каждый праздник. У него было слишком много работы и слишком мало времени, чтобы думать о религии или о политике. Запаху ладана он предпочитал запах земли и всегда спешил управиться со всеми делами к концу апреля, когда в день святого Марка освящают всходы; надо, чтобы семена вовремя попали в землю и почва получила все, что ей положено, и чтобы луга, где косят траву на сено, были хорошо унавожены. И прежде чем священник благословлял скот, отец внимательно осматривал каждого поросенка — те, что были послабее, шли на продажу. Поэтому скот у него всегда был здоровым. Сколько раз сын слышал от отца: «Бедный человек не может надеяться на авось». До того как отец и мать расхворались, их небольшое хозяйство считалось одним из лучших в Трнавке. Конечно, потом дела пошли хуже. Если отец и верил во что-нибудь, так это в землю, вспоминал Резеш.

Под сводами разносились слова проповеди.

Священник Мижик уже давно служит в их приходе. Он хоронил мать и отца Резеша, крестил Тибора и Ферко. Правда, теперь он бывает тут только каждую вторую неделю. Если на шоссе, ведущем к Жабянам, послышится топот лошадей Хабы и дребезжание брички, все знают, что скоро раздастся звон колоколов.

«Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим!»

О чем сегодня проповедь? Какое сегодня воскресенье?

«...И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале...»

Что это? Это же...

«...Тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная». Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его — правдою. Всем же отступникам и грешникам — погибель, и оставившие Господа истребятся... Ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды.

И сильный будет отрепьем, и дело его — искрою; и будут гореть вместе — и никто не потушит».

Ты не ослышался, Михал? Сердце Резеша, казалось, вот-вот выскочит из груди.

Священник воздел руки к небу.

«Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного в ваших домах...»

Что это — голос священника Мижика или через окно со словами пророчества спускается с небес многоцветной зарей сам святой Исайя?

Храм захлебнулся тишиной. Под сводами вскипала общая кровь, билась единая мысль, слышно было единое дыхание верующих.

Эмиль Матух стоял красный как рак. Штенко сперва было замер, как кролик под взглядом удава, но слова проповеди наполняли его таким блаженством! У Тирпака дергался кадык.

— Ты слышал? — пробормотал он и, обернувшись к Резешу, толкнул его локтем.

Эмиль тоже повернулся к Резешу. Его взгляд был пристальным и алчным. Резешу показалось, что тот уже говорит ему: «Они пили нашу кровь, теперь пора пустить кровь им». Но Эмиль молчал, и Резеш отвернулся.

А может, я гляжусь в зеркало собственной души? — подумал он и посмотрел на женскую половину, но Марчу не увидел.

Старая Копчикова, сжав в руках четки, не отрывала глаз от священника. Обе Хабовы склонили головы. Жена Канадца оглядывалась по сторонам.

Слова священника и обращали время вспять, и опережали его.

Резеш видел, как все его коровы снова лежат в хлеву; стойла пахнут сеном и молоком. Его поле хорошо обработано. Он снова ведет Дунцу в Горовцы на конный завод. За оградой на плотно утоптанной земле стоит как вкопанный в лучах солнца племенной жеребец Шагья. Крепкие, быстрые ноги, широкая, мощная грудь, короткая шея, он фыркает, исполненный буйной силы. Кобыла остановилась и замерла возле жеребца. Коневод в драной клетчатой рубашке засучил было рукава, но, поглядев на Дунцу, сказал:

— Да твоя кобыла что иная баба. Ждет небось, чтоб ее прежде поласкали.

Жеребец обнюхивал Дунцу, скаля зубы, слегка покусывал ее бока, потом вдруг свирепо лягнул ее и, взметнув копытами землю, встал на дыбы.

И тут пришло ее время. Под шерстью у кобылы начали волнами перекатываться мускулы, как будто рвались вон из ее тела.

— Ну вот, теперь дело пойдет! — сказал коневод.

Резеш видел, как содрогается крепкое, жилистое туловище Дунцы, как кровь заливает ей глаза. «Да, ты еще подаришь мне жеребенка,— зашептал он. Он уже видел, как жеребенок этот бегает, скачет, а на спине его играют солнечные лучи.— Тебя я, уж конечно, оставлю себе».

И тут он спохватился: Михал, ты же в храме!

Да. Но он ведь лишь торопился увидеть будущее. Он видел то, что еще только должно было произойти. Так оно и будет, сказал он себе. Мне просто хочется знать, как это все будет. Вот она и сплетается — петля мести! А как же она затянется?

Резеш затаил дыхание и поднял глаза. Трепетный свет восковых свечей и серебро алтаря. Густое, пахучее облако ладана, колокольный звон... Он опустился на колени.

Прихожане вышли из церкви и остановились на церковном дворе. Звон колоколов, казалось, бился о самое небо.

К Резешу подошла Марча. Она была взволнована, оглядывалась по сторонам, словно чего-то ждала. Да, кажется, и она, наконец, увидела то, чего ждала и о чем молилась.

— Мишо! — Глаза у Марчи были влажными и темными, будто пашня. Ему вдруг захотелось прикоснуться к ней. Он нежно сжал ее руку, как обычно сжимала его руку она.

— Мы-то уж довольно натерпелись,— сказала Марча.— Хоть бы только войны не было.

Слова эти вырвались у нее, как тяжелый вздох.

— Чего-чего хоть бы не было? — спросил старый Хаба. Его багровое лицо резко выделялось на фоне белой рубашки и черного пиджака.

— Войны,— вздохнула Марча.

— Ерунду городишь,— оборвал ее Хаба.— Они ведь уже воюют с нами, и нам нечего церемониться.

— Я не хочу больше никакой войны,— пожав плечами, сказала Марча.

— Ты слышишь, что она говорит? — Хаба поглядел на Резеша.— Знаешь, есть вещи, за которые надо платить сполна, даже если...

— Но, может, до войны и не дойдет. Американцы лучше знают, что и как. Ведь есть у них эта самая бомба, но они же не сбросили ее. За милую душу могли шлепнуть на Корею или даже на Москву. И был бы конец. Если бы захотели, могли бы разбить коммунистов в пух и прах. Но вместо этого в Корею прибыли войска ООН, чтобы стало ясно: мир против коммунистов. Нам нужно сбросить их. Если дружно взяться за это, они испугаются нас как черт ладана.— Хаба не закончил свою мысль — остановился, чтобы найти нужные слова: — Мы стряхнем их с себя, как пес стряхивает блох. Тогда и у нас будет все, как в Питтсбурге. А там — словацкий рай. Мне посчастливилось подышать тамошним воздухом. Когда-нибудь и у нас будет что-то похожее...

Питтсбург тут, Питтсбург там. Я-то живу здесь и здесь исхожу кровавым потом, подумал Резеш. Хабе-то хорошо говорить. Он набил себе карманы в Америке. Привалило ему там счастье. И сегодня — хоть и прошло тридцать лет — люди помнят об этом. Привез домой пару тысчонок долларов. Говорят, он был картежник, каких мало. В деревне на все его махинации смотрели сквозь пальцы, а вот сыну уже ничего не спускают.

Отец Резеша никогда не склочничал из-за куска земли, хотя всегда мечтал о земле. Дважды Хаба отхватывал участок у него прямо из-под носа. Резеш помнил, как отец ругался. Не он один терпеть не мог Хабу, но Хаба имел власть в деревне. Ведь недаром тогда, во время революции, мать и послала Резеша к нему.

Будь все проклято! Теперь мне помощь не нужна, думал он. Я и сам управляюсь, мне ясно, чего я хочу. Эх, Хаба, запрягли нас с тобой в одну упряжку. Я войны не хочу, нет. Но коммунистов я бы послал ко всем чертям. Что они тут натворили. Это разве хозяйство? Разорение одно! Я знаю, что мне надо. Я хочу привести обратно в свой хлев Контесу, Гермину, Жофку и Гизелу. И буду их вместе с Графиней снова выгонять на старое пастбище. И хочу иметь свое поле, чтобы снова пахать и сеять. Вот что я хочу.

Да, слова священника возвращали в прошлое и в то же время уводили в будущее, вселяли надежду.

— Похоже, что они уже дошли до точки,— сказал Хаба, откинув назад голову и глядя Резешу прямо в глаза.— Ты слышал, ихнего секретаря Гойдича сняли?

— Слышал.

— А в Чичаве сгорел коровник. Первый, который они построили. Туда должны были всех коров согнать. Вот и дождались праздника.

— А вы знаете, что этого ихнего начальника в Горовцах, того самого, который тут всем заправлял, выгнали,— вмешалась в разговор Олеярова.— «Удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим... И опять буду поставлять тебе судей, как прежде... и будут гореть вместе — и никто не потушит»,— торопливо шептала она; потом на мгновение застыла с открытым ртом и снова заговорила: — Они взяли на себя смертный грех, и им не уйти от суда. Вот этот пожар... Конец света! Святой Исайя или Сибилла... Сибилла...— Отблеск пламени, которое она видела, плясал в ее глазах.

Хаба, раздраженно повертев пальцем у лба, отвернулся. Вдруг он замер: по площади шли Иван Матух и оба Копчика.

Прищурив глаза, Хаба провожал их злым взглядом. Дьюри и Эмиль Матух тоже с вызовом глядели на них.

— Что же Петричко не раструбил повсюду последнюю новость? — смеясь, крикнул Штенко.— Про Гойдича и про сгоревший в Чичаве хлев. Что ж вы не объявили об этом под барабанный бой?

Когда те трое прошли, Резеш вдруг почувствовал, как измотан бесконечным ожиданием. Он невольно засмотрелся на тучу, которая появилась над холмами и стала заслонять солнце. В ее густой тени, казалось, уж вовсе невозможно дышать. Но потом он вдруг представил себе, как зашумит теплый дождь, приласкает поля, всходы, траву, поднимет всю землю из праха, и ему стало легче.

## 3

— Господи боже мой, ну и грязища после дождя.

Едва Сойка свернул с шоссе, как его облепленный грязью мотоцикл наскочил на груду щебня. Теперь и он сам уже был по уши в грязи. Сдвинув на затылок шапку и вытерев лоб, он смотрел, как Петричко посыпает щебнем дорогу.

Дождь как зарядил в воскресенье после обеда, так и лил словно из ведра до рассвета. Потоки дождевой воды оставляли на дороге глубокие промоины и лужи, полные мутной, коричневой жижи.

Петричко с головой ушел в работу. Его движения были на редкость точны: лопата в землю, хорошо рассчитанный взмах руки, легкий рывок — и щебень сыплется туда, куда надо. Пять-шесть уверенных взмахов — и Петричко прислонил лопату к тележке, бросил на нее куртку.

— Где был?

— Да вот снова исколесил полсвета. Проклятая жизнь.— Сойка закурил сигарету.— Одни неприятности. А теперь еще слухи пошли, что будет денежная реформа. Чушь какая-то. Самые ответственные товарищи уже опровергли эти слухи. Писали об этом и в газетах, и по радио объявляли. Не пойдем же мы против собственного народа, ведь реформа ударила бы по каждому. Точнее, по каждому, у кого есть кроны. У тебя они есть? У меня нет. Мы не спекулируем, не продаем из-под полы. И нечего объяснять это всяким шептунам, а сразу схватить бы за шкирку такого вот болтуна. Ну-ка прощебечи, пташечка, где ты слышал эту песенку? Я-то знаю, что все это «Голос Америки». Эти мерзавцы на Западе рады половить рыбку в мутной воде. Вот в такой, как у тебя тут.

Он топнул ногой по луже, и вода брызнула во все стороны. Петричко поглядел на его сапоги и, отвернувшись в сторону, спросил:

— Кто поджег хлев в Чичаве?

— Еще не известно. Но двое подозреваемых уже сидят. Ничего, они все выложат.— Сойка выпустил изо рта дым.— А в Чичаве мы построим новый коровник, побольше старого. Через месяц должен быть готов. Я вчера там, братец, до обеда вкалывал. Вот это было

воскресенье! Вкалывал и Бриндзак и весь районный национальный комитет во главе с Гардиком. Натерли себе здоровенные мозоли.— И словно вспомнив что-то, причмокнул губами.— Да, кстати, что ты думаешь о Гойдиче?

— Гойдич разочаровал меня. Еще когда произошла история с прокурором, можно было кое о чем догадаться,— сказал Петричко.— И потом, когда я хотел весной реквизировать лошадей, он мне этого не разрешил. И трактор не послал.

С минуту они молча курили.

— В прошлом году он уж слишком большой кусок отхватил. Заглотнул, а переварить не сумел,— сказал Сойка.— Да, хвали день к вечеру. Словом, Гойдич не выдержал темпа. Похоже, он был слишком уж мягкий, да и, как говорится, себе на уме. Бриндзак — вот это совсем другое дело!

Сойку явно устраивало то, что Бриндзак занял место Гойдича. Бриндзак, собственно, помог ему продвинуться. Началось все с его выступления на активе парикмахеров. Тогда шла первая пятилетка и в шахты требовались бригадники. Бриндзак выступал на этом заседании. Перечислил все выгоды, которые ждут бригадников. Но тут раздался вражеский голос — какой-то подонок начал разглагольствовать, что горняков, дескать, осыпают благами, а парикмахеры получают куда меньше. Тогда Сойка взял слово. «Конечно,— сказал он,— каждому ясно, что профессия горняка важнее нашей, к тому же она гораздо тяжелее и опаснее. Слышали когда-нибудь, к примеру, чтобы в результате катастрофы на производстве погибло сто двадцать парикмахеров? Партия и правительство знают, кому сколько платить».

Его наверняка правильно поняли, потому что сразу стало тихо, никто и не пикнул. А Сойка записался в бригаду. Он и в самом деле собирался тогда ехать на шахту. После актива Бриндзак похлопал его по плечу и сказал: «Молодец! Не боишься!»

Но в шахту Сойка не поехал, его взяли в аппарат областного комитета партии — инструктором. Легкой жизнью это не назовешь, в шахте ему было бы спокойнее. Но он утешал себя тем, что делает нужное дело.

— Бриндзак — парень что надо! Я его знаю еще с партизанских времен,— в голосе Петричко прозвучало уважение.

— Бриндзак не трус,— сказал Сойка, выпустив изо рта дым.— Теперь мы начнем чистку и зададим жару всем саботажникам. Главное, не допускать никакого слюнтяйства и напролом идти к цели. Они считают, что кооперативы начнут распадаться. А мы им поможем освободиться от таких мыслей. Знаешь, приятель, мы скоро приступим к новой вербовке в кооперативы: скрутим в бараний рог еще несколько единоличных деревень. Со всякими гадами нянчиться не станем. Теперь им каюк.

— Давно пора,— сказал Петричко.— Надо крепко натянуть вожжи. Только тогда революция победит.

— Верно,— кивнул Сойка.— А как у вас дела?

У Петричко задергались уголки рта.

— Нам ведь никто не помогал, кроме господа бога. Живем помаленьку.

— Держитесь, дружище,— помолчав, сказал Сойка мрачно.— А я вот жду не дождусь того времени, когда приду в деревню, спрошу у председателя, что ему нужно, а он мне скажет: да ничего не нужно, заходи, выпьем по стаканчику... Вот так, товарищ дорогой...

Мимо них прошла женщина с корзинкой, в которой лежал чуть прикрытый платком хлеб. Она торопливо шагала по направлению к деревне, и встреча с ними ее явно не обрадовала.

— Кто это?

— Марча Резешова.

Петричко не глядел ни на нее, ни на Сойку — он уставился в небо. Солнце рассеивало облака: с полей поднимался легкий пар, леса над Трнавкой были окутаны густой дымкой; сырой день клонился к вечеру.

— Хороша, ничего не скажешь,— глядя ей вслед, сказал Сойка.— А мужик ее тоже хорош... — Он безнадежно махнул рукой.— Не понимаю, что этим людям нужно.— Сойка оживился.— Знаешь, я прочитал зимой одну книжку, «Гроздья гнева» называется. Какой-то американец написал. Очень он хорошо рассказывает, что там у них делали с крестьянами, когда капиталистам и банкам захотелось, чтобы земля давала побольше дохода. Представляешь, каждый из ихних фермеров был по уши в долгах. Они этим воспользовались, нагнали туда бульдозеров и подчистую сровняли с землей. Как военная операция. Сотни тысяч людей просто вымели с поля. Образовалась солидная армия безработных, и на фабриках начали снижать зарплату. Вот бы всем нашим прочитать эту книжечку. А то им теперь из Америки, набивают голову всякой чушью. Хотя у самих...— он махнул рукой.— Малоземельные крестьяне на всем свете отжили свой век. Слишком большая роскошь искусственно сохранять их хозяйства, когда требуется повысить производство сельскохозяйственных продуктов. Им бы прыгать от радости, что ликвидация мелких хозяйств у нас происходит при социализме. Я никак не могу их понять... Ведь им помочь хотят! Через пару лет тут будут молочные реки и кисельные берега.

— Послушай,— начал Петричко задумчиво. Его огромные руки, как бы играя, вертели черенок лопаты, щебень скрипел под грязными башмаками.— Я все хотел спросить тебя, что теперь делает Гойдич?

— Строит химкомбинат. Отправили его на производство. Пусть узнает, чем живет рабочий класс.— Сойка вздохнул и снова стал глядеть вслед удаляющейся женской фигуре.— Гойдич был слишком мягким. Политика — дело настоящих мужчин. Шагай в ногу или отстанешь. Вот так. Пусть только попробует кто-нибудь пойти против партии.— Он щелкнул пальцами.— Да, надо уметь подчиняться. Если тебя, Петричко, загонит в угол господь бог, ничего с тобой не случится. Но если тебя зажмет в углу партия, так и господь бог тебе не поможет. Вот видишь, как получилось с Гойдичем...

## *VIII. Дороги*

**1**

Вот и наступил этот час. Значит, так затягивается петля мести? — подумал Резеш, держа лист бумаги, исписанный аккуратным почерком.

— Бегите играть, ребята! Тибор, полей огурцы! — донесся из сеней голос Марчи.

Верно, детей надо удалить из дому.

У Резеша разбушевалась кровь, но он сдерживал себя и осторожно задавал вопросы:

— Так ты думаешь, что все новые подпишут?

— И некоторым старым членам кооператива, из тех, кто начинал это дело, тоже все осточертело. Но к ним мы сейчас не пойдем. Они никуда не денутся,— ответил Дьюри.

— Так ты хочешь сказать, что...— Резеш спохватился и не договорил.

Но один вопрос не выходил у него из головы. Кто же это мог быть из старых? Уж не Гудак ли? Или Канадец? Резеш сам слышал, как Канадец и его жена чистили порядки в Трнавке. Нет, все-таки не он, не может быть, чтобы этот старый черт... Кто же тогда? А не сболтнул ли Хаба просто так? Что-то темнит он. Может, хочет оплести меня своими речами, как паук муху? Ведь это же Хаба! Уж его-то мы знаем. Надо быть поосторожнее с ним.

— А как в Горовцах? — спросил он.— Что нового в Горовцах?

Дьюри сидел на краешке стула, гордо выпрямившись. Лицо его побагровело, и белки глаз стали красными, будто он недоспал. Эмиль с хмурым видом стоял в стороне и помалкивал.

— Вот была бы новость, если бы они дали деру! — ухмыльнулся Дьюри.— Товарищи надоели уже и рабочим. Подумайте только, в Пльзене — а там ведь много заводов — даже устроили демонстрацию с американскими флагами. В некоторых городах против рабочих послали милицию. Против своих-то! Эта денежная реформа их доконала.

— Нас тоже,— сказала Марча.

Нас тоже, думал Резеш, и все в нем кипело. Зимой мы возили дрова, а другие грелись дома у печки. Шутка ли, за пятьдесят крон — одну крону! Кто им позволил так грабить человека? Была у меня пара тысчонок, вырученных за жеребенка. За пятьдесят — одну! Теперь за эти деньги не купишь и коровьего хвоста. А Петричко во время обмена стоял и потирал руки. Стоял и ухмылялся: «Разве монетный двор сгорел? Напечатают новые денежки». Я знаю, этот фельдфебель думал: «Все, что они накопили,— все пропало. Теперь придется им хочешь не хочешь работать в кооперативе. Ничего другого не остается. Даже травы им не дадим. Теперь-то мы их наконец загоним в кооператив...» Но только ты ошибаешься, братец, здорово ошибаешься.

Резеш сжимал лист бумаги в руках. Бумага приятно согревала его пальцы и в то же время обжигала их. Ему все-таки хотелось задать один вопрос. Важный вопрос.

— А зачем это письмо? Какая от него польза? — Он глядел на Дьюри.

— Как зачем! Я же говорю, даже против своих, против рабочих, они вынуждены были послать милицию, когда те вышли с протестом на улицы. И так повсюду. Ты слышал — в Берлин русские послали свои танки, чтобы подавить всеобщую забастовку? И в Венгрии и Польше у них ничего не получилось с кооперативами, все полетело вверх тормашками.— Дьюри загибал пальцы на обеих руках.— Тут уж и границы не имеют значения. Это и доказывает, что у коммунистов вообще дела плохи. Они и сами не знают, что делать. Готвальда и Сталина нет. Как раз сейчас самое время подать голос и нам. В деревнях по соседству пишут сейчас такие письма. Это уже не горох об стену, это увесистый камень, и он оставит след.— Дьюри взял с тарелки сливу и надкусил ее. Она была мягкой и сочной, сок брызнул и потек у него по подбородку.

Вот так же созрело и наше дело, подумал Резеш, стоит только надкусить — и брызнет сок.

— Ну хорошо,— сказал он.— Все это прекрасно. А как же Корея?.. Если подпишут перемирие, что же будет? — Нет, Резеш не хотел войны, он не желал ее и тем людям, что умирали за тысячи километров отсюда. Но все теперь так странно переплелось. В Корее американцы не победили. Сил у них, видно, не хватило. И если будет подписано перемирие, разве это не развяжет снова коммунистам руки? Не укрепит их позиции и здесь?

— Ты что думаешь, американцы отступят? Теперь, когда коммунисты у нас сели в лужу, они будут ждать сложа руки, чтобы коммунисты опомнились и пришли в себя? Не такие они дураки,— возразил Дьюри.

— Это уж точно,— вмешался в разговор Эмиль и ухмыльнулся.— Но, если говорить правду, я не очень-то верю во всякие такие письма. Нет ли другого способа?

— Будет и другой. Только сперва надо приготовить трут, потом уж зажигать, чтоб все сразу вспыхнуло, как сухой лес,— сказал Дьюри.

— А вдруг они не получат это письмо,— заметил Резеш.— Оно может и не попасть туда, куда надо. Говорят, такие письма задерживают.

— Значит, надо передать это письмо из рук в руки,— сказал Дьюри.— Пошлем делегацию.

Ах вот оно как! У Резеша перехватило дыхание.

— Ну а кто бы в нее вошел, в эту делегацию?

— Мы думали, что поехать должны Эмиль, Бошняк и ты.

Здорово! — подумал Резеш. Один — брат председателя кооператива, другой—тесть учителя Плавчана. Старый Хаба, ясное дело, не едет. Да и Дьюри... Не плохо придумано! Но почему я? Почему именно я?

— Тебе надо ехать,— настаивал Дьюри.— Ты хороший хозяин и всегда выполнял их поставки, все, что они от тебя требовали. Тебе они ничего не смогут сделать. Ты вот выполнял, а тебя прижали. Это тоже что-нибудь да значит. Теперь к этому прислушиваются. Вы все трое — настоящие крестьяне. Не какие-нибудь голодранцы, у которых никогда ничего не было и им поэтому ничто не дорого. Ты должен поехать, Мишо, это нужно для пользы нашего дела.

Должен, злился Резеш. Почему это я должен? Никогда я ничего не был должен, пока не началась возня с этими кооперативами и меня туда не загнали. Должен, должен, ворчал он про себя.

— А ты бы поехал, Эмиль? — спросил он.

— Почему же нет, если нужно. Ведь мы знаем, чего хотим.

Марча, которая до тех пор стояла у двери и следила за тем, чтобы никто не вошел, подойдя к столу, спросила дрожащим голосом:

— А это не опасно? Не случится ли чего? До сих пор лучше было помалкивать.— Она перекрестилась.

— Теперь уж мы их проучим,— пробурчал Эмиль.— С нашей помощью они скоро сломают себе хребет.

— Никто не будет знать, что вы поедете. А потом, когда вы вернетесь, все изменится,— сказал Дьюри. Он взял с тарелки вторую сливу, вытер ее ладонью и надкусил.

Резеш снова мысленно сравнил их план со сливой. А действительно ли он так же созрел, как эта слива. И стоит лишь надкусить... Говорят, что это так. И ведь не только говорят. Он и сам видит. И в своей деревне, и по соседству. Во всем крае. Никто по-настоящему хозяйством не занимается, скот гибнет. А этот пожар в Чичаве. И будто бы горело не только там. Столько разных слухов ходит! И скот вроде уже начали разбирать по домам. Господи боже мой, все у них ускользает из рук, где уж тут власть удержать? Еще Гойдича выгнали... А что сказал в своей проповеди священник? Святой боже, раньше никто не позволил бы себе ничего подобного. Да, план действительно созрел, как эта слива. Даже Марча больше не говорит: «Они могут все». Правда, еще побаивается их. Но не сказала ведь: «Нет, Мишо, не езди...» А Бошняк? Бошняк бы тоже не поехал, если бы пан учитель Плавчан сказал «нет». Он-то, уж конечно, разбирается, что к чему. Да теперь каждый понимает, что происходит. Разброд и хаос. И как может быть

иначе, если повсюду заправляют такие свиньи, как Рыжий. Как этот Йозеф Кучеравец — «уголь, кокс, брикеты».

Так что же, ехать мне? Или не ехать? К черту! Чего бояться, когда, похоже, все уже решено. Нужно ехать. И не потому, что этого хочет Хаба, совсем нет. А потому, что слива созрела и ждали мы достаточно. Я должен ехать, если хочу жить. Ведь просто нечем стало дышать. И не только у нас. Сначала надо подписать, а затем и ехать. К самому высокому начальству. Ну что ж. Надкусим эту сливу.

В правой руке он держал ручку, в левой — лист бумаги. Снова у него перехватило дыхание и мурашки поползли по спине. Хотя конец письма был ему хорошо известен, он читал его уже в третий раз:

«Потрясенные событиями, сопровождавшими организацию кооператива в Трнавке, мы обращаемся к Вам, президент республики, и просим:

1. Чтобы вы лично посетили нашу деревню и убедились в совершенных тут беззакониях. Мы не можем удовлетвориться тем, что наше дело будет передано областному или районному комитету.

2. Настоятельно просим, чтобы немедленно были аннулированы все виды штрафов, наложенных районной штрафной комиссией в Горовцах или местным национальным комитетом в Трнавке для того, чтобы заставить нас вступить в кооператив.

3. Мы просим, чтобы в Трнавку была послана комиссия из министерства земледелия, которая определит урон, причиненный нашим полям насильственным созданием кооператива.

4. Мы просим, чтобы наш кооператив был немедленно распущен. Мы хотим вести хозяйство на наших полях так, как раньше.

Мы просим расследовать наше дело по закону и исправить все несправедливости, совершенные по отношению к нам, нашим женам и детям. Если вы не удовлетворите нашу просьбу, это значит, что мы и дальше будем во власти произвола местных партийных работников, сотрудников Национальной безопасности и районного комитета. Это значит, что у нас царит лишь право сильнейшего и мы не можем рассчитывать на мирное решение нашего дела, хотя мы миролюбивы и преданы нашему государству. К вам обращается трудовой народ, за интересы которого Вы, президент республики, сражались долгие годы, и мы уверены, что Вы заступитесь за него и теперь.

Честь труду!

Трнавка, Горовецкий район. 26 июля 1953 г.».

— Так вы хотите ехать? — удивленно спросил тестя Плавчан.

Он только что пыльный и потный возвратился с поля, где во время каникул каждый день работал по два-три часа, собрался было идти умываться, но тут в комнате появился тесть и безо всяких околичностей сообщил ему, что едет с Эмилем Матухом и Михалом Резешем в Прагу к президенту.

— Так вы хотите ехать? — повторил Плавчан свой вопрос.

Бошняк кивнул.

— А вдруг это будет ошибкой? Я думаю, это было бы ошибкой,— неуверенно возразил Плавчан.

— Ошибкой было бы не ехать,— твердо сказал Бошняк.

Он сидел, опустив на колени руки,— казалось, он держит в руках вожжи. А свою запыленную шляпу он положил на белую постель с высокой горкой подушек.

Плавчан понурил голову. У него было такое чувство, словно он долго-долго стоял под дождем, промок до нитки, а на него все падают серые холодные дождевые капли, он почти растворился в них.

Казалось, что с каждым днем зять и тесть все больше отдалялись друг от друга. Но так или иначе до сих пор они держались вместе. Ничто не могло их рассорить, хотя Петричко и остальные члены комитета требовали от Плавчана, чтобы он или перетянул тестя на свою сторону, или порвал с ним родственные отношения. Однако семейные связи между ними не нарушались, а если ситуация того требовала, они встречались не часто. Иногда Бошняк шел открыто через площадь к зятю, иногда крался тропинкой вдоль заборов. Но не было случая, чтобы он отказался вспахать для зятя школьный участок. Когда прошлой весной члены кооператива несли из дому картошку, чтобы подкормить свиней, Плавчан принес из своего погреба картошку, которую ссыпал туда Бошняк. А потом Плавчану пришлось выписывать на тестя тот штраф за невыполнение поставок, который и вынудил его вступить в кооператив. У Плавчана при этом дрожали руки, и он мысленно просил у тестя прощения. Бошняк об этом знал. Собственно, знала об этом вся деревня; и, наверное, потому что семейные и дружеские связи между тестем и зятем оказались сильнее любых других обстоятельств, учитель Плавчан не вызывал неприязни у жителей Трнавки. И хотя он ходил по домам и агитировал за вступление в кооператив, а теперь снова призывал выйти на кооперативное поле, хотя он прибивал им на заборы плакаты, которые сам писал, они не сердились на него. И он это тоже знал.

В комнате наступила тишина. Только мухи жужжали, да рядом в кухне шипела на сковороде подливка. Но звон посуды уже утих.

Клара прислушивается, подумал Плавчан. Он сидел за рабочим столом, где обычно проверял тетради и заполнял всякие официальные бланки. Облачка дыма медленно поднимались вдоль стены, на которой висел детский рисунок: украшенные орнаментом, написанные красивыми яркими буквами слова «Книга — лучший друг».

Книга. Гм. Но какая же книга — лучший друг? Вот бы мне такую книгу, в которой всегда найдешь совет, что и как надо сделать, чтобы никогда не ошибаться.

— Я хотел у вас спросить, отец,— осторожно начал Плавчан.— Чего вы хотите добиться, отец? Сейчас такое положение... Поймите же. Я всерьез опасаюсь, что...

— Мы не можем упустить такой момент,— сказал тесть.

— Какой же это момент? — Плавчан в растерянности вытянул губы. В сорок восьмом, после февраля, политическая жизнь сразу так упростилась, и ему показалось, что теперь он все понимает. Он думал, что пришел конец всем стычкам и страна быстро встанет на ноги. А какое прекрасное будущее их ждало, если бы все взялись дружно за дело, думал он. Поэтому он охотно вступил в партию. Но время шло, и вода мутнела все больше и больше. А теперь он и сам не знал, что делать с теми гадюками, которые отовсюду повылезали.

— Неужто ты сам не видишь? — спросил Бошняк.— Нам надо действовать. Ноги, руки у нас еще не отняли, и нельзя упускать время. Если мы его оседлаем, оно нам будет служить.

Бошняк говорил тихо, но решительно.

— Я не считаю, что сейчас именно такой момент,— сказал со вздохом Плавчан, пытаясь скрыть свою растерянность. Он всегда старался сглаживать всякие противоречия, все еще верил в свою былую мечту.

— По-твоему, мы и дальше должны сидеть и помалкивать, хотя по горло в дерьме? С этим давно пора кончать.

— А не сгущаете ли вы краски? Ведь издавна известно, нет света без тени.

— Болтовня, опять одна болтовня,— махнув рукой, бросил тесть.

Рядом, сложив на груди руки, стояла Клара. Ее взгляд ясно говорил, на чьей она стороне.

Она как всегда согласна с отцом, подумал с раздражением Плавчан.

— Разве мы задумали что-то противозаконное? — с усмешкой спросил тесть.— Почему мне нельзя высказать вслух то, что я думаю и как хочу дальше жить? Что со мной могут сделать? Хуже не будет. Посадят в тюрьму? Стало быть, я уже не имею права сказать, что думаю? Выходит, нам только и остается, что подчиняться таким фельдфебелям, как Петричко?! Это уж было бы полной капитуляцией.

— Конечно, поезжайте, папа,— сказала Клара.

Она терпеть не может Петричко. И я понимаю почему, подумал Плавчан. Ее злит, что Петричко только крикнет мне с улицы или постучит в окно — и я уже бегу к нему. Люди в деревне недавно рассказывали, что Петричко на дороге пытался остановить автобус, шофер проехал и не взял его — дорожного мастера! И она так радовалась, потому что чуть подальше тот же шофер сам остановился, увидев Клару, и сказал: «Не хотите ли вы подъехать, пани учительша?» Но о чем, собственно, я? Значит, тесть хочет все-таки ехать.

— Вы очень рискуете, отец.

— Ты бы хоть объяснил почему,— сказала Клара.— Ты же учитель, учишь детей одному, а они лепечут совсем другое. То, что слышат дома.

Плавчан зло поглядел на жену, нервно почесал грудь.

— Ох, если бы человек всегда знал, что надо делать,— он начал невольно размышлять вслух.— Будь оно все проклято!

— Да, твой хлеб горек,— ухмыльнулся тесть.— Ты ведь на государственной службе. Но теперь речь идет о моем хлебе. Мне в конце концов ничего от тебя не надо.

Клара насторожилась. В ее глазах мелькнуло беспокойство, испуг.

— Я только пришел сказать тебе, что еду. Каждый остается при своем мнении. Если потребуется, мы можем на какое-то время раззнакомиться.

Бошняк резко поднялся.

— Но я все же скажу тебе: дальше так жить не имеет смысла, это ясно каждому,— снова заговорил он.— Ты и сам видишь, но не хочешь признаться. Действовать — вот что теперь нужно. Я бы сгорел от стыда, если бы стал отсиживаться в кустах. Для меня так же необходимо действовать, как для тебя — ничего не замечать.— В голосе Бошняка звучала злость.— Ты-то выйдешь сухим из воды,— продолжал он с горечью.— Ты всегда выкрутишься. Ну и, разумеется, я к тебе не приходил и ничего тебе не говорил. Ты ничего не знаешь.

Петричко прижимал к уху телефонную трубку. Рядом с ним, возле стола, заваленного бумагами, стояли Иван и Демко.

Голос Сойки на другом конце провода звучал так громко, что в канцелярии национального комитета было слышно каждое слово.

— Что такое? Какая делегация? — кричал он.— И ты мне сообщаешь об этом только теперь? Да ведь мы могли снять их с поезда.

— Никто же не знал...— начал было Петричко.

— Вы не знали, что делается в деревне, у вас под носом?.. Черт бы вас побрал,— вопил Сойка.— Кто поехал?

Сойка умолк, когда Петричко назвал имена.

И в самом деле, пока делегация не уехала, пока эти трое не исчезли из Трнавки, думал Иван, никто ничего не подозревал.

— Что за чертовщина! — снова закричал Сойка.— Конечно же теперь придет запрос в связи с их жалобой. И вообще какой позор! Делегация из Трнавки!

— Они хотят ликвидировать кооператив,— пояснил Петричко.

— А больше они ничего не хотят? — Сойка смачно выругался и бросил трубку.

Петричко осторожно положил трубку. Прошло несколько томительных минут.

— Наши делегаты переборщили и, бьюсь об заклад, сломают себе на этом шею,— сказал он и, покачав головой, снова замолчал.

— Интересно, кто заварил всю эту кашу? Распустить кооператив! И отправляются к нашему президенту. Им надо такого жару задать, чтобы они разом очухались.

— Похоже, они давно собирались и хорошо подготовились,— сказал Демко.— Вчера после обеда один за другим исчезли из деревни, а вечером уехали из Горовцов. Никто ничего не знал, даже Плавчан. Утром он прибежал, перепуганный, запыхавшийся.

— Еще бы,— прервал его Петричко,— ему есть чего пугаться.

— Что ж мы теперь будем делать? — спросил Иван.— Все это довольно неприятно, хотя, видимо, случай в Стакчине кое-кого образумил. Скот, который крестьяне самовольно разобрали, сотрудники КНБ привели обратно. Но на этом дело может не кончиться. А делегация вызовет у них еще больший аппетит.

Демко, который все время сидел уставившись в одну точку, вдруг медленно произнес:

— Коров нам надо оставить на пастбище — пусть стадо там и ночует. Пока скот весь вместе — кооператив существует.

— Что ж, дело стоящее,— сказал Иван.— Это мы можем организовать. Конечно, сохранить стадо очень важно.

## 2

На небе в тот день не было ни единого облачка, солнце жгло вовсю, и стадо само спешило к колодцу. Павел выливал воду из бадьи в рассохшееся корыто. Вода просачивалась на землю, и коровы хлебали прямо из лужи. За три дня вокруг колодца образовалось целое болото и налетели тучи слепней.

Павел намочил в корыте рубаху, натянул ее на себя через голову и с удовольствием ощутил на теле влажную прохладу.

Раскаленное солнцем пастбище, где скот лениво пощипывал низкую, высохшую в знойном мареве траву, колыхалось. Через все пастбище, как брошенная на землю растрепанная веревка, петляла разрыхленная колесами белесая дорога.

В нескольких десятках метров от колодца стояла покосившаяся будка и за ней загон с навесом. Навес порядком подгнил, с обломанных досок клочьями свисала почерневшая солома. Каждое утро и каждый вечер сюда приходили женщины — старые члены кооператива — доить коров; утром после дойки подъезжал к самому навесу грузовик из молочной. Иван договорился, чтобы машина, направляясь из Каменной порубы в Жабяны, останавливалась тут. Было сухо, и грузовик, проезжая по дороге через пастбище, оставлял за собой клубы пыли. В течение целого дня на пастбище никто не появлялся. Только из деревни, когда разнеслась весть, что коровы не вернутся в хлева, то и дело кто-нибудь приходил узнать, что случилось со скотом. На тропинках, протоптанных в траве, из-за кустов появлялись вдруг молчаливые фигуры и наблюдали за стадом. Павлу казалось, что хоть они с Демко и стерегут скот, но и за ними постоянно следят, опасаются,

не приключилось бы чего с коровами. Так как ничего особенного не происходило, наведываться из деревни стали реже.

Когда Павел, все еще ощущая приятную прохладу мокрой рубашки, оглянулся, то увидел на пастбище цыгана Йожко. Цыган объявился тут в первый раз вчера вечером — его приманил огонек костра, у которого сидели Павел с Демко. Теперь Йожко вынырнул из зарослей шиповника, неся что-то в узле.

— Что там у тебя? — спросил Павел, когда Йожко подошел к ним.

— Кукурузные початки,— ответил цыган, улыбаясь.— Знаешь какие они вкусные, если их испечь?..

— Покажи,— сказал Павел.

Молодые кукурузные початки в желто-зеленой рубашке из листьев были мягкими и сочными: на концах их выбивались густые кисточки из нежных бледных волосков.

— Так это ты у нас кукурузу таскаешь? — спросил Павел.

— Я же о вас заботился,— ответил Йожко.

— Знаю, знаю,— весело сказал Павел. Ему хотелось подшутить над цыганом, но, вдруг что-то вспомнив, он спросил уже без улыбки:— А как с картошкой? Она растет тут поблизости? Похоже, что за нижним колодцем или у скрещения дорог сажали жабянцы?

Йожку сперва смутил вопрос Павла. Да и вообще, разговаривая с деревенскими, Йожка всегда был начеку. Он искоса недоверчиво поглядел на Павла и вдруг сообразил, что сейчас та самая исключительная ситуация, когда можно говорить правду.

— Да ты что, Павел! Ближайшее картофельное поле — за Дубиной, потом идет овес и опять картошка. Там Ковач из Жабян посадил ее на целую неделю раньше.

— В самом деле?! — удивился Павел.— А из тебя, Йожко, определенно вышел бы отличный председатель кооператива. Бьюсь об заклад, что Иван наш таких сведений не имеет.

Цыган с явным удовольствием выслушал похвалу и, прищурив глаза, в которых вдруг блеснула усмешка, заявил:

— Если понадобится, мы можем вам кое в чем помочь. Могли бы посторожить вашу кукурузу.

Как ни вглядывался Павел в лицо Йожки, ничего, кроме святой простоты, так и не прочитал на нем.

— От кого же ты хочешь ее охранять?

— Да хотя бы от Эмиля Матуха. Вот ехал он недавно на своей телеге из Жабян и нарезал себе вашей кукурузы, а сказал, что, мол, везет ее от дядюшки. Наверно, хотел запасти себе кормов, прежде чем ехать в Прагу,— глядя в глаза Павлу, говорил Йожко.

— Ты что же, не любишь Эмиля?

— Нет, просто я не хочу, чтобы потом все свалили на нас,— спокойно ответил цыган.— Ты как считаешь, вернется эта делегация? Если бы его там сунули в каталажку, вреда бы не было. А если бы его переехала машина с мусором, или сошел с рельсов поезд, на котором он едет, или кто-нибудь забыл нож у него между ребер, а потом мертвого зашил бы в брюхо дохлого коня, так тоже беды не было бы.

— Ты столько хорошего пожелал ему... За что ж ты на него так обозлился? — спросил Павел.

— За многое. Когда нас товарищ из района послал забирать у Хабы коров, он со злости наступил сапожищем моей двоюродной сестренке на ногу, да так, что палец ей сломал... Ну, сторожить вам кукурузу?

— Из-за того, что на Эмиля разозлился?

Цыган кивнул и, усмехнувшись, добавил:

— Конечно, в награду мы и для себя малость наломаем.

— Послушай, Йожко, да ты прирожденный дипломат. Предлагаешь делать то, что давно уже и так делаешь,— весело сказал Павел.

— Сигареты у тебя нет? — широко улыбнувшись, спросил Йожко.

Павел достал сигарету, тот закурил, взял свой узелок и поплелся под навес.

Держа кнут в руке, Павел поглядывал, что делается на лугу. Демко шел за стадом, набивая на ходу трубку. Что у этого старика на уме? Затащил меня сюда, его ведь была идея, а из самого и слова не выжмешь. Ошалеть тут в поле можно. Хорошо еще, что Йожко появился.

Куда же мы их теперь погоним, старикан? Может, к Турецкой могиле? — думал, наблюдая за Демко, Павел.

— Эге-ге! — звучно крикнул он, приставив ко рту ладони, и показал Демко на низкий холмик, поросший кустарником. Там еще оставалось немного сочной травы, и стадо не разбегалось. Демко в знак согласия тоже поднял палку. Они погнали стадо к холмику.

Демко — маленький, коренастый, с редкой седоватой бороденкой, в надвинутой на лоб старой шляпе, шагал сзади. Его мучило жаркое солнце. С самого утра оно жгло ему шею и плечи; глаза его слезились, и он то и дело утирал ладонью слезы.

Кругом расстилалось спокойное и теплое пастбище. Но нагретая трава, запах засыхающего клевера будили в памяти Демко другие образы. Неужели уже минуло пятьдесят лет?

Он лежал тогда в траве, рубашка на локтях и штаны на коленях были у него разодраны, в стороне у кучи камней грелись желто-зеленые ящерицы. Было ему шесть лет, а он уже пас коров. По дороге ехал воз, и кто-то крикнул: «Андрей, отца забодал бык!» Он бросился к возу. Отца везли к доктору: солома, на которой лежал отец, была красной, а лицо его желтым, как солома... Такую же кроваво-красную солому он видел потом еще раз. Господи, как же называлась эта деревня? Там после боя подбирали раненых и уносили в амбар. Больше их некуда было класть.

А в Корее вчера прекратили огонь, вдруг почему-то пришло ему в голову. Это удар для тамошних бандитов. И для наших бандитов в Трнавке — тоже удар под ребро. Войны не будет, и это поможет нам. Все в мире теперь связано в тугой клубок. Я вот знаю, что мне хочется. Сплю и вижу: в свинарнике у нас вырастают горы мяса, снятся мне еще и горы картошки, горы отрубей. Чтобы ела их скотинка вдоволь. А пока наши загоны не полны. Эти негодяи в деревне еще много свиней у себя оставили. Но ничего, придет время, и у нас свинки будут так хрюкать, что оглохнуть недолго! От этих поросят я скоро свихнусь. Я уже с ними, стервецами, разговариваю, как с людьми. Ну что вопишь? — говорю. Что с тобой?

Уж лучше бы мне ходить сейчас за своими поросятами. Я все-таки привык к их вони и хрюканью. Двенадцать свиноматок, один боров и сто тридцать шесть поросят. Это уже не шутка! А говорили тогда, что все, развалился наш гроб. И теперь головорезы хотят пырнуть нас ножом в спину. Но ничего у них не выйдет, у этих подлюг.

Он уже представлял себе, как наливает в корыто свежую воду, молодая свинка в углу хрюкает, тыкается пятачком в перегородку. Ну что тебе надо? Уже боров понадобился? Ну и ну! Ничего, подождешь. Всему свое время. Еще пару килограммов набери, стервуля. Я тебе жратвы подкину, на... Нет, больше дать не могу. Ну вот видишь — если бы справедливость на свете существовала, у каждого был бы кусочек жаркого солнышка под рубашкой. Но раз уж этого

нет, мы с Павлом должны теперь пасти коров, а Копчикова с Беткой вместо меня будут ходить за свинками.

Копчикова — хорошая баба. Накормит, даст вам все, что и я. Копуша, правда. Это есть. Но зато может хоть целую ночь в свинарнике провести, если ты попроситься надумаешь. И в чистоте ты у нее будешь, для такого случая охапку свежей соломы она всегда найдет. Копчикова вам все устроит не хуже меня. Ну вот мы и пришли, сказал он себе. Тут уж я немножко отдохну. Он пристроился в тени кустов и огляделся. Коровы начали пощипывать траву.

Демко был доволен. Услышав крик вылетевших из-за холма соек, он усмехнулся. Опять кто-то пришел посмотреть, как тут со стадом, подумал он. Надвинул шляпу на лоб, и веки его сомкнулись. Он задремал.

Павел, укрывшийся от солнца в тени кустов на противоположной стороне холма, тоже слышал крик всполошившихся соек. Черт возми! Кто же это снова притащился? С суковатой палкой в руке он осторожно вошел в заросли боярышника и терна. Сойки здесь взлетали уже чуть ли не из-под самых ног, их крик оглушил его. Он сделал еще несколько шагов и остолбенел. Анна!.. Что ей тут надо?

Вернувшись после военной службы в деревню, он встречал ее довольно часто, но уже не придавал этому особого значения. С того дня, как он встретился с нею на престольном празднике, изменилось многое. Она ушла к другому. Ну и ладно. Черт с ней! Анна поначалу удивилась, узнав, что он вернулся в Трнавку. Может, даже подумала, что ему хочется быть поближе к ней. А может, решила, что он собирается вредить Хабе. Сначала она была даже довольна, что Павел почти не обращает на нее внимания. Позже, когда он равнодушно проходил мимо нее, она делала вид, будто не понимает, как это возможно. Весной Павел встретил Анну вскоре после того, как чуть не подрался с Дьюри на кооперативном дворе. В ее глазах он прочел тогда немой вопрос. А теперь она стояла перед ним в зарослях боярышника посреди пастбища. Одна, в легкой блузке, с косынкой в руке и глядела ему прямо в глаза.

— Что ты тут делаешь? — спросил он охрипшим вдруг голосом.— Пришла посмотреть на ваших коров? Вот они. Все восемь и еще те две, которых вы будто бы отдали своим родителям. Смотри, их никто не съел.

— Перестань, Павел! — Она продолжала в упор глядеть на него.

Тот же чистый лоб, те же губы, те же большие серые глаза. Нет, глаза стали другими. Когда он встретил ее на престольном празднике, он заметил в них испуг, а также преданность, покорность. Это был скорее девичий, чем женский взгляд. Теперь в глазах ее появился другой блеск, они стали глубже, пытливее.

— Ты палку для меня приготовил? — усмехнувшись, спросила Анна.— Брось. Видишь, я первая пришла к тебе.— Она села на траву под кустом боярышника.

— А ты не боишься, что тебя здесь увидят? — пробормотал он.

— А чего бояться? Я пришла посмотреть на стадо, как все остальные. Почему ты не садишься?

Невероятно... Анна пришла к нему! Уж не сон ли это?

— Когда они должны вернуться? — спросил он.

— Кто? — не поняла Анна.— А-а! Не знаю. Со мной о таких вещах не говорят... Дьюри теперь редко бывает дома. И сейчас его нет. Они с отцом еще утром запрягли лошадей и куда-то уехали. Вернутся только к вечеру.

Уж не хочет ли она сказать: не бойся, мол, нас тут не увидят?

— Куда же это он ездит? Может, завел себе другую? — насмешливо спросил он, садясь рядом с Анной.

— Кто вас, мужиков, знает,— вздохнула Анна.— Теперь вся жизнь кувырком пошла.

Да, кувырком, подумал он. Тут ты права. Ты вот сидишь здесь со мной. Ты сама ко мне в эти кусты пробралась. Да, видно, жизнь и впрямь кувырком пошла...

Он внимательно разглядывал Анну. Еще в тот свой приезд он заметил, что она пополнела в груди и бедрах. Теперь он видел ее совсем близко. И хотя они сидели в тени, солнце жгло, как раскаленная печь.

Это от солнца так жарко? Да, а от чего же еще? — сердито спрашивал он себя. Ведь к ней я уже ничего не чувствую. За год все чувства перегорели, улетучились. Лучше бы уж Зузка была тут со мной. Когда Павел вспоминал о ней, у него напрягалось все тело. Кипяток, взрывчатка...Иногда ночью, если не приходил сон, она вдруг возникала перед ним и его сердце так колотилось, что, казалось, вот-вот выскочит из груди.

— Давно я не сидела так... — сказала Анна тихо.— В последний раз, наверное, тогда... Смотри, как здесь красиво.

Внизу, между ветками, проглядывало ярко освещенное ровное пастбище с редкими островками кустарников. Тишину, прерываемую лишь легким гудением пчел и непрестанным стрекотом кузнечиков и сверчков, время от времени нарушало еще и позвякивание колокольчиков на шеях коров. Благоухали травы, наполняя воздух пряными запахами увядающего тимьяна, полевой ромашки, полыни.

— По вечерам здесь лягушки квакают, закатывают такие концерты — ого-го! Внизу, в болоте, их видимо-невидимо,— сказал Павел только для того, чтобы не молчать.

Анна упорно глядела на него. Ее лицо было совсем близко. Потом она опустила глаза, сорвала несколько травинок и сжала их в ладони.

— Как хорошо! — повторила она еще тише, и в голосе ее прозвучали нотки, поразившие его.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего. Не спрашивай меня ни о чем, Павел. Я хочу насладиться покоем, хоть минуту пожить для себя. Побыть с тобой.

Пальцы Анны, сжимавшие травинки, вдруг разжались, и она потянулась к нему. С закрытыми глазами Анна искала его руку. Ее загрубевшие от работы пальцы осторожно скользнули по ладони Павла, и вдруг она схватила его руку и поднесла к губам. Лицо ее пылало.

Это все та же Анна, подумал он в смятении.

Она медленно провела его ладонью по своему лицу и прижала ее к груди. Он почувствовал шелковистую упругость ее кожи, округлость налитой груди и как будто издалека сквозь жаркий туман услышал ее голос:

— Ну, что с тобой? Ведь я пришла к тебе, сама пришла...

Павел обнял ее. Она откинула голову и только теперь широко раскрыла глаза. Он увидел их бездонную сияющую глубину.

И тут Анна обвила руками его шею, притянула его к себе, и ее губы раскрылись в поцелуе. Прикосновение ее крепких грудей, прильнувшего к нему тела, казалось, прорвало в нем невидимую плотину, и Павел утратил способность думать и управлять собой.

Позже, когда одурманивающий жар схлынул, Павел почувствовал во всем теле невероятную усталость. Он лежал на боку, отвернувшись от Анны, и тяжело дышал. Она прижалась к его спине, но ее прикосновение больше не радовало его, даже было неприятным.

— Я все еще люблю тебя,— сказала Анна.— Ведь ты был у меня первым, Павел. Ты даже не представляешь, как часто я о тебе думаю.

Первым... Это слово его задело. Оно напомнило ему о втором — Дьюри.

— Послушай, тогда почему же ты?..

— Не спрашивай меня ни о чем,— закрыв Павлу рот рукой, сказала Анна и поцеловала его.— Ведь я снова твоя!

Павел горько усмехнулся. Господи, как же это все произошло? Он ведь такое даже и предположить не мог... По правде говоря, он не хотел, чтобы это было... Уже не хотел. А может быть, все-таки хотел?.. Иначе почему же?.. Может быть, ему это было нужно ради удовлетворения оскорбленного самолюбия? Черт возьми, теперь, Дьюри, у тебя есть причина для драки, подумал он со злой усмешкой.

— Почему ты молчишь? — спросила Анна и сжала ему руку.— А ты сильный,— прошептала она, жадно прижимаясь к нему.

Павел посмотрел на нее — волосы у нее растрепались, на лбу блестели капельки пота, глаза смеялись. Большие серые глаза... Он молчал.

— Ну, как хочешь,— вздохнув, сказала она.— Пусть хотя бы так...

Анна положила голову ему на руку, и он осторожно провел пальцами по ее лбу и медленно, устало взъерошил ей волосы. Они лежали, вслушиваясь в тишину. От нее звенело в ушах. Вдруг совсем рядом раздались резкие крики соек. Павел приподнялся и сел.

— Лежи! — сказал он и сжал ей плечо.

В глазах Анны мелькнул ужас. Она села и торопливо стала приводить себя в порядок.

Павел поднялся и осторожно пробрался в глубь кустарника. Оглядеался по сторонам и увидел девушку, направлявшуюся к шоссе. Когда она вышла на открытую поляну и решительно зашагала по тропинке, которая вела к шоссе, он узнал ее. Это была Илона.

Павел закурил. Анна, скрытая кустами, стояла уже одетая и поправляла волосы. В глазах ее все еще был страх.

— Успокойся,— сказал он.— Это Илона прошла. Она не видела нас.

— Что ей было нужно?

— Скорее всего хотела сократить путь,— сказал он.— И шла через пастбище в Жабяны.

— Возможно. Там тетя наша живет, но я не знала, что Илона ходит к ней.— Анна явно почувствовала облегчение.— Хорошо, что она нас не видела. Мне и так уже досталось, когда эта дура отколола номер у Хабы.

— Да, вам всем тогда досталось. И ты ее не любишь? Родную сестру?..

— Она чокнутая,— зло сказала Анна.— Сумасбродка.

Хотя слова Павла покоробили Анну, она старалась подавить в себе раздражение.

— Ну что ж, мне пора,— смеясь, сказала она и стала отряхивать юбку.

— Придется тебе на минутку все-таки задержаться,—заметил Павел с усмешкой.

— Хорошо, на минутку задержусь,— согласилась она и, положив руки ему на плечи, поцеловала его. К ней снова вернулась уверенность.

— Когда мы увидимся? — спросил он.

Анна задумалась.

— Я дам тебе знать. Опять ты взял палку. Положи ее,— она тихо рассмеялась и еще раз поцеловала Павла.

Анна ушла от него часа два назад. Выбравшись из кустов, она направилась к деревне уверенным шагом, как будто возвращалась с прогулки.

Павел закурил и начал вспоминать, как неожиданно появилась здесь Анна, как она села на траву, как легла, как потом сама взяла его руку и он почувствовал под пальцами ее грудь...

А как торопила она высшее мгновение любви, как отдавала ему себя всю без остатка. Это была жадная, голодная женская любовь. Казалось, Анна хотела вознаградить его за все те ночи, когда не принадлежала ему.

Но теперь это было совсем не так, как прежде. Не было ни радости, ни ликования. Он испытывал лишь физическое облегчение. И было удовлетворено самолюбие. Ведь он отнял ее у Дьюри! Анна сама пришла к нему среди бела дня. Черт возьми, это что-нибудь да значит!

Надо бы нам еще немного побыть на пастбище, с легкой иронией подумал он. И тут же напустился на себя: нет, не обманывайся, парень, и об Анне лучше не думай. Выкинь ее из головы, образумься... Но он чувствовал, что ему это будет не так просто сделать.

Позже, напоив у колодца стадо, Павел и Демко снова погнали его на пастбище. Вместе с ними пошел и Йожко. Вокруг стада бегали оба пса, а днем их привязывали под навесом. Небо было все еще высоким и чистым, солнце продолжало палить. Павел блуждал взглядом по пастбищу, когда вдруг издалека донесся жалобный, тревожный звук колокола. Он оглянулся на Демко.

— Звонят?! Где же это? — спросил Павел, хотя и сам хорошо знал, что колокол звонил в Трнавке.

Гулкие, порывистые звуки колокола разрывали тишину пастбища. Они спугнули его мысли об Анне.

— Должно быть, пожар,— заметил деловито Йожко.

— Помолчи,— прикрикнул на него Павел.

Звон продолжался недолго.

— Что-то стряслось. Не вернуться ли нам? — спросил Павел.

— Нет, не стоит,— сказал Демко.— Подождем тут.

— Что же будем делать?

— Подождем,— повторил Демко.— Что бы там ни случилось, лучше, если стадо будет здесь.

— А если они прибегут сюда?

— Тогда уж ничего не поделаешь. Но бежать им сюда не меньше часа — столько же, сколько и нашим. А мы пока давай отгоним скот подальше.

— Эгей, Легина! Эгей, Илюшка! — позвал собак Павел.

Псы вскочили. Высунув языки и оскалив зубы, кинулись сгонять коров в стадо. Павел и Демко погнали его к Мокржинам и лишь там остановились.

— Как ты думаешь, они не прибегут сюда? — снова спросил Павел. Рядом с Турецкой могилой он увидел густые заросли, но об Анне уже не вспомнил.

— Я ж тебе сказал, у нас еще есть время,— не сразу ответил Демко, моргая усталыми, слезящимися глазами.— Спешить некуда... Умаялся я нынче... Эх, свет широкий, небо высокое, прилягу я да маленько вздремну.

— Наверняка у нас что-то случилось,— озабоченно произнес Павел.

— Всегда что-нибудь случается. Имей терпение — скоро узнаешь,— буркнул Демко.

Павел с недоумением смотрел на него.

Ну, что ты на меня уставился? Думаешь, я спятил? Не понять тебе, почему мы тут торчим. Этого тебе не объяснить — да ты и не поймешь в свои двадцать два года. За мои пятьдесят восемь лет много в Лаборце воды утекло...

В ушах Демко все еще стоял звон колоколов. А в Трнавке люди, должно быть, сбегались на площадь, кричали, размахивали руками. Такое и прежде бывало. Но что ты об этом знаешь?

Однажды владелец соседнего имения Яноушек запряг в сеялку Михала Подставского, старого Голоса и его сына. Сам погонял их, словно лошадей, и засеял с ними здоровенный кус земли. В тот же вечер на площадь сбежалась добрая половина Трнавки — мужики, бабы, дети. Они кричали под окнами Зитрицкого, чтобы он, староста, отправился к гетману в Горовцы и потребовал наказать помещика. Спешно собрали сходку, да только Зитрицкому, Хабе и священнику Фидлику не хотелось вмешиваться. И тут пришел его — Демко — час. Он встал на лестницу и обратился к односельчанам.

— До чего мы дожили?! — кричал он.— И это происходит на земле, которая по праву принадлежит нам. Мы должны были получить ее после земельной реформы, но буржуазное правительство отняло у нас землю. Мы снова должны все вместе за нее бороться.

— Я бы тоже хотел получить еще землицы! — отозвался первым старый Резеш, отец Михала.— А лучшие участки так и остались у этого бездельника графа и у Зитрицкого. Что же нам делать-то?

Площадь загудела, точно улей; люди говорили о самом насущном и наконец проголосовали за новую земельную реформу, за то, чтобы земля принадлежала тем, кто на ней работает. В делегацию, которую тогда выбрали, чтобы передать районному гетману жалобу на помещика и требование раздела земли, вошел он, Демко, старый Резеш, Гейза Тирпак, Мишлан и отец Штенко, по прозвищу Винодел — он всю жизнь мечтал о собственном винограднике. Да, это было как раз перед выборами, а прошло еще несколько дней, и Демко не вышел на работу в графскую каменоломню, вместо этого много часов подряд крутил он велосипедные педали, развозя листовки, спрятанные под связкой свежескошенной травы. Одних крестьян он знал лично, других разыскивал по адресам, полученным в Горовцах. Жабяны, Чичава, Калужа, Ольшава, Стакчин. Сколько же деревень он объездил тогда!

Уже два дня Демко разъезжал и чуть не падал от усталости. А тут еще ливень. Демко мог вернуться — оставалось заехать только по одному адресу, но он не вернулся. Он повел свой старенький велосипед по жидкой грязи на холм, промок до нитки, нашел, наконец, нужную халупу в Стакчине и отдал последнюю связку измятых, промокших листовок. На них были изображены три тощих батрака, запряженных в сеялку. Помещик погонял их бичом. «Разделим помещичью землю! Вся деревня будет голосовать за коммунистов!» — призывала листовка.

Незнакомые люди уложили Демко в постель. Чужая женщина сушила его пиджак и брюки у печки, накормила овсяными пирожками со сливовым повидлом. Никогда еще не ел он ничего вкуснее! Он бы съел их раза в два больше, но к сковороде тянулось столько худеньких детских ручонок.

Демко чувствовал себя у этих чужих людей как дома. Казалось, он жил там всегда, всегда спал на той старой скрипучей кровати...

Возвращаясь в Трнавку, он ощущал такую полноту жизни! Казалось, энергия, переполнявшая его, сама двигала педали, и он, радостный, счастливый, отчаянно звонил на всю округу. Цинк-цинк! Цинк-цинк!

А когда он вернулся домой и его жена Мария принялась кричать на него, он вспомнил ту чужую женщину, вспомнил, как она развешивала над печкой его мокрую, забрызганную грязью одежду, ее заботливый взгляд.

Подошло время выборов. Сорок шесть процентов голосов дала коммунистам Трнавка! Малая Москва — называли тогда нашу деревню.

Правда, благодаря нажиму из Горовцов старостой остался Зитрицкий. Но Трнавка была нашей крепостью, хотя потом наступили плохие времена и на заборах появились портреты президента «словацкого государства» Тиссо. Телеги, украшенные хвоей, отвозили трнавчан в Горовцы. Торжественные мессы, торжественные речи. Гардисты и священники выстроились в ряд перед трибуной, школьники размахивали флажками.

А сколько наших людей после этого отправили в илавскую тюрьму? Шестьдесят четыре человека — из Трнавки, Каменца, Калужи, Чичавы, Стакчина. Шестьдесят четыре. А люди нам верили, Павел. Верили в те страшные годы.

Только в сорок третьем, в разгар войны, меня выпустили, и я вернулся домой. В то время уже три парня из Трнавки сложили головы на полях России, куда их послали эти проклятые фашисты. Я сразу же должен был отметиться у старосты.

Зитрицкий заставил меня долго ждать — он осматривал коня, которого купил для армии. Когда же, наконец, он снизошел до меня, то первым делом сказал: «Тебя только тут не хватало! Будь ты помоложе, отправили бы на фронт. Так вот, чтобы поменьше дурил людям голову, будешь пасти коров». Идиот. Для меня лучше этого и быть ничего не могло.

Я шел от Зитрицкого, смотрел на залитую солнцем Трнавку, и все во мне пело. Мне казалось, что я пробудился после долгой зимней спячки и очнулся в самый разгар лета. Но это сладкое чувство было недолгим. Я уже подходил к лавке Лейбы Мендловича. Мендлович сидел на бревнах, опустив голову, и упорно смотрел в землю. Когда я подсел к нему, он взглянул на меня и удивленно заморгал.

— Значит, вы все-таки вернулись? — робко усмехнувшись, спросил он и вздохнул.— Ох, чует мое сердце, пан Демко, пришел мой черед...

Только теперь я заметил, как исхудал и как постарел Мендлович. Лицо его покрылось морщинами, щеки запали, борода стала совсем седой. Его глаза, прикрытые тяжелыми, отекшими веками, казалось, вобрали в себя всю скорбь, все горести еврейского народа.

— Никогда я ни во что не вмешивался и со всеми хотел ужиться. И для вас я кое-что делал. Помните? Вы собирали тогда вагон сахара для Испании — я вам дал двадцать килограммов рафинада. Но так, чтобы никто не знал. Может, как раз не надо было скрывать это от людей? Помню, однажды, детьми еще, играли мы на Гедвабной улице в Горовцах. Мальчишки дразнили меня «очкарик»! А какой-то господин остановился, положил мне руку на голову и сказал: «Разве это так уж важно, смотрит человек на мир через стекло или без стекла? Главное, что́ он видит в жизни». Так вот теперь я думаю, что я в жизни видел мало.

Глаза его за стеклами очков начали слезиться, спина еще больше ссутулилась.

— Вам надо уходить,— сказал я ему.— Идите в лес. Там вы будете не один.

В то время в лесу уже скрывались Петричко, Гунар и Бриндзак, а с ними несколько русских партизан.

— Меня поймают,— сказал Мендлович.

Он, видимо, уже покорился своей участи.

— Мне кажется, вокруг меня кто-то все время вертится и глаза у него как у Йожко Сливки — того, что работал по финансовой части. Он вернулся и теперь пошел в гардисты,— зашептал Мендлович и, поднявшись, испуганно огляделся.— Можно налить вам стопочку? Вроде как с приездом?

Вскоре Мендловича увезли, Йожко Сливка сопровождал его до Горовцов.

Мендлович сидел в повозке с женой и пятью детьми на узлах с барахлом, сгорбленный, поникший — знал, что их отправят в душегубку. Он ни разу не оглянулся на деревню. Глаза его были устремлены к небесам. Только туда стремилась его душа.

Сливка шагал рядом с телегой. Ты бы видел, Павел, его злобную ухмылку.

Когда Сливка вернулся, он отпер лавку Мендловича, повязал его фартук и встал за прилавок. А в деревне на пожарной каланче вывесили белый флаг в знак того, что деревня «чистая», что в ней нет ни одного еврея. Об этом белом флаге вспомнил и Петричко, когда к нам в прошлом году прибыла «передвижная весна» и все должны были вступить в кооператив — даже те мерзавцы, что были в глинковской партии. Вот для того, чтобы им напомнить об этом, он и велел вывесить у входа в национальный комитет красный флаг. А ты понял, Павел, понял, почему он там висит?

Да, с того дня, когда этот Сливка захватил лавку Мендловича и стал за прилавок в его фартуке, добрая половина Трнавки тащилась за покупками в Жабяны или в Горовцы, тут уж и я постарался. Женщины, которые в церкви рядом со Сливкой преклоняли колена и шептали с ним одну и ту же молитву, посылали своих дочек за сахаром, солью, уксусом в соседние села. Сливка стоял перед лавкой, сложив руки, и грозно смотрел на покрытые платками кошелки и корзины, которые несли мимо него односельчане. Но Сливка верно учуял момент, когда надо было ему смываться из Трнавки. Где-то он теперь?..

Вот какие воспоминания я ношу в себе, дружище. Уже тридцать лет я знаю, чего хочу. Совершенно точно знаю, с такой точностью не идут ни одни часы. Мне всегда было ясно, чего я хочу и что должен делать.

Сразу после войны за нами пошло больше половины Трнавки, и, когда мы делили графскую землю, казалось, и дальше все будет хорошо. Лучшего начала уж вроде и желать нечего. А теперь... Что же случилось, почему? А случилось то, что разверзлась пропасть, дружище. И тебе это хорошо известно.

Пропасть. Но почему она разверзлась? Вот в чем следует разобраться. Дробил я молотком камни, и было неплохо. Дробить камни я привык. И ходить за скотиной тоже. Один все время, но не чувствовал себя одиноким. А вот сегодня среди людей мне быть не хочется. Здесь теперь я чувствую себя одиноким. Видно, изменилось что-то такое, что не должно было меняться. И теперь я словно собственными мыслями ушибленный. Ты думаешь, я спятил? Спрашиваешь, почему я молчу? Да ты бы все равно меня не понял... А в деревне все-таки что-то произошло...

Демко вздрогнул. Шляпа сползла на траву. Он приподнялся и сел.

— А-а, я, кажется, немножко вздремнул,— сказал он и огляделся.

Павел стоял неподалеку и смотрел в сторону Трнавки.

Как его этот звон растревожил, подумал Демко. Рвется он туда, да и что в этом удивительного — в его двадцать два года! Но теперь

наше место здесь, дружище!

Демко поднялся.

— Через часок придут женщины доить коров, тогда все и узнаем. И еду принесут,— улыбнулся он Павлу.

Беспокойство, которое вызвал и у Демко колокольный звон, не могло заглушить голод. Сало они с Павлом доели еще утром, а теперь уже был вечер. Дома в чулане висели только два тонких куска сала с твердым, дочерна прокопченным мясом. Демко с удовольствием думал об этом сале — жена должна была прислать ему кусок.



Когда Эва вошла во двор Демко, все три женщины, находившиеся там, умолкли. Дочь Демко Бетка — жена Пишты Гунара — стала что-то быстро шептать матери, которая хлопотала у летней кухни. Канадка перебирала ранние груши и складывала их в жестяную банку.

Завтра в Горовцах базарный день, вспомнила Эва. Она заметила, что женщины перемигнулись. О чем, интересно, они говорили, когда я вошла? Видно, я помешала. Молчание иногда красноречиво. Эва посмотрела на Демкову. Что она, в своем горшке злобу, что ли, варит? Крышка так и подпрыгивает, пар шипит.

— Андрей просил прислать ему хлеба и сала,— сказала Эва.

— Еще чего! Пусть сам домой явится.— Глаза Демковой метали молнии.— Что мы будем есть, его не беспокоит?! Нам всю жизнь, что ли, давиться его паршивой кооперативной жратвой? Пора ему делом заняться.

Эва не верила своим ушам. К кому ты попала? — подумала она. Уж не ошиблась ли ты домом? И лицо Канадки поразило ее. Желтые оскаленные зубы, враждебные, холодные глаза, злая ухмылка. Демкова вошла в дом и стала подглядывать за Эвой через щелку в двери. Эва повернулась и молча пошла прочь. На площади навстречу ей, вздымая клубы пыли, катила бричка. Щелкая кнутом, на козлах восседал Дьюри Хаба. Рядом с ним сидел старый Хаба, а за ними Бошняк, Резеш и Эмиль.

Эва, бледная от волнения, пыталась понять по их лицам, с чем они вернулись. Но лица их она видела как в тумане.

У пожарной каланчи бричка остановилась. Взмыленные лошади трясли головами. Начали сбегаться люди. Бошняк слез с брички и крикнул:

— Все будут расследовать! В приемной пана президента сам его секретарь нам так сказал. Обещал... — Бошняк вдруг запнулся — у него перехватило дыханье.

— Нам сказали, что надо, мол, подождать,— мрачно перебил его Эмиль. И поджал губы.

Лицо у него было каменное. И это ее деверь! Брат Ивана. Эву всегда пугал его суровый голос, его глаза. Он способен на все, даже на убийство, подумала она. У него это написано на лице...

Площадь заполнялась народом, слышались взволнованные голоса. Лица горели от нетерпения. Люди, босые, в грязных, пропотевших рубашках, с сорняками и соломой в волосах, с мотыгами и граблями в руках, бросив работу, прибежали сюда и столпились вокруг брички.

— Вернулись! Все вернулись! Господи! — кричала Штенкова, высоко подняв руки и устремив глаза к небу.

— Уже скоро год, как дожидаемся этого. И все-таки дождались,— сказал Тирпак Штенко.

— Господи боже мой, уж не думал ли ты, что достаточно сказать слово и все они бросятся врассыпную,— насмешливо оборвал его

подвыпивший Штенко.— А, да тут и жена председателя,— крикнул он, увидев рядом Эву, и дохнул ей прямо в лицо перегаром.

Эва, с трудом передвигая отяжелевшие вдруг ноги, дошла до угла крайнего двора и остановилась, ухватившись за штакетник забора.

И в эту минуту из национального комитета спустился по лестнице Петричко и направился к толпе, окружившей Эмиля.

— Матух! — крикнул он, и его сильный голос перекрыл шум.

У Эмиля исказилось лицо. Он сжал губы и повернулся к Петричко спиной.

— Матух!

Но тут на колокольню поднялся Штенко и схватил веревку колокола. Резкий, тревожный звук пронзил Трнавку. Старый Хаба обвел всех хитрым взглядом и посмотрел на Петричко.

К колокольне бросился Бошняк. Еще несколько минут неслись над деревней частые тревожные удары колокола. Эва кое-как доплелась до дома и стала ждать Ивана.

— Что будет, Иван?! — почти крикнула она, когда он вошел.

— Будем продолжать уборку,— сказал он.— Надо все-таки хоть часть урожая спасти.

Иван ел хлеб, запивал его прямо из горшка кислым молоком. Под окнами фыркали запряженные лошади. Марек играл вожжами. Канадец, опираясь о боковину телеги, свертывал цигарку.

— Ты что, не слышал колокольный звон? Не видел, как все сбежались к бричке? А ты знаешь, чего они ждут?

— Знаю. Они отвозили письмо и теперь вернулись,— сказал спокойно Иван.

— Сколько же еще мы будем так жить?.. — Эва боялась за него, боялась за детей. Ее жалобный голос вывел Ивана из себя.

— И ты туда же! Я и так ума не приложу, за что хвататься. А теперь ты начни ныть и отравлять мне жизнь... — Он враждебно смотрел на нее.

— Я?! Я тебе отравляю жизнь? — глаза Эвы наполнились слезами.

Она вдруг вспомнила, как летним вечером впервые прибежала к нему на берег Лаборца. Было еще светло, но бледная луна уже появилась на небе. Мальчишки сачками ловили под корягами рыбу. Эва вдыхала запах поросших травой и осокой берегов реки. Они пробрались через заросли верб и побрели по песчаной отмели. Он вел ее за руку, в другой руке она несла туфли. Намытый песок мягко оседал под ногами. Они остановились в растерянности — ведь до сих пор они так ни разу и не поцеловались. Долго молча смотрели на следы своих ног на песке... А неделю спустя — это были счастливейшие мгновения — они лежали в высокой траве. Сильный запах дикого хмеля дурманил им голову. Он сказал:

— Ты знаешь, что глаза у тебя медового цвета. Вот я и попался на этот мед.

— Так беги, пока глаза у меня закрыты.

— Не могу. Ты смотришь на меня и сквозь закрытые веки.

Что же стало с нами, Иван? Может, раньше нам было лучше? Я превратила бы поле в сад, откормила бы пару кабанов. Ты по-прежнему ездил бы на велосипеде на работу. А я дожидалась бы тебя с детьми у ручья. Почему в жизни не все так чисто, как вода в ручье? Почему? А тот фильм, помнишь Иван? Тот фильм... «Кубанские казаки». Плавчан раздавал бесплатно билеты, а потом нас повезли в Горовцы. В кино перед началом выступил Гойдич. Он был у нас еще человек новый, и мы подивились его полноте. Но никто не насмехался над ним. А этот фильм, Иван... Я очень люблю ходить в кино, жалко, что мне не часто это удается. Но тот фильм... Я увидела в «Кубанских

казаках» ту жизнь, о какой ты мечтаешь. И там не было никаких трудностей, никаких жертв и страданий. Все, что мы видели, касалось тебя, меня, Марека, Геленки, которая должна была появиться на свет. Мне чудилось, что я на мессе. Так хорошо мне было. Только я не сжимала молитвенно руки, а спокойно положила их на колени, а рядом чувствовала тепло твоего локтя.

Ты смотрел как зачарованный. С другой стороны возле тебя сидел Резеш. «Все еще нам не веришь?» — спросил его ты. Он растерялся и не сразу сообразил, что сказать. Потом пробормотал: «Да, это прекрасно».

Надеюсь, ты уже очнулся, Иван. Там, на площади,— твои «казаки», но ты теперь не в кино...

— Видела я твою Трнавку,— сказала она с горечью,— видела, как они все сбежались к бричке, и слышала этот колокольный звон.

— Замолчи, пожалуйста!

— Боишься снять с глаз шоры.

— Молчи!

— Я понимаю,— сказала она со вздохом.— Но зачем ты так со мной?

— Ничего особенного не произошло. Просто они вернулись.

Иван вскинул голову, но глаза его тревожно бегали по комнате.

— Да, ничего не произошло. Ровно ничего не произошло,— сказала Эва.— Ну хорошо. Будем играть в прятки и дальше.

Иван вышел, хлопнув дверью.

Теперь она была одна, теперь она могла плакать.

Мы не должны обманывать себя, Иван. У нее все еще стояла перед глазами бричка, окруженная односельчанами. В ушах звучал резкий, тревожный звон колокола. Эва вздохнула. Пора на пастбище. Пора доить коров! Геленка, будешь сегодня послушной девочкой?

Эва пошла в чулан, отрезала кусок сала, взяла ломоть хлеба. «Ведь им надо поесть»,— прошептала она. Глаза ее все еще были полны слез.

— Значит, будут расследовать. Ну и дела,— задумчиво произнес Демко.— А почему не пришли Иван или Петричко?

— Они ведь свозят урожай,— сказала Эва.— Эти сумасшедшие на поле с утра до ночи.

Павел стоял с Йожкой за будкой. Медно-красное солнце все еще заливало своими лучами пастбище.

— Так, значит, они вернулись,— протянул Йожко.

На его лице отразилось удивление и досада.

Павел посмотрел на Эву. Она расстелила платок, уложила Геленку и вздохнула.

— Да помолчи хоть минутку! — сердилась она на девочку.— То вертится вьюном, а то все время хнычет. У нее режутся зубки.

Гудакова направилась с ведром к загону, где мычали коровы. Мишланка плескалась у колодца. Только они и пришли доить.

— А где Канадка? — спросил Павел.— Она должна была сегодня прийти.

— Как бы не так! Ты думаешь, сука может отелиться? — крикнула Мишланка, на ее лице выступили красные пятна.— А как она вопила, когда меняли старые кроны на новые. У меня до сих пор ее крик в ушах стоит. Ведь она осталась с пустым карманом. Сидеть бы ей на горовецком базаре, как старой квочке, и торговать разным барахлом!

— Совсем как в Тополинах! Слушаю такие речи, и мне кажется, что я дома,— заявил, явно потешаясь, Йожко.

— И мне так кажется, когда тебя вижу! — глядя на его руки, засунутые в карманы, кричала Мишланка.— Ступай ополосни бидоны.

Йожко не успел еще и рта открыть, как рядом с ним уже оказались два бидона.

— Ну, пошевеливайся! Беги к колодцу! — сердито покрикивала на него Мишланка.— Ребенок и тот, как посмотрит на тебя, слезами заливается. Проваливай отсюда, чтоб духу твоего тут не было!

— Иду, иду! — буркнул Йожко.— Я без дела не болтаюсь.

— Знаю я, какой ты хороший! — не унималась она.— Ты такой замечательный, что лучше и быть нельзя! Тебя бы только в золотую рамочку вставить. Ты и Канадка — вот уж парочка! Да беги ж ты, наконец, поторапливайся...

Йожко послушно взял бидоны.

— Может, нам погнать стадо домой? — спросил у Демко Павел.

— Подождем до завтра, там увидим,— рассудительно сказал Демко, засучивая рукава. Он тоже собирался доить.

Эва с подойником в руке шла мимо, но вдруг остановилась, взглянула на Демко и, достав из кармана юбки сверточек, молча подала ему. Только теперь Демко вспомнил, что жена должна была прислать ему хлеб и сало, и, не глядя, бросил сверток через открытую дверь в будку.

А тем временем Йожко, громыхая у колодца бидонами, лениво полоскал их. Лишь он один был сегодня совершенно спокоен. Визг и скрежет колодезного журавля, стук ведер, громыхание бидонов, плеск воды и журчание молока, стекающего в подойник,— все это радовало его слух. Не очень мешало ему и хныканье младенца.

— Иду, иду, подожди еще минуточку,— звонко кричала Эва из-под навеса.— Ничего-то другого я Геленке и сказать не успеваю... Иду, иду... подожди — эти слова раньше других она научится понимать,— Эва вздохнула.

Что-то в ее голосе пробудило в Йожке сочувствие. Он остановился, растерянно посмотрел в сторону навеса, потом на ребенка. Подошел к Геленке — она лежала на платке, засунув в рот кулачок, оглянулся и, раздев ее, посадил голенькую на траву. Потом, зачерпнув из бидона пригоршню холодной воды, выплеснул ее на Геленку. Девочка перестала хныкать, Йожко снял с себя рубашку, обтер ею Геленку и снова посадил на платок.

Счастливый, улыбающийся, он направился к будке. Хотя дверь была открыта, он через щелку между досками посмотрел голодными глазами на сверток с салом и вернулся к колодцу. Он еще долго топтался возле бидонов, ожидая, когда кончится дойка и женщины уйдут домой.

Пришел Павел, принес бидон с молоком и опустил его в колодец.

— Йожко, разведи костер! — крикнул он цыгану.

— Это он умеет, даже сделает охотно, если на костре будут что-нибудь готовить,— сказала Мишланка. Она подошла следом за Павлом.— Ну и что ты делал сегодня?

— Я целый день пас скот, целый день гонялся за коровами,— ответил цыган.— А потом ведь я умею еще кое-что, чего ни одна баба не сумеет,— ухмыльнулся он.

— Да, на такие дела ты горазд, верю,— согласилась Мишланка.

— Это как раз самые приятные дела на свете,— сказал цыган.

Павел рассмеялся. Весь день он был сам не свой и, лишь когда узнал, что произошло в деревне, немного успокоился. Павел не привык доить, устал и теперь с удовольствием распрямился, потянулся. Он был рад, что уже наступил вечер. Разрезав сало, которое мать прислала ему с Мишланкой, он насадил его вместе с кусочками лука

на прутик и стал поджаривать. Глядя на весело потрескивающий огонек, он думал, что вот эта троица вернулась из Праги и хотя ничего страшного не произошло, но будет произведено расследование, и, видно, конец не за горами. Значит, ты уже не попадешь в ловушку. Он вспомнил предостережение матери. Да, ты сыт по горло всем этим, и уже давно пора тебе смотаться отсюда. Но бегство не по тебе. Он понимал, что должен еще помочь, чем сможет. Надо хотя бы урожай собрать. Вот тогда и сматывайся, пожалуйста! Ни одного дня, ни одного часа, после этого тебя здесь никто и ничто не удержит. Ну, а почему все-таки нельзя раньше? И в кого ты такой уродился? В мать или в отца? Ладно. Значит, соберем еще урожай.

Ему так хотелось, чтобы все уже было позади, чтобы поскорее наступила минута, когда он уедет из Трнавки. Выходит, прав был Рыкл, сосед по койке в казарме, когда сказал тебе: «В кооператив вступишь? В ЕСХК? Да ты спятил, Павел! Там тебе никакой сахар жизнь не подсластит». И еще что-то насчет поезда сказал.

Нет, я не крыса. Но все равно, даже если они вернулись и ничего особенного пока не происходит, конца не предотвратить. Пройдет несколько дней...

Мысленно он уже бежал из Трнавки. Представлял себе, чем сможет занять свой досуг, если будет работать там, где рабочий день кончается в два часа: выйдешь за ворота — и ты свободен. Там порядок, есть выходные дни и отпуск, и можно заработать большие деньги. А после работы ходишь чистый, хорошо одетый. И для этого не надо так уж далеко ехать, можно хоть в Горовцы, на химкомбинат.

Летом он после работы купался бы в Лаборце. Как тогда, когда они привезли в Горовцы дрова, он сидел потом по шею в зеленоватой воде, а об его плечи плескались волны. Над гладью реки дул легкий ветерок. Удочки, привязанные к камням, поджидали голодную рыбу, а он ел спелые желтые сливы. Сливы таяли у него во рту, и он думал об Анне.

Фу ты черт, снова Анна!

Рассеченное до кожицы сало шипело от жара, золотилось и раскрывалось хрустящим веером. Хлеб темнел от капающего на него жира. К костру подошел Демко, порылся в кармане, вытащил нож и стал резать свой хлеб.

Удивительно, подумал Павел, сало человеку никогда не надоедает, так же как хлеб. Поджаренная кожица хрустела на зубах, в желудке стало тепло, а в голове роились сытые и теплые мысли.

Мишланка стояла с Гудачкой у колодца и звала Эву:

— Ну иди же скорее! Или ты хочешь остаться с мужиками?

— Иду, иду,— ответила Эва.— Геленка, слава богу, уснула, теперь у меня дело пойдет лучше.

Эва на минуту остановилась возле Павла. Юбка, блузка, руки — все у нее пахло молоком. Усталым движением она молча повязала косынку. Девочка снова лежала, завернутая в платок. На пастбище опустились сумерки, в кусты бесшумно слетались птицы, только собаки еще громко подавали голос, да начали квакать первые лягушки. Сильнее запахло подмаренником и полынью, потянуло болотной сыростью.

Эва опасливо осмотрелась и сказала тихонько Павлу:

— До чего же все переменилось у нас за последний год. Кто же хотел того, что теперь происходит? Завертелось какое-то чертово колесо, оно то поднимет человека, то придавит его.

Павел удивленно смотрел на Эву, на ее губы, вглядывался в ее взволнованные влажные глаза.

— Ну, что ты там застряла? — крикнула Мишланка.

— Иду, иду,— ответила Эва и озабоченно взглянула на Демко.

Он сидел на бревне у костра, задумчиво опустив голову, и смотрел на кусок сала, который только что вынул из свертка и держал на ломте хлеба, словно на подносе.

Эва отвернулась, вскочила, трава зашуршала под ее босыми ногами.

Демко отложил в сторону сало и хлеб. Что, старик, и сало уже не по вкусу? — удивился Павел. А ведь ты был голоден. Может, ты сыт одним известием, что троица благополучно возвратилась?

**4**

Утром, после дойки, едва только грузовик, забрав бидоны, скрылся из виду, Демко отправился через пастбище в город. Павел и Йожко снова погнали стадо к Турецкой могиле.

Чем ближе к шоссе, тем реже была трава, серая от пыли. Белесая земля давно высохла. Трудно было поверить, что здесь когда-то были болота. Со стороны цыганского поселка у Горовцов подымался светлый дым. Над шоссе нависла пелена пыли.

Демко брел по опушке лесочка, который все называли «цыганский родильный дом». Его кусты и овраги, так же как и заросшие вербняком и камышами берега Лаборца, издавна были местом любовных свиданий и прогулок горовчан. В траве виднелся всякий хлам: колесо от детской коляски, бутылка из-под пива, консервные банки.

Неподалеку мирно паслись овцы. Овчарня с прогнившей гонтовой крышей принадлежала, как и все поместье «Варконд», горовецкому кооперативу.

Демко остановился, хотел разглядеть чабана, но ему плохо было видно против солнца. Уж не старый ли это Подставский? Давненько не видел я его. Верно, он. Это же тебя, старина, запряг тогда в сеялку помещик!

Демко подошел поближе к чабану и крикнул:

— Здравствуй, Мишо! Как дела?

Чабан устало повернул голову, лицо у него было грустным.

— Дела как сажа бела. А что, разве где-нибудь по-другому? — спросил он.— Я уже четыре месяца не получаю ни гроша. Принесу иногда домой кусочек сыра — вот и вся получка. Если бы Игнац и Павлина не работали в городе, мы бы и вовсе ноги протянули... А ты куда?

— В Горовцы.

— Так. Ты не знаешь, может, где получше дела идут? — снова спросил он.

На чабане были потертые штаны и замызганная рубаха. В руке он сжимал посох.

— Ну что ж, поплачемся друг другу, авось полегчает,— Демко улыбнулся.— А что ты обо всем этом думаешь? Почему так получается?

— Что я думаю? Эх... — Подставский огляделся.

Овцы, сбившись в кучу вокруг барана, жевали порыжевшую траву и оглашали блеянием утреннюю тишину. Подставский медленно подошел к стаду, приподнял шляпу, отер пот со лба и стал пробираться к барану. Овцы путались у него под ногами, а баран все не давался.

— Ну, погоди у меня! — крикнул чабан, схватил его и поднял на руки.

Баран был большой и сильный, он вырывался и дергался, но чабан упрямо тащил его. Вдруг он бросил барана в гущу овец. Тот свалился на них, и овцы разбежались в разные стороны, подняв темное облако пыли. На миг воцарилась тишина.

— Видишь, Демко. А ведь это только овцы,— сказал Подставский.

Демко глядел на стадо, пока пыль не осела и овцы снова не сгрудились вокруг барана. Потом резко повернулся и, не сказав ни слова, пошел дальше. Добравшись до центра города, он безо всяких затруднений попал в районный комитет к Сойке. Было еще очень рано. Едва только Демко показался в дверях, даже не успел еще поздороваться, как Сойка заговорил с ним сам. Он говорил с набитым ртом — завтракал в своем рабочем кабинете.

— Вчера вечером тут уже был Петричко. Он хотел задержать делегацию,— сказал Сойка.— Вот было бы здорово — сунуть их в каталажку вместе с Зитрицким. Они же одного поля ягода! Им это сошло с рук, а этого достаточно, чтобы подстрекать других.

Демко молчал.

— Петричко рассказал мне и о ваших коровах. Неплохо придумано. Петричко все делает с блеском. Отличный работник, он мог бы руководить не только в Трнавке. И Бриндзак уже говорил об этом.— Сойка проглотил последний кусок и вытер губы. — Только вот зевать вам нельзя было. Прошляпили вы...

Он не спрашивает даже, зачем я пришел, с обидой думал Демко. К кому же тогда обращаться? Человек должен быть убежден, что его действия правильны. А я теперь и не знаю... Какой уж тут блеск. Этих коров мы оставили на пастбище, чтобы они не мозолили глаза, не дразнили людей. Но я хотел бы знать, как же все-таки обстоят дела...

— Что вы собираетесь предпринять? — спросил он.

— Ничего. Ровным счетом ничего,— сказал Сойка.— Теперь мы можем только ждать.

— Чего ждать?

— Чего?! — у Сойки дернулись губы.— Ты читал это? — он показал на газету.— Товарищ Запотоцкий выступил на строительстве какой-то плотины. Очень любопытная статья. Послушай:

«Товарищи, мы совершенно открыто признаем, что сегодня при строительстве нашего нового, социалистического общества мы вынуждены преодолевать много трудностей и что мы допускаем в ходе этого строительства немало ошибок, за которые нам приходится расплачиваться и которые необходимо исправлять. Но, друзья мои, кто может похвастаться, что никогда в жизни не допускал никаких ошибок? Только тот, кто ничего не делает, кто ни о чем не заботится, кто ни к чему новому не стремится, не допускает ошибок...

Разумеется, основывать сельскохозяйственные кооперативы поспешно, не убедив до конца тех, кого привлекаем в кооператив, в необходимости такого решения, вряд ли целесообразно. А поэтому, товарищи, организация кооперативов в административном, приказном порядке или насильственным путем для нас неприемлема. Такие кооперативы будут влачить жалкое существование. Там люди не станут работать как следует, там им все будет не по душе, и поэтому такие кооперативы для нас бесполезны. Мы должны изучать вопрос о сельскохозяйственных кооперативах — их необходимо укреплять, им надо помогать. А тем, кто думает, что помогут сами себе, убежав из кооперативов, мы можем совершенно откровенно сказать: нет, так вы себе ничем не поможете. Через несколько лет вам придется те кооперативы, из которых вы сейчас, скажем, убежите, организовывать снова. Мы вам препятствовать не станем, но примите к сведению, что сельскохозяйственное производство нам увеличить необходимо».

Сойко молчал и выжидательно смотрел на Демко.

— Допускаем ошибки? — растерянно спросил тот.

— Да, что-то в этом роде,— кивнул Сойка.— Словом, спокойно выходите из кооперативов, мы вам препятствовать не станем. Госпо-

ди! И как раз теперь в такой ситуации. От этого и свихнуться недолго! Разве так можно рассуждать? Оставить их вариться в собственном соку, пока они сами не начнут соображать? Нам тут внизу виднее, что это за люди. Я-то их знаю как саботажников. «Мы вам препятствовать не станем...» Так-то.

Когда Сойка читал статью в первый раз, он ругался на чем свет стоит. Да что же это такое? Какие такие ошибки были во время коллективизации? Какое искривление линии? Вот те на! Еще весной Врабела наверху хвалили.

В конце концов, на то и директивы, чтобы их выполнять. Для того я тут и сижу. Должна же быть дисциплина. Иначе как сохранить единство партии? Тогда каждый проходимец мог бы... Но этого никто и не допустит.

Теперь, перечитав статью снова, Сойка вдруг облегченно вздохнул. Ну как же мне сразу в голову не пришло, бурчал он про себя. Да, вот оно, тут все есть! Интересно, заметил ли это Демко. Старый товарищ, давний член партии.

Ошибки, ошибки, думал Демко. Боже мой, что это значит? Сначала он перепугался: молча уставился на газетные листы, лежащие на столе. Но постепенно слова дошли до его сознания. «Ошибки,— прошептал он.— Чему ж тут удивляться! Должны же они быть, раз пропасть разверзлась. Ошибки свои надо осознать. Самое время взяться за ум. Иначе что с нами станется? Что для нас главное? Люди. Каждый человек. А когда люди слабеют — разверзается пропасть. Это как раз у нас и случилось».

Оба молчали.

— Ну как? — уже начав терять терпение, спросил Сойка.

— Но ведь... статья эта означает...

— Что? — рявкнул Сойка.

Он по глазам Демко понял, что тот хочет сказать. Значит, Демко не догадался. Ну и ну! Старый член партии и не разобрался.

— Но ведь тут все совершенно ясно,— вне себя от ярости Сойка хлопнул ладонью по газете: — «Примите к сведению, что сельскохозяйственное производство нам увеличить необходимо». Вот что самое важное! Этому надо все подчинить. А ведь только в кооперативе можно этого добиться. Единоличник и рост производства?! Как бы не так! Ясно, что и в кооперативе все должно быть в порядке. А у нас? — Он вздохнул.— Только за полгода наш район задолжал девятьсот сорок тонн мяса и почти четыре миллиона литров молока. Дружище, кооператив — это тебе не голубятня, согласен?

Сойка так прижал газету к столу, что пальцы побелели.

— При Гойдиче у нас ослабела хватка. А из того набора в кооператив, что задумали Бриндзак с Врабелом, ничего путного не получилось. Он вообще не состоялся. Слишком долго мы собирались. А теперь подымает голову всякий сброд. Подумать только, в Чичаве вчера кооператоры начали молотить, а вечером весь урожай растащили по домам! Некоторые даже попрятали его у единоличников в Жабянах. А как у вас?.. Ведь с теми, кто ездил в Прагу, и с теми, кто их туда послал, можно разговаривать только со всей решительностью. Если действительно болеешь за наше дело... — Гнев заглушал в нем растерянность.— Как раз теперь, когда американцам так всыпали в Корее, люди видят, что мы сильнее! И в такой момент нам отступать?! Нет, дружище, я не теряю надежды, что теперь мы все наладим. Какие могут быть переговоры с бездельниками? Этим я заниматься не стану. Будь они все неладны!

Так вот что тебя задело в статье? — думал Демко. Это для тебя самое важное? Именно теперь? А вот я так не думаю. У тебя одна

болтовня, одни громкие слова, а сам ты ни на что не способен. И тут тоже пропасть.

Дверь открылась.

На пороге показался высокий, стройный парень в синей рубахе Союза молодежи. В руках у него были защитные очки мотоциклиста и сумка.

— Эвжен, выйди на минутку! — сказал он.

— Что случилось? — спросил Сойка, но тут же поднялся и вышел.

Демко остался один. Он сидел на стуле у окна и смотрел вниз, на соседний двор, на низенькие домики, прижавшиеся друг к другу. На крыльце одного из них сидела женщина. Лучи солнца падали ей на плечи и колени, в руках она держала миску с огурцами. Из другого домика вышел со скрипкой под мышкой цыган, в черном костюме и белой рубашке с галстуком бабочкой. Он наклонился и что-то шепнул женщине, та громко и беззаботно засмеялась. Другая женщина стояла в нижней юбке у корыта и стирала белье.

На ступенях у входа в районный комитет несколько человек окружили вахтера, что-то кричали, размахивали руками.

Наконец Сойка вернулся. Он был явно растерян, нервно потирал руки.

— Послушай,— сказал Демко,— я хотел бы поговорить с Бриндзаком.

Сойка смерил его взглядом.

— С Бриндзаком? Ну это ты поздно хватился. Его вызвали в область.— Он принялся смахивать со стола крошки, ему не терпелось закончить разговор, сейчас его, видимо, занимали совсем другие заботы.— Да, чтобы не забыть,— спохватился он.— Коров своих на всякий случай держите подальше от деревни.

Демко поднялся.

— Погоним их домой,— сказал он уже в дверях.

Площадь была залита солнцем. По обе стороны теснились ряды лавчонок. Скрипели колеса телег, слышался конский топот. Люди с серьезными и улыбающимися лицами проходили по площади, останавливались. Над площадью стояла горячая пыль и запах конского пота.

На заборе перед облупленной стеной синагоги висела огромная доска с названиями кооперативов, разделенная на квадратики. На ней должно было отмечаться выполнение поставок зерна, мяса, яиц. Но квадратики оставались пустыми.

«За быструю социализацию деревни»,— прочитал Демко плакат над доской. Острые, угловатые буквы должны были подгонять время.

Демко зашагал дальше. Переулок справа вел к Лаборцу. Здоровенный небритый цыган точил ножи. Стояли женщины с котомками и корзинами. Лук, немного помидоров, кучка стручковой фасоли и перца, сливы, яблоки. Плетеночки с яйцами, заботливо прикрытые платком. Это был рынок.

Широко распластав крылья, над площадью пролетел аист; его тень, скользнув по головам прохожих, унеслась за шоссе.

— Товарищ Гойдич! — крикнул Демко, увидев бывшего секретаря районного комитета.

Гойдич вздрогнул и остановился. Удивление и недоверие мелькнули в его взгляде. Он даже отступил на шаг, но потом узнал Демко, протянул ему руку.

— Что ты тут делаешь? — Гойдич похлопал Демко по спине так

же, как он это делал раньше,— бодро, по-дружески, но в глазах его была растерянность.

— Я от Сойки,— сказал Демко, кивнув головой в сторону здания напротив синагоги.

Гойдич закурил сигарету. Демко показалось, что он похудел, но выглядит здоровее, чем прежде. Демко вдруг стало мучительно неловко.

— Как поживаешь, товарищ Гойдич?

Гойдич улыбнулся и пожал плечами.

— Как тебе там, на стройке?

— Хорошо. Я работы никогда не боялся, и руки у меня крепкие.

Оба помолчали.

Взгляд Демко снова упал на доску с выцинявшим плакатом и пустыми клетками.

— Мне кажется,— сказал он,— что мы соревнуемся в том, на кого больше собак навешают.

В уголках рта Гойдича появились едва заметные горькие складки.

Они шли рядом. Что он на это скажет? Да и захочет ли вообще говорить? — думал Демко.

— Отчаиваться не надо. Все наладится. Увидишь. Снова все будет хорошо. Должно быть хорошо,— сказал Гойдич.

Должно? Да, должно. Но для этого надо что-то делать, размышлял Демко. Он был доволен, что Гойдич сказал именно так, а не иначе. Да, что-то надо сделать, чтобы снова было хорошо. Чтобы нам снова светило солнце.

Он собрался было еще кое о чем спросить Гойдича, как вдруг прямо перед его глазами мелькнула голова с прилизанными рыжими волосами.

Уверенным, молодецким шагом площадь пересек Кучеравец. Он помахал рукой Сойке.

— Пошли выпьем, Эвжен.

Резкий голос Кучеравца привлек к себе внимание тех, кто с кружками в руках подпирал стену пивной.

Увидев Гойдича с Демко, изумленный Сойка долго смотрел на них, потом, вдруг словно поняв что-то, кивнул Кучеравцу, и они оба исчезли.

Гойдич остановился.

— Многие перестали со мной здороваться... — сказал он и осекся, как будто у него вырвались слова, которые ему не хотелось произносить и он их охотно бы взял обратно.— Не обижайся, мне пора идти. У меня сегодня выходной, и я должен кое-что сделать.

У Демко к горлу подступил ком. Не здороваются? Черт знает что! Гойдич — честный коммунист. Почему же так получается? Почему у нас все время возникают на пути преграды? Почему мы постоянно сами спутываем себе ноги, когда перед нами такой трудный путь да еще надо справляться с теми гадами, которые нас, бедняков, всегда душили? Гойдич и Сойка... это же хлеб и камень...

Но почему все-таки Кучеравец не позвал Гойдича выпить и вообще не поздоровался с ним? Да потому, что Гойдич и не пошел бы. Конечно, не пошел. А Сойка идет. У него все разговорчики, все водолейство, продолжал размышлять Демко. Таких у нас в партии раньше никогда не было.

В эту минуту один из тех, кто пил у забегаловки жидкое пиво, крикнул:

— Эй вы, поосторожнее!

Демко заметил, что паренек, который стоял рядом с ним, перестал жевать колбасу и вытер губы. Неподалеку рабочие сгружали с телеги доски и укладывали их в штабеля.

— Поосторожнее?! Из-за него, что ли? — спросил паренек, показав на Гойдича.

— Да нет! Этот теперь такой же, как мы. В точности! — сказал мужчина, стоявший возле телеги.— Он тоже гнет спину, работает землекопом. Пойдем выпьем с нами, Гойдич!

Стало тихо. Даже доски больше не грохотали. Только лошади мирно жевали сено, слегка позвякивая удилами.

— Пива! Давай выпьем с нами пива! Не хочешь?! —обиженно крикнул кто-то.

Демко оглянулся, чувствуя, как по спине у него пробегает дрожь, как багровеет лицо.

Он протянул было руку, чтобы сжать локоть Гойдича, но рядом с ним никого уже не было.

*(Окончание следует)*

■

---

## К 150-летию со дня рождения Льва Толстого

СТОЯН ИЛИЕВ. Болгария.
Иллюстрация к повести «Казаки»

*Литературное наследие*

# ПАВОЛ ОРСАГ ГВЕЗДОСЛАВ

## «Кровавые сонеты»

*Перевод со словацкого В. ЛЕВИКА*

### Драма мира и поэта

В обширнейшем лирическом наследии Гвездослава, классика словацкой литературы, особое место занимают два цикла сонетов, своего рода ориентиры эволюции поэта: один создан в начале, второй — в конце его творческого пути. Первый цикл — «Сонеты» 1886 года, второй — «Кровавые сонеты» 1914 года.

В «Сонетах» 1886 года на первый план вышла проблематика, которая с первых шагов Гвездослава на литературном поприще по существу определяла внутреннее содержание его поэзии, хотя долгое время и не столь очевидно: противоборство земли и неба, материи и духа — и проблема места и миссии индивидуума в угадываемой поэтом диалектике мироздания. В «Сонетах» поэт в очередной раз попытался с помощью поэзии освободиться от земных пут и романтически переместить центр тяжести в сферу духа, к «чистому» наслаждению жизнью только в сфере духа.

Стоит оговориться, правда, что это стремление было вызвано вовсе не тем, что поэт не знал или страшился знания земной реальности; напротив, его необходимо расценивать как некий освободительный порыв поэта, который даже слишком хорошо знал реальный мир и не обнаружил в нем ценностей, заслуживающих того, чтобы отдаться им всей душой. Вместе с тем следует отметить, что уже в этом цикле стихотворений поэт осознавал невозможность полного отрешения от материального мира и потому вывел для себя непреложный нравственный закон неустанной борьбы со «злобой и произволом», которые правят этим миром.

Подобным образом обоснованный и сформулированный, этот нравственный закон стал главным стержнем всего творчества Гвездослава, интимно-личной основой его гуманистического пафоса, неразрывно связанного с его поисками истины. Поэтому когда на склоне лет ему было суждено столкнуться с противоречивостью буржуазного общества, в котором он жил, в ее самой уродливой, в прямом смысле кровавой форме повального истребления людей, то не случайно в этот момент его гуманизм достигает своего апогея, а поиски истины — своей кульминации. «Кровавые сонеты», созданные под непосредственным впечатлением разразившейся первой мировой войны 1914 года, не только довершают картину мира, которую Гвездослав создавал на

протяжении полувековой поэтической деятельности, но одновременно являются и финалом — притом триумфальным, поскольку это очистительный финал,— драмы, которая разыгрывалась в душе поэта.

Гвездослав принадлежал к такому типу поэтов, у которых личные мотивы слиты воедино с общественными. Вполне понятно поэтому, что такое общественное потрясение, как развязывание мировой войны, он должен был пережить как свое личное потрясение, более того, как свою личную трагедию. И ему можно верить, когда в самом начале своей «кровавой песни» он нагнетает все ужасы войны в своей душе, словно ему одному выпало на долю нести на своих плечах «крест» за целый мир: «...Быстрей не взрежет грудь земли лемех, чем этот крест — кровавое наследство — пронзил мне грудь...»[1]. Нельзя не верить ему и тогда, когда в минуту отчаяния у него вырываются слова о желании уйти из жизни, чтобы не видеть простирающуюся вокруг себя арену всеобщего опустошения: «Мы, старики, зачем еще мы живы? Чтоб видеть гибель и позор земли?..»

Нам кажется, что именно в этом субъективно-личном прочувствовании темы и заключен поэтический секрет «Кровавых сонетов», которому они обязаны огромной, поистине всечеловеческой силой воздействия. Гвездослав осуждает войну не с высоты неких абстрактных моральных принципов, выступает в сонетах не как некий непогрешимый, стоящий над миром судья, а в каждом сонете снова и снова борется за самостоятельный подход к этой теме, за уяснение скрытых причин войны и исторического смысла этого ужасного общественного явления. Война еще и потому так сильно задела за живое лично его, поэта, что он не мог не видеть в ней грубейшее попрание того общественного идеала, тех представлений о жизни «угнетенных, забитых», которые он вырабатывал на протяжении всей своей творческой деятельности. Вполне понятно, что первый же шквал военной бури, торжество «спесивого самовластья» внушили поэту чувство безысходного отчаяния при мысли о себе и человечестве. Он пытается превозмочь отчаяние словами «священного гнева» и защититься от него броней горькой иронии над господствующими общественными порядками. В конечном же итоге ему удается победить чувство безысходности благодаря активно оптимистической направленности его гуманистического мировосприятия,— в годину тяжелейших испытаний поэт оказался способным возвысить свой дух до героизма.

Борьба поэта за овладение трагической темой войны сопровождалась мучительными кризисами и поисками выхода. От поэтических образов, концентрирующих в себе весь ужас военного безумия, через постижение лживости религии современного общества («Ты светом послан? Нет, ты послан ложью, чтобы детей природы оглупить»), через горечь разочарования в современной культуре и интеллигенции («Культура — ха-ха-ха — ты людоедство!»), через гнетущее чувство отчаяния при мысли о слабости человека («Ты, человек! Ты — властелин природы?»), через разоблачение моральных и социальных причин войны («Но потрясет ли эта бездна зла тех, что стоят у власти, у кормила?») поэт подходит к основной проблеме «Кровавых сонетов»: каков исторический смысл этой трагедии человечества, способно ли человечество извлечь урок из этой трагедии и потом жить без войн?

Не умея ответить на этот кардинальный вопрос и не находя ответа на земле во всей прошедшей истории человечества, он обращается к высшему для себя нравственному авторитету, к богу («Боже, где ответ?»). Но вот ужас: и в сфере «божественного» разума поэт не находит ответа на мучающие людей вопросы. Бог отгораживается от них завесой безмолвного величия, абсолютность коего леденящим холодом убивает страстное стремление поэта к знанию:

А ты далек от здешней суеты.
Как в мае луг, как звезды в лунном поле,
сияешь ты на огненном престоле
в величии надмирной чистоты.

Перед этой непроницаемой твердыней «всеведения» снижается и накал речи поэта, штормовые валы гнева, отчаяния, скорби и горестных обвинений стихают, превращаясь в смиренную мольбу за ближних, за славянство, за словацкий народ, в мольбу о том, чтобы лавина тотального разрушения пощадила их («Прости его. Прости — и охрани!»).

Но неужели действительно поэт приходит к выводу, что не остается ничего другого, кроме как склонить выю и умолять неприступное божество о милосердии? И можно ли в таком случае говорить о героизме поэта, если мощный взлет его духа обернулся бессильным обращением к внеземному авторитету, во власти которого, он верит, прекратить военное безумие? Однако упадок духа есть лишь последний кризис, после которого наступает подъем — еще более мощный и победоносный. После всех этих приступов боли, разочарования, гнева, нерешительности и смиренных заклинаний поэт нашел **в себе** достаточно сил, чтобы самостоятельно, без божьей помощи дерзнуть представить себе живой завет новой, коренным образом лучшей жизни, которая

[1] Здесь и далее «Кровавые сонеты» цитируются в переводе В. Левика.

пробьется на свет из-под военных развалин и преобразуется своими собственными силами:

Вернись, вернись, желанный мир, мы ждем!
Чтоб ветвь оливы землю осенила...
. . . . . .
К высокому веди нас нелукаво,
к добру и правде,— раны заживи.
Какой триумф: восторжествует право
среди народов, тонущих в крови!
И труд наш станет доблестью и славой.
Открой нам царство братства и любви!

В этом финальном подъеме духа поэта представление о мире слилось с его представлениями об общественном идеале, «мир» становится для поэта синонимом «царства братства и любви», в основании которого — созидательный труд равных, вечный обновитель жизни. Эта победа добра над злом, победа идеи созидательной жизни над темными силами «своекорыстия», «спесивого самовластья», которые способны только душить и губить жизнь, придает окончательной развязке внутренней драмы автора «Кровавых сонетов» более широкий смысл. И в этом, несомненно, залог непреходящей актуальности его произведения.

Но заложен ли здесь и ответ на вопрос о месте отдельного человека во всем этом раздираемом противоречиями круговороте реального мира — вопрос, который с такой настойчивостью ставился много лет назад в его «Сонетах»? Да, ответом является сам пафос победы добра, обновления жизни, которым проникнуты «Кровавые сонеты». Горький опыт познания мира некогда побудил молодого автора к поэтическому бегству в космическую беспредельность, которая, собственно говоря, была всего лишь символом сферы «чистого», возвышающегося над противоречиями реальной действительности духа. Еще более горький опыт зрелых лет заставил поэта, напротив, решительно встать на сторону реальной жизни и выразить веру в творческую, созидательную сущность человеческого бытия уже не только не в отрыве от реальных связей с конкретной действительностью, а, наоборот, в активном включении в эти связи. Тем самым «Кровавые сонеты» стали диалектическим отрицанием «космических настроений» давних «Сонетов» и подлинным эпилогом всего многообразного поэтического творчества Гвездослава.

**СТАНИСЛАВ ШМАТЛАК**

*Перевод со словацкого И. БОГДАНОВОЙ*

Иллюстрации ЙОЗЕФА ШТУРДИКА

## 1

О крови петь? — как странно! — о какой?
О той ли, что, стыдливая, струится,
когда девичьи розовеют лица,
или о той, что в тихий час ночной,

когда лелеет ангел наш покой,
в лице ребенка светит, как денница,
иль воспевать святую кровь провидца?
Да! Все и вся такую песню пой!

Ты чудо, кровь! Из глуби сокровенной
ты, вечных сил чистейшее звено,
встаешь, как вал в пучине белопенной,
ты в сердце закипаешь, как вино,
и творчески объемлешь жизнь вселенной.
Но что ж! Торговцам смертью — все равно!

## 3

Ширяет лютый демон над землей,
и головня войны в руке громадной.
Взмахнет рукой — и вниз, как сера, смрадный,
как метеоров раскаленных рой,

летит огонь — двойной, тройной струей.
Людьми давно уж сон забыт отрадный.
Очнулись... голос рока беспощадный —
и страх навис над каждою семьей.

Где скрыться мне? — вскричал.— О боже, где
врата спасенья? В горной ли теснине,
в лесу, в пещере или на воде,
в чьей зыбкости — одна защита ныне?
Приюта нет... Побоище везде —
в морях и в небе, в чаще и в пустыне.

## 4

В побоище смешались все народы,
везде убийство, гибель и разгром,
из ружей блеск, из жерл отверстых гром,
и свист, и рев, и рвутся неба своды.

Астарте любо кровью красить воды.
Ложатся, как колосья под серпом,
мильоны тел, и кровь, и кровь кругом,
и сабли в ней нащупывают броды.

И ураган жестокости растет.
Свирепей тигров наш двуногий род,
и цвет его погиб в резне взаимной.
Где красота и радость? Там, в гробах.
Величья пурпур обратился в прах,
чертог познанья — в тлен и щебень дымный.

## 7

Ну, дожили! Какой везде разгром!
Как ширится невинной крови море!
И день за днем влачить в таком позоре,
участвовать всем нашим существом!

Мы под одним мучительным ярмом,
мир превращен в гигантский лепрозорий,
и средь пустынь — какая боль и горе! —
былой прогресс в обломках узнаем.

Мы, старики, зачем еще мы живы?
Чтоб видеть гибель и позор земли?
О, как вы, гости прошлых дней, счастливы,
вы мир хотя б во прахе обрели.
В гробах забвенье ужасов нашли вы —
блаженны те, что вовремя ушли!

## 9

В Христа ты веришь? Ложь! Ты лжешь во всем!
Язычников клянешь перед амвоном,
а стал вандалом, гунном разъяренным,
сам овладел их лютым ремеслом.

Ты бить поклоны ходишь в божий дом,
но в сердце служишь идолам зловонным,
и, значит, грош цена твоим поклонам
и страху перед божиим судом.

Ты светом послан? Нет, ты послан ложью,
чтобы детей природы оглупить
и с библией их гнать по бездорожью
в упряжке веры. Но тебе не скрыть
свой умысел: уча их слову божью,
их кровью за евангелье платить!

## 10

Ты, человек! Ты — властелин природы?
Ты вздумал направлять событий ход?
Но править миром вправе только тот,
кто сам себе глава и в злые годы.

И тот — герой доподлинной свободы,
кто каждому ее дары несет,
не то он вор, притворный доброхот,
всех обокрал — себя, страну, народы.

Сумбур умов, ничтожество сердец!
И духи сфер возвышенных в смятенье
забыли струны, слово, кисть, резец.
Сменилось тьмой высоких дум цветенье.
Так вот пути блестящего конец:
ночь варварства, развалины, паденье...

## 15

И дым, и гром — свирепствует война,
колотит, бьет в остервененье пьяном.
Оборотясь вторым Левиафаном,
как некий ад, разверзла пасть она.

И пасть ее бездонна и черна,
и счета нет увечиям и ранам.
Обломками блюет и прет тараном,
губя, круша земные племена.

Долой войну! Иль скоро всю планету,
как змей клубок, пустыни обовьют.
Где города тянулись к солнцу, свету,
там стоны, плач, безвинный гибнет люд.
Кого всевышний призовет к ответу?
Кого история — на правый суд?

## 16

Когда семья вечернею порой
сойдется на крылечке, отдыхая,
тут старый дед и бабушка седая,
внучат обняв натруженной рукой,

у мужних ног сидит часок-другой,
и каждый смотрит на небо, вздыхая.
Потом, прибрав на кухне, молодая
подсядет к ним, полна своей тоской.

Лишь дочка в сад ушла, другой тоскою
пронзенная: как все, ушел и *он*,
как брат ее, ушел навстречу бою,
на ту косьбу, где только кровь и стон.
Так кто за них ответит пред тобою,
за плач, и скорбь, и кровь со всех сторон?

## 19

Мильоны жертв... Долины наводнила
убитых кровь, и ранам нет числа.
Все, чем судьба так часто тяжела,
ничто пред тем, что бойня причинила.

Веков творенья губит злая сила,
и нива человечества гола.
Но потрясет ли эта бездна зла
тех, что стоят у власти, у кормила?

Придут ли сердцем к истине простой,
что к счастью путь единственно возможный —
не сабли путь кровавый, а другой,
что человек не раб, не червь ничтожный,
кровь не вода, не дело чести — бой...
И вложат ли свой меч кровавый в ножны?

## 21

А дальше что? Ты знаешь, но о том
тебя, всезрящий, я спросить не смею.
Я слабой мыслью все же разумею,
что было б глупым детским озорством

того пытать, кто правит бытием,
кто все, что в тайных думах я лелею,
превысил вечной благостью своею —
все, что хотим, чем дышим и живем

мы в нашей бренной жизни... Но планета
летит за солнцем — это твой завет —
в пространствах мира, в драме тьмы и света.
А нас, червей, ведет сквозь бездну лет
свободы стяг — за что нам милость эта?
и навсегда ли? Боже, где ответ?

## 22

Иль этим нас наказываешь ты?
Иль такова цена свободной воли?
Иль нас экзаменуешь ты, как в школе?
— Так мыслят те, кто сердцем нечисты.

А ты далек от здешней суеты.
Как в мае луг, как звезды в лунном поле,
сияешь ты на огненном престоле
в величии надмирной чистоты.

На распри, на раздор наш муравьиный
безгневным взором смотришь ты с высот
и думаешь: таков закон звериный —
война за жизнь, а там и за доход!
Но есть прогресс, и путь у всех единый.
Он их облагородит... мир придет!

## 24

И все-таки, о боже, удостой
ответом любопытство. Так ужасно
тревожиться вседневно, ежечасно,
забыв и сон, и отдых, и покой.

Мой дух томим смятеньем и тоской,
и сердце в муках над собой не властно.
Дай мне увидеть будущее ясно:
прорвется ли сквозь яростный прибой

славянство, как напрягший все ветрила
корабль? Открой, придут ли эти дни?
Пред ним разверзлась бездна, как могила...
Но ты наш покровитель искони!
Оно грешило, знаю, что грешило...
Прости его! Прости — и охрани!

## 30

Словачество мое, соколья стая!
Оно ли под знамена не летит,
оно ль не шутит: «Это не болит!» —
и кровь, и раны от людей скрывая.

И в нем живет надежда вековая,
что Произвол гоненья прекратит,
что даст нам жить, язык нам возвратит,
не скажет больше: речь их — не людская.

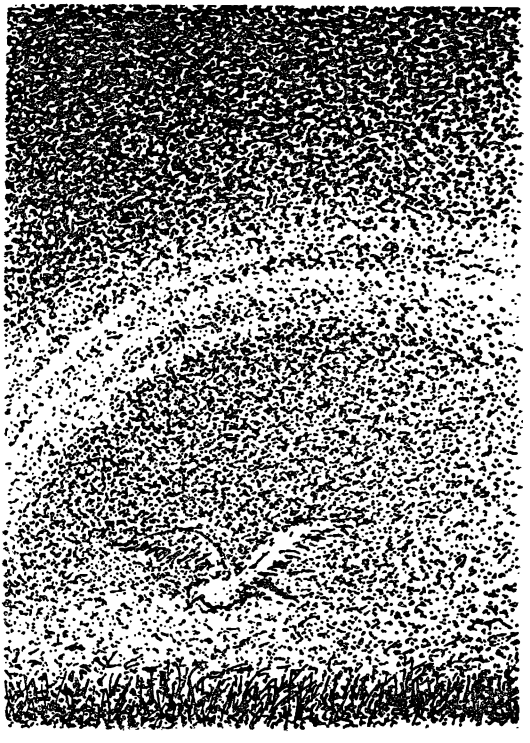
Мы знаем, что отчизна, наша мать,
накормит всех — нет у нее пристрастий.
Но мачеху хотят в ней воспитать
те себялюбцы, что везде у власти.
Да принесет гроза нам благодать —
в надежде этой для солдата счастье.

## 32

Прощайте, песни крови, порожденья
ужасных дней, когда со всех сторон
пылали и земля и небосклон,—
вы той поры жестокой отраженья.

Идите к ним, в их распри, их сраженья,
где хижин плач, где раны, кровь и стон.
Людским сердцам, глазам, забывшим сон,
я шлю вас для высокого служенья.

И сам в себе я вел смертельный бой,
от раны в сердце след остался жгучий,
но верится: народ увижу свой
уже идущий к жизни новой, лучшей.
Так пусть лазурь, омытая грозой,
скорей разгонит мстительные тучи!



# Критика

ЛЮДМИЛА ГВИШИАНИ

## АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — ДРУГ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Альберт Рис Вильямс—одна из знаменательных фигур мировой журналистики. Это был талантливый американский репортер, весьма преуспевший в годы первой мировой войны. Когда в России назревала революция, он вместе со своим коллегой и другом Джоном Ридом, каждый как представитель своей газеты, приехал в Петроград. Писал репортажи, а потом, вникнув в происходившие события, увлеченный ими, стал не только свидетелем, но и участником Октябрьской революции. Он знал Владимира Ильича Ленина, восхищался им. По совету Ленина он организовал из находившихся в Петрограде иностранцев Интернациональный отряд в защиту Октябрьской революции и вместе с ним выезжал на фронт. Вернувшись на родину, на основе собранного материала написал книги «Сквозь русскую революцию» и «Ленин — человек и его дело». Книги эти вместе с широкоизвестной у нас работой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», по существу, открыли мировой общественности смысл и значение Октябрьской революции; в них был создан правдивый портрет Владимира Ильича Ленина.

С тех пор Альберт Рис Вильямс и его жена, тоже журналистка, Люсита стали верными друзьями Страны Советов, время от времени посещали ее, путешествовали по ней, а затем печатно и устно в своих лекциях — даже в лихие времена, когда над Соединенными Штатами висела зловещая тень Джозефа Маккарти,— рассказывали правду о нашей жизни, о наших делах, о наших людях. После смерти мужа Люсита сделала все, чтобы его последняя книга «Путешествие в революцию» увидела свет. Это был итог многолетних раздумий над завоеваниями Октября, прийти к которому ему помог опыт прожитых дней.

Привлекая неизвестные архивные материалы, учитывая все то, что в них открывается для исследователя, Людмила Гвишиани написала интересную статью, которая предлагается сейчас читателям «Иностранной литературы». В этой статье раскрываются новые страницы из жизни Риса Вильямса, обретает новые краски образ славного американца, который лозунгом своей жизни сделал борьбу за взаимопонимание двух великих народов, живущих в разных социальных системах по обе стороны гигантского океана, но внутренне тяготеющих друг к другу.

**БОРИС ПОЛЕВОЙ**

«Рабочим и крестьянам России, погибшим, защищая революцию» — таким посвящением открывается книга «Сквозь русскую революцию»[1]. Ее появление в 1921 году в США не могло остаться незамеченным как прогрессивной общественностью, с симпатией взиравшей на развитие революционных событий в России, так и воинствующей империалистической реакцией, делающей все, чтобы извратить суть происходящих событий и скрыть правду о революции в России.

Автором этой книги, имевшей эффект разорвавшейся бомбы на фоне антисовет-

[1] На русском языке книга А. Р. Вильямса под названием «Народные массы в русской революции» впервые опубликована в 1924 г. *(Здесь и далее примечания автора.)*

ской клеветнической кампании, которая велась в то время в США, был Альберт Рис Вильямс.

Известно, сколь обширна и многопланова литература о Великой Октябрьской социалистической революции. Свое особое место в ней занимают книги выдающихся американских писателей Джона Рида и Альберта Риса Вильямса — оба были свидетелями революционных событий в России. Эти два имени, бесспорно, созвучны, как созвучно творчество писателей, в центре которого — великие революционные события, ознаменовавшие начало новой эры в истории человечества.

В 1883 году в США в местечке Гринвич, штат Огайо, в семье потомственного шахтера Уэльса Дэвида Томаса Вильямса родился сын. Его отец прошел сложный жизненный путь, характерный для многих американцев: шахтер, проповедник, продавец книг.

Детство Вильямса протекало в Хоэллсе, поселке в семидесяти километрах от Нью-Йорка. В 1898 году он закончил Ханкокскую среднюю школу. По свидетельству Говарда Вильямса, брата Риса, последний выбрал для своего выступления на выпускном вечере в школе тему «О верховной власти народа». Право выступить на этой встрече пятнадцатилетний А. Р. Вильямс заслужил как лучший ученик. В своем докладе он доказывал, что государственная власть должна принадлежать «не королям, императорам или крупным предпринимателям, а самому народу»[1].

Приверженность Вильямса к идеям социальной справедливости с первых самостоятельных шагов — явление, обусловленное самой жизнью. Проблемы, с которыми сталкивалась семья Вильямсов, были общими для всех американских рабочих. В конце XIX и начале XX века США испытывают серьезные экономические трудности, вызывающие рост безработицы в стране и обострение классовых противоречий. Это время постоянной борьбы американских рабочих за свои права — только с 1883 по 1907 год в США имело место не менее чем 40 000 забастовок на предприятиях. Время массового разорения американских фермеров, лишений и нищеты для прибывавших в США иммигрантов, время очевидного противоречия между громкими словами о справедливости, свободе, равенстве и реальной действительностью, отнявшей у людей надежду на будущее. Время появления в стране разнообразных социально-политических объединений, ставивших задачу поиска путей разрешения социальных противоречий.

По окончании школы в 1898 году Вильямс начинает свою трудовую деятельность на лесном складе в Нью-Йорке, где работали итальянцы и немцы, ирландцы и коренные американцы. «Среди них,— по словам Вильямса,— были сильные, выдающиеся характеры... были там мечтатели и люди эксцентричные и развращенные».

Семнадцатилетним юношей Рис поступает в церковную конгрегационалистскую школу — Мариетта колледж в Марионе, штат Огайо. Его успехи в учебе обусловлены достаточно глубокой подготовкой, умением самостоятельно работать. Он делает первые шаги как автор — пишет для литературного журнала колледжа статьи по вопросам истории и литературы. Вне стен колледжа он знакомится с основами социалистической теории, с организациями рабочих.

Проработав несколько лет в качестве рабочего и низкооплачиваемого служащего в торговле, в 1904 году он поступает в Хартфордскую теологическую семинарию, после окончания которой становится священником. Вильямс по-своему воспринимает эту миссию, пытаясь рассматривать ее как возможность проведения в жизнь идей социальной справедливости.

В 900-е годы в США создаются крупные профсоюзные объединения; в 1900 году путем слияния социал-демократической партии и части социалистической рабочей партии основывается социалистическая партия США. Некоторое влияние на рост числа членов социалистической партии имел и христианский социализм, широко проповедовавшийся в это время в США как учение о справедливом общественном строе, что само по себе явилось своеобразной формой выражения протеста эксплуатируемых классов против угнетения. Характерной особенностью учений домарксового социализма было непонимание закономерностей общественного развития и роли рабочего класса, способного революционным путем утвердить социализм на месте уничтоженного капиталистического способа производства.

Все это вместе взятое, безусловно, оказывало влияние на формирование взглядов и убеждений Вильямса, круг интересов которого был очень широк: теология и философия, литература и искусство. Он общался с людьми из разных слоев американского общества: бывал на шахтах, фабриках, в госпиталях, в тюрьмах, домах инвалидов и престарелых. Так углублялось его стремление быть активным в борьбе против социальной несправедливости.

Контрасты американской действительности: бедность рабочих кварталов и роскошь привилегированных — постоянно и со всей очевидностью напоминали о наличии неразрешимых в условиях капитализма социальных противоречий. Кризис 1907 года явился причиной потери работы десятками тысяч американских трудящихся, возникновения новых экономических проблем в жизни страны.

Вильямс обращается к изучению теорий социализма, результатом чего является специальная работа, которую он написал в семинарии,— «Общий обзор проблем социализма». В ней автор рассматривает взгляды многих выдающихся мыслителей от Роберта

[1] A. R. Williams. Through the Russian Revolution, with a biographical sketch of the author by Joshua Kunitz. N. Y. — L., 1967, p. XXXI.

Оуэна до Маркса и Энгельса, излагает взгляды Лафарга, Лассаля, Бебеля, а также английских фабианцев.

В его работах в этот период уже содержится критика капитализма. 29 июня 1907 года Вильямс принимает предложение редактора газеты «Нью-Йорк геральд» провести исследование, которое бы выявило влияние экономического кризиса на положение беднейших слоев американского общества.

Однако его надежда рассказать о бедственном положении трудящихся на страницах газеты не оправдалась. 1 июля 1907 года в газете появилась лишь небольшая заметка о том, что молодой священник Вильямс, прежде чем начать свою профессиональную деятельность, решил ближе узнать жизнь бедных. Первая попытка откровенно высказаться на страницах буржуазной печати глубоко разочаровала Вильямса.

До приезда в 1917 году в Россию Альберт Рис Вильямс предпринимает серию поездок по стране и за ее пределы. В 1907—1908 годах побывал в Англии, Франции и Германии. В журнале «Аутлук» публикуется его очерк «Социализм в английских университетах».

Будучи священником конгрегационалистской церкви Маверика Восточного Бостона, он прилагает все усилия к тому, чтобы знакомить прихожан со взглядами американских социалистов. Он принимает активное участие в выступлениях трудящихся Бостона и его округа в защиту своих прав, оказывает помощь в сборе денежных средств бастующим рабочим.

Эта деятельность не приносит удовлетворения молодому Вильямсу. Его влечет литературная работа, он хочет разобраться в процессах, происходящих в мире. Он регулярно ведет дневники, делает заметки, рассчитывая позднее написать книгу на тему «Церковь и профсоюзы». Книга эта не была создана, и, надо полагать, не случайно. Последующий опыт революционной работы в других странах, особенно в Советской России, привел Вильямса к новым темам.

Как свидетельствуют записи А. Р. Вильямса, он «находился в Европе в отпуске, когда разразилась первая мировая война»[1].

Став корреспондентом английского журнала «Аутлук», он переезжает из Англии на континент. Его путь лежит по следам германских войск, вторгшихся в Бельгию и Францию. Его арестовывают немцы, обвиняя на основании ложных показаний в шпионаже, и он едва избегает расстрела.

В 1917 году выходит в свет его первая книга «В когтях немецкого орла» — в ее основу положены лекции, в которых он разъяснял смысл развязанной Германией мировой войны.

В работах Вильямса периода 1907—1917 годов в центре внимания, как это отмечает его американский биограф Джошуа Кунитц,— проблемы американской истории, ее сравнительная молодость, противоречия между провозглашаемым поборничеством равноправия и реальной действительностью и т. п.

Джошуа Кунитц, оценивая эти десять лет творческой деятельности А. Р. Вильямса, пишет: «Этот американский материал фиксирует не только интерес Вильямса к социализму, но также постоянно расширяющиеся и углубляющиеся знания в вопросах социализма, постепенное изживание христианско-социалистических иллюзий, им на смену приходит принятие революции (даже насилия, если это необходимо) как единственного пути выхода из капиталистического тупика; он осознает роль интернационализма (sine qua non), неизбежно вытекающего из социалистической политики и этики; после 1914 года Вильямс — страстный борец против зла, порождаемого империализмом,— войн и империалистических завоеваний»[1].

Десять лет после окончания семинарии убедили Вильямса в эфемерности его стремления трансформировать христианскую церковь в ведущий орган социалистических преобразований. Он приходит к решению оставить приход Маверик и окончательно становится на путь литератора. Это происходит в 1917 году, когда в России быстро развиваются революционные события, привлекая к себе пристальное внимание ее друзей и врагов.

После февраля 1917 года сюда широким потоком двинулись представители политических, торгово-экономических кругов капиталистического мира, корреспонденты газет и журналов самых различных политических ориентаций. Правящие круги США были среди тех, кто возлагал большие надежды на буржуазную Россию как на среду выгодного вложения капитала.

Американская пресса спешно набирала корреспондентов для отправки их в Россию. В качестве корреспондента американской газеты «Нью-Йорк ивнинг пост» Вильямс 15 апреля 1917 года[2] выезжает в Петроград. По дороге он остановился в Стокгольме для участия в конгрессе социалистов.

1 июня 1917 года[3] вместе с Харпером, влиятельным советником по России в государственном департаменте США при президенте В. Вильсоне, Вильямс приезжает в Петроград.

С июня 1917 года по август 1918 года он постоянно находится в нашей стране. К моменту приезда он еще не был достаточно

[1] Датируется по записям, хранящимся в ГБЛ, отдел рукописей.

[1] A. R. Williams. Through the Russian Revolution, with a biographical sketch of the author by Joshua Kunitz, p. LXXI.

[2] Датируется по записям, хранящимся в ГБЛ, отдел рукописей.

[3] Датируется по записям, хранящимся в ГБЛ, отдел рукописей.

ЛЮДМИЛА ГВИШИАНИ

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — ДРУГ СТРАНЫ СОВЕТОВ

осведомлен об истинном положении дел, расстановке классовых сил, о целях и задачах различных партий и группировок. Он намерен был информировать американских читателей о делах Временного правительства, о положении в России после Февральской буржуазно-демократической революции.

Стремясь без предвзятости, объективно разобраться в сущности происходящих в России событий, Альберт Рис Вильямс в течение короткого времени знакомится с жизнью страны, со многими людьми самых различных убеждений: он беседует с представителями Временного правительства, с большевиками, имеет широкие деловые контакты с коллегами-журналистами, корреспондентами иностранных газет, пытается вникнуть в сущность программ и задач буржуазных партий России.

Постепенно его симпатии оказываются на стороне тех, кто борется за подлинные интересы народа, страны, за действительную свободу и демократию. Рис внимательно следит за развитием борьбы между различными партиями, с удовлетворением отмечает рост авторитета в массах, который теперь приобретает партия Ленина. В эти дни он вновь встречается с Джоном Ридом и становится его другом и единомышленником.

В течение года пребывания в России Вильямс, как накануне Октября, так и после свершения Октябрьской революции, много ездит по стране.

Теперь каждый день и месяц его жизни наполнены значительными событиями. Его публикации изобилуют интереснейшими фактами, литературными средствами он создает картины великих исторических событий, происходящих в нашей стране.

В июне 1917 года он участвует в работе I Всероссийского съезда Советов. Большевики еще ведут борьбу за преобладающее влияние в Советах, они на съезде в меньшинстве, здесь разворачивается острая классовая борьба, в которой сталкиваются основные политические силы России. В этой сложной обстановке в своем выступлении на съезде Вильямс берет на себя смелость открыто приветствовать развитие революционных событий в России. Рассказ Вильямса о съезде в книге «Путешествие в революцию», опубликованной посмертно в 1969 году [1], звучит сегодня как репортаж очевидца с места событий, донося до нас реальную, живую картину исторических для нашей страны событий. Он был свидетелем известного эпизода, когда министр почт и телеграфов меньшевик Ираклий Церетели заявил, что в России нет партии, которая бы сказала: дайте власть в наши руки, уйдите, мы займем ваше место; и когда в ответ со скамьи, где находились большевики, из глубины зала раздался решительный голос: «Есть такая партия». Это был голос В. И. Ленина. «Он прозвучал как грозное предупреждение Временному правительству и всем умеренным. Это был боевой клич»,— пишет Вильямс.

В своем кратком программном выступлении на I Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин сказал: «Одно из двух: или обычное буржуазное правительство — и тогда крестьянские, рабочие, солдатские и прочие Советы не нужны, тогда они будут либо разогнаны теми генералами, контрреволюционными генералами, которые армию держат в руках, не обращая никакого внимания на ораторство министра Керенского, или они умрут бесславной смертью. Иного пути нет у этих учреждений...» [1]. В сложившейся обстановке В. И. Ленин нацеливал партию большевиков на борьбу за взятие всей власти Советами рабочих и крестьянских депутатов.

Заявление В. И. Ленина вызвало негативную реакцию со стороны меньшевистских представителей на съезде. «Однако его 15-минутного выступления было достаточно,— по словам Вильямса,— чтобы на 24 часа уложить Керенского в постель... Во всяком случае ленинское «Есть!» стало переломным моментом в ходе революции». Симпатии Вильямса все более определенно связываются с партией большевиков, крепнет его вера в цели революционных преобразований русского пролетариата.

В книге «Путешествие в революцию» Вильямс писал, что уже к сентябрю 1917 года среди американцев, работавших в Петрограде, произошло размежевание. Большинство из них не разделяло оценок революционных событий, которые давали Джон Рид и Рис Вильямс.

Вильямс отмечал позднее, что они с Ридом были во многом романтиками, любителями приключений и совершенно неверно представлять их в сентябре 1917 года сознательными марксистами: «То, что Рид, помимо всего прочего, был бо́льшим романтиком, чем я, не только не мешало ему стать коммунистом (что я так и не сделал), но, возможно, даже ускорило этот процесс».

Люди буржуазного мировоззрения не могли поверить в искренность сочувствия американских журналистов большевикам. Вероятно, и большевики не сразу, а лишь постепенно стали понимать их. «Но удивительное дело,— пишет Вильямс,— они принимали нас такими, как есть, терпеливо объясняли непонятное или ожесточенно спорили — в зависимости от темперамента,— но, главное, доверяли нам».

Американское посольство внимательно следило за деятельностью обоих журналистов. Вначале их считали «одураченными простачками», позднее называли «жертвами большевистской пропаганды». «Были и такие,— пишет Вильямс в «Путешествии в революцию»,— со временем их мнение стало преобладать,— кто видел в них опасных типов, за которыми надо установить постоянную слежку».

Знакомство с группой русских большевиков — Восковым, Петерсом, Янышевым и другими, возвратившимися после Февраль-

[1] А. Вильямс. Путешествие в революцию. М., 1972.

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 264.

ской революции в Россию из США,— помогало им глубже понять общественно-политические процессы, происходившие в России, вникнуть в суть программы большевиков.

Наступил октябрь 1917 года. В канун штурма Зимнего дворца, в ночь с 25 на 26 октября, американские журналисты Луиза Брайант, Джон Рид и Альберт Рис Вильямс направились из Зимнего дворца в Смольный. В этот момент еще никто не знал, что Керенский с помощью американского посольства бежал из Зимнего. «Когда мы подходили к арке Генштаба, раздалось три выстрела. Ответных выстрелов не последовало. Тогда со всех сторон к Зимнему дворцу ринулись красногвардейцы, солдаты и матросы... Люди бросились к небольшой единственной открытой двери дворца. Мы перелезли через баррикады и тоже побежали. Огромный дворец теперь был ярко освещен».

Зимний был взят в то время, когда в Смольном шел II съезд Советов, где большевики также одержали полную победу. Здесь, в этот исторический день, В. И. Ленин заявил, что свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, наступила новая эра и практически встала задача создания социалистического государства.

Это выступление Владимира Ильича произвело неизгладимое впечатление на Вильямса, так же как и те встречи, которые он имел с ним неоднократно. В. И. Ленин был для него человеком необычайной силы интеллекта и простоты: «Личность Ленина ставила нас в тупик: человек абсолютной непринужденности, он был в то же время начисто лишен того, что называют внушительностью. Его подход даже к самым большим вопросам казался на первый взгляд прозаическим».

В своих воспоминаниях Вильямс подчеркивал, что во время встреч с В. И. Лениным он неизменно восхищался его верой в массы, готовностью смело браться за любую проблему, которая вставала перед ним, умению вскрывать всю ее глубину. «Я не переставал удивляться этой свободе, которая объясняет и полное отсутствие какого бы то ни было страха за себя лично, отсутствие какого бы то ни было позерства». Чувство юмора и способность радоваться никогда, по мнению Вильямса, не изменяли В. И. Ленину, проявляясь в тысячах мелочей — в том, как он ходил, как читал газету, с какой страстностью и точностью решал каждую задачу.

Охваченный общим революционным подъемом, Альберт Рис Вильямс вместе с Джоном Ридом в качестве корреспондента едет на фронт; затем возвращается в революционный Петроград. Здесь Вильямс на несколько часов становится пленником мятежных юнкеров на телефонной станции; человек большого личного мужества, он помогает освобождению Антонова-Овсеенко, схваченного юнкерами в момент мятежа. Вильямс и Рид — свидетели саботажа бывших государственных служащих министерства иностранных дел России, служащих банков; они воочию видят напор сил контрреволюции, стремящихся задушить молодую Страну Советов, переживавшую последствия войны, голода, разрухи.

Правящие круги империалистических держав делают все, чтобы правдивая информация о Советской России не появлялась на страницах западной прессы. В США закрывают прогрессивный журнал «Мэссиз», а его корреспонденту Джону Риду вменяется в вину публикация статьи «Сшейте смирительную рубашку для вашего бравого солдата», призывающей покончить с войной.

В это время для Советского государства с особой остротой встает задача раскрыть сущность антинародной политики воюющих империалистических держав перед их народами, рассказать о внешней политике советской власти, о ее стремлении к миру и взаимопониманию с народами всех стран.

С этой целью при Наркоминделе в начале 1918 года создается бюро пропаганды, задача которого состоит в том, чтобы распространять листовки, плакаты, брошюры о Стране Советов, призывать к окончанию империалистической войны. Вместе с большевиками в бюро работают иностранцы-интернационалисты, среди них — Джон Рид и Альберт Рис Вильямс.

В чрезвычайно тяжелой обстановке борьбы с внутренней контрреволюцией, активно поддерживаемой международной империалистической реакцией, шли переговоры в Бресте для заключения перемирия с Германией. Страны Антанты и США отказались от участия в этих переговорах; их ставка была на реставрацию капитализма в России.

Вильямс писал, что монархи, стоявшие у власти, «либеральные партии Запада дрожали от страха, боясь, как бы «большевистский вирус» не перекинулся на их страны». В Америке поднялась «истерическая кампания» против организации «Индустриальные рабочие мира», против иностранцев вообще. Это было прелюдией к антикоммунистическому «крестовому походу» 1919—1920 годов.

Советская Россия приступила к формированию своей регулярной рабоче-крестьянской армии.

Первая в мире социалистическая республика возлагает большие надежды и на солидарность пролетариата других стран. Партия большевиков развертывает огромную работу, организуя многочисленные собрания, митинги, съезды, борясь за укрепление интернациональной солидарности международного пролетариата. Крупнейший интернациональный митинг состоялся в Петрограде в январе 1918 года. Вспоминая о нем много лет спустя, Вильямс писал: «Интернационализм, который в июне, когда я приехал, был едва заметным ручейком, теперь превратился в могучую реку со своими собственными водоворотами, и, пожалуй, выс-

---

ЛЮДМИЛА ГВИШИАНИ

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — ДРУГ СТРАНЫ СОВЕТОВ

шей точкой проявления этого интернационализма был митинг в цирке «Модерн».

...Что касается Рида и меня, то митинг в цирке «Модерн» произвел на нас глубочайшее впечатление и заставил осознать нашу собственную ответственность перед революцией».

Это были первые шаги к созданию III Интернационала, окончательно оформленного на съезде в марте 1919 года в Москве.

Чрезвычайно обострилось положение Советской республики в феврале 1918 года. Правительство Германии во время мирных переговоров в Брест-Литовске начало военные действия. Совет Народных Комиссаров обратился к народу революционной России с призывом: Социалистическая Республика в величайшей опасности.

Вильямс откладывает возвращение на родину и решает вступить в Красную Армию. «Я хотел сдержать слово, которое дал первым новобранцам Красной Армии... в тот день, когда Ленин подсказал мне русское слово «вступить». Сегодня, через месяц с лишним, 22 февраля настал именно тот час, когда я должен был «вступить». Он идет в Смольный, к В. И. Ленину, чтобы рассказать о своем намерении. Владимир Ильич горячо поддержал его, однако отметил, что люди, симпатизирующие революции, в том числе журналисты, представляют для революции «скорее моральную ценность, чем военную». «Один иностранец много не навоюет. Может быть, вы найдете еще кого-нибудь?» — спросил В. И. Ленин. «Я ответил, что попробую сколотить небольшой отряд. Так родилась идея Интернационального отряда».

24 февраля 1918 года в «Правде» было опубликовано сообщение о создании Интернационального отряда Красной Армии при одной из воинских частей Петрограда (в помещении бывшего гренадерского гвардейского полка). Были определены и некоторые организационные вопросы; разговорным языком отряда объявлялся английский. Как сообщила Всероссийская коллегия организации и управления Красной Армии, инициаторами формирования отряда были американские социалисты Альберт Вильямс и Самуил Агурский, которые обратились с воззванием ко всем, кому дороги интересы русской революции. «В эту страшную мировую войну,— говорилось в воззвании,— всей демократии угрожала опасность, интернациональные силы были разрознены, и рабочий класс повсюду скован империалистами всех стран. Из всеобщей тьмы внезапно запылал свет русской революции, пробуждая великие надежды человечества». В нем звучала озабоченность тем, что рабочий класс других стран еще не пришел на помощь русской революции, в то время как германские армии готовят удар в сердце Страны Советов — Петроград.

Вскоре в отряд записалось шестьдесят человек. Это было небольшое подразделение, однако, пишет Вильямс в книге «Путешествие в революцию», «если наш Интернациональный отряд и не внес большого вклада в дело революции, то, по крайней мере, он послужил еще одним доказательством ее организованной силы, так как уже через несколько недель наша разношерстная компания была спаяна в довольно крепкую военную единицу». В марте 1918 года, когда столица была перенесена из Петрограда, Интернациональный отряд также переехал в Москву.

Неукротимая натура Вильямса требует новых действий. Он размышляет над тем, где может принести больше пользы делу Октябрьской революции. Вскоре, в апреле 1918 года, он принимает решение возвратиться в США. Стремление сделать что-нибудь на родине для предотвращения интервенции, пишет он позднее, отодвинуло на второй план все остальные замыслы. В конце апреля или начале мая 1918 года Вильямс вместе с американцем, профессором Кунцем, готовится к отъезду. Покидая страну, он хочет еще раз встретиться с Владимиром Ильичем.

Это была его последняя беседа с В. И. Лениным. Они говорили о серьезных трудностях, с которыми сталкивается страна,— о голоде, разрухе, интервенции. Вильямс и Кунц планировали свое возвращение в США через Владивосток, их путь должен был пройти через Сибирь. Давая документ, представляющий их советским властям в Сибири и на Дальнем Востоке, В. И. Ленин сказал, что они направляются, по его мнению, в первый пункт интервенции Антанты, что японцы и англичане уже готовятся вступить в эти районы. В. И. Ленин предположил тогда, что американские войска могут начать оккупацию до того, как Вильямс и Кунц доберутся до Владивостока.

25 апреля 1918 года А. Р. Вильямс начинает долгий и полный самых разнообразных событий путь.

Все, что с ним происходило в дороге, свои наблюдения Вильямс описывает в книге «Сквозь русскую революцию». Эта книга, на наш взгляд, стоит в одном ряду с книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Адресуясь к американскому читателю, она раскрывает правду о революционных событиях в России. Главный герой книги — Великая Октябрьская социалистическая революция.

Читая эту книгу, невольно думаешь о том, что автор ее создает какой-то новый жанр в литературе.

В своем документально-художественном произведении Вильямс воспроизводит реальные жизненные картины, отражающие период перерастания Февральской буржуазно-демократической революции в Октябрьскую, социалистическую. Здесь постоянная динамика событий и образы людей, искренне преданных социалистической революции, несущей освобождение от гнета своих и чужестранных угнетателей. Автору всегда присуще его личное понимание событий, основанное на стремлении объективно разобраться в происходящем.

Композиционно книга делится на четыре части и имеет приложение. «Творцы рево-

люции» — так озаглавлена первая часть, повествующая о I съезде Советов, о тех большевиках, которые, вернувшись на родину после Февральской революции из эмиграции в США, вместе с товарищами по партии отдавали свои силы и знания, а если требовалось, и жизнь за победу Октября.

Творцы революции — это крестьяне, рабочие, солдаты. В первой части Вильямс выделяет такие разделы, как «Большевики и город», «Первому Всероссийскому съезду Советов», «Большевики дают о себе знать», «Возвратившиеся из Америки большевики». В них он рассказывает о демонстрациях в Петрограде весной и летом 1917 года, о расправе с большевиками; о событиях в деревне в период до Октября 1917 года, о положении в русской армии, на флоте.

«Революция и последующие дни. Среди белых и красных» — вторая часть книги, в которой повествуется о главных событиях Октябрьской революции: «Вся власть Советам!», «7 ноября — новая историческая дата», «Во время штурма Зимнего дворца», «Красная гвардия, белая гвардия и черная сотня», «Прощание, или Смерть белым», «Война классов», «Создание нового строя». Эта часть книги — кульминация всего произведения А. Р. Вильямса. В рассказе автора о революционных событиях в России дан глубокий социальный и психологический анализ происходящих процессов. Образ революции создается путем раскрытия образов отдельных людей — ее вершителей, а также народа в целом.

Понимая многие особенности и специфику революционной обстановки в стране, Вильямс, например, убедительно объясняет, почему советская власть вынуждена была ответить террором на белый террор. «...Если бы союзники не вторглись в Россию,— писал Вильямс,— и не раздували пожар гражданской войны против Советов, то, по всей вероятности, не было бы никакого красного террора и революция до самого конца оставалась бескровной, какой практически она и была вначале». Необычайно искренне и справедливо звучат слова Вильямса и сегодня, когда не прекращаются клеветнические выпады как в адрес нашей страны, так и многих других стран, вступающих или идущих по пути социалистического развития. Наши враги пользуются теми же избитыми приемами, что применялись и шестьдесят лет назад против первой Страны Советов.

Саботаж, отказ от работы служащих старого государственного аппарата, использование печати в целях антисоветской пропаганды, контрреволюционная деятельность духовенства и Учредительного собрания — вот внутренние объективные трудности, с которыми столкнулась советская власть в период своего становления.

«Размах революции. В экспрессе через Сибирь» — третья часть книги. В ней рассказывается о событиях, происходивших в апреле — мае 1918 года в городах и селах Сибири, лежавших в районе Транссибирской железной дороги. «Степи восстают», «Бывшие каторжники Черемхово», «Владивостокский Совет и его руководители», «Местный Совет за работой» — уже сами названия глав этой книги красноречивы.

1 июня 1918 года А. Р. Вильямс прибыл во Владивосток [1], где за шесть месяцев Советы, по его выражению, «пустили глубокие корни». Империалистические державы готовили интервенцию, на рейде Владивостока стояли их военно-морские суда.

Книгу завершает четвертая часть — «Триумф революции. Советы противостоят капиталистическому миру», в которой автор рисует картины мужественной борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке: «Союзники уничтожают Совет», «Красные похороны», «Отъезд», «Взгляд назад». Известно, что с первого дня Октябрьской революции союзники бывшей царской России ожидали ее падения. Однако, пишет Вильямс, «Советы укреплялись в экономической и военной областях. В сфере культуры и дипломатии они проводили наступательную политику».

«Если советская власть утвердится в России, то империалисты,— продолжает А. Р. Вильямс,— должны будут расстаться с надеждой беспрепятственно эксплуатировать неисчерпаемые богатства России». О планах такого рода открыто сообщала буржуазная печать. «То, что мы сейчас наблюдаем в России, является началом великой борьбы за ее неизмеримые ресурсы сырья»,— говорилось в журнале англо-русских финансовых кругов «Россия» (май 1918 года). А газета «Лондон файнэншл ньюс» в ноябре 1918 года со всей откровенностью писала, что события все более принимают характер, «свидетельствующий о тенденции к установлению над Россией международного протектората по образцу и подобию британского плана для Египта. Такой поворот событий превратил бы русские ценные бумаги в сливки международного рынка».

В своей антисоветской борьбе империалисты использовали все возможные силы контрреволюции в России, войска Англии, Франции, США и Японии, введенные на ее территорию, а также чехословацкие войска, оказавшиеся к моменту Октябрьской революции на Транссибирской железнодорожной магистрали.

29 июня 1918 года председателю исполкома Владивостокского Совета т. Суханову чехословаками было предъявлено требование безоговорочной капитуляции, полной ликвидации Советов. Чехи, японцы, англичане — все одновременно оккупируют город. Сопротивление защитников здания Владивостокского Совета было сломлено вооруженными силами интервентов. Участники сопротивления погибли в бою. Но народ не прекращал борьбы.

4 июля 1918 года тридцать тысяч жителей Владивостока прощались с жертвами

[1] Датируется по записям, хранящимся в ГБЛ, отдел рукописей.

---

ЛЮДМИЛА ГВИШИАНИ
АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — ДРУГ СТРАНЫ СОВЕТОВ

интервенции, процессия символизировала силу и мощь непокоренного народа.

Вскоре и американские войска высадились во Владивостоке и вместе с японскими войсками вторглись на территорию Советской России.

Положение Вильямса во Владивостоке стало чрезвычайно опасным. Чехословацкий корпус легионеров и белые стремились разделаться с ним как со сторонником власти Советов. 15 июля 1918 года он покидает Владивосток, направляясь в Шанхай, где его заставляют в течение месяца ожидать решения о предоставлении визы на въезд в США. Только 20 августа ему позволяют покинуть Шанхай. 15 сентября 1918 года Вильямс прибывает в Сан-Франциско.

Три дня сотрудники американской военно-морской разведки допрашивали Вильямса. У него были изъяты все привезенные документы, записные книжки, материалы, и только после этого ему было разрешено направиться в Вашингтон. Так завершилось первое пребывание Вильямса в Советской России.

Возвратившись на родину, Вильямс ездит по стране с лекциями, много пишет в прогрессивных газетах, журналах об Октябрьской революции, о людях Советской России, о В. И. Ленине — вдохновителе революционных дел и свершений. Выступления Вильямса — это рассказ о подлинных событиях в Советской России, о положении в стране, о судьбах большевиков, лучших представителях русского народа, отдающих силы, а порой и жизнь борьбе за счастье людей. Слово А. Р. Вильямса прорывало заговор молчания и клеветы, которым империалистические державы окружали первое в мире социалистическое государство.

В 1919 году Вильямс опубликовал две брошюры: «76 вопросов и ответов о большевиках и Советах» и «Советская Россия и Сибирь». В этот же год выходит в свет его книга «Ленин — человек и его дело» [1]. Это практически первая биографического характера работа в США о В. И. Ленине.

Работа над книгой о В. И. Ленине была начата Вильямсом еще в 1918 году. В предисловии к изданию книги на русском языке он вспоминает, что первые черновые наброски он сделал на одном из островов в бухте Золотой Рог близ Владивостока. В это время Владивосток внезапно захватили интервенты. В суматохе он потерял свои рабочие материалы. Однако год спустя Вильямс начинает работу над книгой, о которой говорилось выше,— «Сквозь русскую революцию».

О своей деятельности по возвращении в США в 1918 году Вильямс писал много позднее: «В свободное время, не занятое докладами и дискуссиями по вопросу о русской революции, которые мы проводили в разных городах Америки, я завершил работу над обеими книгами [1]. Они были переведены на многие языки мира...»

Книга Вильямса о В. И. Ленине появилась в тот период, когда в США было опасно писать о Советской России в доброжелательном духе. Иногда отдельные редакторы отваживались что-либо напечатать, однако это заканчивалось, как правило, так же печально, как это было с редактором журнала «Азия», опубликовавшим в августе 1919 года статью А. Р. Вильямса о В. И. Ленине. Был инспирирован поток обвинительных писем в редакцию, количество подписчиков сократилось, клиенты журнала перестали помещать в нем объявления, а некоторые напуганные этим сотрудники отказались от работы в журнале.

Печать стран Антанты и США была переполнена всевозможными измышлениями о Советской России, о Советском правительстве и его главе Владимире Ильиче Ленине.

В эти трудные для нас годы наш искренний друг ставит перед собой задачу противопоставить измышлениям правду о нашей стране, о ее выдающемся деятеле — Владимире Ильиче Ленине. Он показывает в своей книге образ революционера, творца нового, социалистического государства, человека высоких моральных качеств.

Вильямс обладал неоспоримым преимуществом перед многими иностранцами, когда-либо писавшими о В. И. Ленине, так как они не имели возможности ни встречаться, ни говорить с ним. Они, по словам Вильямса, большую часть своих сообщений основывали на слухах, догадках или же выдавали за правду голый вымысел. Работа Вильямса базировалась на наблюдениях и выводах, полученных от личного общения с Владимиром Ильичем. Встречи эти были не только эпизодическими. Вильямс виделся с Лениным неоднократно в Петрограде, в марте 1918 года они ехали в одном поезде в Москву из Петрограда и по приезде в Москву в течение двух месяцев он жил в одной с В. И. Лениным гостинице «Националь».

В предисловии к русскому изданию А. И. Елизарова, одна из старейших членов партии, отмечала, что Вильямс старался войти в самую гущу нашей революции, познать ее движущие силы, соотношение классов, значение и корни большевизма не только без всякой предубежденности, которая тогда была преобладающим настроением среди иностранной интеллигенции, но и с искренним и чутким стремлением понять революцию, творимую массами.

Советский исследователь литературного творчества Вильямса И. В. Киреева в работе «Альберт Рис Вильямс. Очерк творчества» (1973) правильно, на наш взгляд, подчеркивает, что, чем дальше в прошлое уходят незабываемые события Великого Октября, тем более очевидной становится

[1] На русском языке книга А. Р. Вильямса «Ленин — человек и его дело» впервые опубликована в 1925 г.

[1] Имеются в виду «Ленин — человек и его дело» и «Сквозь русскую революцию».

роль Вильямса и его книги в освещении русской революции, в истории русско-американских связей.

Вильямс не был коммунистом, но объективно он всегда глубоко сочувствовал революционному пролетариату России. Его позиция является доказательством того, что честный, реалистически мыслящий человек, «исповедующий порядочность», может понять и отразить в своих произведениях идеи и чаяния передовых людей своего времени. Художественные достоинства произведений Вильямса получили высокую оценку в исследованиях советских литературоведов [1].

«Сквозь русскую революцию»,— пишет И. В. Киреева,— один из первых образцов художественно-документального эпоса в зарубежной литературе XX века. Главные герои книги — народные массы, свершившие Великую Октябрьскую революцию».

Как и всякое историческое исследование, изучение величайшего революционного поворота в России опирается в книге Вильямса на исторические документы, запечатлевшие события, факты, тенденции, и потому они служат для исследователя источником, никогда не утрачивающим своего значения. Вместе с тем исторические документы во многом дополняются и обогащаются достоверными свидетельствами очевидцев, особенно если эти свидетельства отражают глубокое понимание причинной обусловленности происходящих событий.

Выступления Вильямса перед американцами с рассказами о Советской России, его печатные произведения не укрылись от внимания американской реакции.

Опасаясь проникновения в США революционных идей Октября, американские правящие круги через юридический комитет сената устанавливают жесткий контроль за всеми лицами, прибывшими из Советской России. Основная масса допрашиваемых комиссией под председательством сенатора Овермэна [2] состояла из антисоветски настроенных политических эмигрантов, полицейских провокаторов, бывших американских официальных представителей при буржуазном правительстве России, которые с готовностью давали показания, извращающие картину реальной действительности в Советской России.

Вызову Вильямса в комиссию предшествовала шумиха, которую подняли вокруг его имени в печати; газеты сообщали, что он отказывается прийти в комиссию.

Слушание состоялось 22 и 24 февраля 1919 года. Вопросы, задававшиеся Вильямсу, свидетельствовали о намерении членов комиссии обвинить его в содействии свержению государственного строя США, в антиамериканской пропаганде.

«А вы не призывали в своих выступлениях или статьях к установлению советской формы правления в Америке, не вели пропаганду за установление в США такой же формы правления, как в России?» — спросили Вильямса.

Американцы не должны смотреть на Россию, отвечал Вильямс, как на страну сплошного хаоса и разрухи, они должны понять, что в России честно пытаются создать такое правительство, которого хочет народ. «Я призывал,— сказал он,— американский народ дать России возможность определить свою собственную судьбу и пойти собственным путем».

Вильямс обратился к сенаторам с призывом проявить мудрость: сто лет назад в Европе не могли оценить всемирно-историческое значение французской революции и теперь в Америке «заблуждались» по поводу Октябрьской революции в России. При этом он отметил, что как бы не пришлось Америке через шестьдесят лет «краснеть и извиняться за неправильные выводы о русской революции, которые были сделаны без анализа событий... без учета подлинных идеалов русской революции».

Доводы Вильямса были отвергнуты представителями правящих империалистических кругов. Сенатор Уолкотт оставил для истории свидетельство своей ограниченности в политических прогнозах, заявив, что «оценка, которую дадут русской революции через шестьдесят лет, будет скромнее вашей».

Сегодня в нашей стране глубоко чтят Альберта Риса Вильямса — искреннего и последовательного друга Страны Советов. 25 октября 1977 года в статье, посвященной Вильямсу, «Правда» писала, что «Вильямс стал взволнованным летописцем исторических событий, одним из горстки прогрессивных иностранцев, кто, идя наперекор заполнявшему буржуазную прессу потоку лжи и клеветы на революцию, нес людям на Западе правду о Ленине, большевиках, о начавшемся в отсталой России строительстве самого передового, самого гуманного общества на земле».

Произведения Вильямса — это рассказ о рождении Страны Советов, нового общества, которому принадлежит будущее. Они относятся к числу выдающихся публицистических произведений, имеющих непреходящее значение и большую историческую ценность.

1917—1921 годы были годами наивысшего творческого подъема А. Р. Вильямса. Оценивая его деятельность в биографическом очерке, предпосланном переизданию в США в 1967 году книги «Сквозь русскую революцию», Дж. Кунитц писал, что с окончанием работы над книгой «завершился наиболее драматический, полный вдохновения и созидания период в жизни Вильям-

---

[1] См.: Б. А. Гиленсон. Октябрь в литературе США. 1917—20 гг. М., 1968.
И. В. Киреева. Альберт Рис Вильямс. Горький, 1973.

[2] Документы о деятельности комиссии Овермэна были опубликованы в «Иностранной литературе» № 4, 1963.

---

ЛЮДМИЛА ГВИШИАНИ
АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — ДРУГ СТРАНЫ СОВЕТОВ

са. Четыре блистательных года. Он видел и активно участвовал в событии, имеющем решающее значение в истории: в первой (существует единственная первая) социалистической революции, охватившей десятки народов и национальностей, населяющих более чем одну шестую земного шара. Он исколесил мир, чтобы возвратиться домой и передать эти радостные новости своим соотечественникам». И это Вильямс сделал, подчеркивает Дж. Кунитц, в то время, когда его страна, «дезинформированная и сбитая с толку... вела вооруженную, политическую и психологическую войну против молодой социалистической республики. Не боясь травли, угроз, клеветнических измышлений, он со всей энергией и талантом твердо защищал правду... Он создал работы, которые, по мнению уважаемых им критиков, явились «произведениями искусства» и, по мнению тех, кто «не ладил с ним», были лучшими произведениями о русской революции».

Страна Советов стала главной темой всей творческой жизни Вильямса. Искреннее желание понять государственный механизм общества, отвечающего интересам трудящихся, познать его людей помогало Вильямсу в поисках ответа на многие волновавшие его социальные проблемы.

Весной 1922 года Вильямс снова возвращается в нашу страну. Теперь он проводит здесь почти пять лет. Близко знакомится с жизнью деревни. Результатом этого периода жизни Вильямса становится книга — «Русская земля» [1].

Это пребывание Вильямса стало знаменательным и в его личной жизни. В январе 1923 года он женился на Люсите Сквайер, американской сценаристке, с которой познакомился еще в Нью-Йорке. В сохранившихся записях А. Р. Вильямс замечает, что они с Люситой решили «набраться как можно больше опыта, часто отправлялись врозь в город или деревню, а затем встречались, чтобы обменяться впечатлениями».

Склонная к литературной работе, Люсита проявляла огромный интерес к испанскому и русскому языкам. Она «легко вступала в контакты с людьми и пополняла мою работу ценными наблюдениями и фактами. В течение этого времени она два лета работала над сценариями в Лондоне, которые, так же как и мои книги и рассказы, напечатанные в России и Америке, давали нам средства на жизнь» [2],— писал Вильямс.

Вильямсы побывали в Самаре, Сызрани, Хвалынске, Вольске, Саратове. В течение всей жизни они неоднократно возвращались к воспоминаниям об этих годах.

О том, с какой радостью, пятьдесят лет спустя, они узнали о судьбе тех, с кем встречались на Волге в 20-е годы, повествует в своих рассказах «Товарищ Вильямс» и «Советские друзья Вильямса» Ю. Песиков [1]. По возвращении в 1927 году в США Вильямсы поселяются в Калифорнии. Общаясь с писателями, с актерами Голливуда, американской прогрессивно настроенной интеллигенцией, Вильямс продолжает работу по изучению Советского Союза. Его интересует все — пятилетний план, коллективизация, вопросы образования, искусство, культура страны. Он готовится написать еще один труд о Советском Союзе, куда он приезжает в 1930 году. В Москве, в издательстве «Молодая гвардия», выходит перевод его работы о В. И. Ленине.

Несколько лет спустя, в 1937 году, когда буржуазная пропаганда обрушивает на Советский Союз новые шквалы лжи и клеветы, Вильямс публикует книгу «Советы» [2]. «Советы» — большое публицистическое произведение объемом около 600 страниц. Во вступлении Вильямс подчеркивает, что его цель — дать картину советской жизни, познакомить американского читателя с планами и перспективами Советской страны. Особое внимание автор уделяет развитию культуры в Советском Союзе: литературе, музыке, изобразительному искусству, театру. Завершает работу глава, посвященная миролюбивой политике Советской страны на протяжении всей ее истории.

Зимой 1937—1938 годов Вильямс вновь приезжает в Советский Союз, а затем — в Испанию, где идет национально-освободительная война. Его корреспонденции из Испании «призывают прекратить блокаду, от которой выигрывают только мятежники».

Известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз застало Вильямсов в Канаде, где они жили на острове Ванкувер. Он получил телеграмму от представителя ТАСС в Нью-Йорке с просьбой сделать заявление для советской прессы. Как вспоминает Люсита Вильямс, это известие очень взволновало Риса. Он стал диктовать текст. «В статье,— пишет Люсита в предисловии к русскому изданию книги А. Р. Вильямса «Путешествие в революцию»,— Рис выразил не только свою любовь к русскому народу, но и гордость за его стойкость и героизм, которые были ему хорошо известны, свою глубочайшую веру в Красную Армию и в идеалы, за которые она сражалась, он выразил твердую уверенность в полной победе советского народа над фашизмом».

Вскоре США официально присоединяются к антигитлеровской коалиции. Линия президента Ф. Рузвельта в советско-американских отношениях военного времени дает возможность А. Р. Вильямсу в полный голос высказывать свои мысли о Советском Союзе, о советском народе. «Теперь,— пишет Люсита,— он был повсюду признанным

[1] A. R. Williams. The Russian Land. N. Y., 1928.

[2] Записи, хранящиеся в отделе рукописей ГБЛ.

[1] Ю. В. Песиков. Товарищ Вильямс, Саратов, 1967.
Ю. В. Песиков. Советские друзья Вильямса. М., 1972.

[2] A. R. Wiliams. The Soviets. N. Y., 1937.

авторитетом по вопросам, касающимся России, интерес к его лекциям чрезвычайно возрос. Он собирал огромные аудитории, и все сборы шли в фонд организации «Помощь России в войне».

В 1942 году, по возвращении в Нью-Йорк, Вильямс работает над переизданием книги «Советы». Дополненное и расширенное, оно выходит в 1943 году под названием «Русские: страна, народ и за что они сражаются».

«По этой книге, которая широко использовалась в войсковых библиотеках действующей армии, американские солдаты составляли представление о советском народе. Друзья Альберта рассказывали, что видели эту книгу на столе у президента Рузвельта»,— пишет Л. Вильямс.

В январе 1943 года в журнале «Эйша энд Америкас» появляется статья Вильямса «Советская народная армия»; это одна из характерных работ того времени. В ней автор рассказывает о Советской Армии и ее единстве с народом, о советском вооружении, о военной технике, о создании партизанских объединений — армий, которые вели войну в тылу у врага. Заключительный раздел статьи называется «И все же они любят мир». Вильямс завершает статью словами о том, что русские придают особое значение миру. Советские люди несут потери так же, как и солдаты других армий— канадцы, чехи, китайцы, голландцы, норвежцы, однако, продолжает он, американцы потеряли в этой войне десятки тысяч, советские люди — миллионы.

К концу второй мировой войны вместе с ликвидацией угрозы для капиталистических стран со стороны фашистской Германии менялась идеологическая направленность их печати, в том числе и в США. Советский Союз выполнил свою миссию защиты народов от порабощения фашизмом. «Силы реакции начинали новую антисоветскую кампанию, отравляя умы подозрением, извращая факты и не гнушаясь открытой клеветой. Тесное сотрудничество с русскими союзниками в общей борьбе против Гитлера сменилось «холодной войной», которая грозовой тучей повисла над нашими странами. Альберт одним из первых попал в «черные списки», и мы решили вернуться в Канаду, на остров Ванкувер, где работали и жили как простые крестьяне»,— писала позднее Люсита.

В 1959 году Альберт Рис Вильямс в последний раз побывал в Советском Союзе. Он приехал к нам снова вместе с женой по приглашению Союза советских писателей. На закате своего творческого пути, в возрасте 76 лет, он воочию смог убедиться в том, что его чаяния и надежды оправдались. Разрушенная двумя мировыми войнами, перенесшая огромные испытания Советская страна отстояла свою независимость, построила социалистическое общество, стала могущественным государством, получившим мировое признание и утвердившим впервые социалистическую систему.

Особую любовь и симпатию Вильямс испытывал к молодежи, он видел в ней преемников великого дела Октября. Незадолго до смерти, которая настигла его 27 февраля 1962 года, вероятно в начале февраля, он написал свое последнее письмо. Это было «Приветствие молодежи Советского Союза и моим молодым друзьям, учащимся школы № 109 г. Куйбышева на Волге», своего рода завещание, в котором он хотел искренне поделиться заветными мыслями с молодыми людьми. «Как это замечательно — делать что-то не только для себя, но и для других! Это и поныне так. Вы осчастливили многих. Но никто не был так счастлив, как Ленин. Вы делаете то, что он прежде всего ждал от вас. Мне нет нужды доказывать, что вы заслужили высокую похвалу Ленина. Какое огромное наследство он вам завещал!

Заканчивая письмо, я мысленно представляю себе то чудесное социалистическое общество, которое вы, советская молодежь, продолжаете строить ради будущего, ради мира и счастья всего человечества».

Альберт Рис Вильямс прожил долгую жизнь. Он — свидетель различных этапов истории нашей страны, истории развития советско-американских отношений. Оставленные им труды пронизаны глубоким гуманизмом, большой любовью как к своей родине — Соединенным Штатам, так и к Советскому Союзу, к советскому народу. Никогда в течение всей жизни Вильямс не изменил вере в дело строительства социалистического общества, никогда он не позволял себе за частностями не видеть главного.

И, вероятно, трудно лучше, чем Люсита Вильямс, выразить сущность Альберта Риса Вильямса. Следует полностью с нею согласиться, когда она пишет о своем друге и муже: «До самого конца своей жизни Альберт оставался верным идеям Октября.

В этом он не менялся ни под давлением обстоятельств, ни под влиянием мировых событий, его не поколебали ни измены, ни разочарования некоторых, ставшие теперь достоянием истории. В его книгах всегда подчеркивались положительные, конструктивные тенденции, в которых заложены семена будущего.

Всю жизнь он честно и преданно служил делу укрепления взаимопонимания и сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом».

[1] «Asia and Americas», Jan. 1943, pp. 11—14.

РОЖЕ БОРДЬЕ

# ПОЛИТИКА И ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН

*Вступление и перевод с французского ЛЬВА ТОКАРЕВА*

Лет десять назад журнал «Эроп» выпустил специальный номер, озаглавленный «Романисты о романе». Эта публикация стала своеобразным документом в живой истории современной литературы Франции. Писатели самых разных художественных школ и эстетических концепций, отвечая на вопросы журнала, рассматривали крайне важные для судеб жанра проблемы: связь романа с социальной действительностью и его роль в защите гуманизма.

Предисловие к номеру, озаглавленное «За любовь к роману», написал Роже Бордье. Писатель вспоминал, как, будучи молодым рабочим, он «проглатывал» бесчисленное количество романов, которые пересказывал затем своим товарищам по общежитию. Этот скромный факт представлялся Бордье символическим — человек испытывает непреодолимую потребность в литературе, в романе, верном средстве правдиво и глубоко, со всеми ее тенями и светом, художественно исследовать настоящую жизнь, озаренную писательским воображением.

Высокомерию эстетов, их отказу от правдивого изображения действительности Бордье противопоставлял веру в то, что подлинную жизнь роману обеспечивают прежде всего общечеловеческие проблемы, а не изощренные тонкости «чистого стиля». «Я уверен,— заявлял Бордье,— что дух современности проявляется вовсе не в технических приемах письма».

Роман не должен отгораживаться и от политических проблем нашей сложной, стремительной эпохи. Сегодня литератор, прокламирующий абсолютную независимость от истории и политики, кажется анахронизмом. Пример тому — крах эстетических концепций «нового романа», чьи теоретики старались «очистить» роман от сегодняшней реальности и прошлого, политики и гуманизма, сюжета и героя.

«Мы верим в роман,— заключал свое предисловие Р. Бордье,— и наш долг — обеспечить ему сегодня столь же высокое место, какое ему всегда принадлежало в истории французской литературы».

И не случайно, что в написанной для журнала «Иностранная литература» статье Роже Бордье, затрагивая исключительно актуальную для французской прозы наших дней проблему связи романа с политикой, часто обращается к великим реалистическим традициям литературы Франции. Говоря о политике, Роже Бордье имеет в виду не только изображение в романе политических событий, но и прежде всего четко выраженное критическое отношение писателя к буржуазному обществу. Он изобличает буржуазную критику, которая любое произведение, прямо затрагивающее больные нервы капиталистического уклада жизни, автоматически зачисляет в разряд художественно неудачных и неполноценных.

Обращаясь к живым традициям Гюго и Бальзака, Стендаля и Золя, Бордье напоминает, что их творчеству никогда не мешал жгучий интерес к современности и политике, к жизни и борьбе народа.

Рассматривая течения модернистского романа, представленные сюрреализмом, экзистенциализмом и школой «новых романистов», Бордье вскрывает причины их социальной беспомощности. Писатели, даже одаренные, которые связали свою творческую судьбу с этими литературными школами, по большей части уходили в игру чистого воображения, в глубины «несчастного сознания», в создание замкнутых словесных структур. Рисовать настоящую жизнь, бури истории и политики они считали недостойным делом для подлинного художника. И не потому ли они лишались главного — внимания к своим книгам со стороны народа. Бордье цитирует знаменитую фразу Виктора Гюго: «Освобожденный народ — хорошая концовка строфы».

В сущности, статья Бордье призывает писателей взглянуть в лицо современности, создавать произведения, из которых читатели узнают о набросвших проблемах действительности, о своих радостях и горестях, мечтах и надеждах, борьбе и труде.

Творчество самого Роже Бордье проникнуто глубоким интересом к политике. «В настоящий момент, момент острой идеологической борьбы,— сказал писатель в интервью нашему журналу,— политический роман просто необходим». Романический цикл Роже Бордье «Демонстрация» [1] и «Завтра лето», представляющий собой, по словам А. Вюрмсера, «политическую поэму», с большой лирической выразительностью рисует освободительную борьбу народных масс. Особенно ярко Роже Бордье изображает процесс политического воспитания народа, захваченного протестом против всесилия денег, власти монополий, бесчеловечных стандартов буржуазного образа жизни. Многие представители широких демократических масс еще не доросли до последовательной борьбы с миром капитала, но их стихийная жажда социальной справедливости обещает принести плоды в будущем. И понятно, что в своей статье Роже Бордье называет прежде всего имена современных, в основном молодых, писателей, чьи книги обращены к политической реальности нашей эпохи. Не все можно принять в этих романах, с присущим им наивным революционаризмом, но искренность творческих поисков этих писателей, их стремление создать истинно социальный роман современности не вызывает сомнений.

Роже Бордье убежден, что только на этом пути французский роман добивался самых замечательных достижений. Писатель не называет нам имена своих коллег, для творчества которых характерна эта тенденция, потому что ему известно: советские читатели хорошо знакомы с книгами Эрве Базена и Армана Лану, Робера Мерля и Жан-Пьера Шаброля, Андре Стиля и Бернара Клавеля, где так явственно звучит нота глубочайшего интереса к самым острым проблемам наших дней.

# РОЖЕ БОРДЬЕ
# ПОЛИТИКА И ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН

Вопрос о современном состоянии французского романа и о том, какое место в нем занимает политика, нельзя рассматривать, не учитывая множества исторических и социальных моментов, которые хотя и весьма стары, но сохраняют свою значимость до сих пор.

При этом важно не забывать, что буржуазное общество во Франции издавна и не без успеха ведет двойную игру, культивируя крайние, полярно противоположные образы писателя: с одной стороны, «проклятый поэт», с другой — почтенный академик. Писателю всеми средствами стремятся внушить отвращение к политическим и социальным проблемам, ограничить его внимание дотошным изучением чисто технических приемов письма, их совершенствованием.

И раньше интерес литератора к действительности наталкивался на крепостную стену эстетизма, теоретики которого, разумеется, не признавались, что в конечном счете их цель — отвлечь писателя от политики. Анализируя художественное произведение, особенно роман, многие французские критики почти не придавали значения его политическому и идейному содержанию. В последнее время положение несколько изменилось. Но по-прежнему злободневность, актуальность произведения у ряда критиков вызывает беспокойство: сказывается застарелый страх, вызванный движением за раскрепощение умов, начало которому положила революция 1789 года. Прошлое живо и сегодня. Во многом оно определяет и судьбу современного романа.

Возникшая после революции волна романтизма дала миру гигантов во главе с Виктором Гюго. Благодаря ему в повествование вторгся народ, словно обретя право гражданства в ранее недоступной для него сфере, сохранив при этом — что самое главное — свое подлинное лицо. В «Отвер-

[1] О романах «Демонстрация» и «Завтра лето» «Иностранная литература» писала в № 10 за 1977 г. и в № 4 за 1978 г.

женных», «Тружениках моря», не говоря о «Клоде Ге» и других его важнейших произведениях, Гюго рисует панораму народной жизни, выводя на ее фоне героев из народа, раскрывая их роль в обществе, их внутренний мир. Именно тогда была поставлена проблема гражданского и политического выбора автора, и отнюдь не в ущерб художественности произведения. Гюго стремился, как говорится, «жечь свечу с двух концов». Он решительно формулирует свое кредо: «Прекрасное не страдает, служа полезному; а книга — способствуя просвещению народных масс». «Освобожденный народ,— заключает он свою мысль,— прекрасная концовка строфы». Как видим, призыв к политической ангажированности выражен у Гюго очень ясно.

Политические пристрастия Бальзака были противоположны позиции Гюго. Бальзак, порой отличавшийся крайне реакционными политическими взглядами, был одержим мыслью пробудить в аристократах и собственниках то чувство долга, которое они, с его точки зрения, утратили. Однако это не мешало ему с непревзойденной проницательностью различать пороки общества той эпохи, наблюдая его критическим и аналитическим взглядом безжалостного анатома. Поэтому в созданной им картине буржуазного общества, с течением времени и при более углубленном изучении бальзаковского творчества, четко раскрывается политическое содержание. Сегодня мы лучше понимаем все, что хотел выразить или невольно выразил в своих произведениях писатель.

Бальзак доказывает, что психология человека обусловлена его социальной принадлежностью и в буржуазном обществе погоня за прибылью одерживает верх над гуманизмом. Вот почему исследователи конформистского толка, анализируя творчество Бальзака, стараются не замечать в нем того, что им невыгодно, и пользуются застывшими и удобными для буржуазной критики клише. Столкнувшись с каким-либо слишком упрямым фактом буржуазной действительности, такие критики предпочитают отделываться фразой: «Ведь это совсем по-бальзаковски». И сразу же вспоминают целый набор лубочных характеров из провинциальной жизни с неизменным перечнем уже готовых определений вроде «скупой, лицемерный, жадный». В подобных случаях обыгрываются абстрактные моральные ценности, персонифицированные позиции, различные ситуации, но поведение персонажей анализируется в полном отрыве от их социальных корней.

Аналогичный принцип ловко применяли по отношению к Стендалю, намеренно игнорируя социальную основу его романов, отличавшихся еще более тонким и тщательным, чем у Бальзака, анализом характеров. И вновь эти исследователи делали вид, что не замечают очевидного, не желая переступить культурные и классовые предрассудки, хотя, кстати, первые являются лишь отражением вторых.

Решающий сдвиг обозначился с возникновением натурализма, возглавленного Золя. В «Жерминале» рабочий класс как таковой, как социальная группа впервые оказался вовлеченным в романическое действие. Это стало подлинным переворотом в литературе, причем не только Франции. И на сей раз критика поспешила высказаться по поводу проблемы «писатель и политика». Идейное содержание полностью отделялось от его художественных качеств. В таком случае дается лишь «объективистский» анализ литературных достоинств романа. Итак, со времен «Жерминаля», едва лишь политика начинает играть в романе ключевую роль, в ход немедленно пускается уже хорошо отработанная методология, причем зачастую это делается совсем без умысла, а почти механически — под давлением своего рода бюрократической рутины. Однако в вопрос этот необходимо внести ясность: социально-политическое содержание романа, понимаемое как свойство жанра (почему бы и нет, если существуют психологическое, лингвистическое, эзотерическое и прочие измерения романа), признается лишь в тех случаях, когда выражается явно консервативная позиция, но открыто отбрасывается, когда слишком четко выражаются прогрессивные взгляды.

Вернемся к примеру Золя. Чаще всего Золя упрекают в том, что существование его героев вписано в жизнь толпы, которая обрисована в ее социальной значимости и революционной цельности. Золя обвиняют и за соотнесенность действия романа «Жерминаль» с реальными событиями его эпохи, за то, что человека физического труда писатель не рассматривает как индивидуальность, а показывает что его поведение определяется психологией коллектива. Вместе с тем очевидно, что такой подход был подлинно новаторским.

Мы знаем, что критика того времени, являвшаяся резонатором буржуазной идеологии, обрушила на писателя самые грубые нападки. Именно тогда возник псевдокритический метод, который, не слишком утрируя, можно сформулировать следующим образом: если в романе писатель сосредоточивает основное внимание на жизни трудящихся — особенно людях физического труда,— неизбежно обращаясь к классовой борьбе и политическим проблемам, то в ход мгновенно пускается система оценок, которая, как бы по само собой разумеющейся логике, относит эти произведения к литературе низшего сорта. Высокомерная критическая цензура снисходительно «замечала» эти произведения, но неизменно считала их художественно слабыми. То есть в области художественного творчества осуществляла тот же принцип сегрегации, который действует в капиталистическом обществе во взаимоотношениях между людьми. Однако об этом избегают говорить открыто и громко отстаивают «чистоту» и независимость критического суждения. В таких условиях многие писатели, за редким исключением, проявляют

определенное недоверие к социально-политической проблематике.

Затем в литературе восторжествовала философия абстрактного гуманизма; этот период отмечен многими талантливыми произведениями, но они, как правило, лишены политической остроты.

Многие романисты вслед за поэтами увлеклись эстетизмом, его приверженцы прокламировали «чистое искусство», доступное лишь избранным знатокам. Сюрреализм, занятый поисками необычных средств выражения, породил произведения, содержащие элементы протеста; но их авторам было скорее свойственно стремление поразить оригинальностью, найти особый, «поэтический» язык, нежели забота о судьбе жанра. Сюрреализм, безусловно, способствовал обновлению литературных средств и приемов, но очень скоро замкнулся в себе самом, судорожно цепляясь за свои эстетические позиции. Хотя все это не помешало столь значительному писателю, как Арагон, одному из основателей сюрреализма, написать в 30-х годах во многих отношениях замечательные социальные романы «Богатые кварталы» и «Базельские колокола».

После второй мировой войны, когда возник экзистенциализм (одним из столпов которого был Сартр) и выдвинул свое понимание «ангажированности», идей, развитие которых мне хочется проследить в своей статье, вновь, казалось,— по крайней мере на время — обрели силу и оригинальное художественное воплощение в ряде случаев. Но по сути экзистенциализм оказался движением, лишенным перспективы, в основном оно свелось к чисто философской тематике.

И, наконец, литературная школа, которую весьма неверно называли «новым романом» (ибо — уже теперь!— он выглядит таким устаревшим), занималась лишь стилистикой и композицией произведения. «Новый роман» любовался собственным отражением в зеркале.

Как же обстоит дело в наши дни? Вначале я уже упоминал, что во Франции отдельные критики вновь обнаруживают интерес, хотя и слабый, к социально-политической проблематике. Выводы делать еще рано, но в самом жанре происходят любопытные явления. Здесь можно условно выделить несколько тенденций, истоки которых — в великой традиции французского романа.

Каковы же эти тенденции? Для одного типа романов характерен переход от документального свидетельства к художественному произведению. Герои таких романов, как правило, романтические личности с привлекательными чертами характера и необычным жизненным опытом. Вымысел в этих книгах сильно окрашен экзотикой, вместе с тем он представляет собой вид кальки с личных воспоминаний или результат социологического опроса. Легко заметить, что писатель, как бы прямо перенося действительность в роман, меньше внимания уделяет показу коллектива, а больше— всемогуществу героя. Главный герой, хотя внешне и осовременивается, однако его характер строится по старой метафизической схеме, в которой преобладает интерес к личной судьбе героя, а не к Истории. Герой, конечно, может смешаться с массами, участвовать в их борьбе, но каковы бы ни были в отдельном случае его намерения, он никогда не поддерживает с ними подлинного диалога. И эта своего рода отчужденность героя от народа сильно заметна в подобных романах.

Для другого типа романа определяющим является изображение героя, «меняющего кожу». Здесь мы встречаемся с типично французским характером молодого буржуа, который покидает свою среду, свой класс и переходит на сторону трудящихся. Однако развитие героя показывается не сквозь призму социально-политической ситуации.

Писатели фиксируют свое внимание прежде всего на склонности такого бунтаря к романтическим мечтаниям, и потому трудно говорить о его переходе к сознательной борьбе. Мы сталкиваемся, так сказать, с традицией «мая 68 года», хотя и не только с ней.

Можно вспомнить, что еще со времен романтизма во французском романе стихийную революционность истолковывали по-разному, и последующая модификация этого явления верно отражает — в соответствии с эпохами — различия в позициях героев. Независимо от этой тенденции — или, точнее, вне ее — перестройка героя, молодого буржуа, происходит в современном романе быстрее. Герой агрессивнее, а его «метаморфозы» раскрываются автором с помощью раскованного, арготического языка. И вместо тяжеловесного порой разъяснения встающих в совокупности проблем писатели теперь своими произведениями бросают в лицо обществу вызов. Ведь нельзя забывать, что за последние двадцать лет образ жизни французской буржуазии тоже значительно изменился.

Третья группа романов посвящена проблемам движения за социальное равенство. В принципе именно эти проблемы являются самыми актуальными и плодотворными для развития романа, но их авторы приходят к неточным выводам. Еще очень часто случается так, что документальное содержание преобладает над собственно художественным вымыслом. Мы, писатели, должны уделять больше внимания всему, что связано со специфическими для второй половины XX века проблемами: положением женщины, борьбой в защиту самых обездоленных и неимущих, в том числе рабочих-иммигрантов, в защиту гражданских прав. Эти и многие другие вопросы борьбы за социальное освобождение должен вобрать в себя современный французский роман.

---

РОЖЕ БОРДЬЕ
ПОЛИТИКА И ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН

События, личность, массы — вот, думается, что должно служить основой современного романа. Именно здесь лежат пути к дальнейшему обогащению форм романического повествования; глубокое освоение этого материала дает возможность полифонического осмысления действительности, а не показа случайных, однозначных ситуаций. И тогда на смену герою-одиночке придет герой, связанный всеми своими помыслами и делами с интересами масс. Жизнь, которую у нас во Франции больше изучают социологи, породит подлинно современный социальный роман, где займет свое место как политическая реальность, так и поэтическое вдохновение. Без сомнения, этот новейший, пока еще далеко не часто встречающийся тип романов больше всего отпугивает многих критиков. Не так-то просто преодолевать старые предубеждения.

Время покажет, какие пути изберет французский роман. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: политика возвращается в литературу.

Обращение к политическим сюжетам, конкретным политическим и идеологическим проблемам особенно заметно в таких произведениях последних двух лет, как «Обличитель» и «Зверь» Рене-Виктора Пильса, «Снег жжет» Режи Дебре, «Шкаф» Пьера Буржада, «Путешествие» Эдуара Маттэи. С другой стороны — и это явление знаменательно,— вызывают читательский интерес не только политические раздумья современных романистов, но и творчество, например, Поля Низана (конец 30-х годов) или Пьера Куртада (60-е годы), чей роман «Красная площадь» недавно переиздан. Что не ускользнуло от внимания прессы, заговорившей о «массовости» этого явления. Пресса, конечно, слегка преувеличивает. Суть же в том, что нужно внимательно следить за тенденцией развития. Окончательное суждение об этих проблемах выносить еще рано. Однако настала пора заявить: современный французский роман обретает новое дыхание.

◆

## К 150-летию со дня рождения Льва Толстого

**ЯН ДОСТАЛ. Чехословакия. Иллюстрация к повести «Смерть Ивана Ильича»**

# Отклики, встречи, впечатления

## Ю. АРХИПОВ

## ВЕНСКИЙ ДНЕВНИК

В самолете, направляясь в Вену, разлученный с привычным пространством, так сказать, подъятый над ним, я попытался, в виде невольной компенсации что ли, поглубже спуститься воспоминанием в колодец времени — туда, где в моем детском сознании из звона консонант впервые могло соткаться слово *Австрия*. Увы, из этой экспедиции в недра былого я вернулся почти ни с чем. Кроме ранней смутной тяги к завораживающим созвучиям (*астр*ономия, *астр*ы), я припомнил лишь какие-то трофейные фильмы о Штраусе да положившую начало моей иностранной коллекции серию почтовых марок с потускневшим изображением вельможного усача — как потом выяснилось, Франца-Иосифа, «императора и короля Австро-Венгрии».

В школьные годы Австрия связалась у меня с именами Штрауса и Стефана Цвейга, в студенческие на смену им пришли Моцарт, Шуберт, Музиль, Рильке.

И вот — Вена. Зима, может быть, не лучшее время для знакомства с ней (слякоть, туман), зато древесная оголенность позволяет лучше рассмотреть архитектуру. Готика, ренессанс, барокко, классицизм, тяжеловесная и помпезная эклектика второй половины девятнадцатого века — все это не давит друг друга, а дружно соседствует благодаря множеству перспектив: площадей и скверов, изобилующих скульптурами, как и большинство зданий, соборов, церквей. Центр Вены, опоясанный широченным Рингом, производит не столько уютное (как ожидал), сколько величественное впечатление. Голливудская штраусиана с ее нажимом на декоративный бидермайер (островки его, тщательно подновляемые для туристов, встретятся потом в районе Гринцинг, «на опушке» Венского леса) как-то сумела навязать сознанию совсем другой облик города. Очутившись на его грандиозных, оформленных как гигантская сцена площадях, невольно вспоминаешь, что Вена веками была резиденцией императоров — причем не только «Священной римской империи германской нации»: здесь, в Виндобоне, заканчивал свои дни еще Марк Аврелий. Здесь столетиями конденсировалась историческая энергия народов, сложно соединенных под давящей сенью Габсбургов. И когда могущественное некогда государственное образование зашаталось в начале нашего века и рухнуло, эта энергия высвободилась, дав миру влиятельнейшие школы — в философии, музыке, живописи, литературе,— с редкой проникновенностью выразившие духовную ситуацию «перелома» эпох. Такие произведения, как драма Карла Крауса «Последние дни человечества» или роман Роберта Музиля «Человек без свойств», становятся понятнее, когда едешь по Рингу, мимо серых громад правительственных зданий, музеев, дворцов, величественного памятника Марии Терезии, мимо Хофбурга с важными, древними, как сам камень, грачами, расхаживающими по его газонам.

Адрес пригласившего меня Австрийского общества литературы запомнился наизусть: как-никак десять лет переписки. Потертый бедекер рекомендует «Господскую» (Herrengasse) как одну из самых старинных улиц в городе, нафаршированную достопримечательностями. И действительно, прежде чем добраться до «пале Вильчек», где разместилось Общество, я миную знаменитую Испанскую школу верховой езды, знаменитый Танцевальный

дворец, где в прошлом веке отплясывали участники Венского конгресса, знаменитую Микаэлерплац с по-своему знаменитой, когда-то дерзкой «новинкой» — домом, выстроив который в 1910 году, архитектор Адольф Лоос открыл первую страницу мировой «коробочной» архитектуры.

Общество занимает просторную — во вкусе важной старины — четырехкомнатную квартиру. Едва успеваю осмотреться и представиться почтенной, но очень подвижной фрау Бронольд, секретарю Общества, как звоночек раздается опять и на пороге появляется стройный, затянутый в узкое черное пальто человек с непокрытой седеющей головой, устыжающей мою московскую шапку. Сразу узнаю его — и не верю своим глазам. Томас Бернгард — бесспорный primus, «лучший ученик» современной австрийской литературы — собственной персоной. Человек, писательская слава которого обросла легендами о затворничестве, нелюдимости, чуть ли не мизантропии.

Бернгард у нас еще не переведен, но специалистам хорошо известна его «маниакальная» проза и такая же драматургия с несколько монотонными, но словесно впечатляющими вариациями на одну и ту же тему — бессмысленности бытия перед лицом неизбежной смерти. Приходилось и мне писать о нем — в частности в «Иностранной литературе»,— о романах «Помешательство» (1967) и «Корректура» (1975), о его на редкость замкнутом художественном мире, не знающем ни движения, ни изменения, кружащемся над разъятой анализом жизнью, как коршун над сраженным героем. Приходилось читать скандальную речь Бернгарда при получении Австрийской государственной премии в области литературы (1970), речь, в которой он, как всегда, говорил об одиночестве и смерти и ругал Австрию. Приходилось видеть на фотографиях его похожий на крепость «отшельнический скит» — крестьянскую усадьбу, обнесенную глинобитной стеной, за которой Бернгард укрывается от мира, держа ворота на неумолимом запоре. («Ворота, впрочем, широко распахиваются, когда приезжает западногерманское телевидение: парень умеет себя продавать»,— позлословит потом в беседе со мной один из его коллег.)

И вот на моих глазах свершается опровержение легенды: с каким пылом бросается Бернгард целовать старушку Бронольд, как он приветлив, мил и светел с нею. Какой там мизантроп — друг человечества, да и только!

Вскоре все встает, однако, на свои места. Оказывается, фрау Бронольд — редкое исключение. К ней Бернгард пришел почти мальчиком с робкой просьбой «почитать», то есть устроить ему публичное чтение произведений. Фрау Бронольд отнеслась к нему с нежной заботой (как, впрочем, и ко всем своим чадам, юным дарованиям). Благодарность к ней Бернгард сохранил на всю жизнь — вплоть до теперешнего времени, когда он так недоступен.

В недоступности его мне пришлось тотчас же убедиться. Представленный писателю, сообщаю ему, как мне кажется, неотразимо приятную новость — в скором времени Бернгард выйдет и в русском переводе. «В самом деле? — Голос Бернгарда немедленно киснет.— Чего только не бывает на свете»,— проговаривает он с усмешкой и, не обнаружив в себе ни малейшего интереса к теме, тут же ретируется к двери, на ходу помахивая рукой — не то в знак прощания, не то ограждая себя от непонятностей сего мира.

Возникшую неловкость с обаятельным венским шармом старается загладить доктор Вольфганг Краус — высокий, живой, улыбчивый,— создатель и президент Общества. Оживление литературной жизни Австрии последних лет — во многом заслуга его личной энергии. Это он способствует выдвижению новых талантов, совестит ленивых, помогает утомившимся, посылает писателей в зарубежные командировки, принимает гостей, организует чтения, собрания, симпозиумы, организует, организует... Мы идем с ним обедать в тихий и поэтичный переулок близ собора святого Стефана — географического и исторического центра Вены. По пути заглядываем в знаменитое еще недавно писательское кафе «Хавелка». История литературной Вены — это не только сухой перечень периодов и направлений, гораздо «вкуснее» и нагляднее ее можно представить в смене излюбленных кафе: «Гриенштадль» декадентов, «Моцарт» Карла Крауса, «Централь» Стефана Цвейга и Рота, «Блауштайнер» Додерера, «Хэрренхоф» сороковых — «Хавелка» пятидесятых годов. Ныне парадное писательское кафе для маститых — «Ландманн», что у Бургтеатра; молодежь избирает себе «байсли» (закусочные) попроще.

Наискосок от «Хавелки» — цель нашего перехода, уютное кафе при старинном отельчике. У двери мемориальная доска (тоже плод заботы доктора Крауса), удостоверяющая, что в этом отеле часто останавливались по приезде из Праги писатели Франц Кафка и Макс Брод. «Как-то раз,— рассказывает Краус,— я написал Броду письмо с просьбой припомнить, где чаще всего останавливался в Вене Франц Кафка. Последовал ответ: «Мы с Францем любили останавливаться там-то и там-то...» Ну, и пришлось поместить на доску обоих»,— смеется президент литературного общества, привыкший иметь дело с авторскими амбициями.

На той же «Господской», в одном из «пале», миновав типичный четырехугольник внутреннего двора с непременным деревом посередине, долго ищу подъезд с табличкой «Литератур унд критик», ищу напрасно — искомая вывеска, оказавшаяся к тому же самодельной, обретается лишь на двери одной из квартир на втором этаже; стучу, вхожу и оказываюсь в тесной

комнатке, полагая себя в прихожей солидного журнала с мировой репутацией. Но нет, тесная комнатка и есть все помещение редакции, а улыбающаяся, несколько поседевшая и пополневшая по сравнению с фотографиями на суперобложках своих книг женщина за письменным столом и есть писательница Жанна Эбнер, долгие годы бессменный редактор и единственный сотрудник журнала. Фрау Эбнер рада визиту, рада сувенирной хохломе, рада узнать, что ее журнал получают исправно и что он мне полезен в работе. Она почти потрясена известием, что у нас в числе других австрийских прозаиков в диссертациях разбирают и ее творчество. «В Австрии меня никто не знает. До чего же интересный народ эти русские! — изумляется она и спешит удовлетворить мое любопытство о работе своего журнала:—Авторские очереди у нас длинные, тираж мизерный, объем — сами знаете, кручусь как белка в колесе, на всем экономлю, даже на уборщице, все сама»,— жалуется она, как жалуется человек, удовлетворенный результатами своего энтузиазма. Тему писательской бедности уже развивал Краус, и я начинаю привыкать к ней, еще не догадываясь, однако, насколько она станет привычной к концу пребывания.

Больше всего фрау Эбнер поражают наши тиражи. «У нас не читают, не хотят» — тоже мотив, становящийся привычным. Изменится ли что-нибудь? Есть ли надежды? Перспективы? Фрау Эбнер задумывается и качает головой с сомнением. «Зато у нас свои преимущества — мобильность, оперативность»,— опять заряжает она себя энтузиазмом.

Мобильность, оперативность... Об их важности в современном филологическом труде думалось в стенах учреждения, название которого трудно перевести на русский язык: Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur. Фонд документации современной австрийской литературы — примерно так. Директор фонда профессор Виктор Зухи и его немногочисленный штат ведают здесь источниками: в течение нескольких минут я получил исчерпывающую справку о местонахождении (большей частью разбросанных) архивов доброй дюжины австрийских писателей — от Рильке до Бахман. Здесь же — завиднейшая для любого специалиста библиотека и фонотека с записями писательских чтений и прочих публичных выступлений.

Под одной крышей с фондом помещаются Общество Рудольфа Касснера и группа по изучению наследия Роберта Музиля. Вся группа — это три девушки-германистки, неутомимо, как пчелки, совершающие кропотливейшую филологическую работу по подготовке историко-критического издания сочинений Роберта Музиля — мастера чрезвычайно взыскательного, оставившего до двадцати вариантов отдельных мест своего необозримого романа «Человек без свойств». Мне показывают первый результат этой работы — два тома «Дневников» Музиля. Я уже наслышан об этом издании, увы, простому смертному недоступном: три тысячи шестьсот шиллингов! Ясно, что покупателей единицы.

На запрос о «русских» материалах в наследии Музиля из соответствующего сейфа и соответствующей папки извлекается обстоятельная, еще не напечатанная работа итальянца Карло Корино, фиксирующая свидетельства постоянного и глубокого интереса Музиля к России и ее культуре.

И — раз уж речь шла о литературных ассоциациях — перейду от трех девушек-музилеведок к «Дому трех девушек», бидермайеровской достопримечательности, которую настоятельно рекомендует мне бедекер. «Дом трех девушек» — в старинной части города, на возвышении, образованном средневековым валом. Дом действительно красив, соразмерен, уютен, однако вид на него испорчен тяжелой коробкой — зданием международной нефтяной компании. В самом «Доме трех девушек» разместилась французская торговая фирма, потеснив крошечный музей Бетховена, постоянную выставку акварелей Штифтера, «птичье» по размерам кафе «Шуберт-пштюберль».

Следы наступления бизнеса на Вену, по старинке кокетничающую своим сибаритством, встречаешь повсюду. Модерные коробки фирм в центре города, правда, редкость, зато фирмы и боссы сплошь и рядом размещаются в старинных, иногда музейного значения особняках. Как тот западногерманский промышленник, что бросил вызов местным патриотам, поселившись на знаменитой вилле Гофмансталя на окраине Вены, в Родауне. «Мой муж занят подсчетами»,— с извиняющейся улыбкой сказала нам любезная хозяйка дома, когда «ее муж», несмотря на то, что визит был согласован, не пожелал поступиться минутой времени (которое, как известно, деньги), чтобы впустить нас в кабинет поэта.

В угоду времени в Австрии все чаще переводят на деньги созданное вдохновением былых эпох. Бойкий экскурсовод в Мельке, старинном монастыре на Дунае, выпаливая заученные сведения о шедеврах, не забывал упомянуть об их ценности и в денежном выражении — причем, что характерно, в западногерманских марках.

«Мы американизируемся»,— приходилось слышать в Западной Германии. «Мы западногерманизируемся»,— с горькой иронией говорили мне в Вене.

Вена, как ни крути, учится делать бизнес. Туризмом, музеями, музыкой, немного сусальным колоритом подновленных «хойригеров» — ресторанчиков на открытом воздухе, распродажей антиквариата. В Вене и шагу нельзя ступить, чтобы не очутиться перед витриной с изящными безделуш-

---

Ю. АРХИПОВ
ВЕНСКИЙ ДНЕВНИК

ками старинной работы. Исполняется ими каждую субботу и Блошиный рынок, знаменитая венская толкучка неподалеку от Ринга...

На Блошином рынке мое внимание привлекла девушка; она запечатлелась в памяти чуть ли не как живой символ города: белокурые венские локоны под «ностальгической» шляпкой, лиса, с небрежным изяществом закинутая через плечо, зеленое длиннополое, шинельного типа пальто. Девушка была словно выставлена для обозрения — как и ее изящный товар. Я подошел поближе и, как все, удостоился улыбки, улыбки, которую не побоялся бы назвать моцартовской: столько в ней было очарования, доброжелательной грусти, самоиронии. В ней не было ни заискивания, ни угодничества, ни пошлости. Светло и грустно улыбался человек, вынесший на лоток старинные фамильные драгоценности — стекло, серебро, фарфор. Так, улыбающейся, запомнилась мне Вена — посмеивающаяся над собой и обстоятельствами, распродающая прошлое, чтобы покрыть текущие расходы, оплатить долги.

Дух времени и литературу превратил в товар. «Парень умеет себя продавать...» А как быть тем, кто не умеет? Им остается надеяться на заработок от какой-либо другой своей профессии. Из писателей, с которыми удалось побеседовать, литературным трудом живут только двое — Барбара Фришмут (благодаря театру и радио) и Гернот Вольфгрубер (благодаря телевидению). Остальные работают — Эрнст Хинтербергер на фабрике, Эрнст Яндль и Фредерика Майрёкер — учителями в школе, Вольфганг Краус и Райнхард Урбах — чиновниками в министерстве.

Значительную роль играет также «социальная помощь» в виде стипендий и премий. Премий много, присуждаются они часто, но — увы! — невелики по размерам.

Вручение одной из таких премий состоялось в дни моего визита. Ее получал Андреас Окопенко, «умеренный авангардист», как его здесь называют, автор начиненных черным юмором стихов и гротескно-сатирических романов («Лексикон», 1970; «Метеориты», 1976). В конце немного музейного, как старинная театральная постановка, ритуала награждения вышел на трибуну сам Окопенко (украинец по происхождению), который свел свою речь к описанию вынужденно спартанского образа жизни людей его профессии в Австрии, к тому, что без таких вот вспомоществований, как эта премия, он вряд ли сумел бы заниматься литературным трудом в полную силу. Я мог видеть, как коллеги Окопенко невольно кивали головой в такт его словам.

Барбара Фришмут. После смерти Ингеборг Бахман ей отводится роль «первой леди» современной австрийской литературы.

Мы говорим с ней об «австрийскости» австрийской литературы. Да, Барбара Фришмут чувствует себя австрийской писательницей. Здесь ее родина, здесь особый общественно-психологический климат, который она давно знает и хорошо чувствует. Он не так безобиден, как может порой показаться иностранцам. Недаром среди оголтелых фашистов было немало австрийцев, да и сам Гитлер, как известно, выходец из Австрии — как и Эйхман, и Кальтенбруннер. «Эту Австрию я ненавижу,— говорит писательница,— вообще такая любовь-ненависть к родине для писателя нормальна, не правда ли? Пишем ведь не забавы ради: что-то в мире хочется утвердить, что-то отменить. Группа? Да, мы дружили, когда жили все в Граце. «Заряжались» друг от друга — Петер Хандке, Петер Розай, Герхард Рот, Петер Хениш, Альфред Коллерич, я. Но ведь мы делаем не фольклор, наше творчество — не коллективное. Пошли каждый своим путем. Кто «заряжает» теперь? Не обязательно австрийцы. В последнее время даже больше немцы. Ведь мы и немецкие писатели тоже — по языку. Жан Поль Рихтер и Гофман — больше других. Из современников — Арно Шмидт. Мечтаю о нескольких месяцах полной свободы, чтобы спокойно прочесть его «Сон Цеттеля» — все восемь килограммов. (Смеется.) Нет, о том, что литература — товар, пока пишу, совершенно не думаю. Публика никак не присутствует в сознании. Сидит где-то внутри только один читатель — я сама. Творчество для меня — как самотерапия. (Застенчиво улыбается.) Понимаете, если я перестану писать, я потеряю ориентир в жизни, то есть просто не буду знать, как организовать день.

Потом вдруг выясняется, что это нужно и другим, многим другим, судя по письмам. Отвечаю на все — непременно. Даже если догадываюсь, что меня похлопывают по плечу не те люди. Часто ко мне обращаются по личным вопросам. На днях вот звонила молодая писательница из Западного Берлина. Плачет в трубку: распадается семья... Ну что я могу ей посоветовать? Спасайся творчеством. Одна из острых современных проблем — этот «кризис брака»...

Читаю немало специальной литературы — по истории, этнографии, о современных открытиях в науке. Мой писательский девиз — точность. Да, да, как и у Музиля, хотя куда мне до него. Я несколько лет прожила в Венгрии, потом в турецких деревнях — кстати, близ Эрзурума, там я и пристрастилась к русским писателям, Достоевского и Чехова особенно полюбила. Когда я слушаю легкомысленное — от мнимого всезнайства — интервью по «актуальным» вопросам какого-нибудь своего коллеги, становится ужасно стыдно. Небрежность, приблизительность для писателя преступны. Надо хорошо знать, осязать материал, из которого сделан мир, чтобы писать о нем. Да и какая это радость — узнавать. Вот хочу познакомиться с Москвой — самое мое большое желание последних лет. «В Москву, в Москву» — прямо как чеховская героиня». (Смеется.)

От Барбары Фришмут ухожу, нагруженный ее книгами. Два сборника рассказов (есть и в «чеховской» традиции), пьесы для кукольного театра, роман «Мистификация Софии Зильбер» — последний, недавний, несколько неожиданный для Фришмут, писавшей до этого только о реальной современной жизни, а тут вдруг — волшебники, феи, фантастические приключения, потусторонний мир. Роман, впрочем, удачный, он окончательно закрепил за Фришмут репутацию состоявшегося мастера.

Обмениваясь условными любезностями, пересекаем длинный, какой-то петербургский коридор ее просторной спартанской квартиры. Спартанское убранство жилища — особый шик, как можно заметить, в среде венских интеллигентов. Абсолютное отсутствие ненужных, нефункционирующих предметов. Самые простые книжные стеллажи, пишущая машинка, пластинки. Большие пространства голых стен, кое-где разбитые картинками.

В детстве Барбара Фришмут воспитывалась в пансионе при католическом монастыре. Об этом — ее первый роман «Монастырская школа» (1963), не рекомендованный, правда, нынешним воспитанницам пансиона: слишком в нем много «мирского» интереса ко всем краскам и запахам жизни. Но что-то от католической «сестры» в самой писательнице как будто осталось. Серьезность, строгость, воинственность («не терплю, не выношу, ненавижу») в соединении с готовностью услужить, помочь.

У живущего поблизости Гернота Вольфгрубера — другие корни, хотя он и Фришмут дружат. В его голосе — самостоятельность рабочего паренька, готовность дать отпор, бдительное чувство собственного достоинства. «Если вы на машине, то, может быть, заедете ко мне в отель на чашку чая»,— говорю я, когда мы договариваемся по телефону о встрече. «У меня нет машины»,— отвечает он, и в этом «нет» столько гордости, что ей мог бы позавидовать любой обладатель «мерседеса».

Вольфгрубер — выходец из Словении и сейчас как раз обдумывает большой роман о превратностях судьбы нескольких поколений своих предков, судьбы, в которой отразилась и жизнь всей страны.

«В чем вижу главное сейчас? В социальной проблематике, в том, чтобы дать рабочим свой голос в литературе. Сам себе я достаточно строгий судья. Два первых романа, например, публиковать не стал. Первый написал на скамейке в парке, в свободное от станка время. Почувствовал, что надо учиться. Поступил было на филологический, но ушел со второго семестра глубоко разочарованный. Скучно. А литература — дело веселое. От книжки получаешь удовольствие, это прежде всего.

Рецензии? Читаю, конечно. Реагирую ли? Нет. Это ведь буржуазные газеты, и рецензентам нужно заработать на хлеб. Немного морщатся — опять про рабочий класс, но в общем похваливают: мол, природный талант.

Окончил исторический факультет по отделению политологии. Стал жить писательским трудом. После выхода первого романа — «На свободе» (1974), о передрягах в судьбе рабочего-подростка. Второй роман — «Зрелые годы» (1976) — как бы продолжение. Этот имел успех уже заметный. Нет, сводить концы с концами можно только благодаря телевидению. Три месяца работы над телесценарием кормят год (жена учится, ребенок). Год работы над романом кормит три месяца. Так и идет одно за другим. Хочешь работать над романом — заработай сначала на хлеб.

Чего мне особенно хотелось бы? Выступать перед рабочими. Но буржуа бдит. Все ведь знают, что Вольфгрубер — марксист. А значит — смутьян. Один раз удалось договориться, но назначили такое время, когда заведомо никого не могло быть. А без контакта со своей аудиторией трудно — можно оторваться от почвы, закоснеть. В этом смысле организации писательского дела в Советском Союзе можно только позавидовать. Нет, в Москве еще не был. Конечно, очень! Но дорого — пока не по карману».

Прощаемся на трамвайной остановке. В окно я вижу, как уверенно меряет шагами залитое светом витрин пространство рабочий писатель Гернот Вольфгрубер: сутулая походка, кепка как у питерского рабочего времен революции.

Отделение, вернее, «институт» германистики Венского университета. Тот самый, откуда ушел Гернот Вольфгрубер. Профессор Гуго Вельциг — тот самый, с которым он не поладил. Вельциг — автор известной и у нас книги «Немецкий роман двадцатого века». Невысокий, с насупленными, строгими бровями. Манера вести разговор как допрос: «Ну, и что вы собираетесь об этом писать? В чем видите критерии для оценки? А в чем можно узреть основание для периодизации?» Сдавать ему экзамен, наверное, не самое большое удовольствие в студенческой жизни. Перед семинаром, на который я приглашен («литературовед из Москвы, переводит Петера Хандке»), он выкликает присутствующих по списку, прямо как на армейской поверке. Ставит на вид за пропуск, грозит отлучением от семинара, выговаривает какой-то новенькой, зорко усмотренной им среди полусотни присутствующих, за то, что явилась на занятия, не испросив дозволения. Вот тебе и нашумевшая «демократизация» западных университетов!

Теоретически семинар, впрочем, вполне «на уровне». Длинноволосый юнец в джинсах выходит на трибуну читать свой реферат, на ходу, для пущей решительности, засучивая рукава потертого свитера. «Герменевтика», «пропедевтика», «аксиология» — все очень учено, мудрено, но как-

Ю. АРХИПОВ
ВЕНСКИЙ ДНЕВНИК

то уж слишком (вспоминается Вольфгрубер) отвлеченно, без четкой методологической ориентации: сочувственная цитата из Блоха, потом такая же из Гадамера, тут же реверанс Штайгеру, затем Беньямину[1]. То же впечатление от беседы с самим Вельцигом. Было как-то неудобно напоминать почтенному профессору о такой простой вещи, как историзм.

Зато впечатляет дотошность узкой специализации по какому-нибудь автору — безупречной выполненностью хотя бы первой задачи науки о литературе. Если уж кто-то признан «специалистом по такому-то автору», то знает о нем все. Пока мы шли с профессором Шмидт-Денглером по факультетскому коридору, он то и дело представлял мне кого-то: «специалист по Шницлеру», «специалист по Польгару». Сам Венделин Шмидт-Денглер — «специалист по Додереру». В своем кабинете он продемонстрировал мне, что это означает. Все издания Додерера и литературы о нем, десятки папок и сброшюрованных «дел» с копиями всех его, пусть самых мелких и незначительных, выступлений в печати, сейф с подлинниками автора, подаренными в знак признательности ученому... Меня заинтересовала тема «Додерер и Достоевский», и на соответствующей карточке я тут же нашел указатель всех мест у Додерера, где говорится о русском писателе, где он просто упомянут и где он подразумевается. Труд колоссальный, а ведь профессор Шмидт-Денглер читает еще несколько курсов, ведет семинары, пишет на самые разные темы. То-то он удивлялся, откуда это некоторые берут время ходить на футбол или играть в шахматы.

Доктор Краус собрал австрийских литераторов на чаепитие в Обществе. Едва хватило стульев. Впервые вижу тех, кого давно знаю заочно. Вот известный публицист Гюнтер Андерс, рассказывающий мне о своих встречах с Германом Брохом. Вот фрау Фройндлих — она активно сотрудничала в антифашистских изданиях в США еще в период эмиграции. Фрау Маркштайн — авторитетная переводчица с русского. Райнхард Урбах — энергичный и разносторонний критик.

Все горячо расспрашивают о современной советской литературе. Интерес к ней огромный, знаний — почти никаких. В большом почете Горький и Маяковский (которые, как и Чехов, часто ставятся в театре), но для большинства советская литература этими именами и кончается.

Эрнст Яндль и Фредерика Майрёкер особенно интересуются нашей поэзией. Они знают Хлебникова, слышали о Евтушенко и Вознесенском. Рассказываю о стихах Ахмадулиной и Матвеевой, Соколова, Кушнера, Чухонцева. «Какие они? Как они пишут?» Пытаюсь объяснить, наталкиваясь на удивление: «И это еще читают?»

Лирика как таковая умерла в Австрии вместе с Бахман. То, что делается теперь, по большей части не стихи, а «тексты», преимущественно двух видов: либо это заумный, чисто формальный эксперимент, либо немного наивные агитки.

Мне приходилось писать о «неоавангардистах» Эрнсте Яндле и Фредерике Майрёкер[1], и я всматриваюсь в них с интересом. Они неразлучны уже много лет и хорошо дополняют друг друга. Она часто и внезапно уходит в себя, посреди разговора вдруг глубоко задумывается, полузакрыв глаза и немного склонив голову, как большая ночная птица. Голос тихий, робкий. Ее поэзия «темна» и фрагментарна, но ей ведома и радость редких удач, совершенных строчек, напоминающих проблески позднего Гёльдерлина, ее любимца.

Эрнст Яндль — весельчак и балагур, наделенный венской утонченной любезностью, артистизмом. Кажется, что и свои геометрические фигуры из слов и букв он производит в шутку, но нет, в этом ребячестве он видит глубокий смысл, он снабдил меня собственной теоретической книжкой, где рассуждает о серьезных намерениях словесной эквилибристики...

Оба они милые, сердечные люди, и мне немного не по себе, что писал о них резко, хотя к авангардизму я, разумеется, и после общения с ними не подобрел. Есть ли у них ученики, последователи? «Нет, пожалуй, молодежь охотнее пишет прозу. К тому же они теперь все реалисты»,— с некоторой растерянностью говорит мне Майрёкер.

«Они теперь все реалисты,— бодро говорит мне Дьердь Шебештьен. — Это и нам, старикам, придает сил. Вот и я после долгого перерыва снова пишу роман. Это будет плутовской роман о приключениях одного интеллектуала на протяжении нашего века. Пишу урывками, все-таки главный редактор двух толстых по нашим масштабам журналов. (Шебештьен выпускает «Паннонию» — общественно-политический журнал «для европейского сотрудничества», как гласит подзаголовок, и — с 1977 года — литературно-художественный журнал «Морген».) Главную задачу редактора вижу в том, чтобы дать голос всем народам, населяющим Австрию, погасить очаги национальной нетерпимости, вспыхивающие еще тут и там. Вот взгляните на эти «иконостасы» — в обоих журналах на первой странице я даю портреты всех авторов но-

[1] Эрнст Блох — современный западногерманский философ и литературовед леволиберального направления, автор трехтомного труда «Принцип надежды» (1959), в котором пытается соединить марксистскую социологию с «утопическим экзистенциализмом».

Ганс Георг Гадамер — основатель идеалистической герменевтической школы в философии и литературоведении.

Эмиль Штайгер — швейцарский литературовед, представитель формалистической «школы стилистической интерпретации».

Вальтер Беньямин — литературовед с социологическим уклоном, погибший в годы антифашистской эмиграции, популярен как предтеча «новых левых». *(Прим. автора.)*

[1] См. «Иностранную литературу» № 4, 1971 г.

меча; пустяк, конечно, но мне он кажется важным: наглядное доказательство, что все люди, какой бы национальности они ни были, выглядят как люди — вопреки утверждению всяческих нацистов».

Шебештьен — несокрушимый оптимист, в своем оптимизме он и черпает энергию для двух журналов. Времена мракобесия, полагает он, навсегда миновали. И в этом — заслуга цивилизации. «Человек неизбежно растет, мужает интеллектуально. А возмужавший интеллектуально человек никогда не станет пушечным мясом, что уже отрадно. Предрассудки рассеиваются на наших глазах — как призрак, как туман. Часто с ними даже не приходится бороться, жизнь просто проходит мимо них, никто больше не замечает их существования. А это презрение молодежи к роскоши, к излишествам — разве оно не отрадно, разве не очищает душу, не освобождает ее для духовного развития?»

Эрнст Хинтербергер — словно живая частичка фольклора. Он не «вышел» из народа, он в нем остался. По-прежнему, как всю свою жизнь, встает в пять утра и спешит на фабрику — в другом конце города. «Кому мы нужны» (1977) — книжка рассказов, которую он мне прислал в отель, вся состоит из портретов и судеб его сослуживцев. Просто, доходчиво написанные портреты, печальные большей частью судьбы людей, которые никому не нужны. О задворках «золотой Вены» написан и новый роман Хинтербергера «Дом на снос» (1977).

Начал писать Хинтербергер сравнительно поздно, тридцати пяти лет. Его первый роман «Соль земли» (1966) привлек внимание и критиков и читателей новой для австрийской литературы «рабочей» темой. Потом был период сомнений, неудач, учебы.

Сейчас Хинтербергер вновь необычайно популярен — благодаря бесконечной (при мне шла двадцать пятая часть) телесерии «Настоящий венец нигде не пропадет». Изобретательный сюжет, верно схваченная среда, брызжущий юмором язык собирают у экрана множество зрителей.

Но Хинтербергер не хочет ограничиваться созданием «жанровых сценок». Свою задачу он видит и в том, чтобы посмеиваясь бичевать нравы. Задача эта важна и актуальна, он убежден в этом. «Вот здесь и здесь,— широко поводил Хинтербергер рукой, когда мы с ним пересекали площадь близ Хофбурга,— стояли толпы, когда в марте тридцать восьмого бесноватый произносил свою «тронную речь». Это страшное зрелище, поверьте. Оно перед глазами у меня всю жизнь. Оно показало, чем иногда оборачивается хваленый австрийский оппортунизм. Долг писателя — напомнить об этом и предупредить».

Сам Хинтербергер чрезвычайно колоритен: «императорские», под Франца-Иосифа, усы, наивные детские глаза, крутой венский диалект, против которого нередко бессилен мой университетский немецкий. Замечая это, Хинтербергер пытается перейти на hochdeutsch, «литературный немецкий», но надолго его не хватает. Я в выигрыше — это хорошая разминка перед двумя подряд походами в театр, которые мне предстоят в последние дни: «Вера, надежда, любовь» Эдена фон Хорвата [1] в Йозефштадттеатре и «Венские женщины» Германа Бара в Фолькстеатре.

Пьеса Хорвата поставлена, однако, несколько неожиданно, без диалектной окраски — в языке подчеркнуты клише социального слоя, мещанства, а не «локальный колорит»,— скорее всего, чтобы акцентировать драматическую общезначимость драмы. Спектакль очень строгий, выдержанный в едином ключе и темпе, с несколько, может быть, «осовремененной» утрировкой.

Пьеса Бара — сама искрометность, веселье, шарм не без едкости, но не жалящей, а манящей, растворяющейся в грации — таковы венские женщины, например, на портретах Климта, современника Бара, переживающего ныне свое возрождение.

Бывает, две недели на новом месте сливаются в один день. Но бывает, что и длятся на удивление долго — помноженные на годы заочного знакомства. Так и на этот раз. Увиденное множилось на прочитанное, память помогала зрению. Вся поездка воспринималась и как предварительные итоги в изучении одной из самобытнейших и богатейших в отношении культурной традиции стран Европы, и как импульс к новой работе.

На обратном пути, в самолете, я уже не спускался мыслью в глубокий колодец прошлого — торопился записать недавнее, промелькнувшее. Наполнившее слово «Австрия» новым содержанием и оживившее, уточнившее старые представления о ней.

[1] Подробнее об этой пьесе и о драматургии Эдена фон Хорвата см. в «Иностранной литературе» № 4, 1978 г.

# Публицистика

БОРИС ГАЛАНОВ

# ВЕЛИЧИЕ МАЛОЙ ЗЕМЛИ

Книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» — о величайшем ратном и трудовом подвиге советского народа, книги, в которых обобщен богатейший опыт нашей партии и государства, претворяющих в жизнь ленинские принципы построения социалистического общества, читают и обсуждают миллионы советских людей.

Огромный интерес проявляют и читатели за рубежом. «Малая земля» и «Возрождение» помогут им лучше узнать о героических свершениях советского народа в дни войны и в дни мира, ближе познакомят с автором этих книг — Леонидом Ильичом Брежневым, выдающимся политическим деятелем современности, борцом за мир, демократию и социальный прогресс.

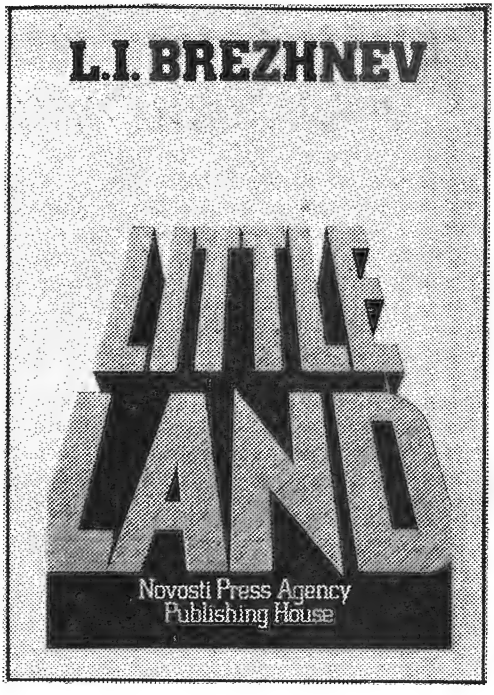
Мы публикуем сегодня беседу о книге Л. И. Брежнева «Малая земля» писателя Бориса Галанова — бывшего корреспондента газеты 18-й армии «Знамя родины» — с американским публицистом и общественным деятелем Майком Дэвидовым.

С Майком Дэвидовым — американским журналистом, драматургом, общественным деятелем — мы встретились в номере московской гостиницы. Дэвидов — гость нашей столицы. Впрочем, сам он считает себя не гостем, а москвичом. Долгое время Дэвидов был московским корреспондентом газеты американских коммунистов «Дейли уорлд» и в своем «Письме советским друзьям из «свободного мира», опубликованном в 1975 году на страницах журнала «Иностранная литература», писал, что, прожив шесть лет в СССР, «в разумном и подлинно человечном мире», он чувствовал себя не гостем, не туристом, а москвичом. Москвичом, как мне показалось, он остался и после нескольких лет разлуки с Москвой.

Книгу Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» Дэвидов недавно прочитал в английском переводе. Когда мы беседовали, текст лежал перед ним на столе с множеством закладок и карандашных пометок...

Как бывший военный журналист, свидетель боев на Малой земле и за Новороссийск, я участвовал в нескольких читательских конференциях по книге Л. И. Брежнева и не раз замечал, что каждый читатель открывает в ней для себя еще и нечто свое, личное — ветеран минувшей войны и юноша-комсомолец, партийный работник, студент, учитель, рабочий, литератор, солдат Советской Армии и ее офицер. Разумеется, повстречавшись с американским журналистом, я с интересом ожидал, что скажет читатель из-за океана — большой друг Советского Союза, но человек, чья жизнь и биография связаны прежде всего с жизнью его собственного народа, собственной страны. И то, как воспринял «Малую землю» он, мне кажется, прибавляет свои краски к нашему представлению о значении этой книги.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Я потому с такой радостью делюсь мыслями о книге товарища Брежнева, что она произвела на меня впечатление огромное, что она прямо связывается с сегодняшней борьбой за мир. А что означает слово «мир» для советского народа, какой смысл оно имеет, я знаю очень хорошо: это для вас не просто слово, это — ваша жизнь, это — все. Повторяю, убеждение мое — «из первых рук». Я вынес его, встречаясь с советскими людьми, пережившими в военные годы неслыханные страдания, принесшими колоссальные жерт-*




*вы и на всю жизнь сохранившими память о ранах войны — тех, что зажили, и тех, что не заживут никогда...*

В мае 1972 года Майк Дэвидов присутствовал в Кремле при подписании Документа об Основах Взаимоотношений СССР и США. Он говорит, что вряд ли когда-нибудь забудет этот момент.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Когда под сводами Кремля прозвучали ваш Государственный гимн и наши «Звезды и полосы», я, журналист, газетчик, человек, много повидавший и испытавший на своем веку, был взволнован до глубины души. Встреча символизировала возможность нового поворота в истории отношений между нашими народами — надо ли говорить, в какой мере зависят от этого судьбы мира...*

*Во время работы в Советском Союзе мне не довелось лично познакомиться с товарищем Брежневым. Но, прочитав его книгу, я испытал такое чувство, будто теперь знаком с ним лично. Думаю, это чувство испытают и многие американцы, книга приблизит к ним автора — до сих пор они знали его прежде всего как выдающегося государственного деятеля, теперь узнают и человека. Размышления политика, государственного деятеля органично соединяются в этих записках с воспоминаниями участника минувшей войны, офицера, политического работника, который бок о бок с солдатами прошагал по трудным ее дорогам. Этот яркий, исполненный подлинного драматизма и очень личный рассказ помогает воочию представить, какие испытания выпали на долю советских людей в войне против фашизма, глубже осознать всю меру отваги, мужества и оптимизма советского солдата.*

Спрашиваю, был ли Майк Дэвидов участником войны.

Да, война его не обошла. Был солдатом 61-го пехотного полка 27-й американской дивизии, участвовал в высадке на Окинаве.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Я знаю, что такое морской десант, какую страшную цену должны были заплатить те, кому предназначалось высадиться с моря на узенькую береговую полосу и удержать эту полосу. А ваши солдаты сражались на таком плацдарме более полугода.*

— 225 дней,— говорю я,— 225 десантов, точнее — одна сплошная десантная операция, продолжавшаяся 225 дней, потому что каждую ночь по «голубой дороге смерти» — «голубой дороге жизни» на Малую землю отправлялись сейнера и мотоботы с людьми, оружием, боеприпасами, продовольствием. Каждую ночь! До того святого 226-го дня, когда начался штурм Новороссийска и в центре города, наконец, соединились войска Большой и Малой земли.

В самом начале своей книги, рассказывая, как труден и опасен был путь на Малую землю, Леонид Ильич Брежнев пишет:

---

БОРИС ГАЛАНОВ
ВЕЛИЧИЕ МАЛОЙ ЗЕМЛИ

«Чтобы читатель оценил обстановку, скажу, что в дни десанта каждый, кто пересек бухту и прошел на Малую землю, получал орден»...

В суровом сорок третьем году часто доводилось наблюдать, каким почетом и уважением в частях и подразделениях 18-й армии были окружены защитники Малой земли. Военный корреспондент «Правды» Мартын Мержанов вспоминал, что стал однажды свидетелем такого характерного случая: в комнату, где находился генерал, вошел солдат и, взяв под козырек, сказал: «Разрешите обратиться, товарищ генерал». «Вы откуда?» — спросил генерал. «С Малой земли». Генерал поднялся из-за стола, подошел к бойцу и двумя руками крепко пожал его руку...

Между прочим, не раз бывали на Малой земле и армейские журналисты. Наверное, на всю жизнь запомнится «МЧС-42» — малый черноморский сейнер «Паламида», а говоря менее торжественно — старенькое рыбацкое суденышко, заваленное мешками, ящиками с продовольствием и боеприпасами. На «Паламиде», в длинном караване таких же суденышек, нам предстояло отплыть с Большой земли на Малую. Моими соседями оказались бойцы из пополнения, зенитчики, минометчики, две женщины-прачки, которые восседали на необъятных узлах со свежевыстиранным солдатским бельем, девушка-почтальон с тяжелой сумкой, набитой письмами и газетами для малоземельцев. И с таким-то грузом им предстояло высаживаться под огнем врага у причалов Малой земли...

Три часа продолжался путь на Малую землю. И на каждом километре пути караван рисковал напороться на вражеские мины, подвергнуться атаке немецких торпедных катеров или нападению с воздуха. И все-таки самое тяжкое испытание ожидало впереди. У причалов Малой земли были «развешены» немецкие осветительные ракеты, во всех направлениях шарили лучи прожекторов. Береговая артиллерия немцев била по морю, и гул разрывов, многократно усиленный эхом, разносился по волнам. Сейнер лавировал, изо всех сил стараясь ускользнуть от лучей вражеских прожекторов, казалось, он притягивает их к себе, как магнитом. В конце концов чьи-то нервы не выдержали, кто-то отчаянно громко крикнул: «Полный вперед!» Но прошел по крайней мере час, прежде чем удалось приблизиться к берегу...

Фронтовой журналист Сергей Борзенко, удостоенный звания Героя Советского Союза (его вспоминает в своей книге Леонид Ильич), дольше других армейских газетчиков прожил на Малой земле. Он был спецкором газеты «Знамя родины». И участок, на котором он находился, оказался едва ли не самым опасным. Целых семь месяцев Сергей прожил в землянке через улицу от фашистов. Свое главное богатство — рукописи, заметки — он всегда носил с собой за пазухой на тот случай, если в его отсутствие землянку разворотит снарядом или бомбой. Сергей был замечательный товарищ, храбрый офицер. После десанта на Малую землю он высаживался с десантом в Эльтигене, на первом освобожденном клочке крымской земли, при высадке принял на себя командование группой десантников. Потом он писал: «Малая земля стала родиной мужества и отваги... Тот, кто попадал на плацдарм под Новороссийск, становился героем. Трус на этой обгорелой земле умирал от разрыва сердца или сходил с ума...»

*МАЙК ДЭВИДОВ. Главный вопрос, который я задаю себе, который задаст себе каждый американец, прочитав «Малую землю», особенно если он был солдатом, заключается в следующем: где источник мужества ваших людей? Откуда их решимость выстоять?*

*Откуда эта вера в будущее, в победу, которую товарищ Брежнев описывает как характерную черту советского солдата. В чем истоки всего этого?*

*Американские солдаты — это я знаю доподлинно — совершили немало подвигов. Наши ребята умели храбро сражаться. Но героизм в нашей армии не был массовым. Героями становились одиночки. А в вашей стране в годы войны героизм явил весь советский народ. И в своей небольшой, но по содержанию столь емкой книге товарищ Брежнев помогает нам увидеть, что Советская Армия — это и есть сам народ, что на всем протяжении войны народ и армия были у вас нераздельны, фронт и тыл составляли единое целое. Вот где истоки массового героизма советских людей. Патриотическим чувством, решимостью защитить родную землю, дойти до конца, до полной победы над врагом были охвачены все. Только так можно было вернуть мир на землю.*

— Что вы еще хотели бы в первую очередь отметить в записках о Малой земле?

*МАЙК ДЭВИДОВ. Огромную роль на фронте политработников и, в частности, товарища Брежнева как одного из политических руководителей. Пожалуй, американцы впервые задумаются над самим понятием «политработа на фронте», поймут, что, активно участвуя в подготовке и проведении боевой операции, воспитывая стойкость ваших воинов, закаляя их духовно и подкрепляя свое слово личным примером в бою, политработники в немалой степени предопределяли исход справедливой борьбы. Говоря, что Советская Армия — подлинно народная армия, армия нового типа в самом точном, научном смысле этого слова, имеют в виду и то обстоятельство, что она является сознательной армией. И тут роль политработников невозможно переоценить. Ваши солдаты были вооружены еще и духовно, сильны своей убежденностью, что победа будет завоевана, что враг обречен уже потому, что хочет навязать людям ненавистную фашистскую идеологию.*

Рассказываю Майку Дэвидову об одном из тех политработников, кто помогал вос-

питывать в бойцах высокую сознательность, досконально знал настроения, нужды, надежды и мечты солдат, вел их на самопожертвование и на подвиг.

Сержант Павел Иванович Нечаев, человек степенный и уже немолодой, в предвоенные годы—крестьянин, председатель колхоза «Трудовик» под Евпаторией, в сорок третьем году в разгар жестоких боев за Новороссийск стал парторгом знаменитого в 18-й армии «Сарайчика» — крайней левой точки гигантского советско-германского фронта. Если выход из Новороссийска с моря агрессору запирала Малая земля, то с суши вырваться на Сухумское шоссе мешал цементный завод «Октябрь», где держала оборону 318-я стрелковая дивизия. Маленькая белая постройка «Сарайчик», некогда служившая резервуаром водонапорной башни, стала важнейшим опорным пунктом на подступах к заводу. Вражеские дзоты и блиндажи находились в каких-нибудь трех-четырех десятках метров. Автоматная и минометная перестрелка здесь не прекращалась ни днем, ни ночью. Ободряющее, весомое слово коммуниста Нечаева, его умение воодушевить товарищей и особенно товарищей молодых, из недавнего пополнения, было здесь необходимо. Нечаев поддерживал солдат, считал прямым долгом каждый раз отправляться с новичками в ночной поиск, на выполнение самых опасных боевых заданий. «Потому что,— пояснял он,— где же в такую минуту быть коммунисту? Конечно рядом с новичком».

*МАЙК ДЭВИДОВ. Да, в облике ваших политработников книга «Малая земля» позволяет увидеть людей, одаренных личным мужеством, отзывчивостью и многими другими прекрасными человеческими качествами; в обстановке сурового фронтового быта они проявляли и сердечность, и понимание тех специфических проблем, которые возникают на войне, помогали людям оставаться людьми во всем высоком и благородном значении этого слова... И главное — помогали каждому солдату глубоко осознать характер войны, природу фашизма. Потому-то ваши политработники, как это показывает книга, обходились без высокопарных заклинаний. Те, кто затевает несправедливые, захватнические войны, лгут своим солдатам. А ваши люди знали, во имя каких великих идеалов они сражаются, ваши политработники говорили им правду — какой бы суровой она ни была, разъясняли объективные причины, которые делают победу возможной, исторически неизбежной. Ведь как это важно и как трудно — понять, что именно ты выполняешь главную задачу, защищая вот этот дом, вот это вытоптанное картофельное поле, этот клочок земли, с которого враг стремится сбросить тебя в море! Одним словом, надо было связать воедино, как говорит в своих записках товарищ Брежнев, только что отбитую атаку с великим сражением, которое ведет весь советский народ...*

*Повторяю, солдаты нашей американской армии не отдавали себе столь глубоко отчета в истинно великих, гуманных целях войны с фашизмом. У нас было могущественное по тем временам оружие, это правда, но мы не были в такой степени, как ваши солдаты, вооружены духовно. Вот почему все, что пишет в своей книге товарищ Брежнев о роли политработников в Советской Армии, об их влиянии на умы и сердца, прозвучит для американцев столь ново и необычно, окажется столь интересным и важным. Он приводит множество примеров заботы политработников о людях, внимания к их нуждам в условиях тягчайшего военного быта, примеров теплоты и поддержки в минуту трудную, которые составили особую черту, особую силу политических руководителей на войне,— наряду с высоким служением долгу и личной отвагой они были сильны своей любовью к солдатам, любовью к людям, умением понимать их.*

*Я думаю, именно в гуманизме — главный пафос книги. Ее автор испытал счастье победы. С гордостью он пишет о самоотверженности и героизме советского солдата, одолевшего фашистского зверя. Но войну отвергает, не приемлет.*

*И я сам как солдат, участвовавший в военных действиях — ни в коей мере, разумеется, не сравнивая то, что пережил солдат американской армии, с тем, что выпало на долю советских людей («Малая земля» — тому свидетель),— всем сердцем разделяю пафос записок товарища Брежнева.*

*Прочитав его книгу, я лучше понял: лишь человек, не только сам прошедший через жесточайшие испытания войны, но сохранивший и приумноживший в этих испытаниях все богатство человеческих чувств, может в полной мере осознать, как важно не допустить развязывания новой войны, особенно при наличии оружия, куда более разрушительного, чем то, что применялось в войне, в которой участвовали и мы...*

Прошу Майка Дэвидова прокомментировать в свете высказанного им кочующие сегодня по страницам американской печати рассуждения о так называемой «советской военной угрозе».

*МАЙК ДЭВИДОВ. Миф, грубая работа противников разрядки. Книга «Малая земля» опрокидывает этот миф. О какой «советской военной угрозе» может идти речь? Страстный призыв к миру — можно сказать, самая душа, суть книги, естественно и органично она подводит читателей к последним, заключительным словам: «И если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда...» Я не берусь назвать ни одного государственного деятеля на Западе, который мог бы написать книгу, подобную «Малой земле».*

---

БОРИС ГАЛАНОВ
ВЕЛИЧИЕ МАЛОЙ ЗЕМЛИ

Снова и снова мой собеседник обращается к анализу тех факторов, которые привели советский народ к победе над гитлеровской Германией.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Малая земля отныне останется жить в нашем сознании не только как непобежденный, непокоренный клочок советской территории, как несокрушимый плацдарм, она останется символом подвига всего советского народа. В описании боев на узкой полоске суши, прижатой к морю, как в зеркале, отражается противостояние идеалов, моральных качеств солдат двух армий. Записки о Малой земле можно назвать повестью о великом гуманизме, о силе и величии духа советского человека, отстаивавшего на фронте великие завоевания революции. Потерять их — означало потерять подлинные права человека, обретенные в борьбе за социализм — права на разумное и справедливое устройство мирной жизни. А что после войны ждало американцев? С какими проблемами встретились они? Да все с теми же — прежними, довоенными, порожденными системой капиталистического общества. И по мере того, как обострялись кризисы — обострялись проблемы. В своей книге «Города без кризисов» я пишу об этом. С болью пишу слова, продиктованные любовью к моей стране: о наших городах, которые не выходят из кризисного состояния. О растущей безработице и растущей неуверенности людей в завтрашнем дне. О разгуле преступности. О расизме, от которого жестоко страдает черное население Америки, пуэрториканцы, индейцы. Я рассказываю о вещах общеизвестных, но ведь у нас эти проблемы неразрешимы.*

— Скажите, много ли знают об Отечественной войне советского народа широкие круги американцев? — спрашиваю я. Пожалуй, мой вопрос носит скорее риторический характер. Спрашиваю, заранее предвидя ответ, потому что американцы и сами не скрывают своей неосведомленности. На память приходит недавний пример: в связи с последней работой замечательного советского кинорежиссера Романа Кармена — 20-серийной программой документальных фильмов об Отечественной войне для американского телевидения — в Москву приезжал господин Фред Винер, вице-президент нью-йоркской компании «Эйр тайм». Это по ее заказу делался фильм. И вот что он сказал, побывав в Москве (его слова приводились в «Литературной газете»): «...Я испытал глубокое потрясение. Только сейчас, тридцать с лишним лет спустя после второй мировой войны, я узнал о том, какое великое мужество в борьбе с нацизмом проявил советский народ и его армия, какие тяжкие, невероятные испытания выпали на их долю, как они сломили хребет гитлеровским полчищам. Признаюсь, мне это было неведомо. Да и не только мне, но, думаю, и большинству американцев».

Кстати говоря, сходные чувства испытал и знаменитый американский актер Берт Ланкастер, который был приглашен на роль Ведущего в фильме Кармена. Вдвоем с Карменом они проехали по местам, где некогда бушевала война. Обращения Ланкастера к американским телезрителям перед началом каждой серии нового фильма записывали в Ленинграде на крейсере «Аврора», на пирсе Мурманского порта, где в годы войны швартовались караваны американских судов, у стен Брестской крепости, на Малой земле, в сожженной немцами Хатыни. Потом Ланкастер сказал своим советским коллегам: «Я с радостью принял предложение сниматься в этом необычном фильме, потому что считаю своим долгом, долгом человека старшего поколения, поведать правду о том, как сражался с фашизмом Советский Союз. Меня волнуют высокие человеческие идеалы. Я хочу поведать американцам о «странной войне на Востоке», о «неизвестной войне» советского народа, о которой у нас в США и сейчас еще почти никто не знает, а в наших учебниках истории о ней упоминается лишь вскользь».

Итак, «странная война на Востоке». Недавно об одном драматическом ее эпизоде могли узнать те американцы, которые посмотрели в городе Хьюстон пьесу Михаила Рощина «Эшелон». Постановщик спектакля режиссер московского театра «Современник» Галина Волчек запомнила взволнованную реакцию зала во время спектакля — ведь о подвиге советского народа в дни войны жителям техасского города Хьюстона было так мало известно!

— Но меня интересует, что думаете вы?

*МАЙК ДЭВИДОВ. Думаю, что вы не ошибаетесь. Некоторые американцы, в особенности молодые американцы, родившиеся уже после войны, действительно очень плохо знакомы с историей. К сожалению, это факт. Роль Советской Армии в разгроме фашизма наша печать замалчивает. С явного благословения правящих кругов. Мельком говорится о войне на Востоке в учебниках истории. Едва ли многие американцы знают, что произошло под Сталинградом, еще меньше осведомлены о Курской дуге и, конечно, вовсе ничего не знают о Малой земле. Впрочем, наши «специалисты» по антисоветской пропаганде утверждают, что удивляться тут вроде бы не приходится: у людей короткая память. Если когда-нибудь знали, то наверняка забыли. Да и к чему нежелательные воспоминания? Тем важнее, чтобы американцы получили доступ к историческим документам, которые от них скрывали, чтобы побольше американцев прочитало книгу «Малая земля». Она написана не только для того, чтобы напомнить. Она о том, что надо запомнить.*

Речь заходит о тенденциозном освещении военной темы на американском экране. Эта тема долго привлекала американских кинематографистов. Было несколько превосходных лент — начиная с первого послевоенного почти классического фильма «Лучшие годы нашей жизни» режиссера Уильяма Уайлера. (Мой американский

коллега энергично кивает головой в знак одобрения.) Но сколько на счету у американцев фильмов, в которых участие Советского Союза в войне с гитлеровской Германией начисто игнорируется! Войну с фашизмом — судя по ним — ведут исключительно американцы и англичане. Да и самая мировая война изображается как вспышка всеобщего безумия, как сплошная нелепость. Драматические военные сюжеты используются для создания кассовых развлекательных вестернов.

Не знаю, стоит ли вспоминать в этой связи фильм «С дубовыми листьями и мечами», который мне довелось недавно увидеть. Его широко рекламировали как «жестокий, устрашающий, увлекательный и правдивый военный кинобоевик». Но это типичнейшее изделие голливудской военной кинопродукции, заполняющей экраны Запада. Вот почему мне все-таки хотелось его назвать. Герои фильма — американские десантники — лихо сражаются в африканской пустыне с солдатами Роммеля. Как и положено в вестернах, посреди пустыни стоит кабак-салун, в кабаке есть красотка легкого поведения. Потоком льется кровь. Люди прошивают друг друга автоматными очередями. И все в этом фильме оскорбительно ненатурально. Даже абсолютно натуральная пустыня.

*МАЙК ДЭВИДОВ. От таких фильмов мало толку, еще меньше добра. Они разжигают милитаристские инстинкты, воспитывают жестокость.*

*Я уже говорил, какое глубокое впечатление произвел на меня гуманизм вашей армии, ваших солдат. И это в разгар жесточайшей войны. Гуманизмом проникнуты ваши фильмы о войне... Что же касается фальсификации, замалчивания фактов истории в американском искусстве и в литературе, то для нас это не ново. Одно время начали появляться книги и фильмы, в дурном свете выставлявшие сторонников уничтожения рабства. Зато те, кто стремился его сохранить и увековечить, романтизировались, выдавались за героев. Привожу этот пример, чтобы показать, насколько искажается история. Грязной игре неисправимых поборников «холодной войны» наруку сегодня и попытки воскрешения призрака Гитлера. Опасные попытки — и, надо сказать, все более назойливые.*

Рассказываю Майку Дэвидову, что в прошлом году в Западном Берлине при огромном стечении публики состоялась премьера документального фильма «Гитлер — история карьеры». Его авторы предприняли попытку если не полностью реабилитировать (что не под силу даже закоренелым реваншистам), то хотя бы частично обелить Гитлера.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Я видел этот фильм недавно в Хельсинки, где его демонстрация вызвала бурные протесты. Не знаю, идет ли уже он у нас в США. Но не сомневаюсь, что пойдет.*

Однако не отклоняемся ли мы от темы, думаю я... Нет, пожалуй, ведь «Малая земля» больше чем просто рассказ об увиденном и пережитом на войне, о героизме и подвигах советских людей, о том, какие великие жертвы были принесены во имя победы. Эта книга и о том, как важно преградить дорогу новой войне, отстоять и сохранить мир. Она помогает отчетливее, глубже понять, оценить, увидеть все, что содействует или противостоит процессу разрядки напряженности в современном мире.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Читая книгу товарища Брежнева, я размышлял о том, что развязыванию многих опасных конфликтов в сегодняшнем послевоенном обществе препятствует самый факт существования такого могучего оплота мира, как Советский Союз, деятельность такого государственного руководителя, как Леонид Брежнев, который последовательно отстаивает программу мира, а верность ей — этой программе — советский народ доказал всей своей славной историей. Вы упомянули Хатынь. Я был там, видел на белом мраморе обращение павших к живым: «... утвердить навечно мир и покой на земле». К величайшему прискорбию, трагических памятников в вашей стране немало. Но пусть и грядущим поколениям они всегда напоминают о прошедшей войне и о том, что новых войн быть не должно... Что же касается попыток врагов мира вновь вернуть нас к временам «холодной войны» — нужно ли говорить о том, каким это было бы величайшим несчастьем для Америки и для всего человечества,— то хочу подчеркнуть: когда после шестилетнего отсутствия я возвратился в Штаты, меня особенно порадовал возросший за эти годы интерес к вашей стране, у рядовых американцев крепнет убеждение, что судьбы мира в первую очередь зависят от двух наших держав — Советского Союза и Америки. Говорю это на основании личного опыта. Я выступал перед тысячами американцев, в университетах и колледжах, технических институтах, библиотеках, выступал перед людьми разных возрастов, разных по уровню общественного сознания. Я делился своими впечатлениями о Советском Союзе, о встречах с советскими людьми и всюду отмечал честное стремление моих соотечественников узнать, чем живет ваша страна.*

*Сейчас все мы с напряженным вниманием следим за развертывающейся в Америке решающей битвой между двумя направлениями политики: теми, кто стремится найти пути и средства для расширения дружеских связей, культурных обменов, торговли, содействовать более близкому знакомству друг с другом, и теми, кто хотел бы перечеркнуть документ, подписанный нашими правительствами в 1972 году и гласящий, что в ядерную эпоху принцип мирного сосуществования является единственно возможным.*

*В качестве одного из руководителей Об-*

---

БОРИС ГАЛАНОВ
ВЕЛИЧИЕ МАЛОЙ ЗЕМЛИ

*щества дружбы с Советским Союзом, имеющего свои отделения в 11 городах США, и главы отделения этого Общества в Сан-Франциско я отстаиваю идею всемерного расширения контактов. Члены нашего Общества, используя метод, если можно так сказать, «наглядной агитации», стремятся растолковать американцам, что они могут потерять, если разрядка не будет продолжаться. Например, в числе документов, подписанных в 1972 году, было соглашение о совместной работе советских и американских ученых по изысканию средств борьбы с заболеваниями раком. Такая работа ведется на протяжении пяти лет. Советские и американские ученые поочередно встречаются в Москве и в США, обмениваются пусть пока еще не слишком крупными, но обнадеживающими результатами. Скоро планируется провести аналогичную встречу в Сан-Франциско и других городах США. Советские и американские ученые проинформируют друг друга о результатах, достигнутых благодаря совместным усилиям. Их девиз: «Рак — наш общий враг».*

Майк Дэвидов вспоминает о том, как 9 мая 1978 года он участвовал в Москве в народном гулянии: с женой и дочерью генерала Батова побывал в Парке культуры и отдыха, где встречались ветераны 65-й армии.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Это было волнующее зрелище. Я увидел бывших солдат, на долю которых выпали неизмеримо более суровые испытания, чем на мою. По правде говоря, я искал в их облике нечто возвышенное, а увидел простых, скромных мужчин и женщин. Причем женщин было очень много. Это были те самые люди, которые спасли всех нас, отстояли мир, и я любовался ими. Повторяю, в их облике не было ничего героического, то есть ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало льстивые, приукрашенные портреты, которые порой пишутся художниками. Но истинные герои никогда ведь и не похожи на свои подслащенные живописные изображения. Они в них не нуждаются. Особенно меня порадовало, что вместе с ветеранами войны в парк пришла масса молодежи. Нет ничего важнее на свете, чем научить молодежь знать и помнить.*

А я рассказываю о послевоенных встречах с Новороссийском, о том, как бродил и ездил по городу, узнавая и не узнавая улицы, площади, скверы, которые в сентябре сорок третьего лежали в руинах. Первая корреспонденция из освобожденного города была названа тогда «Пепел Новороссийска». Нынешний заново отстроенный город необыкновенно красив. Район Станички — там высаживался легендарный морской десант, и оттуда пошла Малая земля — носит имя славного командира отряда Цезаря Куникова: Куниковка. Читаю названия улиц: имени Филиппа Рубахо, знаменитого снайпера, о котором незадолго до его героической гибели готовился материал для армейской газеты; имени Павла Когана, талантливого молодого поэта, которого называет в своих воспоминаниях Леонид Ильич Брежнев. Павел Коган сложил голову под Новороссийском. Имена героев Новороссийска и Малой земли выбиты на стенах домов, некогда взятых ими штурмом, присвоены проспектам, клубам, школам, стали как бы неотъемлемой частью этого красивого города, его историей.

И не только Новороссийск чтит память героев новороссийской битвы. На Украине в Молочанске, родном городе замечательной девушки-десантницы, комсорга 255-й бригады морской пехоты Марии Педенко — о ней в книге Л. И. Брежнева сказано, что Мария была одной из прекрасных дочерей нашей Родины, разделивших с мужчинами все тяготы войны,— есть улица имени Марии Педенко. В Харькове тридцатая школа носит имя своего бывшего ученика Сергея Борзенко, который начинал путь военного корреспондента в армейской газете, был ее спецкором на Малой земле, а заканчивал войну корреспондентом «Правды».

В годовщины празднования Дня Победы собираются и ветераны 18-й армии. Они очень дорожат сложившейся традицией и гордятся тем, что бывший начальник политотдела армии Леонид Ильич Брежнев не раз был участником этих встреч.

*МАЙК ДЭВИДОВ. Ничего подобного у нас даже невозможно представить. С болью думаю, что День Победы не отмечается в нашей стране. Выходит, что для нас это не праздник... Иной раз в газетах промелькнут несколько заметок, тем дело и ограничивается. Печально, но факт. Кем-то сказано: тот, кто позабыл историю, ничему у нее не научился, неизбежно обречен на повторение драматических ее ошибок. Это истина, хотя и невеселая.*

Я задаю вопрос: поддерживают ли американцы, ветераны войны, личные, дружеские контакты?

Майк Дэвидов отвечает:

*— Как всякий солдат, я испытываю почти родственное чувство к товарищам по оружию. Моими однополчанами были выходцы с юга, с севера, с запада США. Война сблизила нас. Многие из них догадывались или знали, что я коммунист, но это не мешало нам дружить. Я не скрывал, что вступил в компартию еще до войны и вместе с Гэсом Холлом работал в Кливленде, где он возглавлял партийную организацию, а я был ее оргсекретарем. Из-за принадлежности к партии у меня, разумеется, были в армии неприятности «по официальной линии». Но с рядовыми сразу наладились добрые отношения. Они судили обо мне по моему поведению: хорошо воюешь — значит, заслуживаешь уважение. А не был бы хорошим солдатом — и уважения не было бы. Рабочие люди тоже тебя оценивают по твоим делам: хорошо работаешь — значит, достойный человек.*

*Со многими из своих фронтовых друзей я и сейчас поддерживаю связь, они мне пишут, и я им пишу. Что же касается организационного объединения, то здесь возникает серьезная проблема. В США суще-*

*ствует организация ветеранов войны «Американский легион» — один из наиболее реакционных в нашей стране институтов. За его спиной стоят откровенные милитаристы, поддерживающие гонку вооружений, блокирующие малейшие усилия, направленные на разрядку напряженности. Многие бывшие солдаты, разделяющие прогрессивные взгляды и убеждения, не испытывают поэтому особых симпатий к этой организации. После войны у нас, правда, предпринимались попытки создать организацию ветеранов, которая противостояла бы «Американскому легиону», выступала бы с программой борьбы за мир. Я принимал активное участие в этой кампании. К сожалению, пока что усилия мало к чему привели. У нас нет объединений ветеранов наподобие тех, которые существуют в ряде европейских стран. Конечно, «Американский легион» время от времени проводит конференции и встречи бывших солдат, но участие в таких встречах чаще всего мало радует. Наивно было бы думать, что милитаристы станут всерьез обсуждать планы борьбы за мир...*

*Встречи ветеранов войны, которые я видел собственными глазами в вашей стране, имеют мало общего с нашими — при всем том, что у бывших фронтовиков чувство солдатского братства, конечно, развито сильно. И у нас есть настоящие энтузиасты, собирающие ветеранов, не сомневаюсь, что в каких-нибудь маленьких городках, когда там собираются компании бывших солдат, возникает атмосфера искренности, теплоты, веселья, торжественности. Но встречи, подготовленные руководителями «Американского легиона», как правило, происходят иначе. Их призывы идут вразрез с надеждами и желаниями тех, кто испытал тяготы войны и остался цел, кто больше всего хотел бы жить в мире.*

*Не знаю, не видел я солдата, который хотел бы новой войны, который не мечтал бы о том, чтобы дети его никогда не знали ужасов войны. Об этом не может не мечтать каждый, кто на самом деле воевал.*

*Глубоко убежден: те, кто сегодня пытается остановить время и вернуться назад к дням «холодной войны», отнюдь не выражают волю большинства американцев. Большинство американцев искренне приветствовали бы дружбу между нашими двумя странами. То, что я увидел 9 Мая в Москве, представлялось мне внушительной демонстрацией. Люди были охвачены единым стремлением к миру. Бывшие солдаты— мужчины и женщины,— хорошо знающие, что такое война, опаленные войной, сражавшиеся так, как никто никогда не сражался, доказавшие, что они лучшие солдаты на свете, подтверждали: они хотят, чтобы войн больше не было, чтобы существовали прочные гарантии, что войн никогда больше не будет.*

Вспоминаются майские дни 1945 года. 1418 дней войны и день 1419-й — первый счастливый день мира. В польском городе Сосновце политотдел восемнадцатой армии отмечал торжественным обедом капитуляцию гитлеровской Германии. Позади, за невидимой чертой, разделявшей день вчерашний и день сегодняшний, остались бои в Донбассе и в предгорьях Кавказа, Малая земля и штурм Новороссийска, переправа через Южный Буг, форсирование Карпат, освобождение Чехословакии. Леонид Ильич Брежнев поздравил нас с победой и в тот первый день мира пожелал нам успехов в мирной жизни, в мирном труде. Пройдя суровые испытания войной, пережив радость разгрома фашистской Германии, многие из нас наивно полагали: вот и пришел конец войнам. Но тогда же, по окончании войны, товарищ Брежнев говорил, что борьба за мир только еще начинается, что она будет долгой, упорной, бесконечно трудной и что в этой борьбе надо непременно победить.

Три десятилетия прошло с тех пор. Три десятка мирных лет. Сколько событий, то горьких, то радостных, прошумело на земле; сколько новых людей пришло в мир! Но память войны продолжает в душах людей свою незримую, неутомимую работу, многое заставляя пережить как бы заново, шире понять, глубже осмыслить, прямо вторгаясь в день нынешний, связываясь с сегодняшними ежеминутными делами, заботами и надеждами, как прозорливо связываются история и современность, насущные задачи советского общества с перспективами его дальнейшего развития в записках о Малой земле: «Наша победа — это высокий рубеж в истории человечества. Она показала величие нашей социалистической Родины, показала всесилие коммунистических идей, дала изумительные образцы самоотверженности и героизма — это все доподлинно так. Но пусть будет мир, потому что он очень нужен советским людям, да и всем честным людям земли».

◆

## К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО

# ЛЕВ ТОЛСТОЙ БЕСЕДУЕТ С АМЕРИКОЙ

*Публикация и вступительная статья В. ЛАКШИНА*

*Переводы с английского В. ВОРОНИНА*

Толстой — быть может, единственный из русских классиков прошлого века, еще при жизни признанный всемирным чудом. Вслед за Европой страны других континентов — Америки, Азии, Австралии — одна за другой узнают его, сначала как гениального романиста из далекой России, а вскоре и как воплощение неподкупного судии над всякой неправдой, разрушителя социальных предрассудков, врага частной собственности и государства, философа и моралиста, создавшего новое, бьющееся в противоречиях и еретическое по отношению к церкви вероучение.

В разных уголках мира у русского писателя появляется множество почитателей, друзей и последователей. Влияние его огромно. Оно захватывает не только литературу, где его авторитет художника признается неоспоримо крупнейшими мастерами. Обличительный голос Толстого звучит на весь мир набатом совести и усваивается людьми разных народов и стран как выражение собственных, полуосознанных или невысказанных еще, убеждений, беспокойных вопросов, касаются ли они власти денег, лицемерия современного брака, фальши суда, церковных ритуалов или смертной казни.

Огромная притягательность книг Толстого, его имени и личности для людей разных континентов выражается, в частности, и в том, что в последнюю четверть века его жизни Толстого навещают общественные деятели, литераторы и журналисты из Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Японии, Италии, Индии, Испании, Швеции, Финляндии. На рубеже прошлого и нынешнего веков в газетах и журналах разных стран появилось не менее 30 интервью с Толстым зарубежных журналистов, в значительной своей части еще не разысканных и не переводившихся на русский язык.

Четыре интервью с известными американскими общественными деятелями и журналистами: Стивеном Бонслом, Генри Джорджем-младшим, Джеймсом Крилменом и Эндрю Уайтом — мы предлагаем вниманию читателей. Откликаясь на публикацию в Америке одного из этих интервью, читатель В. Э. Барнс из США писал Толстому в Ясную Поляну 8 августа 1903 года: «Прошу Вас верить, что у Вас много поклонников и сторонников в нашей стране. Имя Толстого для нас родное. Ваши произведения переживут Вас». («Литературное наследство», т. 75, кн. 1, стр. 432.)

Бессомненно влияние, какое оказал Толстой — художник и мыслитель на духовную жизнь Америки. Известны и благодарные признания американских писателей — от Хоуэлса до Хемингуэя, для которых так много значили книги Толстого. Но чтение интервью американцев-современников с Толстым побуждает заинтересоваться и некоторыми другими сторонами «американской темы» в творческой биографии писателя.

Толстой открыл для себя Америку несколько раньше, чем Америка открыла Толстого.

В 1886 году Изабеллой Хэпгуд были переведены и изданы в Соединенных Штатах повести Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность», в том же году американцы познакомились с «Анной Карениной» и вскоре же — с «Войной и миром».

Но еще годом-двумя раньше Толстой стал вдруг увлеченным читателем сочинений своих заокеанских современников — блестящей плеяды американских писателей и мыслителей XIX столетия.

Пожалуй, первым, с кем он познакомился, был Эмерсон, литератор и философ, которого целое поколение считало «совестью Америки». Его имя Толстой услышал еще в 50-е годы, когда в одном немецком журнале прочел пересказ резко независимой по мнениям и оценкам статьи Эмерсона о Шекспире и Гёте. Но лишь спустя четверть века Толстой узнал Эмерсона по-настоящему. В эти годы Толстой много читает по-английски, мы видим его с томом Эмерсона в руках, а в дневнике 1884 года появляются лаконичные оценки по ходу чтения. «Глубок, смел; но часто капризен и спутан»,— таково общее впечатление Толстого. «Прекрасно»,— оценивает он статью Эмерсона о Наполеоне. «Прелесть»,— замечает по поводу эссе «О доверии к себе». Доверие к собственному чувству, искренность вкуса и суда без оглядки на авторитет знатоков и тиранство моды — вот что всегда подкупало Толстого. Он нашел это в Эмерсоне.

А год спустя Толстой читал Теодора Паркера, американского оратора и проповедника, поборника общественных реформ, освобождения негров. И «очень был счастлив находить прекрасно выраженные свои мысли 20 лет тому назад». (Из письма С. А. Толстой от 25 февраля 1885 г.)

В те же времена Толстой знакомится с сочинениями У. Гаррисона — самого твердого противника рабства, сурового моралиста, основателя американского Общества непротивления. В 1886 году сын Гаррисона присылает Толстому книги отца, Толстой глубже узнает его биографию, и с той поры фотография Гаррисона среди портретов самых дорогих Толстому людей украшает стены его яснополянского кабинета. Позднее, в 1903—1904 годах Толстой напишет предисловие к биографии Гаррисона, изданной в Лондоне, включит его мысли, как и мысли Эмерсона и Паркера, в «Круг чтения» — сборник избранных высказываний мудрецов всех времен и народов.

А рядом с названными писателями, чуть ранее или чуть позже, перед умственным взором Толстого пройдут со своими книгами, идеями, поступками, в которых он будет находить так много родственного себе, современный Робинзон, уединившийся в лесной хижине,— Генри Торо, проповедник религии добра Чаннинг, поэт и ратоборец идеи справедливости Уитьер, творец «Песен о рабстве» Лонгфелло, горячая и чувствительная Бичер-Стоу, наконец, непонятый современниками космический поэт Уолт Уитмен.

Толстой досадовал на Тургенева, сказавшего ему некогда, что американцы не написали будто бы «ничего такого, что стоило бы читать». Разговор происходил скорее всего в молодые их годы, Тургенев слыл в литературной среде неоспоримым арбитром всей западной литературы, он поощрил увлечение Толстого французским романом, переживавшим эпоху расцвета, но с американцами дал промах.

Когда в 1900 году Эдуард Гарнет обратился к Толстому с просьбой написать несколько слов своим американским читателям и даже заранее подсказывал тему — обличение лицемерия, отвечавшую духу толстовской проповеди, Толстой неожиданно ответил ему так: «...Если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я получил от его писателей, процветавших в пятидесятых годах. Я бы упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Баллу и Торо, не как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других имен назову: Чаннинга, Уитьера, Лоуэлла, Уолта Уитмена — блестящую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе. И мне хотелось бы спросить американский народ, почему он не обращает больше внимания на эти голоса (которые вряд ли можно заменить голосами Гульда, Рокфеллера и Карнеджи)...»

Символ Америки для Толстого — не ее миллионеры, а ее писатели. Их имена он произносит с интонацией личной душевной признательности. И хотя сам неоспоримо влияет на современную ему американскую литературу, с каким-то особым щедрым великодушием спешит признать ее влияние на себя. Он явственно услышал голоса американских писателей, своих старших современников, в горячую пору перестройки всего своего мировоззрения: казалось, они звучали с ним в лад.

Известно наблюдение: когда бываешь захвачен, одержим какой-то мыслью, то в каждой оказавшейся в руках книге ненароком попадаешь на что-то родственное, будто призванное подтвердить твой ход раздумий, вызывающее резонанс чувств. Однако у Толстого с американской литературой середины прошлого века совпадений, скрещений мыслей и опыта жизни так много, что, пожалуй, никакими поверхностными «влияниями» этого не объяснишь. Тут имела место встреча на историческом перекрестке.

Следует задуматься над тем, что в исторической судьбе как России, так и Америки в середине XIX столетия главным возбудителем духовности, главным нервом общественной жизни было освободительное движение — борьба за освобождение черных невольников в Америке, за освобождение крепостных крестьян в России.

Толстой сформировался как писатель и личность в 50-е годы, в канун реформы 1861 года, когда все главные вопросы в России упирались в освобождение крестьян от крепостной зависимости и наделение их землею. Перед страной стоял выбор пути, и

Толстой взял на себя добровольную роль «адвоката 100-миллионного земледельческого народа».

Интеллектуальное обновление, нравственный подъем в американской литературе и философии XIX века корнями своими также были сплетены с освободительным движением, движением аболиционизма. Только внутренне свободный человек мог бороться за свободу других. И оттого американские писатели поколения Эмерсона и Торо так горячо выступили против догм кальвинизма, закоснелого консервативного духа Новой Англии — за естественного, близкого к природе и нравственного по существу человека. Их верой стало свободомыслие, доверие к личности, прямой взгляд на вещи, разрушение канонизированных предрассудков в философии, политике, религии, эстетических вкусах. Несомненна сила этого духовного движения и его двойственность: рядом с просветительской верой в человека — утонченный спиритуализм, рядом с яростной, откровенной критикой современного устройства Америки — тяга к патриархальному быту, анархизм и идея непротивления злу насилием и огнем... Стоит ли удивляться, что в миропонимании Толстого нашлось всему этому так много общего?

Автор «Воскресения» достаточно отчетливо сознавал связь литературы с настроениями времени. «Великая литература,— говорил он Э. Мооду,— рождается тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство. Взять, например, период освободительных движений, борьбу за отмену крепостного права в России и борьбу за освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке: Гарриэт Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер, а в России — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие...»

Толстой по скромности не решился назвать в этом ряду себя, но его имя просится среди первых. Великое освобождение мысли, уничтожение всех стесняющих ее пут и шор, ниспровержение ложных авторитетов органически растет из глубин толстовского мировоззрения в целом — с его протестом против помещичьего землевладения, привилегий барства, социального неравенства. Смелость «громовержца» в обличении казенной церкви и самодержавного государства, как и тяга к усовершенствованию личного духовного бытия, создание особой, лишенной культовых скреп веры, религии любви и добра,— все это сближало русского писателя с американскими либералами и «трансценденталистами» XIX столетия. Их тяга к природе, ненависть к душным индустриальным городам, как у Торо, попытка задержать материальный прогресс в пользу «единственно несомненного» прогресса нравственного отвечали утопическим желаниям и надеждам Толстого, а их критика бурно капитализирующейся Америки подогревала его сопротивление тому, чего он боялся в России. Конечно, подобная социальная доктрина поощряла и разного рода миражи, но это еще не значит, что в воинственном «архаизме» американских писателей и мыслителей, близких Толстому, в их гуманистической критике не содержалось и своих пророческих предчувствий: капиталистическая цивилизация несла с собой трагические парадоксы «сверхиндустриального» общества, с новой, грозной стороны обнажив в XX веке всю остроту конфликта между человеком и природой.

Интерес Толстого к Америке, вызванный деятельностью писателей и мыслителей середины века, не помешал его критическому взгляду на социальное устройство заокеанской демократии. Не щадя в своей критике свою страну, он камня на камне не оставляет и от респектабельного, привлекательного новизной образа «американского рая». Его упреки касались и господствовавшей в Америке культуры. В беседе с корреспондентом «Манчестер гардиан» Вильямсом в 1905 году Толстой укорял американцев, что они «почти не знают» самых глубоких своих поэтов и мыслителей.

Сам Толстой постоянно расширял круг знакомых ему в американской литературе имен. В последние годы жизни он с увлечением читает произведения «лучшего и очень замечательного американского романиста» Хоуэлса, проявляет интерес к творчеству Уитмена, «весьма оригинального и смелого поэта», значение которого он не сразу распознал. Но, пожалуй, наиболее важна для него в поздние годы литературная деятельность публициста и экономиста Генри Джорджа (1839—1897), которого, кстати сказать, он особенно ценит именно как писателя, умевшего необыкновенно просто и сильно передавать суть своих идей о зле поземельной собственности и о равном праве на землю. Утопическая идея землеустройства по справедливости с помощью единого налога на землю поразила и захватила Толстого. Мало того, что он написал по меньшей мере три статьи, специально посвященные Генри Джорджу, и множество раз попутно вспоминал о нем в своей публицистике. Он еще ввел разговоры о единой подати на землю в роман «Воскресение» и заставил Нехлюдова объяснять мужикам, что, согласно учению Джорджа, земля не может быть «предметом купли-продажи, как вода, как воздух, как лучи солнца». Мужики в романе почесывали затылки, слушая, как горячо проповедует Нехлюдов учение американца. «Ну и голова,— повторял широкий старец с завитками.— Жоржа! А что вздумал».

Увлечение идеями Джорджа Толстой переносил и на всю его личность, считал одним из самых близких ему заочно людей. И оттого приезд к нему в 1909 году сына покойного экономиста стал в Ясной Поляне примечательным событием.

В общении с американской литературой, социальной и художественной, Толстой нашел множество близких его душе тем. Он оценил сполна и ее гуманистическую,

нравственную сторону, и резкую критику индустриального капитализма. В России капитал грозил разрушить все надежды на сельскую общину, нетронутость патриархальной жизни, и в свидетельствах американских писателей и журналистов Толстой угадывал предупреждение своей стране, если б она вступила на тот же путь. Надо ли говорить, что по социальному анализу и перспективам такой взгляд был реакционен, зато критика язв современного общества остра, свежа и бескомпромиссна.

Америка для Толстого была словно заокеанской сестрой России, в чем-то схожей с ней при огромном несходстве судеб и накопившей исторический опыт, которым Россия не должна была пренебречь. Лучшие умы Америки бились над проблемами философии, нравственности и социального устройства, какие здесь, на русской почве, издавна волновали Толстого.

Оттого и «американская тема» — совсем не проходная, не случайная, хоть и мало изученная тема толстовской биографии.



В Америке Толстой, как известно, никогда не был, но в последние два десятилетия жизни в его зарубежной корреспонденции американская почта была обширна, как никакая другая. Англичанин Уильям Томас Стэд, посетивший Толстого, с ревнивой наблюдательностью отмечал: «На одно письмо, получаемое им из Англии, приходится шесть из Америки. Это симпатия взаимная». В самом деле, популярность Толстого как художника, его известность как мыслителя росли с конца 80-х годов в Америке необычайно быстро. «Русский мудрец» становится для американцев одним из известнейших и притягательнейших в мире людей. В этом разгадка, что, несмотря на дальние расстояния, число посетителей из-за океана, в том числе и журналистов, начинает обгонять количество пилигримов из более близких европейских стран.

Среди них, что греха таить, не редкость встретить и праздных путешественников, любопытствующих взглянуть на мировую знаменитость. Запись в дневнике Толстого 9 декабря 1888 года: «Заснул. Встал, американки — две сестры, одна через Атлантический, другая через Тихий океан и съехались, и опять едут, все видели, и меня видели, но не поумнели». А корреспондент петербургской газеты описал подобный же эпизод встречи Толстого с американскими туристами, объехавшими весь земной шар на яхте и оказавшимися в 1901—1902 годах в Крыму, где тогда жил Толстой:

«Л. Н. был болен и не мог принять туристов. Но в конце концов его убедили и он согласился. Американские джентльмены и леди обещали, что они только пройдут мимо веранды, на которой будет сидеть Толстой, и ограничатся только поклоном. В определенный час Л. Н. сидел на веранде, и американцы начали дефилировать мимо. Все шло прекрасно. Джентльмены и леди проходили мимо и раскланивались. Л. Н. отвечал поклоном. Только в конце шествия одна леди подошла к Л. Н. и начала причитывать: «Leon Tolstoi, Leon Tolstoi, я читала все ваши сочинения, они имели огромное влияние на мою жизнь, но особенно нравится мне одно, одно, одно!..» Она старалась припомнить название, но Л. Н. понял, что она вообще не читала его сочинений. Чтобы вывести ее из затруднения, он ей подсказал: «Детство и отрочество»... «Ах, да, Leon Tolstoi, ах, да, именно «Детство и отрочество». И леди прошла вслед за другими». («Новое время» от 4 апреля 1903 г.)

Но такие анекдотические эпизоды не могли все же подорвать благорасположение Толстого к другим его заокеанским посетителям, среди которых было немало весьма серьезных, уважаемых и завоевавших впоследствии его дружбу людей.

Еще летом 1886 года Толстого навестил американский журналист Джордж Кеннан (1845—1924). Кеннан, в ту пору только что объездивший Сибирь и написавший книгу очерков о сибирской ссылке, вызвал у Толстого неподдельный интерес и симпатию. Его сибирские впечатления поразили Толстого и были использованы им позднее в последней части романа «Воскресение». Интересный разговор состоялся у хозяина Ясной Поляны осенью 1888 года и с американской его переводчицей Изабеллой Хэпгуд (1850—1928): Толстой много говорил об английской и американской литературе, восхищался Диккенсом, сравнивал его с Теккереем, и не в пользу последнего. А встреча Толстого в 1894 году с американским писателем Эрнестом Кросби (1856—1907) положила начало долгой переписке и дружеским отношениям, прервавшимся лишь со смертью Кросби. Достаточно сказать, что Толстой писал предисловие к статье Кросби о Шекспире, которое вылилось потом в известную работу «О Шекспире и о драме».

Ряд этих уже известных «американских встреч» Толстого мы пополняем новыми значительными свидетельствами о его встречах и беседах с журналистами Стивеном Бонслом и Джеймсом Крилменом, дипломатом Эндрю Уайтом, а также Генри Джорджем-младшим, сыном знаменитого экономиста.

Все эти лица не просто побывали у Толстого в гостях, но опубликовали затем в американских газетах и журналах подробные отчеты о своих впечатлениях и разговорах с русским писателем. Затерянные в американской периодике, эти материалы никогда не переводились на русский (за исключением небольшого фрагмента из интервью Крилмена), не перепечатывались и не попали в поле зрения исследователей ни у нас, ни в Америке.

А между тем в этих статьях содержатся часто новые подробности о Толстом, запечатлены неизвестные нам его высказывания, черты его быта и обихода, прошедшие

мимо внимания других встречавшихся с ним людей. Для биографа Толстого ценны многие сообщаемые его американскими собеседниками факты и обстоятельства. Отметим хотя бы, что самые тщательные летописцы жизни Толстого, как Н. Н. Гусев, например, не зафиксировали в своих трудах его встреч в Москве с американским дипломатом Уайтом — а он встречался и подолгу беседовал с ним по меньшей мере четыре раза. Надо ли говорить, как интересны нам записанные Уайтом по горячим следам впечатления и разговоры тех дней. То же можно сказать и о многих свежих и неожиданно всплывающих в передаче журналистов подробностях из отчетов о поездке к Толстому Стивена Бонсла, Джеймса Крилмена и Генри Джорджа-младшего.

Кстати сказать, интервью, беседа, запись по свежему следу почти всегда предпочтительнее позднейших воспоминаний с обычными ошибками памяти и озарениями заднего ума. Слов нет, и газетчик иной раз готов ради сенсации злоупотребить печатным словом, повествуя о встрече с великим писателем. Ведь был случай, недавно описанный Е. М. Двойченко-Марковой в «Литературном наследстве», когда газета «Нью-Йорк уорлд» опубликовала в 1909 году вымышленное интервью с Толстым некоего С. Штакельберга: по его словам, Толстой рассказывал кавказским горцам о деяниях Линкольна, и легенда о Линкольне-освободителе облетела Кавказ. Сладостный хрестоматийный рассказ. Беда была лишь в том, что Толстой жил на Кавказе много раньше того времени, к какому относится слава Линкольна.

Однако авторы публикуемых нами бесед с Толстым обладают несравненно большим кредитом доверия. Конечно, и в этих записях чувствуешь порой, как у Эндрю Уайта например, некоторое самодовольство благоустроенного «янки», высокомерно взирающего на «узость кругозора» Толстого [1], так же как у Бонсла ощущаешь нотки журналистской развязности, смягчаемой, впрочем, самоиронией. Есть в этих записях и неточности, почти неизбежные для иностранца уклонения в сторону русской бытовой экзотики с непременными ее атрибутами — «тройкой», квасом и самоваром. Но в целом эти наброски с натуры рисуют достоверный образ живого Толстого.

Деятельность именно таких журналистов, как Крилмен и Бонсл, и заставила Толстого однажды сочувственно высказаться об американской прессе. «Не говоря уж о тех американских писателях, которые особенно близки мне по духу, как Генри Джордж, его сын, Эрнест Кросби и др.,— писал Толстой представителю американской ассоциации периодической печати С. Б. Конджеру,— мое отношение к американской прессе вообще может быть только самым сочувственным и благодарным за их любезное отношение ко мне».

А Толстой не был равнодушен к тому, что и как пишут о нем в Америке. Прочтя в газете публикуемое нами интервью с Крилменом, Толстой подосадовал на одно его сообщение, вполне правдиво передававшее слова Толстого, но отчасти бестактное. «Во всем остальном ваше интервью,— написал он Крилмену,— совершенно правильно и очень хорошо написано».

Это прямое суждение писателя как бы авторизует в данном случае беседу Толстого с журналистом и побуждает проявить необходимое доверие и интерес к нему.

Высказывания Толстого поздних лет, неожиданные, часто парадоксальные, способны порой ошарашить читателя, поставить его в тупик. Недаром Ленин характеризовал противоречия толстовской мысли выразительным словом — «кричащие». В самом деле, в суждениях Толстого о разных сторонах жизни, философии и искусства яростная правдивость, непримиримость критики, ошеломляющие прозрения идут бок о бок с наивнейшими заблуждениями, преувеличениями спора, детскими иллюзиями. То и другое порой переплетено так тесно, что нелегко бывает указать, где кончается «разум» Толстого и начинается толстовский «предрассудок». Это относится и к публикуемым материалам. Будто предчувствуя грядущую революцию 1905 года, Толстой говорит в беседе с Э. Уайтом, что в России «перемена к лучшему наступит скоро, внезапно и с громадной силой». А в то же время, как явствует из других мест этого и иных интервью, все свои надежды Толстой связывает лишь с медлительным религиозно-нравственным прогрессом. В беседе с Джеймсом Крилменом необыкновенно ярко выражена высокая утопическая вера Толстого в то, что люди могут и должны отказаться от жизни в больших городах, заняться сельским трудом, жить плодами рук своих, обработкой земли, которая их прокормит и оденет. Его громовая критика пороков современной цивилизации, с ее большими городами-спрутами, дымными фабриками и железными дорогами, глубоко внеисторична; наперекор всему Толстой лелеет сладкую мечту о патриархальном, нетронутом мире. В беседе со Стивеном Бонслом Толстой резко выступает против империалистических тенденций Америки и царской России, с презрением отзывается о национальном чванстве, квасном патриотстве, по дороге сметая и привычное понятие патриотизма вообще. Он резко выступает против эксплуатации рабочих союзами капиталистов, «трестами», но заодно высказывается и против самих «рабочих союзов». На одной из страниц интервью с Э. Уайтом он отме-

[1] Уайт, между прочим, понапрасну сокрушается по поводу изоляции Толстого от всякой живой мысли. Помимо посетителей со всего света, стучавшихся в двери его дома, его собеседниками в Ясной Поляне были Тургенев, Горький, Короленко, Менделеев, Стасов, Танеев — не такой уж, право, неспособный к «рациональному взаимному обмену мыслями» круг лиц.

чает как крупный недостаток Наполеона, что тот женщин ни в грош не ставил, начисто забывая при этом, что сам только что произносил грубые, резко пристрастные филиппики против прекраснейшей половины человечества. И так во всем.

Современный читатель, надо надеяться, сам отметит эти и другие противоречия мысли Толстого, отразившиеся и в публикуемых материалах. Но он, конечно, по заслугам оценит и все то значительное и важное, чем обогащают эти страницы наше представление о Толстом: его мысли о призвании искусства и о собственном творчестве (о повести «Хаджи-Мурат», например), о значении американской литературы, о роли писателя в современном мире. Оценит он, надо думать, и толстовскую критику буржуазного лицемерия, его презрение к денежному мешку, его защиту человеческой личности.

Быть может, Толстой чуть поспешает в своих пророчествах, суля Америке в интервью с Бонслом и Крилменом скорую судьбу падшего Рима. Но какой сокрушительной убежденностью веет от его азартных филиппик против американского прагматизма, утраты страною ее молодых идеалов. Он высмеивает ложную гордость патриотов-янки своим «величием и силой», штампы американского просперити. И не смущается сказать в глаза американцам, как сказал бы любому человеку на свете, что они слишком часто забывают о душе «ради денег, ради торговли, ради удовольствий». Остро злободневны горячие тирады Толстого против войн и колониальных захватов, против всех видов духовного насилия. Имея в виду подобного рода высказывания, президент США Теодор Рузвельт однажды публично укорил русского писателя и за его вмешательство во внутренние дела своей страны...

Помимо иного публикуемые интервью и беседы имеют то достоинство, что мы встречаемся в них с Толстым среди привычной для него обстановки, запечатленной острым и свежим глазом чужеземца. «Лицом к лицу лица не увидать...» Иногда единственная и непродолжительная встреча, просто в силу остроты и непосредственности впечатлений, одаряет зоркостью на подробности, по которым скользит глаз при более длительном и вошедшем в привычку общении. К тому же надо отдать должное профессиональному искусству авторов этих интервью — почти все они отлично написаны.

Мне остается выразить признательность г-же Шейле Фитцпатрик (Колумбийский университет, США), которая помогла разыскать и предоставила нам фотокопии публикуемых толстовских материалов.

***1901. Журнал «Айдлер»***

## ЭНДРЮ Д. УАЙТ

# ПРОГУЛКИ И БЕСЕДЫ С ТОЛСТЫМ

**ЭНДРЮ ДИКСОН УАЙТ (1832—1918) — американский ученый и дипломат. В 1854—1855 годах во время Крымской войны был секретарем американской дипломатической миссии в Петербурге. С 1857 года — профессор истории в Мичиганском университете, один из основателей ныне крупнейшего в США Корнеллского университета, первый президент Американской ассоциации историков. С 1892 по 1894 год Уайт был американским посланником в России. Впоследствии, вплоть до 1902 года, он — посланник США в Германии. Перу Уайта принадлежит ряд книг, в том числе двухтомная автобиография (1905).**
**Его рассказ о встречах и беседах с Толстым опубликован в июльском номере журнала «Айдлер» (1901, № 7, стр. 479—486).**

По приезде в Москву, где я не был целых тридцать пять лет, меня больше всего поразило то, как мало она изменилась. Если не считать новой художественной галереи да торговых рядов напротив святых ворот Кремля, все здесь, казалось, сохранило тот же облик, который имело в самом начале царствования Александра II. Те же грязные улицы; те же крестьяне в овчинных тулупах; те же оравы нищих — ражих и немытых мужиков; те же убогие толпы на углах улиц, крестящиеся на иконы в киотах; те же сонмы богомольцев, кладущих земные поклоны в церквах, и так же возвышаются над всем этим колокольня Ивана Великого и экзотически пышные купола Василия Блаженного. Но одна перемена, произошедшая здесь, живо меня интересовала: впервые в русской истории в Москве жил всемирно известный писатель и мыслитель; это — граф Лев Толстой.

Вечером в день моего прибытия в Москву я отправился вместе с моим секретарем к Толстому в гости — на

ЛЕВ ТОЛСТОЙ БЕСЕДУЕТ С АМЕРИКОЙ

прием, который бывает у него раз в неделю. Когда мы вошли в его дом на окраине города, нас встретили два лакея во фраках, которые помогли нам снять меховые шубы и проводили нас до дверей гостиной хозяина дома. Двери открылись, и мы опешили от изумления: гостиная ничем не отличалась от горницы крестьянской избы. Стены ее были грубо обшиты досками, обстановка — самая простая. Навстречу нам вышел высокий, худощавый русский, явно рожденный повелевать, но одетый как крестьянин. Его откинутые назад волосы спускались на уши, крестьянская блуза была подпоясана кожаным ремешком, а высокие, выше колена, сапоги довершали картину. Это был Лев Толстой.

Он самым любезным образом приветствовал нас. Одет он был по-крестьянски, но манера держаться являла собой прямую противоположность костюму: в его обхождении не было ничего от мужицкой приниженности и угодливой робости — он соединял сердечность с впечатляющим достоинством. Тепло поздоровавшись с нами, он познакомил нас с другими гостями. Это было престранное общество: иностранцы во фраках, московские профессора, одетые кто во что — каждый на свой вкус; несколько молодых людей, очевидно последователей Толстого, которые, несмотря на свое явно некрестьянское происхождение, носили крестьянскую одежду.

Я, естественно, попросил представить меня хозяйке дома, и граф провел меня через анфиладу комнат в гостиную, обставленную так, как бывают обставлены светские гостиные Парижа или Санкт-Петербурга. Здесь мы и нашли графиню в окружении других дам, одетых в строгие вечерние платья. Графиня и ее гостьи оказали нам радушный прием. Столь внезапный переход от обстановки крестьянской избы у хозяина дома к роскоши покоев хозяйки произвел на меня ошеломляющее впечатление. Это напоминало перемену декораций в театре.

После приятной, дружеской беседы все мы перешли на половину хозяина дома, где нас усадили за длинный стол и поили чаем из булькающей медной вазы — самовара. И хотя гостей собралось человек двадцать—тридцать, обстановка тут была самая непринужденная. Все было просто, сердечно и естественно.

Первый мой вопрос Толстому касался условий, в которых живет народ. Он отвечал, что условия жизни крестьян из рук вон плохи. Во время недавнего голода [1] крестьяне почти повсеместно съели свой рабочий скот, сожгли в печах, чтобы поддержать жизнь, часть жилых и хозяйственных построек и впали в беспросветную нужду. В ответ на высказанное мною предположение, что новый торговый договор с Германией, возможно, поможет поправить дела, он выразил мнение, что польза от договора будет незначительной, потому что лишь небольшая часть всего сельскохозяйственного продукта России потребляется за границей.

Заговорили о собственности, и я обнаружил, что свое неприятие любого права собственности Толстой распространяет и на литературную собственность. Он сказал мне, что, по его убеждению, он не вправе получать деньги за разрешение печатать книгу. На это я, естественно, ответил, что, поступая в соответствии с этим убеждением, он просто-напросто дарит большие суммы денег книгоиздателям и что, по-моему, было бы гораздо лучше, если бы он получал все, что ему причитается по авторским правам, а вырученные суммы отдавал голодающим крестьянам. Он отвечал, что для него это вопрос долга. Я согласился, но заметил, что мы с ним расходимся в понимании того, что является истинным его долгом в этом деле. Потом я имел удовольствие узнать из другого источника, что графиня не разделяет его точку зрения и что она сумела настоять на том, чтобы выручка от его авторских прав поступала на содержание их весьма многочисленной и интересной семьи [2]. Это пролило свет на замечание Толстого, которое я услышал позже, о том, что женщины меньше, чем мужчины, способны к самопожертвованию и что мужчина иногда жертвует семьей ради идеи, а женщина — никогда.

Затем Толстой довольно подробно говорил о роли религии в России, выражая, как я понял, убеждение в том, что нынешняя ее господствующая форма обречена на скорое исчезновение. Тогда я спросил его, как объясняет он тот факт, что, тогда как в других странах огромное большинство молящихся в церквах составляют женщины, в любой русской церкви мужчин больше, чем женщин, и что за тридцать пять лет после моего прошлого посещения Москвы эта тенденция стала еще более отчетливой. Он ответил: «Все это только поверхность: под внешней стороной скрывается гораздо более глубокий смысл и в чем Россия нуждается сильнее всего — это в свободе ее выражения».

Разговор коснулся положения евреев, и он сказал, что сочувствует им, но что сообщения о гонениях на них преувеличены. Что касается сообщений Кеннана [3] о дурном обращении с заключенными в Сибири, то, по его мнению, они кое в чем преувеличены, но в основном соответствуют действительности. Толстой выразил далее удивление по поводу того, как могут некоторые крупнейшие государственные деятели империи — он назвал их — верить в то, что преследованиями и насильственным подавлением свободы мысли можно добиться долго-

временного эффекта в конце девятнадцатого века.

Затем разговор перешел на Транссибирскую железную дорогу. Он говорил о ней с видимым интересом, но в неопределенных выражениях, так что ничего нового для себя я не почерпнул. Толстой расспрашивал меня о моем прошлом приезде в Москву и, узнав, что я был здесь в годы Крымской войны, заметил: «Тогда я воевал в Севастополе, участвовал в его обороне во время осады».

Что до теперешних его отношений с императорским правительством, то он рассказал такой случай: недавно его избрали в Москве членом ученого общества, но правительство в Петербурге вмешалось и объявило результаты выборов недействительными. Каждое утро, просыпаясь, добавил Толстой, он удивляется тому, что его еще не отправили в Сибирь.

Когда я собрался уходить, они с графиней предложили мне встретиться завтра. На следующий день мы совершили прогулку пешком по скованной льдом Москве-реке в сторону Кремля и по Кремлю. Во время прогулки разговор зашел о литературе. Что касается французской литературы, то самым большим талантом среди современных писателей Толстой считает, безусловно, Мопассана, но полагает, что он лишен нравственного чувства и что все в его творчестве вращается вокруг женщин. Похоже, он продолжает восхищаться Бальзаком, но довольно безразлично относится к Доде, Золя и их коллегам.

По поводу американской литературы Толстой выразил мнение, что ее сила — в прирожденном англосаксонском религиозном чувстве. Он сказал, что ему нравятся Эмерсон, Готорн и Уитьер, но, по-видимому, он читал их без системы, что попадалось под руку, так что некоторые лучшие их вещи остались ему неизвестными. Толстой с восхищением говорил о писаниях Теодора Паркера. Он также с глубоким уважением и восхищением отозвался о личности и трудах Уильяма Ллойда Гаррисона. Он читал некоторые произведения Лонгфелло, но о Лоуэлле не мог сказать ничего определенного и, видимо, путал его с кем-то другим. Из современных американских писателей Толстой знал Хоуэлса [4]; он читал некоторые его романы и отозвался о них одобрительно, но при этом сказал: «Создается такое впечатление, что литература Соединенных Штатов находится сейчас не на гребне, а в глубокой впадине между высокими волнами».

Назавтра граф Толстой зашел ко мне в гостиницу и пригласил прогуляться. Во время этой прогулки по московским улицам я обратил внимание на одно обстоятельство, которое подметил еще в прошлый раз: его карманы набиты медной мелочью, притом это, очевидно, известно толпам нищих, наводняющих Кремль и прочие общественные места, они просят у него милостыню, и он всегда им подает.

Когда я заговорил об этом, Толстой выразил мнение, что всякий человек, у которого просят денег, должен дать их. Возражая против этого учения, я заметил: «У меня на родине не принято подавать нищим, если не считать оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах». И дальше я рассказал ему о том, как некоторые церковные организации у нас в стране, заготовив штабеля бревен, дают возможность каждому физически здоровому бродяге попилить бревна или поколоть дрова и тем самым заработать себе хороший завтрак, хороший обед, а если понадобится, то и хороший ночлег. Я заверил его в том, что мы считаем попрошайничество одним из главных источников пауперизма и, кроме того, полагаем, что оно глубоко унижает человеческое достоинство нищего, поскольку ставит его в положение просителя того, на что он имел бы законное право, если бы трудился как должно. Поэтому видеть графа Толстого фактически в позе этакого высшего существа, благодетельствующего своим соотечественникам-русским, которые канючат и низко ему кланяются,— зрелище, на мой взгляд, отнюдь не поучительное. Эти мои рассуждения мой собеседник выслушал в высшей степени учтиво.

В ходе разговора я полюбопытствовал, почему он так мало странствовал по свету. В ответ на это Толстой высказал свое неодобрительное отношение к путешествиям. Сам он, по его собственному признанию, пробыл некоторое время за границей, прожил несколько лет в Санкт-Петербурге, но всю остальную жизнь провел главным образом в Москве и в глубине России. Чем дольше продолжалась наша беседа во время этой длительной прогулки, тем яснее мне становилось, что это признание объясняет кое-какие из главных его недостатков. Из всех выдающихся людей, с которыми мне довелось встречаться, Толстой, похоже, больше чем кто-либо другой нуждался в расширении кругозора и плодотворном видоизменении взглядов в результате наблюдения людей, живущих в иных условиях, и сопоставления мнений, распространенных в иных краях. Потребность в таком обогащении тем более велика, что в самой России обсуждение подлинно важных вопросов невозможно. В стране со стодвадцатимиллионным населением нет государственного органа, в котором было бы разрешено обсуждать серьезные общественные проблемы. Пресса лишена реальной возможности вести подобное обсуждение; более того, пред-

ставляется чрезвычайно сомнительным, чтобы оно было допущено даже в частных письмах или в разговорах у домашнего очага.

Подобно многим другим гениальным людям России — а Россия богата гениями,— Толстой почти не имел возможности принять участие в реальном обсуждении основных проблем дня, вследствие чего его воззрения развивались в отрыве от обогащающего влияния рационального взаимного обмена мыслями с другими людьми. В этих условиях даже самый благородный, самый одаренный человек, выдвинув поразительные идеи, лелеет, нянчит и пестует их, покуда они не вырастают в балованных взрослых детищ его интеллекта. Он утрачивает способность видеть в них какие бы то ни было изъяны и недостатки и фактически уверяется под конец в собственной непогрешимости. Эту характерную черту я замечал и у нескольких других русских людей большого таланта. Каждый из них сначала развивал свои теории для самого себя, а потом увлекался ими настолько, что начинал с презрением отвергать все, идущее вразрез с ними.

На следующий день Толстой снова зашел ко мне в номер и сразу же заговорил о религии. По его словам, религиозен каждый человек и у каждого человека есть своя собственная религия. Эта религия вытекает из складывающегося у человека представления о его отношении к ближним и к тому, что является, по его мнению, руководящим принципом бытия. Толстой различает три этапа в религиозном развитии: во-первых, детство человека, когда он ощущает мироздание как нечто, созданное для него и сосредоточенное в нем; во-вторых, этап национальной зрелости — эпоха национальных религий, когда каждый народ считает себя носителем единственной истинной веры, как, например, иудеи и англичане; наконец, совершенное понимание, когда у человека возникает идея выполнения высшей воли и он смотрит на себя как на орудие осуществления этой воли.

Когда в разговоре был затронут женский вопрос, Толстой попросил меня рассказать о положении женщин и перспективах женского вопроса в странах английского языка. Я разъяснил ему некоторые характерные особенности положения женщин в наших странах, обрисовал его эволюцию, начавшуюся с улучшения юридического статуса женщины и приведшую к повышению уровня ее образования, но вместе с тем сообщил ему, что в области предоставления женщинам политических прав за последние полвека достигнуто было очень и очень мало.

Начав рассуждать на эту тему, Толстой сказал, что женщинам следует предоставить все права, за исключением политических, ибо они не способны выполнять политические обязанности. Более того, одна из величайших трудностей современного мира заключается, по его словам, в том, что женщины пользуются непомерно большим влиянием и обладают непомерно большой властью. «Пройдитесь по улицам, загляните в пассажи,— говорил он,— и вы увидите, что огромное большинство лавок торгует товарами для женщин. Во Франции, как показывает нам современная французская литература, женщины — альфа и омега жизни, полные ее повелительницы. Женщина уступает мужчине в благородстве: она меньше способна к самопожертвованию. Мужчины иногда жертвуют ради идеи собственной семьей; женщины — никогда». Когда я стал возражать на это, он спросил, знал ли я хотя бы одну женщину, которая чужих детей любила, как собственных. Я охотно признался, что не знал, но, упомянув Флоренс Найтингейл, сестру Дору и других самоотверженных женщин [5], выразил удивление по поводу его утверждения, будто женщины, в отличие от мужчин, не способны к полному самопожертвованию во имя благого дела. Я привел примеры из истории преследований первых христиан, когда женщины даже с большей готовностью, чем мужчины, шли на лишения, на пытки и на смерть за новую веру, и вспомнил аналогичные примеры из истории судов над колдуньями. На это он отвечал, что, вопреки всем подобным историческим примерам, женщины не станут жертвовать своими собственными интересами ради благого дела, если только оно не затрагивает в них глубоких чувств, тогда как мужчинам такое самопожертвование свойственно, и что в своей жизни он знавал всего двух-трех действительно самоотверженных женщин, причем все они были незамужние. После того, как я заметил, что мои жизненные наблюдения привели меня к совершенно иному выводу, его обвинения пошли по другому руслу. Толстой утверждал, что женщина привязана к прошлому; что, тогда как общественное мнение движется вперед, женщины склонны руководствоваться в своих поступках мнением вчерашнего дня или прошлого года; что женщинам и женоподобным мужчинам свойственно верить всяким старым выдумкам, в числе которых он назвал учение о троице, «спиритизм» и гомеопатию. Отвечая на это, я высказал мнение, что если вместо того, чтобы обучать женщин, пользуясь выражением епископа Дюпанлу [6], «на коленях у матери-церкви», мы будем обучать их в высшем смысле — в университетах, они начнут все больше и больше развиваться интеллектуально и станут регулирующим элементом в деле усовершенствования рода человеческого; поскольку сильные мужчины родятся обычно от сильных матерей, улучшение физического, интеллектуального и нрав-

ственного образования женщин являет собой вернейший способ усовершенствования рода людского. Толстой не согласился с этим мнением, сказав, что образование не изменит женщин и что женщины нелогичны от природы. В ответ я привел ему пример, показывающий, что женщина способна к исключительно логичной и четкой аргументации, но он стоял на своем. Случайно упомянув имя Джордж Элиот, он сказал, что с удовольствием читает ее романы [7].

Во время нашей следующей прогулки он повел меня на похороны одного своего знакомого. Он говорил, что зрелище покойника должно причинять скорее радость, чем боль; что изречение memento mori исполнено мудрости, а созерцать лица умерших есть хороший способ осуществить эту заповедь на практике. Я спросил его, имеется ли у него своя теория относительно загробной жизни, и он сказал, что такой теории у него, по существу, нет, но что, подобно тому как, рождаясь, мы являемся из-за пределов форм пространства и времени, умирая, мы возвращаемся туда, откуда пришли. «Вы употребляете слово «формы» в кантианском смысле?» — спросил я. «Да»,— ответил он.

Мы немного опоздали и подошли к дому умершего, когда покойника уже увезли. Однако многие из явившихся проститься с ним не собирались уходить и с явным удовольствием поглощали поминальные угощения. Поминки имели все признаки пирушки; у большинства знакомых, вышедших из дома поздороваться с нами, были раскрасневшиеся лица, а один молодой человек в военном мундире, спускавшийся по лестнице, оступился и чуть не сломал себе шею.

Толстой отказался войти в дом и, когда мы пошли прочь, выразил свое отвращение ко всей этой практике, назвав ее дикой и варварской. Он казался подавленным, и я пытался подбодрить его рассуждениями о том, что каких-нибудь несколько десятков лет тому назад такой же обычай пить на поминках крепкие спиртные напитки был широко распространен в Англии и Америке, но что от него потом отказались под влиянием более просвещенных взглядов на жизнь.

Когда мы проходили мимо храма, где толпа крестьян молилась перед святой иконой, Толстой заговорил о присутствии здесь элемента идолопоклонства. Я напомнил ему о том определении религии, которое он дал мне во время одной из предыдущих прогулок, и он повторил его, охарактеризовав религию как ощущение человеком своей сопричастности мирозданию и всем людям, своей связи с руководящим вселенским принципом.

Тот день завершился посещением раскольника, иначе — старовера; состоялся чрезвычайно любопытный разговор — слишком длинный, чтобы пересказывать его здесь.

После того как мы снова вышли на улицу, Толстой вдруг повернулся ко мне и чуть ли не с яростью произнес: «Этот человек — лицемер; не может быть, чтобы он верил в то, о чем говорил; ведь это же умная голова — как может он верить в подобный вздор? Немыслимо!» Тогда я напомнил ему известную мысль Теодора Паркера, проводившего разграничение между людьми верующими и людьми, «верующими в то, что они веруют», и предположил, что наш раскольник, видимо, принадлежит ко второй категории. Это изменило ход его мыслей. Он сказал, что читал биографию Паркера и что в ней ему все понравилось, за исключением одного эпизода: когда Паркер дал беглому рабу пистолет и посоветовал ему защищаться. Этот поступок Толстой осудил на том основании, что мы не должны поддаваться злу. Я рассказал ему о том, какой совет я дал Добролюбову — весьма обаятельному русскому студенту, учившемуся в Корнеллском университете, перед его возвращением в Россию, где он собирался найти практическое применение своей профессии инженера. Мое напутствие сводилось к тому, что он должен постоянно помнить мысль Бокля относительно роли железных дорог и телеграфных линий как средства развития и распространения либеральных идей и целиком посвятить себя своей профессиональной инженерской деятельности в твердом убеждении, что в конечном результате она будет способствовать просвещению империи, но что он ни в коем случае не должен вступать в заговор против правительства; вы можете быть уверены, говорил я студенту, что, строя железные дороги, вы сумеете сделать для развития русской мысли гораздо больше, чем участвуя в каких бы то ни было заговорах. Толстой отвечал, что это был хороший совет, но что он, кроме того, посоветовал бы этому молодому человеку открыто высказывать свои мысли, каковы бы они ни были. Он говорил, что только так можно добиться какого-либо прогресса и что главным препятствием на пути человеческого прогресса является подавление подлинных мыслей людей. Я возражал ему, что его совет звучит прекрасно и что он, возможно, применим для графа Толстого, но что если бы ему последовал молодой образованный инженер, он скорее всего очутился бы не на форуме, где мог бы проповедовать свои идеи, а на далеком сибирском руднике под конвоем казаков.

Толстой заговорил о молодых университетских профессорах: о том, с какими трудностями они сталкиваются; о том, что они рискуют лишиться должности, если сколько-нибудь свободно высказы-

вают свои мысли. Я спросил его, допускается ли какая-либо свобода или широта мысли в лоне русской православной церкви. Он ответил, что время от времени отдельные священники пытались соединить догматы православия с более широкой мыслью, но что каждая такая попытка оказывалась безрезультатной.

Во время очередной нашей прогулки пару дней спустя я спросил у Толстого, когда и каким образом, по его мнению, будет достигнут решительный сдвиг в деле распространения свободы и цивилизации в России. В ответ он выразил убеждение, что этот сдвиг совершится скоро и с огромной силой. Толстой не согласился с высказанным мной предположением, что подобный прогресс станет возможным лишь в результате длительного эволюционного процесса с попеременно чередующимися продвижениями вперед и возвращениями вспять, как это бывало раньше в русской истории, и повторил, что перемена к лучшему наступит скоро, внезапно и с громадной силой.

Я расспрашивал Толстого о его занятиях физическим трудом. Он рассказал, что встает он, по обыкновению, рано и читает либо пишет до полудня, затем завтракает, ложится ненадолго поспать, а после сна работает в саду или в поле. Он считает, что физический труд полезен ему во всех отношениях, и я полностью с ним согласился.

На обратном пути мы шли через Кремль мимо рядов пушек, захваченных у французов в 1812 году. Я спросил Толстого, по-прежнему ли он придерживается того же невысокого мнения о Наполеоне, которое он выразил в «Войне и мире». Он сказал, что он еще более невысокого мнения о нем, чем когда бы то ни было раньше, поскольку недавно он прочел книгу об отношениях Наполеона с женщинами, из которой явствует, что тот женщин ни во что не ставил. Тогда я поинтересовался, по-прежнему ли он отрицает военный гений Наполеона. Толстой отвечал, что он решительно отказывает ему в военном гении, что он не верит в существование такой вещи, как военный гений, и что он никогда не мог понять, какой смысл вкладывают в эти слова. «Чем же тогда вы объясните серию поразительных побед Наполеона?» — спросил я. «Обстоятельствами»,— ответил он. Не согласившись с этим, я заметил, что подобное объяснение, во всяком случае, обладает достоинством краткости и простоты.

Толстой далее сказал, что победы в битвах одерживаются в силу тех или иных обстоятельств, волею случая, благодаря военной удаче, и привел в подтверждение этой мысли слова Суворова. Ему понравились «История Наполеона», написанная Ланфре, и книга Тэна об Империи — очевидно, потому, что в них осуждаются неприятные ему люди и явления, а Тьер, по его словам, не внушает ему доверия [8]. В отношении Тьера я с удовольствием с ним согласился.

Наконец, мы прошли под сенью большой башни и вышли в ворота, через которые вошел в Кремль Наполеон; тут мы сердечно распростились.

Меня иногда спрашивают, действительно ли искренен, по моему мнению, Толстой. На это я всегда отвечал и отвечаю, что я считаю его одним из самых искренних и беззаветных людей на свете — великим гением и одновременно человеком, исполненным глубочайшего сочувствия к своим ближним.

Его взгляды на искусство и литературу являются естественным порождением его личности, и, несмотря на их недостатки, они кажутся мне во многих отношениях более глубокими и широкими, чем любые другие теории, выдвинутые в девятнадцатом веке.

В них столько здорового, глубокого и искреннего презрения к нынешним модным рассуждениям об искусстве и литературе, что, читая или слушая его, проникаешься верой в подлинное искусство. Очень полезно послушать его спокойные сарказмы по поводу всех этих модных декадентских увлечений, всяческих «импрессионизмов», «сенсационизмов» и прочих туманных «измов»; по поводу «великих поэтов», извалявшихся в парижской грязи, «великих музыкантов», не владеющих ни мелодией, ни гармонией, «великих художников», подмешивающих к своим краскам побольше грязи, лишь бы разрешила полиция. Его острые выпады против этих «великих», олицетворяющих глупость и непристойность моды последней четверти девятнадцатого столетия, и особенно против тех из них, кто пытается спрятать убожество своих идей за туманными фразами, утверждают нас в убеждении, что грядущее поколение отвернется от этих шарлатанов. В своем обличении «искусства для искусства»; в своем осуждении такого искусства, которое заботится лишь о чувственном удовольствии; в своем осмеянии искусства, понятного только «людям высокой культуры»; в своей любви к такому искусству, которое сознает не только свою власть, но и свои обязанности, которое ставит себя на службу великим и достойным идеям, которое апеллирует к человеческому в людях,— во всем этом Толстой является одним из лучших учителей людей как в наше время, так и в будущие времена.

Его манера говорить — это сама искренность: ни тени рисовки, выспренности, фразерства. Во всех его речах звучит спокойная убежденность. Как я уже говорил, самый большой недостаток его воззрений порожден образом его жизни, а именно тем, что на протяжении столь значительной части своего жизненного пути он имел обыкновение

обсуждать интересующие его вопросы с самим собой, а не с другими людьми, вследствие чего он начал поклоняться кумирам, которых сам же и сотворил (зачастую весьма сомнительным), и подозрительно, недоверчиво относиться к идеям других людей.

[...] И вот тогда мы становимся свидетелями того, как гениальный человек отрицает всякую науку и восхваляет то, что он называет «верой»; призывает вернуться назад, к природе, пусть даже призыв этот — не более как перепев Руссо в соединении с неправильным толкованием Нового завета; отвергает брак, хотя сам счастливо женат и отец тринадцати детей; утверждает, что Эсхил, Данте и Шекспир не были великими творцами, и делает литературным кумиром какого-нибудь ничем не замечательного писателя; оспаривает величие Микеланджело и Рафаэля в скульптуре и живописи и вместе с тем называет выдающимися художниками разных безвестных живописцев, чьи картины — мазня; уверяет, что Бетховен, Гендель, Моцарт и Гайдн не были великими корифеями в музыке, и доказывает, что какой-то никому не известный исполнитель, стоящий за пределами здоровой музыкальной эволюции, дал музыку будущего; объявляет, что Наполеон не был гениален, но выдает за идеального полководца Кутузова; принижает науку — ту упорядоченную, организованную науку, которая как ничто другое способствовала нашему переходу из царства средневековой жестокости в более совершенный мир,— и превозносит «веру», которая всегда была самым удобным предлогом для кровопролития и угнетения.

Длительную, кропотливую, повседневную работу по подготовке лучшего будущего для его соотечественников предстоит делать другим русским, куда менее талантливым, чем Толстой. Его парадоксы будут забыты, но его великое творчество, его благородные мысли, его высокие идеалы будут из века в век все больше и больше нести жизнь и свет новой России.

---

[1] В голодные годы 1891—1892 и 1898—1899 Толстой организовывал помощь голодающим, помогал распределению собранных в их пользу денежных средств.

[2] В своем завещании, первый набросок которого находим в дневнике от 27 марта 1895 г., Толстой писал: «Право издания моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки — прошу моих наследников передать обществу, т. е. отказаться от авторского права».

[3] Джордж Кеннан (1845—1924) — американский журналист. В 1885—1886 гг. Кеннан совершил длительную поездку в Сибирь. Его очерки о русской ссылке печатались первоначально в английских журналах, где их читал Толстой; и позднее вышли отдельной книгой «Сибирь и система ссылки». Лондон, 1891. (Русский перевод «Сибирь и ссылка», 1906.)

[4] Здесь названы имена американских писателей и философов XIX века, деятелей освободительного движения в Америке. Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — философ-моралист, блестящий эссеист, автор книги «О природе» (1836). Готорн Натаниэл (1804—1864) — писатель, прославившийся рассказами в духе романтической фантастики. Уитьер Джон Гринлиф (1807—1892) — поэт и публицист, горячий противник рабства. Паркер Теодор (1810—1860) — проповедник-вольнодумец, поборник общественных реформ, аболиционист. Гаррисон Уильям Ллойд (1805—1879) — публицист, поэт, редактор знаменитой газеты «Либерейтор». Лоуэлл Джеймс Рассел (1819—1891)—поэт, критик, публицист. Хоуэлс Уильям Дин (1837—1920) — писатель, критик, автор работ о Толстом и пропагандист его творчества в США. Толстой хвалил, по свидетельству переводчицы И. Хэпгуд, роман Хоуэлса «Неведомая страна».

[5] Найтингейл Флоренс (1820—1910) —английская сестра милосердия, в 1860 г. основавшая первую школу медсестер. Сестра Дора — английская филантропка Дороти Уиндлоу (1832—1878), операционная сестра, руководившая больницей близ Бирмингема.

[6] Дюпанлу Феликс (1802—1878) — французский богослов и писатель, известный выступлениями в защиту свободы образования.

[7] Элиот Джордж (1819—1880) — английская писательница. Толстой сочувственно отзывался о ее романах «Адам Бид» (1859) из деревенской жизни и «Феликс Холт, радикал» (1866), обличающем английскую парламентскую систему.

[8] Книга французского писателя и политического деятеля Пьера Ланфре (1828—1877) «История Наполеона I» (1867—1874) стремилась разрушить традиционную «бонапартовскую легенду». Перу французского философа и писателя Ипполита Тэна (1828—1893) принадлежит книга «Старый порядок и революция», которую читал Толстой. В романе «Война и мир» Толстой не однажды полемизировал с книгой французского государственного деятеля и историка Адольфа Тьера (1797—1877) «История Консульства и Империи».

***1903. Газета «Уорлд»***

## ДЖЕЙМС КРИЛМЕН

# ИНТЕРВЬЮ С ТОЛСТЫМ

**ДЖЕЙМС КРИЛМЕН (1859—1915) — американский журналист и писатель. Автор романа «Орлиная кровь» (1902), книги «За что мы любим Линкольна» (1908) и др.**
**Впервые посетил Толстого в Ясной Поляне 11—13 марта 1891 года в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк геральд». В эту первую встречу Крилмен произвел на Толстого не очень благоприятное впечатление. В дневнике 13 марта 1891 года Толстой записал: «Нынче утром уехал американец Creelman, от которого я очень устал. Поверхностный, умст-**

венно способный человек, республиканец, американский аристократ. Он приехал 3-го дня. И поглотил оба дня» (ПСС, т. 52, стр. 19). Толстой много говорил с Крилменом и устал оттого еще, что «надо говорить на языке, на котором говоришь с трудом» (т. 65, стр. 267).

Очерк Крилмена о поездке в Ясную Поляну в 1891 году после газетных публикаций вошел в его книгу «На большом пути» (Бостон, 1901). Главной темой этого первого разговора была повесть «Крейцерова соната», в те годы запрещенная в России, и то, как выразилось в ней новое миросозерцание Толстого.

В 1903 году Крилмен вновь посетил Толстого в качестве представителя газеты «Уорлд», в которой он работал в 1900—1906 годах. Он провел в Ясной Поляне два дня — 24 и 25 июня 1903 года — и взял у Толстого большое интервью, перепечатанное из «Уорлд» многими американскими газетами. Вырезка из газеты «Норт Америкен» (Филадельфия) с интервью Крилмена сохранилась в архиве Толстого, и небольшие выдержки из него были напечатаны Э. Г. Бабаевым в «Литературном наследстве» (т. 75, кн. 1, М., 1965). Интервью Крилмена с Толстым имело большой успех в Америке, печаталось под сенсационными заголовками: «Наша молодость прошла», «Наши идеалы пришли в упадок» и т. п. Толстой получил несколько писем от американских читателей, в которых говорилось: «Больше всего меня поразило ваше утверждение, что Соединенные Штаты отошли от своих идеалов. В значительной степени это — увы! — чистая правда» (В. Э. Барнс); «...ваше порицание присущей нам алчности к деньгам и морального упадка, несомненно, привлекут самое серьезное внимание всех мыслящих людей нашей страны» (Майльс Д'Ансон) и др. («Литературное наследство», т. 75, кн. 1, стр. 432—434).

Сам Толстой с удовлетворением отозвался об интервью Крилмена, которое мы печатаем по тексту газеты «Уорлд» (Нью-Йорк) от 9 августа 1903 года.

*Россия, Тульская губерния, Ясная Поляна*

— Америка утратила свою молодость, — говорил граф Толстой, когда мы с ним прогуливались сегодня утром по густому лесу в его имении.— У нее седеют волосы, выпадают зубы, наступает старческое одряхление. Вольтер сказал, что Франция загнила прежде, чем созрела, но что же тогда следует сказать о стране, чьи идеалы не пережили и одного поколения людей? Ваши эмерсоны, гаррисоны и уитьеры канули в прошлое. Ваша страна плодит одних только толстосумов. В годы до и после Гражданской войны духовная жизнь вашего народа расцветала и приносила плоды. Теперь же вы — жалкие материалисты.

Мастер русской литературы остановился в тени под благоухающими липами; ноги его по щиколотку утопали в ковре из лесных цветов. Он был похож на древнего пророка. Несмотря на свой семидесятипятилетний возраст, Толстой высок ростом и держится прямо. На нем серая холщовая блуза, какие носят крестьяне, подпоясанная крепким кожаным ремнем. Голову покрывает мягкая белая парусиновая шляпа. Его высокие сапоги мокры от росы. В руке — палка.

Трудно нарисовать портрет этого необыкновенного человека. У него высокий и широкий лоб, изрезанный глубокими морщинами. Серые добрые глубоко посаженные глаза глядят на вас из-под косматых бровей с проницательностью, свойственной пристальному взгляду ребенка. Нос крупный и приплюснут у ноздрей. Большой рот, выражающий сострадание. Длинная борода, сивая и взлохмаченная, опускается на широкую грудь. Голова и лицо славянина: серьезность, внушительность, ни тени шутливости.

Весь его облик исполнен благородного величия, которое невозможно описать никакими словами.

Суровое выражение, которое я наблюдал на лице мастера двенадцать лет тому назад, теперь исчезло. Глаза больше не загораются внезапным огнем, брови не сдвигаются сердито, предвещая вспышку гнева,— его лицо излучает спокойствие.

Вот он стоит, опираясь могучей рукой на палку и засунув другую руку под широкий пояс; вокруг его головы вьются желтые и шоколадные бабочки; выше, в кронах цветущих лип, гудят мириады пчел; откуда-то издали долетают сюда, в лес, чуть слышные звуки крестьянской песни; луч солнца, пробиваясь сквозь листву, играет на лице почтенного старца.

Через несколько минут мы вышли на опушку и пошли вдоль края большого ржаного поля. Ветерок колыхал колосья, и волнующееся желтое море пестрело тысячами синих васильков. Залитые солнцем луга; поляны, заросшие розовой и белой кашкой; зеленые рощи; сытые стада, пасущиеся на склонах холмов; искрящаяся на солнце извилистая речушка— весь этот пейзаж дышал красотой. В такие дни с особенной остротой ощущаешь любовь к жизни.

Мы взобрались на небольшой пригорок, и перед нами открылась широкая выкошенная луговина с четырьмя женскими фигурами посредине. Четыре крестьянки в красных и синих платьях, босые, широкоплечие, с коричневыми от загара лицами и непокрытыми голова-

ми, звонко распевая, ворошили и копнили сено.

Толстой остановился и с какой-то странной грустью во взгляде смотрел на эту картину.

— Я скоро умру,— тихо сказал он.— Молодому человеку естественно хотеть жить, а старику естественно желать смерти.

С минуту он молчал. Женщины на лугу пели радостно, весело, сильными голосами, проворно работая в такт песне.

— Я всячески добивался, чтобы меня посадили в тюрьму или повесили, но из этого ничего не вышло,— продолжал граф [1].

Он нагнулся, сорвал лиловый цветок и покручивал его между большим и указательным пальцами.

— Добивались, чтобы вас повесили?

— Да, это лучшая смерть для мужчины — если не считать сожжения на костре. Пожертвовать своей жизнью — это самый лучший конец.

— Вы говорите вполне серьезно?

Серые проницательные глаза графа посмотрели на меня в упор. Он улыбнулся.

— Я делаю все для того, чтобы удостоиться этой судьбы. Умереть за веру, которая наполняет меня,— это стремление моей жизни. Мученическая смерть — хорошая смерть.

— Но что хорошего в том, чтобы умереть на виселице?

Толстой помолчал, глядя на крепких крестьянок, с песней сгребающих душистое сено. Потом вздохнул и сказал, поглаживая седую бороду:

— Боюсь, вы меня не поймете. Чеха Яна Гуса в 1415 году сожгли на костре за его религиозные убеждения, а теперь ему собираются поставить памятник.

— Однако Мартина Лютера не сожгли, и он дожил до победы Реформации.

— Лютер остался жить, потому что пошел на компромисс, поступился своими принципами. Гус предпочел компромиссу смерть.

— Просто в голове не укладывается, что вы сознательно добивались для себя смертного приговора.

— И все-таки это правда.

— А как ваш литературный труд? Неужели вы совсем оставили писательство?

— Сейчас я пишу книгу, которую начал много лет назад. Это не проповедь, а повесть из кавказской жизни. Главное действующее лицо повести — горец, герой Хаджи-Мурат, который сначала служил России, затем вместе со своими соплеменниками сражался против России и в конце концов был убит и обезглавлен неприятелем. Это повесть о народе, презирающем смерть; она нелестно аттестует Россию [2].

— И когда будет напечатана эта вещь?

— Только после моей смерти.

— Почему же не раньше?

— Потому что у меня нет желания читать критику.

Мы двинулись дальше, и граф с воодушевлением заговорил о своей последней работе:

— Важную роль в повести играет фигура императора Николая I. Его личность заняла в моей работе такое большое место, что я решил посвятить ему отдельное сочинение [3]. Это будет книга о деспотизме, поскольку Николай — типичный деспот.

Мы снова пошли лесом среди высоких цветущих трав. Тут и там краснела земляника. На все лады пели птицы. Лес источал ароматы. Толстой шел впереди, показывая дорогу. Он шагал удивительно легко и быстро для старика его лет. Порой казалось, что он с мальчишеским интересом озирается вокруг. Вот он остановился, чтобы показать мне какой-то занятный зеленый лепесток, который открывается и движется, как живой, когда его сжимают пальцами.

У берега речушки, протекающей через его поместье, он присел на ствол поваленного дерева, обхватив могучими руками колени.

— Вы говорите о ваших американских трестах,— сказал он,— как о бог весть каком важном вопросе. По-моему, эти промышленные вопросы несерьезны. Тресты и рабочие союзы — явления преходящие. Человек не обязан жить в промышленном центре, где люди обращены в рабство. Он не обязан жить в городе. Неужели из-за того, что часть земли была разграблена, люди должны оставаться в городах и обрекать себя на страдания? Ни один человек не должен бы был работать на Рокфеллера и ему подобных. Лучше голодать, чем работать на них. Пусть люди считают своим религиозным долгом не работать на трест. Тот, кто работает в Америке на трест и хочет облегчить свою долю, должен уехать из города в сельскую местность, обзавестись небольшим участком земли и возделывать его. Пусть он откажется от всякой роскоши, от употребления мяса. И тогда он сможет прожить меньше чем на одну шестую часть того, что тратил раньше.

— Но у нас в Америке практически нет больше незанятых земель. Чтобы купить землю, нужны деньги.

— Достаточно клочка земли, чтобы прокормить себя с семьей. Снова повторяю: хотите избавиться от трестов — уезжайте из городов и добывайте свой хлеб, обрабатывая землю.

— А если человек не сможет получить землю, которую он смог бы обрабатывать, что тогда?

— Тогда пусть лучше умрет, чем помогает наживаться таким, как Рокфел-

лер. Пойти на смерть — его долг. Если бы на него надели военную форму и приказали ему умереть, он с гордостью сделал бы это. Во имя чего? Во имя узкого патриотизма, этого зла, которое наделало в мире столько вреда и которое мы должны осуждать и обуздывать, вместо того чтобы защищать и поощрять. Вся беда в том, что люди не готовы умирать за правое дело. Разговоры о том, будто американские тресты возникли в результате эволюции науки и техники,— сплошная глупость. При чем тут наука? Тресты исчезнут, как только у людей достанет мужества отказаться служить им. Много говорят об огромном увеличении производства, достигнутом благодаря трестам. Но необходимо ли такое производство? Делает ли оно людей более счастливыми? Нет!

— Но система трестов породила и Эндрю Карнеги [4], который употребляет свои сотни миллионов долларов на создание бесплатных библиотек для народа,— вставил я.

— Да, но ведь библиотеки — это не обязательно благо. Библиотека хороших книг — вещь хорошая, а библиотека, составленная по преимуществу из дурных книг,— большое зло. Я не уверен в том, что Карнеги заполняет свои библиотеки сплошь хорошими книгами. Вот принято, скажем, считать, что университет — дело хорошее, однако у нас в России есть университеты, которые из рук вон плохи. В прошлом году меня посетил президент Чикагского университета Харпер [5]. Он толковал мне о миллионах долларов, которые Рокфеллер пожертвовал университету. Как видно, он придавал этим миллионам огромное значение. Но когда я заговорил с ним о серьезных материях, он показал себя человеком совершенно невежественным, настоящим неучем. В предметах, представляющих интеллектуальный и нравственный интерес, он разбирался хуже, чем любой читатель такого, например, журнала, как «Ревью ов ревьюз» [6]. Подумайте, что же это за университет, которым руководит подобный человек! А ведь это — одно из следствий миллионных пожертвований треста.

Человек должен следовать единственному закону — закону истинного христианства. Крестьяне, которых вы видите здесь,— настоящие христиане. Они не умеют ни читать, ни писать, но, на мой взгляд, они более культурны, чем дворяне, к сословию которых принадлежал и я. В них больше подлинного ума и благовоспитанности, чем в неучах, которых плодят наши университеты и светские салоны. В них живет истинная вера.

— А что это такое?

— Вот что: если я верю, что во мне есть искра божия, значит, я являюсь частью божества и знаю свое назначение в мироздании, сознаю свой долг перед всеми другими людьми. Если же я верю, что я — просто животное, я и жить буду как животное, заботясь только о себе. Став истинным христианином, человек обретает такую центральную точку, откуда ему ясно все видно.

— И, однако же, вы не признаете божественности Христа?

— Нет. Он называл себя сыном божьим, но сынами божьими он называл и всех прочих людей.

Теперь мы вновь шагали вдоль колышущейся ржи. Путь нам пересек ручей, и граф легко перепрыгнул его. Он удивительно крепок и силен. Вот он снова нагнулся, разглядывая полевые цветы.

— Америка нуждается в великой вере. Истина сделает ваш народ свободным. Когда американцы перестанут считать целью жизни удовольствие, им не нужно будет столько денег. Ваши рабочие никогда не одержат победу в борьбе с капиталом при помощи рабочих союзов На стороне капитала всегда будут правительство и армия.

— Что вы скажете, граф, о еврейском погроме в Кишиневе? — спросил я, меняя тему разговора [7]. Старик резко обернулся, лицо его светилось волнением.

— Ужасно! — воскликнул он.— Я не хотел верить, что русские люди способны совершить такое страшное преступление. И тем не менее все это правда. Как раз сегодня утром мне рассказывал о зверствах очевидец. Погромщиков подстрекали при помощи подложных прокламаций, целью которых было уверить народ, что идти убивать приказал сам император. Между тем от надежных свидетелей мне известно, что достаточно было мало-мальски решительного протеста, чтобы остановить убийц и грабителей. По свидетельствам очевидцев, спасти тех, кто стал жертвой погрома, ничего не стоило. Все дело в том,— продолжал он, стиснув пальцы и прижав руки к груди,— что правительство России, отказывая евреям в правах, которыми оно наделяет прочих подданных, приучило народ смотреть на евреев как на людей низшей касты. Православная же церковь обучает народ идолопоклоннической религии и разжигает в нем фанатическую ненависть к иноверцам. Вот вам две причины, объясняющие погром. Говорят, американцы собираются обратиться с петицией к императору. Пустая затея! Никакого толку из нее не выйдет. Может, император и соизволит прочесть петицию. Вполне возможно. Он будет сама любезность. Но ничего не скажет по существу. И на том дело кончится. Это проверенный у нас способ. Очень ловкий способ. Но с какой стати американцы должны направлять в Россию петицию? У нас преступления вроде кишиневского погрома совершаются раз в кои-то веки. А у вас в Соединенных Штатах линчуют каждый год, каждый

месяц, каждую неделю, чуть ли не каждый день. Вы вешаете негров, стреляете в них, сжигаете живьем. В вашей стране это обычное явление. И тем не менее вы считаете возможным обратиться к российскому императору с петицией по поводу кишиневских убийств. Что может дать такая петиция? Ничего!

— Значит, вы считаете, что посылать петицию в Санкт-Петербург неразумно?

— Я считаю, что это просто бесполезно.

— А лично вы предприняли что-нибудь для облегчения участи кишиневских евреев?

— По просьбе одного лейпцигского издателя я напишу рассказ, и все доходы от его публикации будут переданы пострадавшим.

Вдруг Толстой стремительно повернулся и, глядя мне в лицо, веско сказал:

— Гордиться своей страной дурно. А вот стыдиться за свою страну — это хорошо. По-моему, американцы постоянно гордятся своей страной.

— А почему бы им не гордиться? Как-никак это страна, основанная на принципе равноправия.

— Это страна, поглощенная погоней за деньгами. И вместе с тем,— он скрестил руки на груди и наклонил свою седую голову,— вместе с тем надо отдать англосаксонской расе справедливость: те немногие англосаксы, которые веруют, имеют мужество жить согласно своим принципам. А вот немцы, те совершенно не религиозны. Любопытно, что в обычном представлении немец — это идеалист, а американец и англичанин — материалисты. Это — поверхностный взгляд. В действительности же немец — идеалист лишь на словах, в поэзии, а среди американцев и англичан есть такие, кто способен быть идеалистом на деле.

— Эта рожь — ваша? — спросил я, когда на нашем пути повстречался еще один колосистый ржаной клин.

— Нет, не моя; здесь нет ничего моего.

— Но ведь это поле — часть вашего имения.

— Я отдал Ясную Поляну жене и одному из моих детей. Это была большая ошибка. Я должен был бы отдать ее крестьянам, как отдал я всю прочую мою собственность.

— Правда, что вы отказываетесь брать деньги за свои книги?

— Правда.

— Почему?

— Потому что я считаю, что ни один человек не обладает правом собственности.

— Но разве есть у вас моральное право лишать жену и детей дохода от вашего литературного труда?

Он снова повернулся ко мне и сказал с нетерпеливым жестом:

— Мне уже надоело объяснять всему свету, почему я так поступаю. Это религиозный принцип.

Задавая этот вопрос, я знал, что Толстой, получив 10 000 рублей за свой последний роман «Воскресение», отдал всю эту сумму на оплату проезда духоборов в Манитобу [8], где их взяла под стражу конная полиция. По-видимому, мой вопрос напомнил графу о духоборах, потому что, когда я спросил его, имеются ли успехи в обучении грамоте русских крестьян, он ответил так:

— В такой стране, как Россия, от грамотности мало проку. Духоборы не верят в грамотность, но, по-моему, это самые религиозные люди на свете. В нашем мире важна только вера. Быть христианином, страдать, умереть мучеником — вот настоящая жизнь и настоящая смерть.

— Как подействовало на вас отлучение от церкви? [9]

— Да никак. Я не придаю этому значения. Церковь давным-давно отреклась от христианства, как же ей было не отречься от христианина? Сейчас церковники собираются разрыть могилу монаха, умершего сотню лет назад [10]. Монах этот причислен к лику святых. Церковь всегда учила, что тело святого нетленно. Это считалось одним из доказательств святости. Недавно была разрыта могила другого святого. Комиссия, посланная обследовать мощи, обнаружила лишь землю да несколько костей. Факт этот держали в тайне, покуда не получили хождение разоблачительные нелегальные листовки; тогда митрополиту Санкт-Петербургскому пришлось публично признать, что тело святого может истлеть. Он объявил, что доказательством святости следует считать чудеса, свершившиеся у могилы. Отказываясь от учения церкви о нетленном теле, митрополит ссылался на то, будто тень от раки святого Петра обладает способностью исцелять. Через несколько дней в присутствии императора эта могила будет публично разрыта. Я хотел бы присутствовать при этом, чтобы увидеть лица людей и послушать, что они будут говорить, когда церковь разоблачит свой собственный обман. Если бы у меня хватило сил, я обязательно поехал бы туда и находился бы в толпе зрителей.

На обратном пути граф снова обрушился на американское представление о том, что изобретение и массовое производство промышленных товаров являются важными целями человеческой деятельности.

— Кто-то спросил у Эмерсона, что бы он стал делать, если бы Солнце остыло и Земля погибла. Эмерсон ответил: «Думаю, я прожил бы и без них». Хороший ответ. Он показывает,

как уверен был Эмерсон в своей духовной жизни. Почему американцы забывают о своей душе ради торговли, ради денег, ради удовольствий? Кто-то изобретает автомобиль; тотчас же все решают, что автомобиль — вещь полезная. Но зачем человеку тратить свое время, носясь по стране в автомобиле? Как только вы изобретаете что-нибудь такое, что должно сберечь время, вы тут же начинаете попусту тратить время, пользуясь этим изобретением постоянно и неразумно. Через пятьсот лет ваши потомки будут с удивлением оглядываться на эпоху, когда их предки тратили свои силы на создание этих нелепых сооружений и отдавали большую часть своей жизни бессмысленно быстрой езде.

В этом духе Толстой часами презрительно говорил о современной цивилизации.

— У меня лишь одно желание,— повторил он.— Я хотел бы умереть смертью мученика. Так что, сами видите, человеку, у которого на уме тресты и рабочие синдикаты, политика и деньги, трудно меня понять.

---

[1] 3 июля 1900 г. А. Б. Гольденвейзер записал в дневнике слова Толстого о правительстве: «Удивляюсь, как это они меня до сих пор не посадят куда-нибудь?! Особенно теперь, после статьи о патриотизме («Патриотизм и правительство».— В. Л.). Может быть, они еще не читали? Надо бы им послать» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 65). А в своем дневнике 16 июля 1901 года сам Толстой отметил: «Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше — смертью».

[2] Повесть «Хаджи-Мурат» писалась с перерывами с 1896 по 1904 г. Опубликована впервые после смерти Толстого в 1912 г.

[3] В 1902—1903 гг. Толстой работал над главами о Николае I в «Хаджи-Мурате», изображавшими царя в 1851—1852 гг. 18 июня 1903 г. Толстой записал в дневнике: «Решил Николая Павловича оставить почти как есть, а если понадобится, то описать отдельно». В 1904 г. у него вполне сложился, впоследствии не осуществленный, замысел повести или романа о Николае I и декабристах.

[4] Карнеги Эндрю (1835—1919) — американский промышленник и филантроп, жертвовавший часть своих прибылей на создание университетов, колледжей и библиотек.

[5] Харпер Уильям Рейни (1856—1906) — американский деятель в области образования, специалист по семитским языкам, первый президент Чикагского университета. Упоминание о Харпере в газетном интервью Толстой счел бестактным. «Мне было очень больно узнать, — писал он Крилмену 6 сентября 1903 г.,— что вы опубликовали мое мнение о господине Харпере и что я, не желая того, обидел человека, который до вашей статьи не мог иметь ко мне никакого дурного чувства» (ПСС, т. 74, стр. 175—176).

[6] «Ревью ов ревьюз» — английский журнал (1890—1936), дававший критический разбор материалов, напечатанных в других изданиях. Его первым редактором был известный английский журналист Уильям Томас Стэд, посетивший Ясную Поляну еще в 1888 г. Толстой был постоянным читателем этого журнала.

[7] Известие о еврейском погроме в Кишиневе 6—8 апреля 1903 г. было сильно пережито Толстым. Он отправил телеграмму протеста кишиневскому городскому голове и сообщил Шолом-Алейхему (Ш. Н. Рабиновичу) о своем согласии участвовать в сборнике в пользу пострадавших. С этой целью им был начат рассказ, получивший позднее название «После бала».

[8] Толстой принимал большое участие в переезде в Канаду духоборов — религиозной секты, члены которой отказывались от воинской повинности и преследовались царским правительством. В ноябре 1899 г. Толстой переслал в Канаду 10 тысяч рублей, полученных им в виде пожертвований и дополнительного гонорара журнала «Нива» за роман «Воскресение».

[9] 24 февраля 1901 г. было опубликовано «Определение» синода об отлучении Толстого от церкви, что вызвало многочисленные демонстрации протеста, депутации и телеграммы в газеты.

[10] Речь идет об открытии мощей Серафима Саровского, на котором присутствовал царь Николай II.

***1907. Газета «Нью-Йорк таймс»***

## СТИВЕН БОНСЛ

# ТОЛСТОЙ ПРЕДРЕКАЕТ «ПАДЕНИЕ АМЕРИКИ»

**СТИВЕН БОНСЛ (1865—1951) — журналист и дипломат. Был корреспондентом американских газет во многих странах мира, в 1896 году совершил поездку в Сибирь. С 1893 года Бонсл совмещал журналистику с дипломатической службой. Автор многих книг, в том числе книги очерков «Незавершенное дело» (о Парижской мирной конференции), удостоенной в 1944 году Пулитцеровской премии.**

**Когда 7 мая 1907 года Бонсл появился у Толстого в Ясной Поляне, он совершал свою поездку по России в качестве представителя газеты «Нью-Йорк таймс». Сохранилась записка, адресованная Толстым дочери — Т. Л. Сухотиной и лестно характеризующая Бонсла: «Если придешь, очень хороший, умный корреспондент американский» (ПСС, т. 77, стр. 99). Он разговаривал с Толстым в течение часа и, между прочим, вызвался прислать ему для диктовки аппарат фирмы Эдисона. Фонограф Эдисона был вскоре получен Толстым и с успехом им использовался.**

**Интервью Бонсла с Толстым впервые появилось в газете «Нью-Йорк таймс» от 7 июля 1907 года. В редакционный подзаголовок вынесено: «Русский философ выражает убеждение, что падение Америки будет более скорым, чем падение Рима».**

Мы столько дней и столько ночей провели в разговорах о моем предстоящем интервью с графом Толстым, что мне уже начало казаться, что разговорами дело и ограничится. Я искал утешения в мысли, что в конце-то концов интересны и друзья великого человека: как-никак на них лежит отблеск его славы. На прошлой неделе Дмитрий Иванович [1] проведал графа и нашел его глубоко опечаленным. «Граф со слезами на глазах сказал мне, что больше не может работать с утра до ночи, как делал это последние сорок лет. «Отчего это?» — спросил он меня. Я ответил, что понятия не имею. Кто отважился бы сказать великому человеку правду? Тогда он промолвил: «Знаете, я впервые чувствую себя так, словно мне семьдесят лет». Мне нечего было на это возразить, разве что: «Лев Николаевич, да вы просто счастливец, ведь вам, если верить приходской книге, через полгода стукнет восемьдесят», но сказать такое я, конечно, не мог».

Для того чтобы пояснить рассказ Дмитрия Ивановича, я должен вкратце поведать о событиях, приключившихся после того, как граф впервые почувствовал приближение старости. На следующий же день он встал рано утром, когда ленивцы из крестьян еще спали крепким сном, и, оседлав своего коня, махнул верхом в Тулу, чтобы потолковать о политике с губернатором. Перед губернаторским дворцом его на несколько минут задержал городовой, которому не понравилась подозрительная внешность этого человека: лицо благородное, манеры самые что ни на есть утонченные, а одежда — крестьянская. Поговорив с губернатором о политике, граф снова вскочил на коня и окольным путем, по бездорожью, отправился домой. Проехал он миль сорок, если не больше. Когда он вернулся, у его старого выносливого коня начались колики и подламывались ноги от усталости. Граф потерял аппетит и два дня не притрагивался даже к вегетарианской пище, которая поддерживала его железный организм и неутомимое трудолюбие на протяжении доброго десятка лет.

Известие о болезни Толстого оказалось в центре внимания всей страны, охваченной революцией; газеты пестрели сообщениями о состоянии здоровья великого человека, действительными и вымышленными [2]. Затем совершенно внезапно — так же внезапно, как он заболел,— тульский Мудрец выздоровел и приспособился к своему восьмидесятилетнему возрасту с такой же легкостью, с какой он сносил все испытания, выпадавшие ему в течение его многотрудной жизни. Он согласился работать не больше пяти часов в день и читать не больше четырех. Землепашество он оставил вовсе. Через день он закончил первую часть своих воспоминаний и тут же взялся за книгу сказок, которая станет продолжением книги, написанной два года назад [3]. Эти прекрасные новости привез мне Дмитрий Иванович. Он торопил меня: «Скорее на вокзал! Почва для вас подготовлена». И я поспешал, как мог, во всяком случае, покуда не сел в вагон.

Наш паровоз был сработан в Америке, чего явно нельзя было сказать о машинисте. Ему потребовалось девять часов, чтобы проехать несчастные сто двадцать миль. Наш поезд был поистине плебейским, не то что Сибирский экспресс, пыхтевший и фыркавший на соседнем пути. Экспресс вез губернаторов и генералов на Дальний Восток, а наш поезд был битком набит гуртовщиками, переселенцами и бродячими артелями сезонников — безработных крестьян, торопившихся в Тулу в надежде получить работу во время сева. Состав состоял из вагонов третьего и четвертого класса, и я одиноко восседал в роскоши и великолепии единственного купе второго класса. На первой же остановке после Москвы ко мне в купе вломилась компания гуртовщиков. «Не годится человеку сидеть в одиночестве»,— восклицали гуртовщики. «Ах вы озорники, управы на вас нет!» — сказал кондуктор и с улыбкой отвернулся. Гуртовщики были развеселые парни, и к тому же они выгодно продали свой скот. Их карманы оттопыривались от денег, и они принесли с собой стеклянную бутыль кваса с апельсинным запахом, с помощью которого они хотели скоротать длинные ночные часы. Бутыль вмещала сорок литров, и они осторожно водрузили ее на сетку над моей головой.

В течение нескольких минут мы славно поговорили о революции. Гуртовщики придерживались довольно своеобразной точки зрения. Они считали, что правительство тратит слишком много слов. Всякого, кто подожжет сарай или попортит скот, следует живьем сажать на кол, как было принято в старые добрые татарские времена. От разговоров о политике в шумном вагоне местного поезда, идущего со всеми остановками, пересыхает во рту. Было проведено молчаливое голосование, и в глазах всех гуртовщиков ясно можно было прочесть: пора промочить горло. Но тут вагон дернулся сильнее обычного, и на меня внезапно обрушился поток — нет, не воды, как я было подумал,— а кваса. «Боже ты мой,— воскликнул первый гуртовщик,— бутыль разбилась!» Они вытащили меня из-под струи с апельсинным запахом и выжали жидкость из моего пиджака, шляпы и

рубашки в свои стаканы, но после этого жажду было утолить уже нечем и ночь в поезде тянулась томительно долго.

В Тулу мы прибыли около восьми утра, и прямо с вокзала я направился в один небольшой трактир — гостиницу с ресторацией,— где, как мне было известно, можно было нанять лошадей: до усадьбы Толстого предстояло ехать еще миль пятнадцать. Зал трактира был полон любителей выпить, в большинстве своем уже изрядно набравшихся. Половые в белых фартуках сновали между столиками, усердно потчуя посетителей.

— Не хотите ли отведать медовухи? — предлагали они пьянице, раздумывающему над тем, чего бы ему еще выпить.

— Ни боже мой!

— Почему-с?

— Потому что я хочу яблочного кваса.

Как и во многих таких заведениях, маленький мальчик громко, по слогам читал газетные новости подвыпившим крестьянам, не умеющим читать. Внезапно по всему питейному заведению распространился ужасный запах несвежего кваса, отдающего гнилыми апельсинами. Хмельные посетители ресторации принялись возмущенно требовать, чтобы трактирщик выкатил вон бочку с прокисшим квасом, и только тут до меня дошло, что трактирщик не виноват и что это «благоухает» моя одежда. Согретая теплыми лучами утреннего солнца, она источала тошнотворный запах. Стараясь не привлекать к себе внимания, я «взял номер», пользуясь русским выражением, означающим снять комнату в гостинице, и быстро переоделся. Какая незадача! Одежда, которую мне пришлось снять, воплощала дух свободы, дух американских прерий; теперь же я вынужден был явиться к Толстому, облаченный в парадный костюм, сковывающий, как латы, который предназначался для кратких официальных визитов к генерал-губернаторам и губернаторам-генералам.

Тройка вороных крупной рысью помчала меня по Киевскому тракту. Наконец-то настала весна. Вся природа пробуждалась, а вместе с нею и люди. Когда мы подъехали к верстовому столбу на шестнадцатой версте от Тулы, возница с озадаченным видом остановил лошадей. Еще минуту назад он хвастливо утверждал, что все дороги в мире ведут к Толстому, а теперь вынужден был признать, что не может найти одной-единственной. Впрочем, в конце концов он заметил узкую проселочную дорогу, идущую краем березняка. «Вот она — дорога в деревню и поместье его сиятельства»,— обрадованно воскликнул он, и мы покатили по ней.

Каким бы великим человеком ни был граф в других областях, как строитель дорог он явно не на высоте. Больше двух миль мы с огромным трудом тащились затопленным лесом и превратившимися в болото лугами. Колеса увязали в грязи, лошади по брюхо в воде брели через разлившиеся ручьи. Даже и в менее топких местах дорога стала почти неразличимой. Возница тыльной стороной ладони смахивал пот со лба и все более растерянно дергал себя за взъерошенный рыжий вихор.

Неожиданно перед нами возникли два кирпичных столба, на которых когда-то давным-давно держались не существующие ныне створы ворот. «Ну вот,— с облегчением объявил возница,— мы в имении его сиятельства! Видите, я не заблудился, и если вы справедливый человек, то должны будете это признать». Теперь мы огибали красивый пруд, обрамленный ивами, за которым виднелась деревня Толстого, вся в весенних цветах, которые придавали ей нарядный и веселый вид. По мере того как мы рысцой продвигались вперед, лес становился гуще и все ближе подступал к дороге. Затем дорога круто пошла в гору, причем преодолеть этот подъем оказалось не под силу даже нашим бодрым лошадкам. Чтобы дать им возможность передохнуть, мы минуту-другую шли рядом.

Справа от нас показался аккуратный огород, в котором какой-то старик мотыжил землю со скоростью этак ударов трех в час, а слева — старомодный розарий. И вдруг прямо перед нами вырос дом Мудреца, расположенный посредине «ясной поляны» (отсюда и название Ясная Поляна). Лишь мельком рассмотрел я приземистый кирпичный дом с облетевшей кое-где штукатуркой и верандами, увитыми хмелем, но на этом мой осмотр и кончился. Я услышал стук оконного шпингалета и, взглянув вверх, увидел Толстого, каким я его сто раз видел на фотографиях, только в сто раз явственней.

Он стоял у венецианского окна на втором этаже с непокрытой головой, с развевающимися по ветру длинными седыми волосами, внимательно наблюдая за моим приближением. На нем была белая блуза, наглухо застегнутая, высокие, до колен, сапоги и английские бриджи для верховой езды, потертые и исцарапанные колючками, но прекрасного покроя. Все эти мелочи я описать могу, но как описать тот пристальный, ястребиный взор лесного философа, разглядывающего из окна своего кабинета человека, который идет к нему по пустяковому поводу! Был такой миг, когда я чуть было не обратился в бегство. Разве мог я надеяться скрыть от этих пронзительных глаз свое ничтожество в философской области? Разве укроется от его взгляда, что я не способен по достоинству оценить людей, которые питаются исключительно овощами и любят бегать по земле босиком? Разве укроется от его взгляда, что я — одно из тех ничтожеств, которые читают Эмерсона разве что на ночь, в качестве

снотворного, и что вообще я приехал в Ясную Поляну как страстный поклонник автора «Анны Карениной» и «Войны и мира» — шедевров, которые тульский Мудрец считает грехами молодости и которые, по его мнению, были бы давным-давно забыты, если бы только люди проявили к нему снисходительность.

Эти и подобные мысли разом нахлынули на меня, я воочию увидел собственное ничтожество, и, наверно, мне хватило бы мужества удрать, если бы не юный камердинер, открывший передо мной дверь господского дома и так приветливо улыбнувшийся, что это придало мне отваги — вернее, дерзости — остаться. На камердинере была темно-бордовая ливрея домотканого сукна. При всей своей молодости он обладал редким тактом и умением держать себя, которые воспитываются лишь благодаря вековому, из поколения в поколение, общению с людьми благородного сословия. Это был прирожденный камердинер, какого не сыщешь ни в одном бюро по найму. Он ободрил меня, всем своим видом, любезным обхождением и успокоительными улыбками показывая, что чудовищность моего вторжения прощена, и даже как бы не замечая дерзкой неуместности моего одеяния.

На лестнице меня с новой силой объял страх, подобный волнению актера перед выходом на сцену. «Ну разве это не нахальство с моей стороны?» — восклицала лучшая часть моей натуры. Действительно, я был наверняка первым безвестным американцем, отважившимся на такое посещение. Все мои предшественники были людьми могущественными, сдвигавшими горы, либо управлявшими толпами, либо убившими парочку осьминогов в честном поединке, а я...

— Граф все утро говорил о вашем приезде,— сказал, ободряя меня, камердинер.

Несколько мгновений Толстой изучал меня тем острым, пронзительным взглядом, который я почувствовал на себе еще внизу, подходя к дому. Мне казалось, что он перебирает в памяти длинную череду бритых пришельцев из Америки, совершавших паломничество к нему. А что, если он со свойственным ему несокрушимым оптимизмом вспоминает слова своего любимца Эмерсона: «Когда уходят полубоги, являются боги»? А вдруг он еще лелеял какие-то надежды? Как бы то ни было, когда я предстал перед ним — американец, вырядившийся под европейца,— его лицо вытянулось. Затем, сдерживая смех — что-то его смешило, но положение хозяина дома обязывало к серьезности,— он заговорил:

— Видите этот карандаш? Его оставил мне на память один американский государственный муж, приезжавший сюда несколько месяцев тому назад посоветоваться со мной по государственным вопросам. Я всегда буду помнить этого человека. Ведь это — лучший карандаш, который у меня когда-либо был.— Тут мы оба рассмеялись, и граф в течение нескольких минут был так неожиданно прост и душевен, что я чуть было не рассказал ему о том, как я искупался в квасе, почему и вырядился в парадный костюм, но разве повернется язык говорить с Толстым о такой прозе?

В результате наша оживленная беседа вдруг стала угасать. За окном стоял первый теплый день запоздалой, холодной весны. Солнечные лучи лились в комнату, выходящую на юг, живительными потоками. За ночь распустились листья на деревьях; птицы были в восторге и выражали свой восторг заливистым пением. А я думал: каким бы великолепным было это интервью, если бы случилось так, что я сидел бы у ног Русского Мудреца и внимал его словам лет этак двадцать назад. Увы, тогда моему паломничеству помешала война на Балканах, а десять лет спустя, когда я снова посетил Россию, паломничество мое закончилось на берегах Амура. Теперь сама жизнь ответила на многие и многие мои вопросы, а ответов на немногие оставшиеся я так страшусь, что неожиданно для себя вдруг повел речь о туземцах: о туземцах, кочующих вдоль глухих берегов сибирских рек,— мне довелось встречаться с ними; об индейцах, которых я видел на покрытых опилками цирковых аренах моей страны; наконец, о немногочисленных уже аборигенах, живущих вдоль границ исчезающих у нас уголков дикой природы. Я рассказывал о виденных мною на реке Уссури каменных истуканах, изваянных вымирающими гиляками, о некоторых изваяниях, найденных в Мексике, и об удивительном сходстве между ними. Граф слушал мою болтовню, а потом, когда подвернулся удобный случай, использовал мои слова против меня же. После того как разговор вернулся к России, граф спросил у меня, какие обнадеживающие признаки вижу я в сложившемся ныне положении. Я сказал, что таким обнадеживающим признаком считаю Думу: впервые в истории русские люди собрались вместе, чтобы обсудить свои дела и оказать влияние, пусть даже слабое, на государственную власть, которая ими управляет.

— Я не возлагаю надежд на Думу,— отвечал граф.— Я не возлагаю надежд ни на какую форму парламентского правления. Парламентаризм поможет нам как мертвому припарка. Я против Думы, потому что парламентаризм не в природе русского народа. Да и вообще, зачем это нужно — пересаживать на нашу почву институты, которые, это общеизвестно и общепризнанно, оказались несостоятельными во всех странах? Взять хотя бы ваш собственный конгресс

и законодательные собрания штатов. Какое злое дело они творят! В них процветают зависть, ненависть, партийные распри, они сеют среди вашего народа раздоры, злобу и жестокость. У вас, американцев, была молодая и прекрасная страна, которую ваши отцы хотели сделать земным раем, но чем все это кончилось? Нигде в мире нет такой ожесточенной сословной розни. Вы воспроизвели в самых крайних формах условия, существовавшие в Европе, и виной тому прежде всего то, что вы называете представительной системой правления, а также национальный эгоизм, который вы зовете патриотизмом. О, до чего же мне ненавистно это слово! Вы, американцы, к месту и не к месту употребляете его, злоупотребляете им. По моему глубокому убеждению, это понятие, которое ваши ловкие правители, преследуя свои собственные интересы, именуют патриотизмом, было еще большей помехой для развития личности, чем наша православная церковь с ее цепями и оковами, духовными и физическими. Вы пытались развивать народ в целом, скопом, почему бы теперь вам не попробовать развивать отдельную личность? Государство не может быть более сильным, чем самое слабое его звено. Прежде чем укреплять государство, вы должны укрепить отдельную личность. И если вы сделаете это, то, может быть, отпадет надобность и в самом государстве. Как можете вы всерьез интересоваться Думой? А вы говорите, что в Америке народ тоже интересуется Думой! То малое добро, которое такое законодательное собрание, как Дума, могло бы делать при определенных обстоятельствах,— сущее ничто в сравнении с тем злом, какое оно несомненно причиняет в настоящее время. Можно утверждать — а я так утверждаю со всей определенностью,— что в государственном правлении, существующем ныне в России, хорошего мало; однако оно, безусловно, более благоприятно для совершенствования человека, чем правление Ирода и Пилата. И тем не менее Христос жил при их владычестве и, вопреки всем препятствиям, проповедовал свое учение. Бессчетные поколения, миллионы людей старались следовать его примеру, но никому не удавалось еще достичь такого же человеческого совершенства. И вот мы стремимся изменить окружающие условия, вместо того чтобы менять самих себя. Как видно, потому, что это легче. Так чем же вас заинтересовала Дума?

На этот раз граф не позволил мне уклониться от ответа, и я принялся излагать свое мнение, сознавая при этом, что я — ничтожный червь, которого сейчас раздавят. Я рассказал моему собеседнику, что в течение полутора месяцев я присутствовал на заседаниях Думы и что, на мой взгляд, в этом совещательном собрании — кстати, гораздо более дисциплинированном, чем большинство таких учреждений,— более или менее справедливо представлены все классы Российской империи, включая, быть может, даже террористов и экспроприаторов. Я отметил далее, что был просто поражен разумностью суждений и здравым смыслом многих ораторов, особенно членов Думы — депутатов от крестьянства, которое составляет четыре пятых населения империи. Мне казалось возможным, что Дума сумеет беспристрастно изложить справедливые жалобы народа и найти такого государственного деятеля, который смог бы постараться устранить причины для недовольства.

— Разумеется, мы, американцы, не знаем,— продолжал я,— созрела ли для самоуправления сколько-нибудь значительная часть русского народа. Похоже на то, что вне стен Думы русские изо дня в день являют многочисленные свидетельства своей незрелости. Но ведь из истории ваших некогда великих и свободных городов, таких, как Новгород, Псков и Тверь, известно, что представительные учреждения действовали вполне успешно и что народ в этих русских землях жил счастливо и в достатке, покуда Иван Грозный и ему подобные не обратили свободных горожан в рабство. Затем вы, конечно, помните, что мы, американцы, принимаем близко к сердцу проблему распространения в мире всеобщего избирательного права для мужчин. Триста лет тому назад мы представляли собой горстку изгнанников, выброшенных на негостеприимный берег. Теперь же мы велики и сильны и считаем, что достигли этого с божьей помощью и благодаря нашим представительным институтам.

— Велики и сильны! Велики и сильны! — воспользовался Толстой моей оплошностью, едва только это избитое выражение слетело с моих уст.— Кто это говорит, что вы велики и сильны? Только лишь ваши глупые и пустые политики! Я допускаю, что вы были велики и сильны в эпоху Эмерсона и Торо, но сегодня вы уповаете на войско и на сокровища в ваших банковских сейфах. Велики и сильны! Как бы не так! Нация, как и отдельная человеческая личность, сильна лишь своей верой, а нынешняя Америка, боюсь, верит только во всемогущий доллар. Дела человека суть отражение его души. Душа же человека — это представление о своем создателе. Конечно, я не знаю, но думаю, что грубо сработанные индейские истуканы, о которых вы говорили, более угодны богу, чем ваши скорые поезда и безостановочно работающие фабрики, поработившие самый свободный народ. У индейцев по крайней мере было какое-то смутное понятие о вечности и о всевышнем, и они грубыми, непослушными пальцами пытались воплотить их, вы же помышляете только о времени да о «важных» персонах.

Увлекшись, граф встал и, забыв о

своем почти восьмидесятилетнем возрасте, принялся расхаживать взад и вперед по кабинету большими шагами молодого человека.

— Процветание, процветание! — повторял он.— Вот с каким постыдным лозунгом обращаются ваши американские политики в своих предвыборных программах к избирателям. Они не говорят: «Благодаря нам у вас будет честное, справедливое правительство», нет, они говорят другое: «Благодаря нам все вы станете жирными и гладкими. Голосуйте за меня, и у вас будет двойной подбородок!» И никто не говорит: «Что проку будет вам от сытного обеда, если, набивая себе брюхо, вы губите свою бессмертную душу?»

Тут граф остановился и окинул взглядом фотографии, украшающие кабинет: Эмерсон, Торо, Ченнинг, Брайан, Генри Джордж и покойный Эрнест Говард Кросби глядели со стен как живые [5].

— О! Я благодарен вашей стране за все, что она дала миру в лице этих людей. Спасибо вам за то, что вы дали нам в прошлом. А вот за ваше будущее я боюсь. Никто, как я вижу, не следует их примеру.

Когда граф заговорил о своей любви и симпатии к этим великим американцам, в глазах его появились слезы. Он с чувством признательности рассказывал о приезде к нему в имение Брайана. Что же касается остальных наших государственных деятелей, то они, как мне ясно было дано понять, у Толстого не в чести.

— Падение Америки! — продолжал он.— Видя оставленные святыни ваших предков, я думаю, что падение Америки будет более скорым, чем падение Рима. Мы, русские, недавно были наказаны за наши алчные посягательства на земли и богатства наших соседей, но каким милосердным, каким мягким оказалось это наказание! [6] Я не могу не думать, что великий судия знал, что в глубине души русский народ не повинен в алчности. Его, ослепленного и опутанного, толкнула на это кучка заблудших или порочных людей, и поэтому представляется справедливым, что кара, постигшая нас, была смягчена милосердием. Вы же украли Филиппины [7] или, в лучшем случае, уплатили другому грабителю за то, чтобы он отказался от своих притязаний, а ваш народ снова и снова санкционировал у избирательных урн эту кражу. Надо надеяться, что есть какие-то смягчающие вашу вину обстоятельства, но, признаюсь, я таких обстоятельств не вижу.

Затем мысль графа совершила акробатический прыжок, и он снова заговорил о положении в России. При этом подверг руководящих деятелей всех партий такой же огульной и куда менее вежливой критике, чем минуту назад руководящих деятелей Америки. Потом на какой-то миг смягчился и, оставив суровый тон, сказал:

— Нет, нет, забудьте все, что я в запальчивости наговорил вам. Не все они — дурные люди, надеюсь, нет; только безнадежно заблуждающиеся. Вы, конечно, знаете, что в основе ситуации, сложившейся у нас в России, лежит земельный вопрос, и вот, несмотря на это, ни один деятель и тем более ни одна партия, как из числа сторонников конфискации, так и из числа ее противников, не осмеливаются подойти к этому вопросу со всей прямотой и искренностью. В этой самой Думе сторонников аграрных реформ, что принадлежат к либеральным группировкам, обвиняют в недобросовестности и невежестве. В России, как и во всякой другой стране, есть лишь одно-единственное решение земельного вопроса, которое можно было бы считать правильным, справедливым и окончательным, насколько вообще можно говорить о чем-либо окончательном в нашем бренном мире, и решение это, бесспорно, состоит в принятии законов о земельной собственности, проповедуемых в их современной форме учением Генри Джорджа. Но наши двоедушные поборники аграрных реформ никогда не упоминают об этом решении: ведь оно не обещает исключительных преимуществ ни одному классу, тогда как общепризнанная аксиома политики, насколько я понимаю, как раз и заключается в том, что вы должны посулить многочисленному классу определенные преимущества перед другими, чтобы заручиться голосами избирателей и прийти к власти. Если не ошибаюсь, идея сторонников конфискации земли такова: те, у кого отберут землю, все равно будут обязаны в дальнейшем платить налоги, а те, кому отдадут землю, налогами обременены не будут и заживут припеваючи, без трудов и забот. Спору нет, из этого можно сделать куда более заманчивый лозунг, чем из слов Генри Джорджа, а лозунги, само собой разумеется, необходимы для победы в политической борьбе, тогда как принципы... принципы лучше всего выбросить за борт! Да и то сказать: Генри Джордж был честный человек, и мир практической политики отверг его, наши же политики-аграрники не столь честны, и они будут из кожи лезть, чтобы их не отвергли.

Когда я ближе к вечеру снова увиделся с Толстым, он уже покончил со своими дневными трудами; вдали слышались песни и смех возвращавшихся с полей крестьян. Эти веселые, счастливые мужчины и женщины — такая же редкость среди русского крестьянства, как и их бывший помещик — среди дворян. В руке у Толстого была еженедельная газетка, издающаяся в Портленде, штат Орегон. Держа указательный палец на заинтересовавшей его заметке, он оживленно заговорил:

— Вы обвинили меня в том, что из

всех американских газет я читаю только «Паблик ов Чикаго» с ее разоблачениями продажности и моральной испорченности. Но, видите, это не совсем так. Вот послушайте, как замечательно сказано! Это из «Насущных мыслей» Люси А. Мэллори — я читаю их каждую неделю. Пока в Америке пишут так, как она, я уверен: есть еще порох в пороховницах. Слушайте:

«Мы, кому ведома правда жизни, должны сначала изменить мир изнутри, в нас самих, прежде чем приниматься изменять мир извне, в других. Если мы знаем правду жизни и не живем по ней, мы уподобляемся воздвигнутому на вершине маяку, чей свет угас».

Затем он с волнующей искренностью произнес:

— Простите меня, если мои суждения показались вам резкими. Помните только, что вы живете в воздвигнутом на вершине маяке и что в последние годы многим наблюдателям стало казаться, что свет, который некогда был радостью и надеждой мира и лучи которого проникали в самые отдаленные уголки земли, вот-вот уступит тьме. Я уповаю на то, что молодые американцы не дадут этому свету угаснуть и станут денно и нощно заботиться о нем. Ведь этот огонь был зажжен их отцами и светил не только вам, но и всему человечеству. Без него в мире стало бы темно.

Мы остановились под «деревом бедных» [8], покинутым сейчас всеми нищими, которые, получив щедрое графское подаяние, радостно разбрелись кто куда: одни — в монастыри и храмы, во множестве встречающиеся по сторонам большого тракта, который ведет в святой город Киев; другие, как я увидел позже, — в ближайшие кабаки. Со стороны долины у озера, окаймленного ивами, из деревушки с домами, крытыми соломой и утопающими в грязи, в которых из поколения в поколение жили крестьяне Толстых, появилась стайка деревенских ребятишек, одетых по-праздничному: в красные рубашки и сапоги, смазанные дегтем.

— Это мои ученики, они изучают со мной Библию, — пояснил граф, заметив мой вопросительный взгляд. — С ними я завершаю свой день; с ними я провожу счастливейшие свои минуты. И, по-моему, это не праздное удовольствие. Каждый из этих ребят совместно со мной пишет книгу, которая станет, вне всякого сомнения, последней моей попыткой сразиться с господствующими ныне ересями. Как только начинает смеркаться, они спешат сюда из деревни, и я читаю им сегодняшний урок из Писания, но так как славянский язык Евангелия труден для их восприятия, они поначалу мало что понимают. Я стараюсь как только можно лучше объяснить им прочитанное и отвечаю на все их вопросы. На следующий день я беру карандаш и бумагу, и дети один за другим пересказывают мне вчерашний урок из Писания, а я дословно записываю их рассказ. Результат получается прямо-таки поразительный. Мне кажется, что я впервые в жизни слышу неосквернённое слово божие, каким оно сходит с уст невинного ребенка. Я молю бога, чтобы он дал мне силы завершить этот труд, продлил мои дни до его окончания. Он откроет людям свет, который мне дано было увидеть [9].

Слушая графа, я краем глаза заметил, что его учениками, с таким беспечным весельем приближавшимися к «дереву бедных», вдруг овладела робость, как только они увидели неловкого от смущения иностранца, беседующего с их добрым пастырем. Они застыли в отдалении и, вытаращив глазенки, изумленно взирали на чужеземца, посмевшего вторгнуться в их святая святых. Я стал прощаться, и граф проводил меня до того места, где ждала моя тройка...

---

[1] Дмитрий Иванович Шаховской (1861—1940) — знакомый Толстого, земский и политический деятель, член Государственной думы.

[2] 17 января 1907 г. газета «Биржевые ведомости» опубликовала известие о тяжелой болезни Толстого, подхваченное другими газетами. В декабре и начале января Толстой и в самом деле перенес тяжелое воспаление легких, но к моменту газетной сенсации уже выздоравливал.

[3] Обстоятельства работы Толстого переданы неточно. В 1903—1905 гг. он работал над своими «Воспоминаниями», но на 9-й главе работа оборвалась. Под «книгой сказок» разумеется, по-видимому, составление книги «Детский круг чтения».

[4] В пору беседы Толстого с Бонслом летом 1907 года была разогнана вторая Государственная дума и готовились выборы в третью.

[5] Торо Генри Дэвид (1817—1862) — выдающийся американский писатель и общественный деятель, вошедший в историю литературы как автор книги «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854). Чаннинг Уильям Эллери (1780—1842) — американский проповедник, оратор и эссеист. Брайан Уильям Дженнингс (1860—1925) — американский политик левого толка, трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, но не был избран. 5 декабря 1905 года приезжал к Толстому, который сочувствовал его баллотировке в президенты. Кросби Эрнест Говард (1856—1907) — американский писатель, в 1894 году был в России, познакомился с Толстым и с тех пор был связан с ним дружеской перепиской.

[6] Речь идет о поражении России в русско-японской войне 1904—1905 гг.

[7] В результате испано-американской войны Филиппины в 1898 г. перешли к Америке, которая воспротивилась возможности провозглашения независимости Филиппин.

[8] Старый вяз возле крыльца толстовского дома в Ясной Поляне. На скамейке у вяза ожидали посетители усадьбы.

[9] Весной 1907 г. Толстой готовил для «Детского круга чтения» изложение Евангелия, а также составлял краткие рассказы для детей, в том числе по Виктору Гюго, Андерсену и другим авторам.

## ГЕНРИ ДЖОРДЖ-МЛАДШИЙ

# МОЕ ПРОЩАНИЕ С ГРАФОМ ТОЛСТЫМ

**ГЕНРИ ДЖОРДЖ-МЛАДШИЙ (1862—1918) — американский политический деятель и экономист. Сын Генри Джорджа — известного политика и политэкономa. С 1881 года начал заниматься журналистикой, написал биографию отца «Жизнь Генри Джорджа» (1900) и ряд других книг.**
**Генри Джордж-младший приехал в Ясную Поляну 5 июня 1909 года. Узнав о предстоящем его приезде, Толстой написал для русских газет статью «По поводу приезда сына Генри Джорджа». В статье говорилось: «Мысль о свидании с сыном одного из самых замечательных людей XIX века живо напомнила мне все то, что он сделал...» (ПСС, т. 38, стр. 70). В дневнике 5 июня 1909 года Толстой отметил: «Приехал сын Джорджа с фотографом. Приятный» (т. 57, стр. 79). Вскоре после визита к Толстому Генри Джордж-младший сказал одному из газетчиков: «Гостеприимством его я очарован. Великий писатель водил меня по саду, много говорил о матери-природе...» (П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. IV, М.— Пг., 1923).**
**Статья Генри Джорджа-младшего печатается по тексту газеты «Уорлд» (Нью-Йорк) от 14 ноября 1909 г.**

Когда я через переводчика сказал главному кондуктору, что хочу послать телеграмму графу Толстому [1], на его лице выразились радость и изумление. Он коснулся пальцами фуражки и поклонился, молчаливо показывая свою готовность помочь.

Это происходило в вагоне международного экспресса, первоклассного поезда, курсирующего по Транссибирской железной дороге; из Харбина в Северной Маньчжурии, где я сел на поезд, международный экспресс доставляет вас в Москву за девять с половиной дней.

Вскоре весь поезд облетела молва, что я сойду в Туле, чтобы посетить Толстого, и что я получил приглашение приехать лично от великого русского писателя.

Выражение радостного изумления, которое я увидел на лице главного кондуктора, я замечал теперь на многих лицах. Это было данью уважения к самому имени Толстого, данью почтения к огромному нравственному влиянию этого человека, который, бросив вызов могуществу православной церкви и российского государства, обличает тиранию, физическую и духовную.

Слова «я еду повидаться с Толстым» служат, как я обнаружил, своеобразным ключом к сердцам русских людей любого звания. Правда, по русскому обыкновению они именуют его «Лев Николаевич», а по фамилии не называют; но тем не менее меня понимал каждый маломальски образованный человек, с которым я заводил беседу.

Один из моих попутчиков, услышав, что я собираюсь побывать у Толстого, спросил: «Что представляет собой Толстой как человек?»

Я не смог ответить ему со всей определенностью. Столько всего я слышал и читал о Толстом, что в моих представлениях о нем царил сумбур. Его произведения, эти многогранные бриллианты, так разнообразны, а отзывы о нем так различны и противоречивы, что мне — как и многим другим его почитателям, которых глубоко трогали и впечатляли его книги,— не удалось составить твердого мнения о Толстом-человеке. В статье о Толстом, помещенной в одном из авторитетных энциклопедических изданий, было черным по белому написано, что на склоне лет этот великий русский так самозабвенно увлекся «мистическими и филантропическими идеями... что возникли сомнения, вполне ли он в здравом уме».

Но сомнения рассеялись, когда я встретился с этим замечательным писателем в его родовом имении Ясная Поляна. Как только я увидел этого всеми уважаемого старца (ему восемьдесят один год), он в тот же момент стал мне вполне понятен как человек.

Аристократ по происхождению, Толстой с годами осознал, что аристократия является продуктом социального неравенства, а социальное неравенство он отвергал, провозглашая равенство естественных прав всех людей.

Отпрыск знатного и богатого рода, смолоду получивший боевую выучку в армии и прошедший школу литературного мастерства, он пришел к отказу от светской суеты, стал считать высшим благом мир и занялся крестьянским трудом и шитьем сапог — не только потому, что физический труд нужен для здоровья, но и потому, что труд этот скромен и полезен.

Воспитанный на догматах официальной религии, которая для мыслящего человека была не больше как внешней формой, шелухой церемоний и обрядов без зерна подлинной веры, он, пройдя через мучительные душевные потрясения, обрел настоящую и пылкую религию, заповедующую возлюбить ближнего, как самого себя.

Поэт и философ, идеалист и романтик соединились в его лице с практиком и подвижником интеллектуального труда, историком, которому как на ладони вид-

ЛЕВ ТОЛСТОЙ БЕСЕДУЕТ С АМЕРИКОЙ

но прошлое, и учителем народа, призывающим воздвигать нравственную надстройку общества на справедливых экономических основах.

Подобная многосторонность, широта, возвышенность, поэтичность, страстность, простота, сила, ясность и непоколебимая убежденность пророка Моисея и могла вызвать в поверхностных умах сомнения насчет того, «вполне ли он в здравом уме».

Многие из этих его качеств обнаружились уже в первые минуты после того, как я переступил порог его яснополянского рабочего кабинета. Там, среди книг, я увидел Толстого, отдыхающего в кресле на колесах. Этим креслом он начал пользоваться для отдыха после тяжелой болезни, которую перенес лет семь-восемь назад. Его длинная седая борода ниспадала на грудь. Он был в широкой блузе; долгополая, как ряса, она по самые ступни закрывала его ноги, обутые в высокие сапоги. Сейчас, когда он сидел в кресле, ноги его были, кроме того, укрыты до колен одеялом.

Толстой сердечно принял меня, перенеся на меня толику той сердечности, с которой, по-видимому, приветствовал бы моего отца, доведись им встретиться. Смерть отца помешала им договориться о встрече. Здороваясь со мной, граф с почти детской простотой сказал: «Ваш отец был моим другом».

Дружеское чувство к моему отцу возникло у графа Толстого много лет назад — в 1884 году, после выхода в свет второй большой книги отца. Впоследствии граф Толстой писал об этой книге берлинцу Куленштайну, ревностному поборнику идеи единого земельного налога, который спрашивал у русского мыслителя, что думает он по поводу учения американца Генри Джорджа. В своем письме Толстой среди прочего ответил и на этот вопрос:

«С Генри Джорджем я знаком со времени появления его «Общественных задач». Я читал эту книгу и поражался верностью ее основной мысли; необычайной ясностью изложения, которой так не хватает научной литературе; ее здравым смыслом; глубиной анализа и — что совершенно необычно для научной литературы — тем исключительным христианским духом, которым проникнута вся книга. Прочтя эту книгу, я познакомился с предыдущей его работой «Прогресс и бедность» и еще больше оценил сделанное Генри Джорджем».

Удивительно ли, что Толстой, с таким чувством отзывавшийся о произведениях отца, сердечно принял сына?

Беседуя с ним на самые разные темы, я воочию убеждался в том, как молод душой этот человек со старчески хрупким телом. Он обнаружил живейший интерес ко всему, что происходит в мире, проницательно и с большим знанием дела говорил об этом, склоняясь к общему выводу, что великая борьба за уничтожение промышленного рабства во всем мире завершится победой, подобно тому как полвека назад завершилась победой борьба за освобождение рабов в США и крепостных — в России.

«Граф постоянно возвращается к этой теме»,— сказала мне графиня Толстая, когда после ужина она пригласила меня сесть рядом с ней в стороне от остального общества. Мне очень хотелось познакомиться с графиней, о которой я тоже много всего слышал. Кое-кто утверждал, что она не сочувствует взглядам и ученикам ее великого мужа. У меня не сложилось такого впечатления. Я наблюдал полнейшую гармонию, хотя, как мне известно, граф, стремясь обеспечить условия для максимально широкого распространения своих воззрений, передал жене и детям авторские права на более ранние свои произведения, главным образом романы, но оставил за собой свободу печатать все позднейшие свои труды с надписью: «Перепечатка разрешается безвозмездно», предоставляя право публиковать их всему свету. Эта надпись стоит на таких его несравненных сочинениях, как «Великий грех», и другие [2].

Сидя подле графини, занимающейся рукоделием, и рассматривая семейные фотографии в альбоме, я спросил, сколько у них детей.

«Всего я родила тринадцать детей,— ответила она на прекрасном английском языке.— В живых осталось семеро. У меня двадцать девять внуков и внучек». Несмотря на это, графиня — женщина, удивительно хорошо сохранившаяся. Впрочем, ей всего шестьдесят четыре года. Она неустанно заботится о материальном благополучии своего знаменитого мужа.

Я был счастлив услышать из уст самой графини, что граф каждодневно говорит о моем отце. Более того, Толстой, как я узнал, не только постоянно говорит о нем, но и содействует распространению его книг — конечно, в переводе на русский язык. Учение Генри Джорджа, изложенное в этих книгах, граф называет экономической основой его собственной моральной философии любви к ближнему [...].

Вполне естественно поэтому, что, прощаясь со мной, Толстой думал о моем отце. Он пожал мне руку и с удивительной простотой сказал: «Я больше вас не увижу. Скоро я встречусь с вашим отцом. Что бы вы хотели передать ему через меня?»

Справившись с волнением, я сказал: «Скажите ему, что я продолжаю его дело». Он молча кивнул, и я вышел.

[1] 1 июня 1909 г. в Ясной Поляне была получена телеграмма, посланная с дороги: «Могу ли посетить? Благоволите ответить. Генри Джордж-сын». На другой день Толстой телеграфировал ответ: «Очень рад видеть, ожидаю» (т. 79, стр. 137—139).

[2] Статья «Великий грех», написанная Толстым в 1905 г., пропагандировала разрешение земельного вопроса в духе Генри Джорджа.

◆

# Антирубрика

## КАРЛ СЭНДБЕРГ

## *Стихи*

*Перевод с английского АРКАДИЯ ГАВРИЛОВА*

### ПИСЬМО С ПРИЗНАНИЕМ В ЛЮБВИ К ХАНСУ КРИСТИАНУ АНДЕРСЕНУ

**Кухонный стул говорил ножу:**
**«Почему у тебя нет ног?»**
**Хлебный нож отвечал: «А у тебя почему нет зубов?»**
**Этот спор разгорелся однажды летом**
**И продолжался всю зиму,**
**И следующую, и еще одну зиму...**
**В чулане они оказались рядом.**
**Кухонный стул спросил:**
**«Ну, где твои зубы?»**
**И нож ответил:**
**«Я вижу, и у тебя нет ног».**
**В чулане было темно и тихо —**
**Ни суетливых людей, ни шипящих кастрюль,**
**Только груда угля, старые швабры и паутина.**
**Здесь могли они разговаривать сколько угодно...**
**Но больше никто из них не сказал ничего.**

### ЧЕРВИ И ВЕТЕР

**Черви хотят оставаться червями.**
**Спросите червя, и он вам скажет: «Кто знает, что знают черви?»**
**Черви роют ходы, ведущие вниз и вверх, пересекающие друг друга.**
**Черви любят туннели.**
**Когда они говорят, они говорят о жизни червей.**
**Черви живут в темноте.**
**Ни солнце, ни лунный свет не интересуют червей.**

Гладкие черви ненавидят волосатых червей.
Черви, ползающие зигзагом, не придут к соглашению с теми, кто ползает по прямой.
Черви знают, чего хотят черви.
Скользящие черви не доверяют червям, передвигающимся при помощи сокращений.
Черви спрашивают друг у друга: «Ну как, таскаешь еще живот?»
Фигуры извивающихся червей удовлетворяют извивающихся червей.
Тонкий червь говорит: «Почему бы не быть тонким?»
Черви, уставшие от сокращений, начинают скользить.
Длинные черви быстрее передвигаются, чем короткие.

Черви средних размеров всем говорят: «То ли дело быть ни коротким, ни длинным!»
Старые черви учат свою молодежь: «Мы не боимся за вас, пока вы живете с червями и читаете книги, которые пишут черви».
Черви, живущие под землей, никогда не слышали ветра, дующего над землей, и поэтому иногда они спрашивают: «Что же такое ветер, о котором мы столько слышали?»

## ЯЩИКИ И МЕШКИ

Чем больше ящик, тем больше ящик вмещает.
Пустые ящики вмещают столько же, сколько пустые головы.
Пустой и маленький ящик можно вставить в пустой ящик больших размеров и тем самым наполнить его.
Наполовину пустой ящик просит: «Положите в меня еще что-нибудь».

Большой достаточно ящик может вместить весь мир.
Слонам нужны большие ящики, чтобы хранить свои носовые платки.
У блох маленькие носовые платки, которые они держат в маленьких ящиках.
Мешки льнут один к другому, а ящики стоят независимо.
Ящик можно ставнть на ящик до тех пор, пока весь штабель не упадет.
Ставьте ящик на ящик, и нижний ящик скажет: «Отметьте, пожалуйста, что на мне держатся все остальные ящики».
Ставьте ящик на ящик, и верхний ящик скажет: «Ответьте, пожалуйста, кто из нас окажется дальше, если мы упадем?»
Люди-ящики ищут везде лишь ящики, люди-мешки ищут везде лишь мешки.

## ПОД СТЕНАМИ КАПИТОЛИЯ

Одни говорят о беспорядке сегодня,
как будто вчера было больше порядка,
чем беспорядка.

Другие указывают на беспорядок сегодня,
как будто, имей они шанс,
и завтра они навели бы порядок.

Третьи выгоду извлекают из беспорядка,
представляя любой беспорядок
еще более беспорядочным.

Четвертые ждут, что сегодняшний беспорядок
сменится завтра другим беспорядком
и новый не будет на старый похож.

ДЖАННИ РОДАРИ

# Маги на стадионе

РАССКАЗ

*Перевод с итальянского ЛЬВА ВЕРШИНИНА*

Президент футбольной ассоциации «Барбарано» пребывал в отчаянии. Хотя в его футбольной команде были такие превосходные игроки, как Мазила Первый, Мазила Второй и весьма талантливые молодые футболисты Мазила Третий, Мазила Четвертый и Мазила Пятый (прозванный болельщиками «Золотой мениск»), она проигрывала один матч за другим. Каждое воскресенье и в праздничные дни. Посовещавшись со своими советниками, придворными и мажордомами, президент повелел напечатать во всех газетах на первой странице обращение:

«Любому, кто спасет команду «Барбарано» от перехода из высшей лиги в лигу «Б», я отдам в жены мою дочь и подарю в приданое замок Святой Красотки».

На другой день во дворец явилось множество молодых людей, исполненных самых радужных надежд. Некоторые из претендентов втайне были давно влюблены в прекрасную Лауретту, дочь президента футбольной ассоциации. Мало того, что у нее чудесные зеленые глаза, эта стройная, ростом метр семьдесят пять сантиметров девушка учится на олимпийскую чемпионку, а также игре на магнитофоне. Молодые люди точно знают, как спасти футбольную команду «Барбарано». Одни предлагают купить знаменитого центрального нападающего Риву, другие — Риверу, третьи — Нетцера, четвертые — Беккенбауэра...

Нашлись и такие, что предложили перед матчем дарить соперникам ядовитые грибы либо пообещать судье крокодилий заповедник в Африке. Но чтобы купить, скажем, Беккенбауэра, нужно сначала изучить немецкий язык. А это — дело сложное. Нет, все предложенные способы были дорогостоящими и малопригодными. Последним, ближе к вечеру, во дворец пришел некий Рокко из Пишарелли, который был известен как продавец кроличьих шкурок. Прежде всего он потребовал показать ему фотографию Лауретты. Внимательно ее изучив, Рокко остался доволен внешними данными невесты.

— Какими познаниями в области футбола вы обладаете? — спросил президент ассоциации.

— Ну, начать с того, что мое второе имя — Эленио...

— Совпадение имен со знаменитым тренером Эленио Эррера само по себе знаменательно. Однако этого маловато, не так ли?

— Вот что. В ближайшее воскресенье перед игрой посадите меня на скамью рядом с нынешним тренером команды,— предложил Рокко.— Если «Барбарано» выиграет, мы продолжим наш разговор. Но уже при свидетелях. Согласны?

— Согласен,— ответил президент.

В воскресенье перед встречей с командой «Формелло клуб» (она всегда играет в белых полосатых майках) Рокко пересек поле и сел на скамью запасных рядом с тренером команды «Барбарано». Это был грустный, словно песня без слов, человек, он уже ничего больше не ждал ни от жизни, ни от футбольного чемпионата. От него исходил запах увядших хризантем.

Судья дал свисток, и матч начался.

За первые пятнадцать минут команда «Формелло» забила три гола, да еще девять судья не засчитал, определив положение вне игры.

В перерыве между таймами Рокко спустился в раздевалку команды «Барбарано». Он переходил от одного игрока к другому и каждому что-то шептал на ухо. Президент тут же стал спрашивать у игроков: что он тебе сказал?

— Мне он сказал, что трижды девять — это двадцать семь,— признался Мазила Первый.

— А мне, что шесть на четыре — это двадцать четыре,— выпалил Мазила Второй.

— Таблицу умножения он знает,— задумчиво проговорил президент.— Посмотрим, что будет дальше.

Только начался второй тайм, как Мазила Первый головой забил гол. Две минуты спустя Мазила Второй забил гол великолепным ударом левой ноги. А вскоре Мазила Третий, Мазила Четвертый и Мазила Пятый (прозванный болельщиками «Золотой мениск») забили подряд три гола, все три с правой ноги. Немного спустя Мазила Шестой забил гол коленкой, а за ним Мазила Седьмой — подбородком. Команда «Барбарано» победила со счетом 12:3.

Президент от волнения упал в обморок и не очнулся даже тогда, когда болельщики водрузили его на плечи и понесли по улицам города. Так что ему не удалось насладиться своим первым триумфом.

---

АНТИРУБРИКА

Придя в себя, он сразу послал за Рокко. А тот уже садился на велосипед с подвесным мотором, чтобы вернуться в родное селение Пишарелли.

Президент назначил Рокко новым тренером команды «Барбарано». Прежний тренер по примеру короля Карла-Феликса отправился в добровольное изгнание в Португалию.

— Ну, а теперь открой мне, если можешь, свой секрет! — обратился к Рокко президент ассоциации.

— Тут нет никакого секрета,— ответил Рокко.— Я по профессии торговец кроличьими шкурками. Работа эта сезонная, и у меня остается много свободного времени. На досуге я изучил парапсихологию и вот стал футбольным магом. Одной силою мысли я могу изменить полет мяча. А еще я умею до смерти напугать игроков — у них возникают ужасные галлюцинации. Словом, речь идет о самых простых вещах.

— Разумеется. Все же лучше, чтобы журналисты об этом не знали.

— С меня вполне достаточно славы и замка Святой Красотки,— ответил Рокко.— Кстати, ваша дочь любит требуху?

— Очень любит! Но почему ты об этом спрашиваешь?

— Да так, из чистого любопытства. Мое хобби — сбор информации.

Два месяца спустя команда «Барбарано», выиграв все оставшиеся матчи, стала чемпионом страны. Рокко и Лауретта обвенчались, поселились в замке Святой Красотки, и каждое воскресенье им подавали на обед требуху.

За каких-нибудь пять лет «Барбарано» выиграла Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков и ночной турнир района Тольфа. Вскоре она стала самой знаменитой командой мира со времени появления на земле футбола. А Рокко стал самым знаменитым тренером всех континентов.

— Вы даже козу, верно, научили бы забивать голы,— с улыбкой сказал как-то Рокко спортивный журналист.

— Само собой,— ответил Рокко.

Он велел купить козу и поставил в футбольные ворота двенадцать вратарей высшей лиги. Когда коза пробила по воротам с пенальти, все двенадцать упали на землю вверх тормашками, а мяч влетел в сетку... Вратарям, беднягам, показалось, что им в лицо летит не мяч, а рояль. Но они постеснялись об этом сказать. Ведь когда они поднялись с земли и отряхнулись, они засомневались, был ли это рояль или электрический орган.

За все время Рокко лишь однажды потерял самообладание. Судья неверно определил положение вне игры у Мазилы Пятого, он же «Золотой мениск». Секунду спустя судья в черных гетрах и трусах взобрался по боковой штанге наверх и уселся на перекладине ворот.

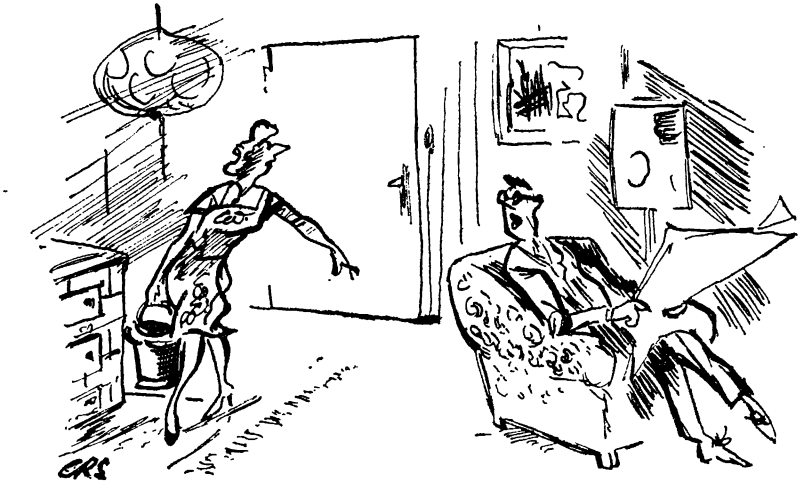
— Что ты делаешь?! Рокко, опомнись! — шепнул ему президент.

Рокко понял, что он злоупотребил своими познаниями в парапсихологии и рискует вызвать подозрения у недоверчивых болельщиков. Он позволил судье спуститься вниз, но не отказал себе в удовольствии наслать на него анаконду. Судье на бегу казалось, будто он вот-вот наступит на гигантскую змею. Поэтому он беспрестанно совершал головокружительные прыжки под бурные аплодисменты зрителей. Команда «Барбарано» победила со счетом 47 : 0. Сразу же всех игроков произвели в кавалеры ордена «Святой красотки».

---

**Л. УРСИНУС.**
**ФРГ.**

**Возьми два, дорогая, так легче**



Но однажды до Барбарано дошли слухи, что на Севере в Ингильпруссии появилась другая команда, которая тоже выигрывает у соперников с двузначным счетом: 40 : 0, 45 : 0. Она даже взяла верх над лучшей командой Западной Германии. Беккенбауэр с горя повесил бутсы на гвоздь и стал владельцем банка.

Рокко, переодетый текстильным фабрикантом, отправился посмотреть на встречу «Робура» — так называлась знаменитая команда Ингильпруссии — с «Ветралией». Он с первого же взгляда узнал в тренере «Робура» тибетского мага, выдающего себя за гражданина Ингильпруссии. Для проверки Рокко сильнейшим напряжением мысли превратил правого крайнего «Робура» в сверчка. Бедняга жалобно заверещал «кри, кри» в страхе, что сейчас его раздавят. Но три секунды спустя сверчок вновь превратился в нападающего и, получив пас, забил красивый гол... Рокко несколько раз удалось изменить траекторию летящего мяча. «Ветралия» даже забила два гола, но третьего забить не смогла. Воля тибетского мага оказалась сильнее воли Рокко. Быть может, потому, что тибетец и мыслил по-тибетски, а ведь Тибет — родина чудодейственных лекарей и шаманов.

У Рокко от напряжения вскочила шишка на лбу. Он знал, что рано или поздно две сильнейшие команды мира «Барбарано» и «Робур» встретятся.

Готовясь к матчу, он засел за изучение тибетского языка.

За три дня и три ночи он выучил сорок тысяч слов и решил, что этого, пожалуй, хватит. Но на всякий случай изучил также китайский, индонезийский и с десяток диалектов банту.

И вот великий поединок состоялся. На Олимпийском стадионе Рима. Матч транслировался по телевидению на сто восемнадцать стран.

Вечером на стадионе собралось двадцать тысяч одних только журналистов, многие из них пришли с супругами и с тещами. На почетных местах важно восседали бесчисленные министры, архиепископы, рядом на трибунах теснились продавцы кроличьих шкурок, обедневшие герцоги и графы, воры, временно отпущенные из тюрем, дипломированные безработные.

Оба тренера своих команд пожали друг другу руки и сказали: «Пусть победит сильнейший!» На арамейском языке, чтобы никто из журналистов не догадался об их истинных намерениях. В момент дружеского рукопожатия пальцы тибетского мага превратились в гадюку. Рокко отреагировал молниеносно — превратил свои пальцы в дикобраза, смертельного врага гадюк. Понятное дело, никто из журналистов и зрителей ничего не заметил. Фотографы беспрестанно щелкали своими «Кодаками» и «Лейками».

Но вот оба тренера сели на скамью рядом с запасными игроками.

Сразу же после свистка судьи Рокко послал на поле стадо динозавров. Игроки «Робура», наученные своим тренером-магом, даже глазом не моргнули.

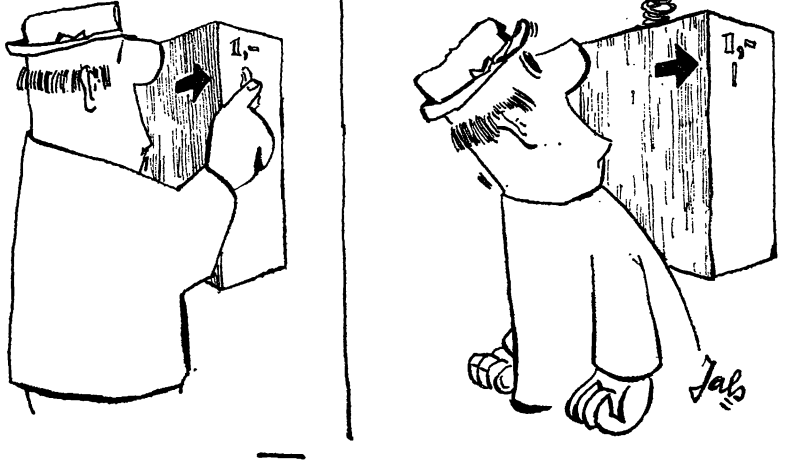
— Гигантские спруты, вперед! — мысленно приказал Рокко.

Зрители, понятно, снова ничего не заметили, но игроки «Робура» увидели, что на них ползут одиннадцать спрутов.

---

**А. СМОЛИНСКИ.**
**Швейцария.**

**Спасибо!**



По спруту на каждого. Щупальца гигантских спрутов достигают двадцати четырех метров, они способны размолоть в порошок акулу, утащить под воду океанский лайнер и разорвать на части атомную подводную лодку. Однако игроки «Робура» показали гигантским спрутам язык, и спруты, ужасно обидевшись, уползли прочь.

И тут Мазила Первый увидел перед собой... Белоснежку.

— Простите, вы не встречали семь моих гномов? — спросила она нежным голосом.

Мазила Первый споткнулся от изумления, потом вежливо объяснил:

— К сожалению, синьорина, не встречал. Но поверьте, на стадионе их нет. Ведь тут происходит матч века!

— Скажите пожалуйста! — воскликнула Белоснежка.— А я и не знала! Но вы уж объясните, если можно, почему столько людей бьют ногами бедный мяч? Ведь он никому ничего плохого не сделал!

Пока Мазила Первый любезничал с Белоснежкой, игроки «Робура» отняли у него мяч и устремились к воротам «Барбарано». Вратарь приготовился отбить удар, как вдруг перед самым его носом, задыхаясь, промчалась Золушка.

— Синьорина, вы потеряли туфельку! — крикнул ей вратарь.

— Ничего, у меня есть другая! — на бегу отозвалась Золушка.

В тот же миг центр нападения «Робура» нанес с правой ноги такой сильный удар, что мяч, верно, пробил бы насквозь и толстенные крепостные стены. Но Рокко невероятным напряжением мысли изменил полет мяча, и тот попал в перекладину ворот.

— Значит, вот какую тактику избрал,— мысленно обратился Рокко к тибетскому магу.— Ну что ж, на сказку я тебе отвечу сказкой!

Спустя мгновение на поле выбежала Красная Шапочка, за которой гнался Серый Волк. Игроки «Робура», как истинные рыцари, бросились защищать бедную девочку. Пока они сражались с Волком, игрок «Барбарано» забил гол. 1 : 0! Семь тысяч двести восемнадцать болельщиков от волнения упали в обморок, и их вынесли со стадиона на носилках.

Тибетский маг в ответ послал на поле добрую фею, которую собирался изжарить на сковороде Зеленый Рыбак. Игроки «Барбарано» поспешили на выручку несчастной фее, и центральный нападающий «Робура» сравнял счет. 1 : 1!

На этот раз в обморок упали четыре тысячи болельщиков и триста санитаров.

Теперь оба мага стали наносить друг другу удар за ударом.

На поле выбежали ведьмы, чудища, гномы, злые мачехи и сводные сестры, принцессы, коньки-горбунки, воины, разбойники, бременские музыканты, верблюды и погонщики верблюдов. А когда и они не помогли, маги послали в бой героев комиксов: Супермена, Нембо Кида, Дьяболика, Синюю Бороду и, конечно же, новых героев сказок — Тополино, Тредичино, циклопов, человека-ящерицу. Зрители, понятно, их не видят, они видят лишь, что судья и двадцать два ошалевших игрока носятся взад и вперед, а мяч сиротливо валяется в центре поля. В довершение всех бед обоим магам никак не удается вернуть назад порожденных силою их воображения призраков. На поле теперь столпотворение, и двух шагов нельзя пробежать. Вконец измученные игроки садятся на траву, болельщики принимаются гневно свистеть.

И тут случается нечто странное. Рокко и тибетскому магу приходит в голову одна и та же идея: «Пошлю-ка я на поле дудочника-крысолова».

И так велико было их умственное напряжение, что дудочника увидели не только игроки, но и все зрители, даже министры и журналисты.

Как дудочник вдруг очутился в центре поля?! Что он там делает? На стадионе воцарилась мертвая тишина. Если бы это было осенью в листопад и на футбольном поле росли деревья, все услышали бы, как с ветки, хрустя, слетает сдутый ветром желтый лист. А сейчас зрители услышали... звуки музыки: дудочник заиграл на своей волшебной дудочке. Что же он играет? О чудо! Он играет сюиту Иоганна Себастьяна Баха. Дудочник сыграл партию флейты семнадцать раз подряд. Ведь партия эта сложная, и оценить вполне ее красоту можно лишь с семнадцатого раза.

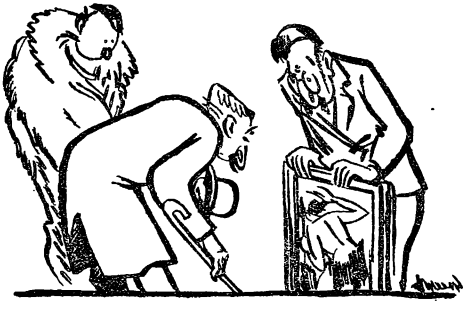
Но вот смолкли звуки музыки, и дудочник направился к выходу. За ним пошли игроки и судья. А потом встали с лавки и покорно пошли за дудочником оба мага. И все болельщики пошли.

Все отправились домой, позабыв (на три месяца!) об игре, о футболе. Стадион опустел. Вчерашние болельщики старательно учились играть на дудке.

---

**Г. ГУАСТА.**
**Италия.**

**Чья это картина?**
**— Неизвестного художника.**
**— А она подлинная?**



ФРЭНК САЛЛИВЕН

# РАССКАЗЫ

*Перевод с английского ВЛАДИМИРА ПОСТНИКОВА и ЮРИЯ ЗОЛОТАРЕВА*

## Букет дружб

В наши дни, мне кажется, журналы уделяют особенно много внимания воспоминаниям о великих людях, написанным теми, кто считает, что знал их. Очевидно, любой, кто хоть раз говорил с Шоу, Барри или Анатолем Франсом или получил от них единственное письмо, имеет право называть себя близким другом великого человека и писать о нем статьи на три тысячи слов по десять центов за слово.

Так почему ж тогда мне не подзаработать на увлекательной истории моих дружб с Генри Л. Менкеном, Элом Смитом, Уильямом Говардом Тафтом и Дороти Паркер? Покупайте! Продаю!

Г. Л. Менкена я впервые увидел зимой 1924 года. Знаменитый редактор и критик обедал с Эптоном Синклером Льюисом в баре, где из-под полы торговали спиртным. А я тогда сидел за одним столом с Томасом Харди. В ту пору на книжный рынок под его именем шло то, что фактически писал за него я.

— Кто этот человек? — спросил я Харди.

— Эптон Синклер Льюис,— ответил он.

— Нет, я имею в виду того, у которого на рубашке вышито «Г. Л. Менкен, Балтимор, Холлинз-стрит, 1524».

— А, этот,— сказал Харди.— Это Г. Л. Менкен.

— Г. Л. Менкен? — спросил я.

— Да,— подтвердил Харди.

— Стало быть, это Менкен,— произнес я.

— Да,— подтвердил Харди.

Мы с Менкеном больше не видели друг друга до следующей пасхи, когда я присутствовал на богослужении вместе с Джорджем Бернардом Шоу. В апсиде церкви я заметил чью-то знакомую фигуру.

— Что это за знакомая фигура там, в апсиде? — спросил я Дж. Б. Ш.

— Я попросил бы без...— начал Шоу, но, узнав человека, продолжал:— О-о, это же Г. Л. Менкен.

После этого я не слышал о Менкене ничего до тех пор, пока в июне прошлого года не получил от него следующее весьма характерное для его развлекательного стиля письмо:

«Дорогой сэр, редактор «Американского меркурия» с сожалением ставит вас в известность, что возвращаемая вам рукопись ему не подходит».

Вот это иконоборчество! Типично по-мексикански! Кто, как не повеса от американской литературы, придумал бы смелую, нешаблонную фразу вроде «возвращаемая вам рукопись»?

Я всегда буду дорожить своей дружбой с Менкеном.

Мое первое знакомство с Элом Смитом состоялось в тот день, когда он беседовал tête-a-tête с двадцатью репортерами о запасах энергии реки Святого Лаврентия. Эл Смит оказался нисколько не похожим на Менкена. Смит, например, свою фамилию пишет С-м-и-т, тогда как Менкен пишет М-е-н-к-е-н.

С губернатором Смитом мы сразу поладили.

— Что вы думаете о водной мощи реки Святого Лаврентия? — спросил я его.

— Я думаю, она огромна,— ответил он.— А вы что о ней думаете?

— Тоже думаю, что она огромна,— ответил я.

Эта духовная общность, это взаимное восхищение энергетическими возможностями реки Святого Лаврентия сделали нас с Элом Смитом закадычными друзьями.

В следующий раз я увидел его в Карнеги-холл, где он произносил речь. Я аплодировал. Он кланялся. Это мне в нем очень понравилось.

Мы переписывались. Я всегда буду хранить письмо, которое однажды получил от него.

«Дорогой сэр,— говорилось в нем,— в ответ на ваше письмо от 12 с. м., в котором вы как внучатый племянник просите за вашу тетю Джулию Уэскорт (523 879), попавшую в результате бродяжничества в АП (Ауборн Призн [1], не Ассошиэйтед Пресс), с сожалением

[1] Название тюрьмы.

сообщаю, что в этом деле ничем помочь не могу, потому что — а здесь я уже рад сообщить вам эту новость — мисс Уэскорт сбежала из АП во вторник вечером».

Мы всегда считали, что с его, губернатора Смита, стороны было очень мило так хорошо понять точку зрения тети Джулии.

Именно в Саратоге, штат Нью-Йорк, осенью 1908 года я впервые встретился с Уильямом Говардом Тафтом, который и тогда был Уильямом Говардом Тафтом. Я как раз продавал на станции газеты, когда он проезжал мимо в своем персональном поезде. Мистер Тафт спал в то время на своей полке, но мне он, и я не солгу, если скажу: он мне сразу понравился. Уильям Г. Тафт не сказал мне ни единого слова, которое поколебало бы восхищение, переполнявшее в тот день грудь маленького оборванного замухрышки на станции Саратога.

В следующий раз я увидел мистера Тафта в Белом доме, куда меня привели вместе с пятьюдесятью другими учениками старшего класса нашей средней школы.

Помощник спросил мою фамилию и сообщил ее президенту, когда я пожимал руку последнего.

— Я в восторге, мистер Соломон,— сказал Тафт, и в его глазах сверкнули огоньки.

Он шутил, делая вид, что и вправду не знает меня. Я ничего не сказал, только улыбнулся про себя. Я ведь понимаю шутку не хуже любого другого.

Я чувствую, что Уильям Говард Тафт был моим настоящим другом, и я всегда буду дорожить воспоминаниями о том времени, когда общался с ним.

Дороти Паркер! Какие видения вызывает в моей памяти эта фамилия!

Впервые мы встретились с Дороти Паркер в каноэ у острова Стейтен. Она отдыхала после суматохи вашингтонской жизни. Тогда миссис Паркер была военным министром в кабинете Рузвельта и только что заключила договор Паркер-Понсфота-Хея, и впоследствии этот договор из-за того, что в его тексте было пропущено несколько важных запятых и тире (эти запятые потом нашли среди личных вещей миссис Паркер), вызвал Великую войну, в которой Франция, Англия, Соединенные Штаты, Бельгия и Италия боролись за общее дело против Дороти Паркер и Германии.

В то время она не была такой незаметной фигурой, какой является сейчас. В ней было верных шесть футов и три дюйма — это в одних чулках, без обуви. Тогда, в каноэ, я на мгновение принял ее за Иовину Хауланд, хотя Иовиной Хауланд миссис Паркер стала только на следующий год. Съежиться до ее теперешнего размера — пяти футов — миссис Паркер заставили заботы, вызванные войной. От нее у меня тоже есть письмо — дорогое и пахнущее фиалками:

«Мой милый проказник, не можешь ли ты приехать на коктейль, на этот дурацкий коктейль завтра в пять? Будет кое-кто из литераторов. Если не сможешь, то не пойдешь ли тогда хоть ненадолго к черту!»

Пусть люди говорят что угодно, но я до сих пор считаю, что Дороти Паркер была величайшей (после Джона Л. Салливена) фигурой среди всех удостоенных премий американских писателей, и я буду дорожить памятью о дружбе с ней до конца моих дней.

---

**П. МАЛЛЕ.**
**Франция.**
**Зеркало эпохи Людовика XVI**

# Почетная маруха

## Из дневника мисс Айрин Туайн

2 мая. Прочитала сегодня в газете, что комиссару Малруни хотелось бы, чтобы в полиции было несколько красивых девушек-детективов. Они должны втираться в доверие к преступникам, гангстерам и прочим блатным и таким образом разузнавать, кто совершил то или иное преступление. Хочу подать заявление. Сказала об этом Джеку. Он спросил, не сошла ли я с ума. Не понимаю, почему он должен диктовать мне все? Уж не потому ли, что мы обручены? Если уступить сейчас, что же будет потом, когда мы поженимся? Он, очевидно, считает, что для такой работы я недостаточно красива.

3 мая. Подала заявление на эту работу. Я еще покажу Джеку. Велели прийти завтра в управление полиции на проверку. Интересно, стоит ли надеть купальный костюм, в котором я выиграла соревнования по плаванию?

4 мая. Вот это день! Пошла рано утром в управление на проверку. Там было несколько других девушек. Какой-то инспектор обмерил нас. Он был ужасно нагл, но исключительно мил. Спросил, где я работала раньше, и я сказала, что до приезда в Нью-Йорк два года подряд была Мисс Толедо. Обмерив нас, он слегка ущипнул меня и сказал: «Похоже, сестрица, ты лучше всех». А как убивались другие девушки! И Джек! Когда я сказала ему, он прямо в ярость пришел. А мне плевать.

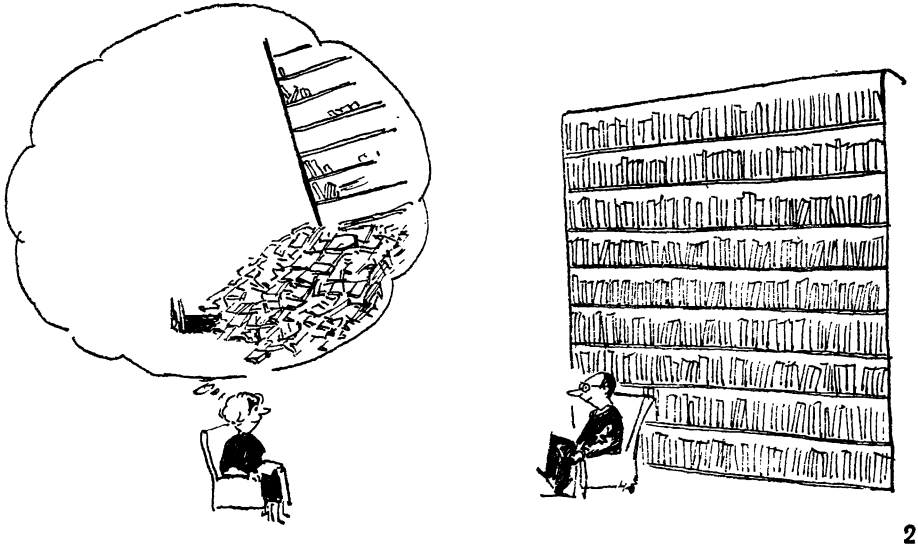
5 мая. Сегодня получила бляху. Теперь я всего-навсего рядовой детектив (хотя не такой уж рядовой), но инспектор Маккуферти уверен, что стоит мне только отказаться от крахмалов и сластей и скинуть несколько фунтов в бедрах, как меня сразу же произведут в сержанты. Завтра выхожу на работу.

6 мая. Сегодня получила назначение. Я должна посещать притоны, увиваться за гангстерами, пуская в ход свои женские хитрости, и выуживать у них секреты. Как Мата Хари. Мое первое задание — узнать, кто две недели назад украл с Уолл-стрит акций на 450 000 долларов и почему. Я спросила инспектора, что мне еще делать, а он посмотрел на меня и сказал: «Ну что ж, в свободное время можете узнать, кто убил Элуэлла и Ротстейна и кто решил списать Винсента Колла». Когда я уже собралась уходить, он добавил: «Но не пытайся дознаться, кто застрелил Маккинли». «Ну что вы,— сказала я, желая, разумеется, произвести впечатление,— это меня вовсе не затруднит». Но он сказал: «Нет, для начала хватит. Тайной Маккинли ты сможешь заняться потом».

7 мая. Вчера вечером зашла в один притон. На мне был мой голубой фуляр и берет — просто шик. Познакомилась с увлекательным гангстером, Френчи Голландцем. Настоящее имя — Моу Кантроуитц. Ужасная кокетка. Сумела заставить его разговориться о преступлениях, и представьте мое удивление, когда он вдруг наклонился ко мне, ущипнул меня под столом за колено и спросил: «Ты умеешь хранить тайны, сестрица?» Я сказала, конечно, умею. И он прошептал: «Тогда сохрани эту. Я у б и л Э л у э л л а!» Я напустила на себя непроницаемое выражение, как у игрока в покер, и не выказывала никаких чувств, только выронила кошелек, опрокинула стакан и закашлялась. Я и не думала, что узнаю так много и так скоро.

---

**В. РЕНЧИН.**
**ЧССР.**
**Без слов**



10 мая. Оказывается, все так легко. Пошла вчера вечером в другой притон и познакомилась с ужасно милым убийцей Хайни Лимонником, настоящее имя какой-то Сальваторе. После трех стаканов он признался мне, что это он убил Ротстейна. Боже!

12 мая. Комиссар Малруни оказался прав. Эти гангстеры — слабый противник. При виде хорошенькой мордашки и стройных ножек они буквально теряют разум, и причина, что в Нью-Йорке до сих пор не раскрыто множество преступлений, кроется как раз в том, что у большинства детективов лица некрасивые, а ножки нестройные. Эти гангстеры из кожи вон лезут, чтобы выдать мне свои тайны.

14 мая. Прошлой ночью посетила несколько притонов. Моя политика состоит в том, чтобы заставить гангстеров насадиться как следует, а сама я только делаю вид, будто пью с ними, но на самом деле выплескиваю виски через плечо. Я научилась этому у Джейн Каул в какой-то пьесе. Она ужинала в полночь с одним хамом, да еще в его квартире, и должна была быть начеку, чтобы суметь защитить свою честь.

17 мая. Вот что я разнюхала: в убийстве Элуэлла замешан не один человек. Несколько других гангстеров тоже доверительно сообщили мне, что убили его.

20 мая. Ходила вчера в один притон с ужасно милым гангстером Патси Латышом, настоящее имя Стуйвесант. Подвыпив, он сказал мне, что он «уколлил Билла». Это, вероятно, значит, что он «убил Колла».

22 мая. Прошлую ночь провела в притоне с одним блатным по кличке Оле Поляк. Продолжала выплескивать виски через плечо, пока какой-то человек, сидевший позади меня, не обернулся и не сказал, что он страдает простудами и не буду ли я любезна не мочить его. Я так и обмерла.

25 мая. На сегодняшний день: восемнадцать парней убивали Элуэлла, двадцать семь замешаны в деле Ротстейна, а бедного Винсента Колла, похоже, списывали все. Однако мой девиз: пусть походят на свободе, арестовывать пока не собираюсь никого.

26 мая. Инспектор Маккуферти спросил вчера, движется ли у меня дело с распутыванием кражи акций на 450 000 долларов. Он сказал, что тревожится, поскольку эти самые акции уже упали в цене до 45 000. «Не беспокойтесь, инспектор,— заверила я его,— мне кажется, у меня есть кое-что важное». Тут, быстро, но внимательно оглядев меня, вмешался один молодой хлыщ-детектив: «Ну еще бы!» Салага! Эх, и поезжу я на нем, когда стану сержантом!

27 мая. Джека почти не вижу. Он сходит с ума.

28 мая. Дела усложняются. Френчи заявляет, что Хайни не убивал Ротстейна, что его убил он (Френчи), а Хайни говорит, что Френчи не убивал Элуэлла, что убил его он (Хайни). В притонах все время перепалка. Они все, похоже, поубивали всех.

29 мая. Пошла вчера на хитрость. Решив застать ребят врасплох, я неожиданно крикнула: «Кто украл акции на 450 000 долларов?» (Это называется допрос с пристрастием.) Все крикнули в ответ: «Я!»

30 мая. Я уже почти готова к массовым арестам. Ребята выболтали все. Мне наверняка понадобится несколько тюремных карет. Комиссару Малруни будет чем гордиться!

2 июня. Можете представить, кого полиция арестовала вчера за кражу акций на 450 000 долларов, прежде чем я успела провести свою большую облаву? Не кого иного, как инспектора Маккуферти и — из всех людей! — моего Джека! Я и понятия не имела, что они знакомы друг с другом.

3 июня. Если это сделали Джек с инспектором, почему же тогда все гангстеры заявили мне, что это они? Не все спокойно в Датском королевстве.

4 июня. Джека и инспектора задержали, но всего лишь за мелкую кражу, поскольку стоимость этих акций упала уже до 45 долларов. В полиции мне сказали, что ни один из моих гангстеров не имеет ни малейшего отношения к делам Колла, Ротстейна или Элуэлла. Полиции, мол, известно, кто их убил и что это совсем не те парни, которые признавались мне. А как же с Маккинли?

6 июня. Веселая и грустная, пошла вчера в притон. Все ребята были там. Я спросила их, что все это значит. Они, казалось, немного смутились. Наконец Френчи сказал: «Видишь ли, золотко, мы знали, что ты хочешь выудить у нас тайны, и старались помочь тебе, как могли. Дело в том, что с самого первого раза, как ты здесь заявилась, мы все в тебя втюрились». Я спросила, откуда он узнал, что я хотела выудить у них тайны. Он сказал, что одна старая карга — из тех, что я побила при приеме на работу,— по злобе меня заложила. «И вы, значит, все это время все знали?» — спросила я. Они сказали: да. Я заплакала, и они все бросились меня обнимать, а Хайни сказал: «Пожалуйста, не плачь, сестренка. Мы ведь хотели помочь. У нас и в мыслях не было ничего дурного». Не успела я оглянуться, как и они все заплакали. Так что мы помирились и здорово провели время, а перед тем, как мне уйти, каждый из этих милых ребят по очереди отводил меня в сторонку и просил быть его марухой. Но я люблю только Джека, так что мне пришлось признаться им, что я люблю другого и не могу быть их марухой, но что я всегда буду им сестрой.

7 июня. Потрясающие новости. Джек и инспектор оправданы. Судья вынес оправдательный приговор на том основании, что любой, кто в наше время ворует акции наверняка не в своем уме. А что, вы думаете, сделали Френчи, Хайни и другие ребята? Они избрали меня своей почетной марухой. Я очень горжусь этим и счастлива.

10 июня. Сегодня уволилась из полиции. Этого хотел Джек.

◆

# Среди книг

## Издано в СССР

### ДЕРЗКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ

**Жан Жюль-Верн. Жюль Верн. Перевод с французского Н. Рыковой и Н. Световидовой. Предисловие и примечания Е. Брандиса. Москва, «Прогресс», 1978.**

Знакомство мое с внуком Жюля Верна началось с простого случая, как это зачастую происходило с героями книг его знаменитого деда. Летом 1970 года — в те времена я работал собственным корреспондентом «Правды» в Париже — мне довелось присутствовать на одной столь же торжественной, сколь и приятной церемонии. На верфи Ла-Сен близ Тулона готовили к спуску на воду транспортный рефрижератор «Нарвский залив», построенный французами для нашей страны. Франко-советское сотрудничество набирало силу, и каждый более или менее заметный вклад в это взаимополезное дело отмечался с французской изысканностью и русским размахом. В тот раз прибывших из Парижа участников церемонии разместили в старомодной, но очень удобной и оригинально оформленной гостинице. Вход в нее напоминал корабельный борт с круглыми окнами-иллюминаторами, с выведенным на нем романтическим названием «Наутилус» и с массивным якорем, прикованным тяжелой цепью к этому своеобразному «судну». Увидев в салоне гостиницы добротный, написанный маслом в классической манере портрет Жюля Верна и литографии XIX века по мотивам его произведений, я, естественно, поинтересовался у хозяйки, чем объясняется такая приверженность памяти великого фантаста.

— Что ж тут удивительного,— любезно улыбнулась мадам.— Ведь этот дом некогда принадлежал Жюлю Верну.

— Простите,— смущенно возразил я, лихорадочно перерывая в памяти детали биографии писателя,—быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что автор «Двадцати тысяч лье под водой» не жил в Тулоне.

— Увы, вы ошибаетесь, мсье,— пухлые губки мадам обиженно сжались в сердитую ниточку.— Могу вам сообщить, что до сих пор в нашем городе живет внук писателя, Жан Жюль-Верн.

...Через час я уже был на окраине Тулона, в уютном коттедже, утопавшем в густой зелени. Самого хозяина, Жана Жюль-Верна я не застал, но меня любезно приняли его домочадцы. Прежде всего они постарались несколько укрепить мои пошатнувшиеся знания биографии Жюля Верна. Они подтвердили, что знаменитый писатель действительно никогда не жил в Тулоне и очаровательная владелица отеля слегка преувеличивала, утверждая обратное. Что поделаешь: реклама требует преувеличений! Но я до сих пор не только не в обиде, но благодарен гостеприимному «капитану» гостиничного «Наутилуса» — ведь без этой дамы я, возможно, никогда бы не познакомился с потомком вдохновенного мечтателя.

Помнится, родственники Жана Жюль-Верна продемонстрировали мне дорогие реликвии: старинные, двухметровой высоты часы, принадлежавшие фантасту, который сумел намного опередить свое время, еще кое-что из его личных вещей и, наконец, одну из драгоценных рукописей. С волнением перелистывал я слегка пожелтевшие странички романа «Михаил Строгов», исписанные мелким почерком писателя, который более ста лет назад вместе с героем своей книги проделал увлекательное путешествие по Сибири. С тех пор многие соотечественники Жюля Верна, как и другие наши зарубежные гости, совершали ре-

альные, а не выдуманные поездки по Сибири и не переставали восхищаться этим прославленным, богатейшим краем, облагороженным самоотверженным трудом многих поколений русских, советских людей.

Оставив своим новым знакомым визитную карточку корреспондента «Правды», я вернулся в Париж и уже через несколько дней принимал у себя невысокого, немолодого и хрупкого на вид человека, который представился Жаном Жюль-Верном. Он приехал в столицу по своим делам и нашел время зайти к советскому журналисту — ему передали, что я хотел познакомиться с потомком автора «Михаила Строгова». Мы сидели в маленьком ресторанчике неподалеку от здания ЮНЕСКО и вели неторопливый разговор о Жюле Верне, его жизни, о влиянии его творчества на читателей разных стран.

Мой гость скупо рассказал и о себе. Родился в 1892 году в семье Мишеля Верна — сына писателя. Закончил юридический факультет, сделал неплохую карьеру, заняв пост председателя Трибунала высшей инстанции в Тулоне. Избран почетным президентом французского Общества Жюля Верна.

— Вот уже сорок лет я работаю над книгой о моем деде,— заметил мой собеседник.— Перерыл различные архивы, отыскал и перечитал множество писем и других документов, проштудировал произведения Жюля Верна и посвященные ему исследования. Мне хочется показать его таким, каким, по моему мнению, он был на самом деле. Вы говорите, что в вашей стране высоко ценят творчество Жюля Верна, издают его книги огромными тиражами, посвящают ему специальные работы. Не могли бы вы прислать мне хотя бы одно из таких исследований?

Я обещал. Списался с моими московскими друзьями, получил от них книгу Л. Борисова, посвященную Жюлю Верну, и направил ее в Тулон. Через некоторое время от Жана Жюль-Верна пришло коротенькое послание, в котором он сообщал, что очень рад подаренной книге и что попросит перевести ее для него. В том же письме он обещал прислать мне свое исследование, которое должно было выйти в издательстве «Ашетт».

Вскоре я получил эту объемистую монографию — в нынешнем году, когда отмечается 150-летие со дня рождения Жюля Верна, она вышла на русском языке. Нам хотелось бы от души поздравить автора: работа действительно получилась фундаментальной и, главное, интересной. Разумеется, не со всеми оценками мы можем согласиться, не все в этой книге бесспорно. Но пятьдесят одна глава монографии, несомненно, поможет читателю еще лучше узнать, понять и полюбить творчество Жюля Верна, блестящего писателя и замечательного человека, благородного мечтателя и самоотверженного труженика, верившего в торжество демократии и научного прогресса и посвятившего этому великому делу всю свою жизнь.

Предисловие Евг. Брандиса знакомит читателя с автором книги и его работой. Подчеркивая настойчивость и целеустремленность Жана Жюль-Верна, Брандис справедливо отмечает: «Надо было обладать непреклонной верой в свою жизненную миссию, в свои силы и долголетие, чтобы так медленно и методично собирать по крупицам огромный фактический материал, не спеша его обрабатывать и подготовить на склоне лет монументальный труд, который по праву может считаться наиболее обстоятельной, тщательно документированной, насыщенной ценнейшими сведениями монографией о жизни и творчестве Жюля Верна».

Долгие годы личная корреспонденция писателя хранилась в частных архивах, в основном у его родственников и издателя Этцеля, и была практически недосягаема для большинства исследователей. Однако стремительно растущий интерес к творчеству Жюля Верна требовал более глубокого изучения его наследия, чтобы ответить на разного рода вопросы и стереть с биографической «карты» писателя многочисленные белые пятна.

«Конечно, читатели никогда не теряли Жюля Верна из виду,— замечает в своей книге его внук.— Его произведениям довелось пережить его самого. Но нет сомнения, что мы присутствуем при подлинном возрождении его и усматриваем в нем нечто гораздо большее, чем просто автора приключенческих книг для юношества».

Поражает воображение уже сам гигантский, поистине фантастический труд литератора: шестьдесят три романа, не считая других, менее значительных произведений! И все это, как шутливо заметил Жан Жюль-Верн, создано без диктофонов и другой чудотехники, которой пользуются иные современные литераторы. Удивляет и необыкновенный дар научного предвидения Жюля Верна, предсказавшего (и довольно точно) многие из открытий и достижений нашего века. Вызывает интерес и личная жизнь писателя, вокруг которой было нагромождено немало небылиц. Требует объяснений и серьезного анализа поразительная, почти повсеместная популярность его творчества: по количеству переводов на языки народов мира он занимает третье место после сочинений Ленина и Шекспира. Только за годы советской власти в нашей стране был издан почти двадцать один миллион экземпляров книг Жюля Верна!

На эти и многие другие вопросы попытался — и не без успеха — ответить в своей монографии внук писателя, перед которым открылись, наконец, семейные досье потомков Жюля Верна, а также бесценный архив его издателя Этцеля, сравнительно недавно переданный его внучкой в Национальную библиотеку Франции. Мы узнаем из книги о ранних и не очень удачных литературных опытах молодого Жюля Верна — драматурга, о его первом успехе, который принес ему роман «Пять недель на воздушном шаре», открывший собой мо-

нументальную серию «Необыкновенных путешествий». В книге рассказано о детстве и юности писателя, о его любви к «веселой вдове» с двумя детьми — Онорине де Виан, которая станет женой писателя и, увы, не принесет ему семейного счастья.

Интересны содержащиеся в монографии оценки политических взглядов романиста. «По своим убеждениям,— подчеркивает внук писателя,— Жюль Верн считает себя приверженцем левых, и его имя фигурирует в списке социалистов, что вызывает возмущение добропорядочных амьенских граждан». Или еще одно, очень важное замечание, показывающее, на стороне каких социальных классов были симпатии Жюля Верна: «Опередив свой век на пятьдесят лет, писатель уже угадывал социальные потрясения и войны, которые станут расплатой за это обманчивое благополучие горстки людей, противопоставляющих себя нищенствующим массам».

Но главное — это творческий подвиг создателя «Необыкновенных путешествий», литературного отца благородного капитана Немо, доброго Паганеля, мужественного Гранта и других героев, имена которых стали нарицательными. Этот подвиг раскрыт Жаном Жюль-Верном с наибольшей полнотой, хотя некоторые его суждения и грешат излишним «родственным субъективизмом». Ценность монографии в том, что она помогает еще лучше понять и оценить многоплановое влияние выдающегося писателя не только на мировой литературный процесс, но даже — косвенно — на развитие различных отраслей науки и техники. Создатель нового направления в литературе — классической научной фантастики и нового типа романа Жюль Верн, благодаря своему творчеству, помог выбрать главное дело в жизни многим исследователям и покорителям природы. Об этом мне рассказывали, например, космонавты, которые в детстве зачитывались кажущимися теперь немного наивными романами «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны». Нельзя не согласиться с Евг. Брандисом, отмечающим в своем предисловии, что Жюль Верн — «из тех феноменов мировой культуры, которые принадлежат не только породившему их народу, но и всему человечеству. Феноменальность его — в огромном, неоспоримом влиянии на умы сменяющихся поколений».

Об этом шел увлекательный разговор в Университете французской культуры при Обществе «СССР — Франция» на вечере, посвященном 150-летию со дня рождения Жюля Верна, на котором присутствовала делегация во главе с членом Президентского совета Общества «Франция—СССР» Анри Спаадом. И наши французские гости, и мы, советские участники этой встречи, говорили о благотворном взаимовлиянии и взаимообогащении культур различных народов. Под влиянием творчества француза Жюля Верна кто-то из наших соотечественников выбрал для себя путь исследователя космоса, содействовал запуску советских искусственных спутников Земли, на которых со временем были установлены и французские приборы. Более того, как это и предвидел Жюль Верн, на космических кораблях уже работают первые международные экипажи, которые своим героическим трудом способствуют общечеловеческому прогрессу. А что может быть благородней, чем деятельность во имя подлинного прогресса и мира!

Вот почему мы признательны Жану Жюль-Верну за его фундаментальное исследование, а я вдвойне благодарен моему тулонскому знакомому и за трогательные письма, напоминающие о его великом деде. Одно из них, датированное февралем этого года, было привезено мне из Тулона ветераном Общества «Франция—СССР» Ивон Пло. Я привожу это послание почти полностью, так как оно является ценнейшим свидетельством восьмидесятишестилетнего человека, которому, быть может последнему из оставшихся в живых очевидцу, посчастливилось близко знать всемирно известного фантаста.

Выражая удовлетворение тем, что его труд будет издан в СССР, Жан Жюль-Верн пишет: «Я особенно рад потому, что как раз в нынешнем году празднуется 150-летие со дня рождения писателя и Университет включил теперь его сочинения в свою программу и открыл тем самым, наконец, его творчеству двери в святая святых французской литературы. Старый романист порадовался бы этому признанию, которое ему предсказал Этцель...

Я с грустью вспоминаю старого человека, обремененного годами и болезнью, который до своего последнего часа жил работой и мечтой, не щадя своих уже слабых сил для завершения взятой на себя миссии.

Я подстегиваю мою непослушную память и возвращаюсь к еще более отдаленному времени. Вот я — мне еще нет четырех — на перроне вокзала Монсури вместе с моими родными. Вижу мою матушку: на ней платье из фуляра, синее в горошек (эта деталь кажется точной); она держит меня за руку, а дед — он бодр и очень беспокоен— подталкивает нас к нашему купе, чтобы не прозевать отхода поезда. Отец Филеаса Фогга всегда боялся опоздать на поезд и не умел сохранять в этих случаях невозмутимое хладнокровие своего героя!

В 1898 году я довольно долго жил у него в Амьене, на улице Шарля Дюбуа и ходил в соседнюю школу. Вижу, как он с собакой Фолетт гуляет в своем скромном саду — там на пасху я искал яйца, упавшие с неба! Он всегда прощал мне мелкие прегрешения, которые я не упускал случая совершать, и радовался, когда ему удавалось сводить меня в цирк — в «его цирк», как говорила, посмеиваясь, бабушка: ведь с самого начала дед следил за его строительством.

После 1900 года я вновь нахожу его в маленьком доме, куда он вернулся на склоне лет, смирившийся и усталый; он

стал молчаливым, но по-прежнему начинал работать на рассвете в своем тесном кабинете — настоящей монашеской келье; там он и спал на железной кровати. Когда ему отказали служить глаза, замутненные развивавшейся катарактой, и рука, сведенная судорогой (недуг писателей), он попросил моего отца помочь в переписке набело его рукописей. Да и кто мог бы разобрать его почерк (а писал он обычно карандашом), кроме моего отца, которому он с увлечением поверял свои замыслы с живостью вновь обретенной молодости.

А потом... Однажды я вернулся в маленький амьенский домик, чтобы быть рядом с ним в момент его смерти. Он умер стоически, в полном сознании. А мне осталась только печаль, охватывающая тех, кто теряет дорогого человека.

Ну, полно! Вот я и растрогался, вновь переживая утраченное время. «Ты хочешь знать, где будешь после смерти? С теми, кто еще не родился»,— говорил Сенека.

Жму вашу руку».

Это теплое и немного грустное письмо вновь напомнило мне Амьен, где Жюль Верн прожил долгие годы. Всякий раз, приезжая в этот город, я посещал кладбище Мадлен и отыскивал там памятник, установленный на могиле Жюля Верна. Дерзкий мечтатель словно бы выходит из могилы, приподняв своими плечами надгробную плиту и взметнув вверх руку...

**В. СЕДЫХ**

## ИССЛЕДУЯ АМЕРИКАНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

**М. Мендельсон. Роман США сегодня. Москва, «Советский писатель», 1977.**

*Более полувека своей творческой жизни посвятил исследованию литературы США советский литературовед и критик М. О. Мендельсон, автор книг «Марк Твен», «Жизнь и творчество Уитмена», «Современный американский роман», «Американская сатирическая проза XX века», а также многочисленных статей. В связи с выходом новой книги ученого беседу с М. О. Мендельсоном провел И. Попов.*

**— Морис Осипович, расскажите, пожалуйста, как сложился ваш творческий путь.**

— Могу только позавидовать тем, кто без особого смущения вспоминает о своих первых шагах на ниве литературной критики. Увы, я не могу причислить себя к подобным счастливцам.

Помню, одна из первых моих статей была посвящена двум писателям: советскому — Владимиру Маяковскому и американскому — Карлу Сэндбергу. Я похвалил знаменитое стихотворение Сэндберга «Чикаго» и с некоторым скепсисом отозвался об изображении Чикаго в поэме Маяковского «150 000 000». То, что я сказал тогда о Сэндберге, я бы повторил и сегодня. Но теперь я понимаю, что моя сдержанность при оценке элементов гротеска в творчестве Маяковского была совершенно неоправданной.

И Маяковский дал мне это понять. Этот великолепный мастер полемики упомянул мою статью на одном своем вечере, где, как всегда, выступал перед большой аудиторией. Итак, он назвал мою статью и... остановился. Собравшиеся с веселым оживлением ждали, что Маяковский обрушит всю силу своего сарказма на автора статьи. Но, помолчав с минуту, знаменитый поэт внезапно сказал, что не будет сейчас ругать этого автора — ведь ему только двадцать лет.

Однако Маяковский не забыл о моей злосчастной статье. Когда некоторое время спустя я прочитал замечательную по степени наблюдательности и силе остроумия его книгу «Мое открытие Америки», то обнаружил в ней главу, озаглавленную «Чикаго». В этой главе Маяковский процитировал взятый из той же моей статьи большой кусок перевода сэндбергского стихотворения «Чикаго» на русский язык. Далее следовал впечатляющий образ Чикаго, этой столицы американской индустрии и одного из главных центров классовой борьбы в США. Тут же Маяковский привел отрывок, посвященный этому городу, из поэмы «150 000 000», а закончил свою главу о Чикаго утверждением, что художник вправе «организовывать и переделывать видимый материал» и что его произведение показывало «другую чикагскую сторону». Хотя Маяковский ни разу не упомянул моей фамилии, я догадывался, конечно, что он полемизировал со мною. Уже давно я должен был признать, что победителем в этом споре был именно Маяковский.

Таким оказалось одно из самых первых моих выступлений в области литературной критики.

Дальнейшая моя литературная деятельность сложилась так, что значительная часть моих критических работ посвящена американским писателям.

Много лет жизни я уделил изучению творчества Марка Твена и Уолта Уитмена. Изучению пристальному и восхищенному. Я написал несколько книг и немало статей об обоих гигантах литературы США. Но и по сей день образы этих двух художников продолжают глубоко меня волновать. Если судьба будет ко мне великодушна, то, надеюсь, она позволит мне познакомить советских людей и с другими моими мыслями, навеянными величественной поэзией Уолта Уитмена и великолепной прозой Марка Твена.

Несколько моих работ посвящено американской прозе двадцатого века. В начале прошлого десятилетия вышла книга «Современный американский роман», а новейшая моя книга посвящена роману США самого последнего времени. Меня интересуют не только книги Теодора Драйзера, Эрнеста Хемингуэя, Синклера Льюиса, Скотта Фицджеральда, Джона Стейнбека, но и творения Джерома Сэлинджера, Джойс Кэрол Оутс, Джозефа Хеллера, Курта Воннегута и немалого числа других американских прозаиков.

**— Кто из исследователей литературы США оказал на вас наибольшее влияние?**

— Прежде всего следует назвать некоторых советских писателей, хотя они отнюдь не являлись специалистами по американской литературе. Это в первую очередь Горький и Луначарский — литераторы, мыслители, которые помогли мне правильнее воспринять крупнейших мастеров словесности США.

Максим Горький в начале века встретился с Марком Твеном в Нью-Йорке и в своем очерке об этом замечательном американском художнике дал почувствовать силу его ума, его проницательность, величие твеновского духа. Горький охарактеризовал «великолепные волосы» Марка Твена как «буйные языки белого, холодного огня». И чувствуется, что это не случайное замечание. «Буйство» вообще было свойственно американскому сатирику. Ему, в частности, было присуще «буйство» суждений о темных сторонах американской действительности. Отмечая наблюдательность Твена, Горький писал, что из-под твеновских «тяжелых... век» редко был виден умный и острый блеск его серых глаз, но «когда,—продолжал русский писатель,— они взглянут прямо в твое лицо, чувствуешь, что все морщины на нем измерены и останутся навсегда в памяти этого человека».

Луначарский одним из первых понял, что основой поэзии Уолта Уитмена является не индивидуализм, а тяга к коллективизму. Именно отсюда, по словам Луначарского, проистекает «мощь и грандиозная красота уитменизма...».

Следует добавить, что и Горький назвал Уитмена поэтом, который тяготеет к социализму, зовет «человека к слиянию с человечеством».

Работая над разными исследованиями по литературе США, я, разумеется, знакомился почти со всеми сочинениями американских критиков на ту или иную тему, о том или другом художнике. Многое из того, что я читал, вызывало у меня возражения. Но иные книги и статьи существенным образом помогали проникать глубже в изучаемый материал.

Мое внимание привлекли, например, посвященные Уолту Уитмену публикации поэта Гораса Троубела и литературоведов Эмори Холлоуэя, Гэя Аллена, Фрэнсиса Маттиссена и Девулфа Миллера. Немало важного для себя я почерпнул из книг о Марке Твене Уолтера Блэра, Уильяма Хоуэлса, Филиппа Фонера или, скажем, такого сравнительно мало известного исследователя, как Брайант Френч.

Но, вероятно, мне следовало бы упомянуть Маттисена раньше — ведь у него, а также у Вернона Паррингтона и Ван Вик Брукса (каковы бы ни были мои разногласия с ними) я нашел немало интересных замечаний почти обо всей истории американской литературы.

**— Вы нередко выступаете с полемическими статьями. Как правило, полемичны и ваши книги. Нам известно, что и на ваши работы есть отклики в США. Как вы относитесь к этим откликам?**

— Расскажу о своем споре с Фрэнком Корлиссом, опубликовавшем в журнале «Уолт Уитмен ревью» (июнь 1967 года) рецензию на первое издание моей книги «Жизнь и творчество Уитмена». В своей статье этот исследователь выразил не только свое личное, но якобы свойственное всем его американским коллегам категорическое несогласие с выдвинутым в моей книге тезисом об ощущаемом в поэзии Уитмена коллективистском начале.

Во второе издание этой книги на русском языке, а также в появившийся недавно перевод ее на английский язык я включил специальную главку, в которой попытался более детально обосновать свою позицию. Я отметил, в частности, что отнюдь не закрывал глаза на то, что в уитменовском творчестве дают себя чувствовать и индивидуалистические тенденции.

Да, философия жизни, которую исповедовал Уолт Уитмен, не всегда была последовательной. В творчестве поэта индивидуалистические и коллективистские идеи часто сталкивались, вступали в конфликт. Вместе с тем я привел ряд дополнительных свидетельств того, что важнейшую роль в поэзии Уитмена играло все-таки тяготение этого великого художника к коллективизму.

Если Корлисс и выступал позднее где-либо в защиту своих взглядов, то для меня, во всяком случае, его выступления остались неизвестными.

В последнее время мне не раз случалось полемизировать с американскими литературоведами, которые решались утверждать, что роман в их стране обречен на гибель, на уничтожение, а то и умирает на наших глазах.

Позволю себе повторить здесь несколько слов из заключительного абзаца моей книги «Роман США сегодня». Я написал (и не пытаюсь скрыть полемическую направленность моей декларации), что «...роман США продолжает жить и конца ему нет. Художественные потенции американского народа бесспорно велики. И я уверен: все советские критики самым категорическим тоном скажут: «non possumus» (не можем) тем литературоведам заокеанской страны, которые захотели бы привлечь нас к участию в процессии, провожающей роман— в частности, американский — по дороге, ведущей на кладбище.

Да, роман жив... И он будет жить, пока существует народ, голос которого находит отклик в сердцах читателей национальной литературы».

**— Каково ваше общее мнение о советской американистике?**

— Надо сказать, американская художественная литература стала привлекать в нашей стране в последние десятилетия такое внимание, какого в прошлом Россия не знала.

Об этом говорят хотя бы прошедшие в 70-х годах конференции русских, украинских, грузинских и других советских ученых, специализирующихся в области литературы США. На каждой из этих конференций было зачитано более полусотни докладов, посвященных проблемам литературной «американистики».

Все больше появляется книг советских специалистов по литературе США (до Октябрьской революции таких книг в России вовсе не было). Растет также число литературоведческих диссертаций, защищенных молодыми американистами в советских вузах. Немалое число газет и ежемесячных журналов охотно печатает у нас статьи, посвященные литературе США.

В своей книге «Роман США сегодня» я попытался перечислить исследователей, для которых изучение творчества американских писателей является основной задачей, главной профессией. И составленный мною далеко не полный список включает много десятков имен.

Заслуживает внимания только что опубликованный объемистый том, в котором представлена библиография изданных у нас за двести лет книг американских писателей. Там названы также исследовательские работы по литературе этой страны. Повторяю, библиография эта охватывает два столетия существования США. Но, конечно, на данные, относящиеся к самым последним 60 годам (то есть периоду существования нашей страны как страны советской), приходится львиная доля общих итоговых цифр.

**— Какое, на ваш взгляд, существует различие между американской «советологией» и советской американистикой?**

— Термин «советология» говорит сам за себя. «Советологией» обычно называют в США «труды» людей, которые стремятся не изучать с должной объективностью произведения советских писателей, а обращаются к литературе нашей страны с сознательной (весьма малопочтенной, конечно) целью — сделать все возможное для очернения Советского Союза, идеалов коммунизма.

Нужно признать — и я делаю это с удовольствием,— что в самое последнее время среди людей, занимающихся в США изучением творчества советских писателей, появилось несколько больше, чем в прошлом, исследователей, которых можно называть подлинными учеными, а не просто вульгарными клеветниками, использующими книги советских авторов для бесстыдной антисоветской пропаганды. Хочу надеяться, что в дальнейшем еще более широкий круг американских литературоведов будет заниматься не грязной «советологией», а действительно научной деятельностью.

Что касается советских исследователей литературы США, то можно утверждать: не только в наши дни, но и в прошлом — за отдельными печальными исключениями — эти люди исходили из стремления судить по справедливости о творчестве американских писателей.

И в самом деле, мне представляется, что среди советских литературоведов Купер или Торо. Уитмен или Твен, Фицджеральд или Хемингуэй, Фолкнер или Хеллер, Болдуин или Чивер, Воннегут или Оутс могут обнаружить не меньше искренних поклонников их творчества, нежели среди американских исследователей, посвящающих свои усилия анализу литературы родной страны.

## *Издано за рубежом*

### НИГЕРИЯ: ОТЗВУКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

**Eddie Iroh. Forty Eight Guns for the General. London, Heinemann, 1976.**
**Isidore Okpewho. The Last Duty. London, Longman, 1977.**
**Эдди Айро. Сорок восемь ружей для Генерала. 1976.**
**Исидор Окпевхо. Высший долг. 1977.**

Хотя гражданская война в Нигерии закончилась уже несколько лет назад, отзвуки ее еще и сейчас сильны в нигерийской литературе. Да и как могло быть иначе? События, которые предшествовали войне, погромы, начинавшийся раскол страны, сама жестокость братоубийственной войны надолго потрясли сознание нигерийцев, в том числе интеллигенции. Тем более что большинство писателей, режиссеров, деятелей культуры находились в то время в Восточной Нигерии, а многие даже участвовали в войне на стороне Биафры. Ряд романов последних лет говорит о войне иносказательно, не раскрывая названия страны, места и времени действия. Иначе поступает Эдди Айро, журналист, ныне работающий на телевидении в Энугу, а в годы гражданской войны служивший корреспондентом в военно-информационном бюро Биафры.

Он подчеркивает, что его роман построен на материале недавней истории и, стремясь к максимальной точности, автор использовал воспоминания молодых офицеров и снабдил книгу словариком военных терминов, принятых в армии Биафры. Айро и сам был свидетелем событий, описанных в его книге «Сорок восемь ружей для Генерала». Тема этого романа воспринимается сейчас очень остро: это роль белых наемников в междоусобных войнах на африканском континенте. В самом деле, где их только не видели: в Конго, в Алжире, в Анголе... Да разве речь идет только об Африке? Разве не такие же бандиты воевали вместе с американцами во Вьетнаме?

Книга, читающаяся, как роман приключенческий, начинается с появления группы наемников из Лиссабона на территории Нигерии и кончается их бесславным отлетом после провала. Их прибытию предшествовали тяжелые потери армии Биафры, которая не смогла удержать столицу Энугу. Для Генерала (под этим именем выведен лидер Биафры Оджукву) белые офицеры-наемники — абсолютный авторитет и единственная надежда. Надежда нелепая и бессмысленная. Ведь наемники, эти ландскнехты XX века, эти рыцари наживы, готовы использовать отчаянное положение армии Биафры вовсе не для того, чтобы помочь ей, а исключительно чтобы сорвать огромный куш и переправить эти деньги в долларах на свои счета в швейцарских банках.

Кто же они, эти наемники? Остатки Иностранного легиона, сражавшиеся вместе с американцами во Вьетнаме, защищавшие Чомбе в Конго, остатки оасовцев в Алжире, последние эсэсовцы, фашисты из Португалии — международный сброд, единственная цель которого — нажива. Это расисты, презирающие армию «цветных», которых они обучают, ведут на смерть и предают. Они не подчиняются командованию той армии, которой вызвались служить, они не подчиняются никому, кроме собственного командира. И в лице полковника Рудольфа писателю удалось создать яркий портрет наемника XX века, которому все равно, на чьей стороне сражаться. Этот человек выработал свой собственный метод ведения войны, заключающийся в том, чтобы под любыми предлогами оттягивать переход к действиям, не соприкасаться с армией противника, беречь себя, в общем — воевать не воюя. Полковник Рудольф цинично шантажирует Генерала, представляя ему выдуманный план взятия Оверри, в то время как он уже твердо решил получить сполна все деньги и бежать в Европу. Ведь он считает положение Биафры безнадежным. Более того, он решает, что пора кончать с профессией наемника: награбленного и хранящегося в Цюрихе золота хватит до конца жизни. Шантаж этот с успехом длился почти год, настолько велик был в глазах Генерала авторитет белых офицеров. Однако через год Генерал все же вынужден потребовать действий. И тогда наступает трагическая для банды развязка.

Среди сорока восьми военных есть офицеры и английской и французской армий, выполняющие по заданию своих правительств функции военной разведки. Их присутствие среди лиссабонской банды нужно только для камуфляжа. Дело в том, что английское и французское правительства имели свои интересы в этой стране, в частности в нефтяных районах восточной Нигерии. И они стремились ориентироваться в военной обстановке. Англичане аккуратно через Лиссабон информируют свою разведку. А правительство де Голля присылает тщательно законспирированную группу из шести офицеров. Рудольф подозревает об их истинной роли, понимает, что они могут сорвать его план бегства. И решает ликвидировать их. Он посылает их на опасный участок фронта, поручив своему подручному убить их во время боя. Рудольф, презирающий черных солдат и командиров, не менее жестоко расправляется с белыми офицерами, если они оказываются на его пути.

Что касается самого Генерала, то есть Оджукву, Айро рисует его с нескрываемой враждебностью и иронией. Бесславная история наемников обрывается после их поражения в боях у Оверри. И командование отправляет их восвояси на самолете, начиненном самодельными минами. Таким образом, им предоставлена возможность взорваться за пределами Африки.

Совершенно иной тип литературы раскрывается для нас в романе молодого нигерийского писателя Исидора Окпевхо «Высший долг». В противоположность Айро Окпевхо — автор не журналистского, а скорее научного типа. Блестяще закончив отделение классической филологии в Ибадане, он получил затем степень доктора филологии в Денверском университете (США). Окпевхо продолжил плеяду таких нигерийских молодых писателей, как Ачебе, Шойинка и Окигбо, получивших образование в Ибадане и преподающих в нигерийских университетах. Уже после того, как первый роман Окпевхо «Жертвы» приобрел успех в Африке и за границей, Окпевхо также остался преподавать в университете Ибадана и одновременно пишет романы и литературоведческие работы о развитии литературы в Африке, Европе и США.

Роман «Высший долг» стилистически прост, а по сути сложен. Употребляя вошедшее сейчас в литературный обиход выражение, его можно было бы назвать «полифоническим». Ставя перед читателем сложные моральные вопросы, выходящие за пределы не только Нигерии, но и Африки в целом, автор предоставляет читателю самому разбираться в этих сложных проблемах и не дает однозначного ответа.

Сюжет романа связан с событиями гражданской войны в Нигерии, но здесь не ставится вопрос о правоте или неправоте обеих сторон. Вопросы морали затрагиваются более отвлеченно, ясно только, что в обстановке военных действий нравственные проблемы возникают с особой остротой. И это придает книге напряженность.

Что же это такое — моральная высота? Для автора моральный уровень человека определяется не его политическими убеждениями и тем более не его этнической или религиозной принадлежностью, не связью с федеральной армией или мятежниками. Моральная высота не зависит от бедности или богатства, высокого или низкого происхождения. Проблема эта, с точки зрения автора, не может решаться однозначно. Каждый человек решает ее в своей жизни по-своему. Ясно, однако, что путь к этому лежит не через войну и шире — не через насилие.

---

СРЕДИ КНИГ

Окпевхо выбирает городок в Нигерии, лежащий на границе военных действий, где взаимоотношения между людьми, крайне обострены, и на примере шести-семи персонажей, каждый раз по-иному, пытается поставить вопрос о нравственном долге. И если сначала читателю кажется, что одни и в страданиях побеждают высшей правотой, а другие — откровенные мерзавцы, то к концу книги все оказывается сложнее. И правые и виноватые — все побежденные.

Пожалуй, в центре книги — трагическая фигура Ошевере. Владелец плантации, он женат на женщине из народа «симба» (так условно названы в романе мятежники). И он, благородный, бескорыстный человек, заподозрен в нелояльности. в связях с мятежниками. Арест, трибунал и приговор: тюрьма. Всем ясно, что обвинения лживы, но суд непреклонен. И Ошевере остается лишь упорно твердить: «Я невиновен». Твердить и на суде и в тюрьме, в которой он томится уже три года. Он верен себе и истине. Защищая себя, он выполняет тот высший долг, во имя утверждения которого и написана книга.

Вероятно, многие нигерийцы увидят здесь намек на судьбу известного драматурга Воле Шойинки, обвиненного федеральными властями в связях с мятежниками и безвинно просидевшего несколько лет в тюрьме; как известно, он был оправдан лишь к концу войны.

В романе Ошевере прежде всего противостоит оговоривший его Тойе, богач, знатный горожанин, владелец плантаций. Он видит в Ошевере соперника и, использовав военную ситуацию, хочет прибрать к рукам его плантации, а заодно и его молодую красивую жену.

Все трагически переплелось в жизни этой женщины, которая остается одна с маленьким ребенком среди враждебно настроенных по отношению к ней жителей городка. Тойе лицемерно заверяет коменданта городка в своей готовности помогать «несчастной женщине», и ему верят. Аку, жена Ошевере, безмерно любит мужа и так же любима им. Именно в безупречности ее любви, в прочности своей семьи ищет он силы, чтобы выдержать. Оставшись одна, должна ли она обречь на голод себя и ребенка, отказываясь от столь великодушно предлагаемой помощи? И Аку, хотя и подозревает недоброе, соглашается. Обдуманно и постепенно ее втягивают в грязную игру, из которой уже нет выхода. Тойе развращает ее. А между тем для нее высший долг заключался именно в сохранении того чувства, которое помогало выстоять мужу. Измена ему означает для нее измену самой себе.

В книге вызывает также интерес еще один персонаж — это Али, военный комендант городка, который оккупировала его бригада. Свой высший долг он видит не только в том, чтобы хорошо воевать, но и в том, чтобы в условиях войны поддерживать миролюбивые чувства в этом смешанном и трудном населении. Естественно, что этот гуманист и либерал доверчиво относится к демагогической «благотворительности» Тойе и невольно становится пособником его преступлений. Командование смещает Али с поста. Но дело далеко не в крушении служебной карьеры, дело в крушении его моральных принципов. Али не хватило проницательности, понимания людей, умения распознать негодяя в благопристойном, знатном и богатом горожанине. С движением романа противоречия и конфликты в жизни его персонажей все более обостряются. Словно какой-то рок неудержимо влечет их, хороших и плохих, более сильных и более слабых, к катастрофе.

Странная судьба постигает племянника Тойе — Одибо. Однорукий инвалид, он приучен Тойе к мысли, что может жить лишь его подачками и его назначение — быть ему преданным слугой, вернее, абсолютным рабом. Вот эта готовность отречься от своего «я» и есть преступление Одибо. Только любовь к Аку начинает как будто возрождать его. Но поздно. Бунт против власти Тойе приводит к кровопролитной драке и к скандалу на весь город. Терпит свое двойное крушение и Тойе. За личиной властного богача обнаруживается жалкий импотент, теряющий и женщину, и верного слугу, и авторитет в городе.

В разгар этих скандалов возвращается наконец оправданный трибуналом Ошевере. Именно в его образе крушение веры поднимается до трагедии, родственной трагедии Отелло. Не просто жена изменила Ошевере. Тот правильный миропорядок, в который он верил даже среди ложных обвинений, даже в тюрьме,— рухнул внезапно и необратимо. Мир мрака окутывает Ошевере, отныне он — во власти безумия. Он поджигает свой дом и заставляет ночью уйти с ним жену и ребенка. Куда, он и сам не знает — в чащу леса. И стражники подстреливают его как поджигателя.

Создается впечатление, что книга эта написана после поражения, после горьких разочарований и в военных методах борьбы, и даже шире — в любых формах политических действий. Акцент писатель резко переносит на моральные проблемы. После всех жестокостей междоусобной войны молодой автор прежде всего утверждает то, что он называет высшим долгом человека. Независимо от своих политических убеждений и Али и Ошевере — оба сознательно выполняют свой долг, защищая жителей от озверевшей толпы или разгула солдатни.

Роман как бы призывает каждого человека противостоять войне и любому насилию, и тем самым он утверждает гуманистические ценности. Но одновременно в нем, все сильнее к концу, звучит тема несоизмеримости Человека и Рока, который даже сильнейших приводит к поражению. «У бога нет жалости»,— говорит один из персонажей. Назвать эту силу «богом» или «роком» — не имеет значения. Жизнь как бы расставляет людям повсюду ловушки, и каждый, проявив хоть раз слабость, в конце концов попадает в одну из них.

Думается, что в полифоничности, точнее двойственности, романа Окпевхо отразилась

сложность нынешней ситуации, сложившейся в стране после гражданской войны. Сохранились целостность страны и даже ее богатства. Но не произошли те демократические изменения, надежды на которые так явственно ощущались в романах молодой интеллигенции. «Высший долг» Окпевхо свидетельствует и о тяжелых психологических травмах, которые нанесла молодым писателям война, и о готовности их встретить будущее мужественно.

**Е. ГАЛЬПЕРИНА**

## КРУГИ ИНДИВИДУАЛИЗМА

**Nikolas Born. Die erdabgewandte Seite der Geschichte. Roman. Hamburg, Rowohlt, 1976.**
**Николас Борн. Оборотная сторона моей истории. 1976.**

Если попытаться в нескольких словах охарактеризовать содержание романа Николаса Борна, известного западногерманского поэта, который выступил здесь как прозаик, можно сказать, что это роман о любви. Правда, о любви нерадостной, изломанной, ищущей удовлетворения в мучениях другого, словом, о любви умирающей. Роман и начинается с того, как сорокалетний писатель осознает необходимость расстаться с Марией, агентом по продаже граммофонных пластинок, чтобы хоть на время вырваться из состояния «эмоционального бессилия», в которое повергает его эта связь, сберечь свое «я», вернуть возможность работать. Расставание оказывается болезненным. Тем не менее оно происходит, и прежние любовники становятся в конце книги внешне чужими друг другу людьми, идущими в жизни по своим, почти не пересекающимся дорогам.

Вместе с тем книга Николаса Борна — не только о любви. Она не случайно называется «Оборотная сторона моей истории». Герой Борна — писатель, для которого история его запутанных взаимоотношений с когда-то любимой женщиной не просто некая эмоциональная данность, это литературный материал, который необходимо освоить, одолеть, чтобы перевести свою личную историю в сюжет будущей книги. И этот процесс для героя оказывается, пожалуй, еще более мучительным, чем само расставание. «Я думаю, ты вообще ничего не переживаешь по-настоящему,— говорит ему сестра Марии.— Мне кажется, то, что происходит с тобой,— для тебя это всего лишь «истории», одни сплошные «истории». Если их оказывается мало, ты их делаешь больше, если много — меньше. Ты не настоящий человек, я не смогла бы в тебя влюбиться».

Но именно эта способность к анализу и самоанализу, столь необходимая для писателя, способность расчленения и нового синтеза одной большой «истории»—жизни—как-то незаметно утрачивается за долгое время совместной жизни с Марией, уступая место непосредственному диктату раскованных эмоций, определяющему внутреннюю жизнь и самой Марии тоже.

Только после расставания оказывается возможной серьезная работа над «своей историей», вновь и вновь требующая возврата к тому, что уже ушло в прошлое и, казалось бы, неспособно больше причинять боль. Писатель вспоминает многочисленные радостные или безрадостные эпизоды, заново переживает их, анализирует, пытается докопаться до первоистоков взаимного мучительства, до скрытых мотивов поведения, и кажется, ему это удается и вот-вот лягут на стол прекрасные и правдивые страницы, однако художественного синтеза в итоге так и не получается. Оборотная сторона истории, ее истинная суть, ее смысл ускользают от героя, его история расползается, каждый новый оттенок чувства придает ей новые контуры, она то и дело видоизменяется, оказываясь каждый раз уже другой историей, о каких-то других, почти незнакомых людях. Мир видится абсурдно многоликим, а преодолеть эту абсурдность нет сил.

И все же если бы роман Борна был только об этом, он вряд ли стал бы заметным явлением в нынешней западногерманской литературе, а лишь еще одной вариацией на тему писательства, еще одним — пусть даже превосходно сделанным — абрисом сложной психологической ситуации, в которой ощущает себя сегодня художник в западном мире, еще одним литературным доказательством — методом от противного,— что невозможно писать, если брать за основу исключительно собственные, субъективные ощущения, не пытаясь найти им эквивалент в окружающем реальном мире. Все это интересно, конечно, но достаточно вторично, на эту тему написана уже не одна книга.

Но в том-то и ценность романа Борна, что он вводит в свою книгу окружающий реальный мир, причем делает это мастерски, наполняя роман конкретными приметами времени, которые довольно точно воссоздают общую его атмосферу. Митинги, демонстрации, на которых мелькают и красные и черные, анархистские, флаги, листовки, раздаваемые прямо на улицах, стычки с полицией, разговоры о «сексуальной революции», о движении «пишущих рабочих», о «третьем пути», вошедшее в обиход модное слово «политизация», употребляемое к месту и не к месту,—все это точные исторические реалии, не позволяющие ошибиться во временной принадлежности романа. А время это непростое и не так легко открывающее свою суть.

Конец 60-х годов в ФРГ — это не только реальные изменения в политическом климате страны, вовлечение в политическую борьбу широких трудящихся масс, бурный подъем студенческого движения. Это еще и значительные сдвиги в общественном созна-

нии, почти незаметные на первый взгляд, но с течением времени проявлявшиеся все более отчетливо. Привычный идеал спокойного буржуазного существования, подразумевающий сдержанно-дистанцированное отношение к «политике» и ко всему, что с ней связано, сместился неожиданно и резко, так что политическое мышление оказалось возведенным чуть ли не в ранг общенациональных ценностей. Это, несомненно, имело положительный эффект в тех случаях, когда помогало найти верные ориентиры в запутанной ситуации того времени. Вспомним ряд романов, вышедших в ФРГ несколько лет назад и рассказывающих о поисках молодого человека своего места в жизни,— «Беринг и давний гнев» (1972) Герда Фукса, «Жаркое лето» (1974) Уве Тимма[1], «Акула в супе» (1975) Роланда Ланга. При всем несходстве творческих манер авторов, при всем различии исканий их героев роднит названные книги одно: в сумятице политических словопрений, в череде сменяющих друг друга лозунгов, среди множества взаимоисключающих точек зрения героям Фукса, Тимма и Ланга удается прийти к реальному пониманию политической ситуации, осознать единственно верную альтернативу — действие в союзе с рабочим классом, с Германской коммунистической партией.

Однако, увы, это был не самый распространенный путь. Далеко не всем удавалось найти точные критерии политических оценок в сумятице тогдашних дней. «Политика» вошла в моду и неожиданно стала частью «массовой культуры» — возрос спрос на книги и брошюры «с тенденцией», светские приемы стали немыслимы вне разговоров о политике и без очередной политической знаменитости. вошли в моду политический театр, политический кинематограф и даже особый политический жаргон. И как водится, методы и средства «массовой культуры» тут же обескровили, свели на нет то реальное, общественно-необходимое содержание, которое во всем этом было, оставив одну пустую фразу, нередко рядившуюся — в угоду моде — в левацкую демагогию.

Именно эту фразу и не приемлет герой романа Николаса Борна. Имеет свое значение тот факт, что живет он в городе, особенно бурлившем в то время,— в Западном Берлине, откуда исходили важные импульсы для развития политического движения и в Западной Германии. Наблюдая демонстрацию по поводу убийства полицией студента Бенно Онезорга, герой Борна резко ощущает свою отчужденность от толпы. Нет, он не исповедует «другую веру», считает он, просто он вообще неверующий. Левая фраза, носителем которой выступает его друг Ласски, для самого героя мертва и безжизненна, он видит, насколько реальные поступки Ласски расходятся с проповедуемыми им принципами, насколько все эти принципы при ближайшем рассмотрении оказываются пустыми словесами. Ласски, «ангажированный интеллигент», переполненный до краев левацкой демагогией и способный бесконечно рассуждать о «революционном сознании», обладает вместе с тем завидной способностью весьма неплохо обделывать свои дела, преуспевая с годами все больше. Он падок на деньги, скуповат, не прочь устроиться за счет других. А все его рассуждения о «сексуальной свободе» оборачиваются обычным рукоприкладством, когда он застает свою подругу в постели с другим.

К «варианту Ласски» герой Борна не чувствует никакой склонности. Он был не совсем прав, утверждая, что сам не исповедует никакой веры. Нет, он вполне последовательный, бескомпромиссный индивидуалист. Для него государство со всеми его институтами — инструмент для подавления личности («Государство непрерывно издает законы для собственной защиты, так что под его защитой мы скоро окажемся неподвижными. Все больше людей неподвижны уже сейчас»). Любое человеческое сообщество — средство подавления личности. Даже семья (ибо когда двое долгое время живут вместе, она так или иначе складывается)— всего лишь средство подавления личности.

«О Мария, как выжимает общество человека, это множество людей, между которыми ты вынужден делить свое внимание, все эти «компании» и «группы» — как они опустошают и размывают твое «я». Ты уже не в состоянии всматриваться в людей, чтобы лучше узнать их, тебе мешают многочисленные кооперации, партии и непременные, каждый раз обозначаемые по-новому, общности и единства, перенасыщенная же коммунальная программа добивает тебя. Призрак коллектива против призрака индивидуума. В итоге землю приносят в жертву разуму. И если там, где ты сейчас стоишь, Мария, жизнь через сто лет иссякнет, это тоже будет дело рук разума».

А выход для героя Борна существует лишь один, да и тот наполовину компромиссен. Бегство от общества в близость двоих, а когда эта близость не складывается—в себя. Когда же существование наедине с собой тоже оказывается тягостным, остается творчество, но и творчество только как самовыражение оказывается невозможным. Пройден очередной круг, а выход так и не найден. Но в подобной ситуации он и не может быть найден.

Мы расстаемся с героем Николаса Борна в тот момент, когда он находится на распутье. Умер друг Ласски, смерть которого освободила его жизнь от лжи и позы, явившись в подлинном своем трагизме, разорваны отношения с Марией, оставившие осадок горечи, уехала к матери дочь Урсель, с которой завязался было живой человеческий контакт, с трудом продвигается работа над собственной «историей» — на последних страницах книги о ней ничего не говорится.

Что же дальше? Новые круги одинокого самоутверждения или попытки обрести человеческий контакт? Обрести то самое, недоступное ему, по собственному мнению,

[1] Интервью с Уве Тиммом и рецензия на его роман «Жаркое лето» были опубликованы в «Иностранной литературе» № 3, 1976 г.

«историческое сознание», что помогло бы отделить несправедливые социальные институты от справедливых, необходимые, проверенные веками и движимые высокими идеалами человеческие сообщества от лживых, сиюминутных, создаваемых в угоду закону угнетения, подлинные человеческие ценности от мнимых, удобно подверстываемых под идеологию общества, основанного на несправедливости? Как бы то ни было, несостоятельность крайне индивидуалистского, абсурдистского взгляда на мир очевидна. И хочется верить, что подобно тому, как в конце романа мир обрел для героя — пусть даже на мгновение — свои краски, так со временем он обретет для него и смысл.

Западногерманские литературоведы называют метод Николаса Борна «критическим психологизмом». В этом есть своя правда. Писатель и в самом деле удивительно психологичен, предлагая читателю подробнейший, детальный слепок души своего героя. Делается это с большим художественным мастерством, в манере, наиболее, пожалуй, близкой австрийскому писателю Петеру Хандке. Последний, кстати, высоко оценил роман Борна, назвав его книгой, способствующей «реабилитации литературы».

Одновременно Николас Борн зорок и посерьезному критичен, повествуя об окружающем мире. Он умеет увидеть его горькие, «теневые» стороны и высветить их в своем произведении. Однако названные два начала существуют у Борна изолированно друг от друга. Избыточный психологизм, так называемая «новая субъективность», если принять терминологию западногерманской критики, полная идентификация с героем, который, бесспорно, не лишен автобиографических черт, не позволяют писателю взглянуть на него достаточно критично, отстраненно. С другой стороны, равнодушно-неприемлющее отношение к тем, кто окружает его героя, этакая априорная уверенность, что люди плохи сами по себе и вряд ли заслуживают внимания, мешает писателю порой дать полноценную психологическую мотивировку второстепенным образам романа. Не случайно Мария, Ласски, его подруга Лиза, даже Урсель оказываются размытыми, неясными фигурами на фоне ярко выписанных субъективных ощущений главного героя.

И все же первую крупную прозаическую книгу Николаса Борна можно считать серьезной удачей писателя, свидетельством его безусловной одаренности как прозаика. Хотелось бы надеяться, что захлестывающие друг друга стихии критицизма и психологизма в творчестве Борна со временем объединятся в зрелом и уверенном художественном синтезе.

**Н. ЛИТВИНЕЦ**

## ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПО КОРТАСАРУ

**Julio Cortázar. Octaedro. Buenos-Aires, Sudamericana, 1974.**
**Julio Cortázar. Alguien que anda por aquí. Madrid, Alfaguara, 1977.**

**Хулио Кортасар. Восьмигранник. 1974. Хулио Кортасар. Тот, кто здесь бродит. 1977.**

«Восьмигранник» — один из последних сборников рассказов аргентинского писателя Хулио Кортасара, хорошо знакомого нам по публикации в «Иностранной литературе»[1] и двум изданиям, вышедшим на русском языке[2].

Эта книга сосредоточила в себе, пожалуй, основные черты, присущие прозе Кортасара, в том числе и интерес к человеку, оказавшемуся в странной ситуации, зачастую на «перекрестке» своей судьбы, перед решающим выбором. Это внезапное соприкосновение с каким-то необычным, выбивающим из колеи событием и составляет зерно его рассказов. По Кортасару, человек живет в настоящем, а настоящее ориентировано в будущее, поэтому они неразрывны и взаимосвязаны,— отсюда смещение временных и пространственных планов в его прозе.

Как правило, герой рассказов Кортасара одинок перед лицом события, перевернувшего его жизнь,— ему не с кем разделить свой страх, удивление, тоску. Однако в двух его рассказах, «Южном шоссе» и «Воссоединении», известных советскому читателю, появляется «коллективный» герой. В первом случае — это сотни автомобилистов, сплотившихся в момент вспышки «окопной солидарности», но забывающих о ней, когда исчезает опасность, во втором — группа повстанцев-революционеров, объединенных чувством солидарности иного, высшего типа — сознанием единственно верно выбранного пути.

Между двумя этими типами поведения пролегает не непроходимая пропасть, а лишь расстояние, которое нужно преодолеть. Первые шаги на этом пути и делают герои этого сборника Кортасара. Доселе одинокий кортасаровский герой выходит в «Восьмиграннике» на поиски укрепления связей с миром, с другими людьми. Однако путь к такому «воссоединению» нелегок. Причина разобщения, с одной стороны, в самих людях, в их пассивном приятии стандартизированной современной жизни, в их равнодушии друг к другу и одновременно — в почти болезненной ранимости, в обостренной чуткости героев писателя ко всякой фальши, в их отказе от самоуспокоения и иллюзий.

Об этом—рассказ «Место под названием Киндберг», построенный целиком на внутреннем монологе немолодого коммивояжера. Из всей жизни выхвачены лишь последние сутки перед самоубийством — день и ночь, проведенные с девчонкой, путешествующей «автостопом», перевернули все его представления о счастье.

[1] См. «ИЛ» № 1, 1970.
[2] Х. Кортасар. Другое небо. Москва, «Художественная литература», 1971. Х. Кортасар. Повести и рассказы. Москва, «Прогресс», 1976.

Память — свидетель и судья героев Кортасара. Прошлое не дает забыться в благополучии, напоминает о себе, разрушает иллюзорный покой. Тема эта, начиная с первого сборника, волнует писателя. В рассказе под названием «Там, но где, как...» — это уже не память-обличитель, а память-ностальгия: человеку, двадцать лет назад переехавшему в Европу из Аргентины (с рассказчиком невольно отождествляется сам Кортасар, живущий в Париже с 50-х годов), почти каждую ночь снятся умирающий в Буэнос-Айресе товарищ, юность, улицы родного города, а главное — преследует ощущение необходимости личного присутствия там, где друзья ждут его в тяжелый час. Но кончается сон, и злая память оставляет осадок горечи на весь день, занятый механической работой и бессмысленной суетой. А с наступлением ночи давно утерянные или погибшие друзья юности снова зовут его — сон возвращается. В одном из своих недавних интервью Кортасар, говоря об этом рассказе, признался: «Для меня это не рассказ—со мной уже давно происходит то, о чем я пишу. Пока я жив, мне все время будет сниться этот давно умерший — и каждый раз умирающий в моем сне — лучший друг моей юности».

Есть барьер, считает Кортасар, разделяющий людей больше, чем расстояние и время. Это смерть. Трудно сказать, кто более одинок—умирающий или близкие, стоящие у его постели. Так, друзья и родные, пришедшие разделить последние минуты с Северо («Фазы Северо») понимают весь абсурд традиционной церемонии прощания и бдения, когда официальный обряд превращает в гротеск самую искреннюю печаль. Другой своей гранью та же проблема поворачивается в рассказе «Пока Лилиана плачет». Здесь агония не ожесточила человека и мудрость одерживает победу над ревностью.

Отчуждение между любящими, совместная жизнь «по инерции» — тема эта переходит из прошлых сборников и в новый рассказ «Лето». Муж и жена изо всех сил тщатся создать видимость жизни, занятости, общения. И снова — необходимо вторжение извне, чтобы заставить их взглянуть друг другу в глаза. Такой кризисной точкой служит появление в их саду странной белой лошади. Она рвется ночью в их дом, оглашая сад тоскливым ржанием. Здесь, как и почти во всех рассказах, Кортасар избегает акцентов и комментария, который помог бы читателю разграничить фантастическое и реальное, чудо и случайность, оставляя таким образом возможность для разных трактовок. Сам писатель в уже упомянутом интервью так определяет свое понимание фантастического: «Фантастическое — это право на выражение чего-то сокровенного, лично мое право на воображение и игру фантазии. У меня в рассказах фантастическое вторгается в обыденность и постепенно само становится обыденным».

Близки между собой и в то же время противопоставлены два рассказа о встречах в парижском метро — «Рукопись, найденная в кармане» и «Шея черного котенка». Завязка одинакова — молодой человек садится вечером в метро с целью познакомиться с девушкой. Но в первом случае это мечтатель, который надеется встретить, положившись на судьбу, свою единственную, а во втором — искатель приключений, в конце концов наказанный за неразборчивость и легкомыслие.

«Шаги по следам» перекликаются с всемирно известной повестью Кортасара «Преследователь». Обнародовать ли правду о кумире, если она идет вразрез с устоявшимся мнением общества? Перед этой дилеммой стояли Бруно В. из «Преследователя» и Хорхе Фрага из «Шагов по следам». Бруно В. предпочитает подтасовать, подчистить факты в соответствии с требованиями массовой культуры. Хорхе Фрага, рискуя карьерой и будущим, бросает истину в лицо тем, кто заинтересован в ее сокрытии. Так снова появляется издавна любимый Кортасаром тип героя — разрушителя мифов.

Но, увы, разрушая одни мифы, герои Кортасара нередко становятся жертвами других. Некая предопределенность, стихия рока довлеет над ними и заставляет искать убежище в «заповеднике» собственного внутреннего мира — мира фантазии, где царит все тот же рок трагической случайности.

Три года спустя после выхода «Восьмигранника», в 1977 году, Кортасар публикует еще один сборник рассказов — «Тот, кто здесь бродит». Его составляют никогда не публиковавшиеся ранее рассказы писателя, созданные им за последние тридцать лет и отобранные в хронологической последовательности.

Первые рассказы сборника относятся к 50—60-м годам. В них фантастический мир, вторгающийся внезапно в мир реальный, несет с собой мрачные и страшные образы. Злая воля, подчиняющая себе обычный ход жизни кортасаровских героев, необъяснима. Так, в рассказе «В следующий раз», где дело происходит в приемной некоего важного лица, мерно движется очередь, но никто из просителей не выходит обратно из кабинета. Осознавшего это героя охватывает ужас, он пытается уклониться, но напирающая сзади очередь вталкивает его в кабинет... Фантастическое зло в ранних рассказах Кортасара вездесуще, неуловимо, а человек растерян и беспомощен перед враждебным ему миромхаосом. «Я писал свои первые рассказы в годы перонистской диктатуры. В ту пору люди моего поколения очень увлекались фантастическими рассказами, наотрез отказываясь взглянуть в лицо настоящей действительности. Фантастика стала формой эскепизма. Лично для меня мои ранние рассказы были тогда чем-то вроде «башни из слоновой кости»,— признавался Кортасар двадцать лет спустя.

Иное настроение доминирует в «Перемене освещения» и «Пассатах», рассказах, написанных уже в 60-е и 70-е годы и позво-

ляющих провести параллели с «Восьмигранником». Вновь перед нами две супружеские пары, не сумевшие сберечь любовь, тоскующие по прошлому. Они напрасно идеализируют друг друга, придумывая себе несуществующие черты («Перемена освещения») или пытаясь разыгрывать нелепо звучащие теперь сцены из их жизни десятилетней давности («Пассаты»).

Лучший рассказ сборника, «Апокалипсис Солентинаме» написан в самое последнее время. Он открывается аллюзией на рассказ самого Кортасара «Слюни дьявола» (переведенный на русский язык) и на созданный по его мотивам сценарий фильма Антониони «Крупным планом». И в рассказе и в сценарии фотоувеличение — трюк, позволяющий увидеть недоступные невооруженному глазу детали драмы.

В «Апокалипсисе» турист, путешествующий по Никарагуа, в маленьком городке Солентинаме, снимает на пленку местный собор, базар, гулянье, картины молодого художника-примитивиста. Вернувшись в Париж, он делает диапозитивы, мечтая оживить в холодный дождливый вечер «праздник красок» давно оставленной родины. Но, о ужас! За фигурами людей в национальных костюмах он различает спину человека в форме цвета хаки, подталкивающего дулом автомата какого-то мальчишку. За корзинами цветов — тюремные решетки. За готическим собором — камеры пыток. За примитивистскими пейзажами — лицо друга, прогрессивного поэта, которого тащат на расстрел... Герой рассказа переводит взгляд на лицо жены, сидящей перед экраном,— она видит только «праздник красок»: цветы, пончо, гитары, смеющиеся лица.

В «Апокалипсисе Солентинаме» Кортасара — это уже не собственно фантастика и даже не чудо, это перекрывающие поверхностные впечатления совесть и память героя. В финале рассказа он рыдает, схватившись за голову,— надо что-то делать, только что?!

В январе этого года, во время пребывания Кортасара в Гаване, у него состоялась беседа с кубинскими журналистами в связи с новым сборником, который запрещен у него на родине, в Аргентине, а также в Чили, Уругвае, Никарагуа. Диктаторские режимы этих стран, пояснил Кортасар, увидели карикатуру на свои методы правления даже в таком «чисто» фантастическом рассказе, как «В следующий раз». Сам автор не подсказывал интерпретацию рассказа, но и не отрицал, что речь, возможно, идет о загадочных «исчезновениях» неугодных латиноамериканским правительствам лиц.

Трудно предвидеть дальнейшую эволюцию творческого метода писателя. Но два его последних сборника позволяют сделать вывод: таинственное зло, с которым обычно сталкиваются герои Кортасара, все более конкретизируется, принимает социально-исторические очертания. А сами герои, испытавшие одиночество и отчуждение, вплотную подведены к черте, отделяющей пассивную созерцательность от необходимости действия.

**Е. ОГНЕВА**

◆

## К 150-летию со дня рождения Льва Толстого

**ФЕЛИКС ТОПОЛЬСКИ.** Англия.

**Иллюстрации к роману «Война и мир»**

# Из нашей почты

**Как известно, журнал — это не только круг авторов и редакционные сотрудники, которые готовят номера. Журнал — это всегда и контингент его читателей и подписчиков, влияющих своими запросами на уровень и содержание издания. Рубрика «Из нашей почты» дала наглядный выход мнениям читателей журнала «Иностранная литература» и усилила их активность: письма стали приходить чаще, они сделались более развернутыми, содержательными.**

**Читатели теперь не только обращаются со своими вопросами, советами, недоумениями к редакции журнала. Они перекликаются между собой, опираются на мнения друг друга, спорят друг с другом. И в этом стихийном коллективном обсуждении вырисовываются контуры новых проблем, интересные предложения, помогающие вернее планировать деятельность журнала в ближайшей и более отдаленной перспективе.**

**Среди авторов писем представлены едва ли не все слои населения нашей страны. Почтовые штемпеля на конвертах свидетельствуют, что они отправлены из самых разных точек Советского Союза — от Приморья до Прибалтики. Среди отправителей — и 15-летняя школьница, и 80-летняя пенсионерка. Самая разнообразная, пестрая по уровню образования, вкусам и интересам, но всегда заинтересованная аудитория.**

**Один из наших читателей, студент А. Рудченко из города Верхнеднепровск, выразил сомнение в том, что журнал вполне отвечает вкусам и интересам молодежи, и посетовал, что нами опубликовано мало отзывов людей младшего поколения. Но как раз в последние месяцы мы получили немало писем от молодых наших читателей и рады представить их мнения на общий совет, наряду с суждениями тех, кто, как они пишут нам, читают журнал со дня его основания.**

**Л. Н. БРИДИЦКАЯ, строитель**
**г. Кишинев**

Признаюсь, я никогда и никуда прежде не писала, может, оттого, что не люблю громких слов и признаний, может, из боязни, что не смогу выразить свои чувства словами. И тем не менее хочется написать редакции слова благодарности за ту радость, которую мне доставляет «ИЛ» вот уже почти на протяжении 15 лет и ежегодно оставляет меня верною и преданной поклонницей журнала. Скажу почему. Я люблю путешествовать, люблю архитектуру, старинные города, горы, и ежегодно мы с мужем отправляемся куда-нибудь по нашей стране или иногда за границу. Но ведь это бывает раз в год. Зато остальное время ваш журнал помогает мне знакомиться с новыми странами, городами, народами, их обычаями и нравами. Так «Письма Асперна» помогли мне «побывать» в Венеции, «Рыжие сестры» — в Испании, «Лавка чудес» — в Бразилии, а недавний роман Базена «Анатомия одного развода» — ознакомиться подробнейшим образом с бытом французской семьи...

Я с удовольствием читаю публицистику, как «Латинский квартал» Пьера Гаскара, «Американский триптих» Матковича, «Больница как она есть» Мадлен Риффо, «Работа» Стадса Теркела. Жаль только, что журнал редко печатает путевые заметки, описания путешествий, исторические романы.

**А. В. ЦЫГАНКОВ**
**г. Хабаровск**

Читаю журнал с 1973 г. и выписываю с 1975 г. Большое спасибо за интересный, содержательный материал! Больше половины опубликованных в журнале произведений понравились, они стоят хороших отзывов. Выдающимися произведениями мне кажутся: Кемаль «72-я камера», Грюн «Местами

гололед», Лопес «Последняя женщина и близкий бой», Амаду «Тереза Батиста, уставшая воевать», Маркес «Сто лет одиночества», Абэ «Человек-ящик», Охара «Ее звали о-Эн», ат-Тайиб Салих «Сезон паломничества на Север», Прадо Оропеса «Зажигающие зарю», Станку «Ветер и дождь». К сожалению, в 1977 году ни одного выдающегося произведения, кроме романа Г. Гессе «Степной Волк», по-моему, вы не опубликовали. Здесь я назвал только особо понравившиеся книги, кроме того, многие другие, не перечисленные здесь книги, заслуживают хорошей оценки. В общем, журнал делает нужное и полезное дело, стремясь донести до читателя то действительно лучшее, что создано современной литературой. Хотелось бы высказать несколько пожеланий редакции. В журнале очень много помещается книг англо-американских и французских авторов. В этом есть какая-то дань моде, почему-то считается, что наиболее сильный литературный процесс идет именно там. Мне кажется, журнал чрезмерно увлекается подобными публикациями. Мало печатается книг талантливых латиноамериканских писателей и писателей других стран Европы. А ведь интересные, самобытные авторы есть в Испании, Румынии, Югославии. Японии. Очень хотелось бы видеть в журнале вышедший недавно в Югославии роман Иво Андрича «Омер-паша Латас», а также какой-нибудь из неопубликованных романов М. Лалича (с большим интересом прочел переведенные у нас его романы «Свадьба», «Лелейская гора», «Облава»). Опубликуйте хотя бы роман Лалича «Военное счастье». Особо хочу сказать о японских авторах. Недавно прочел сборник повестей и рассказов японских писателей старшего поколения «И была любовь, и была ненависть». Впечатление огромное! Какой прекрасный и тонкий мир национального характера и жестокой жизни старой Японии. Напечатайте в журнале еще что-нибудь из этих авторов, например, роман Д. Танидзаки «Мелкий снег». Ранее читал и однотомник Ясунари Кавабаты, и его роман «Стон горы». Книги этого писателя отличаются глубоким лиризмом и нравственной чистотой. Хочется новой встречи с этим интересным писателем. Опубликуйте роман Я. Кавабаты «Старая столица». Хотелось бы видеть напечатанными какие-нибудь произведения известных японских писателей: Оэ, Абэ, Каико, Хотта, книги которых не только срывают маску с буржуазного общества и образа жизни, но и отличаются высочайшим эмоциональным накалом.

Конечно, журнал «Иностранная литература» современный, но продолжайте, пожалуйста, рубрику «Литературное наследие», где я познакомился с повестью Арбо «Чудище из Ваккареса». Это отличная книга, и вовсе не потому, что она «оригинальна», как выразилась одна из читательниц, а потому, что ее главный герой привлекает не так уж и часто встречающимся качеством — состраданием к людям, подлинно человеческим гуманизмом.

**В. НЕЧЕРНЫЙ, 24 года**
**г. Ленинград**

Выписываю ваш журнал уже несколько лет подряд. Раньше читал в журнале только популярные романы западных писателей, но постепенно, иногда случайно, а иногда и сознательно, круг интересов в чтении расширялся. В этом. конечно, есть заслуга и вашего журнала. Сейчас с удовольствием читаю и другие рубрики, например: «Литературное наследие», «Антирубрика», «Из месяца в месяц» и, конечно, «Из нашей почты».

Рубрика «Из нашей почты» позволяет мне в какой-то степени ориентироваться в огромном количестве писателей. поэтов, печатающихся у вас в журнале. Ведь невозможно читать каждый номер от корки до корки, а письма позволяют сравнивать свои мнения с мнениями других о прочитанном, читать что-то пропущенное. Особенно это касается писателей стран социализма, ведь раньше я кроме Ежи Ставинского, Иштвана Эркеня и еще немногих других никого не знал.

Как-то однажды в журнале «Англия» я прочитал отрывок из романа ирландской писательницы Эдны О'Брайен «Девушка с зелеными глазами», и мне захотелось прочитать его весь... Не могли бы вы напечатать у себя в журнале этот роман или что-нибудь другое этого автора на ваш выбор?

**ТОДОРЕНКО НАТАЛЬЯ, учащаяся 3-го курса медучилища**
**г. Одесса**

Совершенно случайно мне попал в руки журнал «Иностранная литература». Прочитав повесть болгарского писателя Павла Вежинова «Барьер», думаю, что она не оставит читателей журнала равнодушными. Очень трагично сложилась судьба девушки Доротеи — это печально. Хочется поблагодарить писателя за очень интересную повесть...

**В. ГЛАЗКОВ**
**г. Москва**

Я москвич, мне 17 лет, учусь на 2-м курсе Московского книготоргового техникума. Ваш журнал читаю лет с 13. (Отец выписывает с середины 60-х годов.) И мне очень нравится. Подлерживайте, пожалуйста, качество публикаций на высоком уровне, и не стоит печатать всякого рода ходкое чтиво. А кому лень пошевелить мозгами и кто хочет отвлечься, тот пускай натягивает кожаные штаны и идет забивать козла.

Обратите внимание на раздел «Литературное наследие». Здесь по-моему, стоит печатать редкие вещи, «жемчужины». Это очень перспективный и редкий раздел. Зря опять же, по-моему, убраны иллюстрации современной живописи (то, что печатается на обложке, меня не удовлетворяет). Ведь литература и живопись прекрасно дополняют друг друга, и было бы очень хорошо: современная литература — современная живопись. Наверно, стоит к этому вернуться. Пусть с небольшим увеличением цены.

**А. В. МЕЙПАРИАНИ**, начальник цеха завода им. Г. Димитрова
г. Тбилиси

Я целиком согласен с тем, что читатель Ю. Студенцов пишет о широком и вдумчивом обзоре состояния современной литературы, который появляется в рубрике «Культура и современность». Но часто, очень часто мы говорим и пишем, даже подробно пересказываем, о произведениях и в самом деле крупных и проблемных, которые зачастую являются родоначальниками целых литературных школ. Но взять и перевести хоть один (самый показательный) роман или хотя бы рассказ такого автора — тут почему-то у нас руки не доходят...

К примеру. у нас очень много писали о выходе в США романа Хейли «Корни», посвященного очень актуальной проблеме исторических корней американских негров. Уже публикуются и публиковались (и на ваших страницах) критические его разборы. Так не лучше ли поначалу напечатать сам роман. пусть даже с сокращениями? Это касается и многих других нашумевших романов.

**РОМАН ВОЛКОВ, ЮРИЙ СТУДЕНЦОВ**, инженеры
г. Ленинград

Посмотрим год минувший. Что запомнилось широкому кругу читателей? На наш взгляд, романы «Нежелательные элементы», «Лето перед закатом», «Последний магнат»... Более «тонкий» вкус отметил «Скорбно Анастасия шла» (причем здесь комментарий был необходим — для уяснения финала этой сильно написанной повести). «Превратности метода» оценили не все. Как и «Взгляд египтянки». «Анатомия одного развода» читалась с определенным пристрастием. А вот роман Гора Видала «Бэрр» напрашивается на спор. Вряд ли оправдана публикация в четырех номерах такого романа. Достаточно, нам кажется, ограничиться изданием книги. Думается, что роман на страницах «ИЛ» должен занимать не более двух (иногда трех) номеров. Поэтому «Бэрр», учитывая сложность его восприятия, «не читался»...

**АНАТОЛИЙ ПИВОВАРОВ**, рабочий
г. Волгоград

О литературном наследии короткие иль пространные отклики, рецензии, наверное, не принято писать, если это наследие есть давным-давно признанный шедевр. И все же о «Чудише» Жозефа Д'Арбо умолчать невозможно. Вот уж сколько месяцев прошло, когда впервые прочитал повесть «Чудище из Ваккареса» а ощущение, что прикоснулся к чуду (не просто к Чудищу!), не проходит. И тянет, и тянет к природе. И спешишь, уходишь в ее степи, рощи, в леса, где потрясенно замираешь над каждым цветком, над каждой веточкой, букашкой... А в особенно густых и диких чащах, зарослях вдруг ощутишь в душе тот вот трепетный, радостный страх, веря во встречу с могущественным и в то же время бесконечно беззащитным существом — Великим Паном. Вот-вот он покажется и засмеется... Он все еще жив, этот великий вымысел человеческого сердца. Да, жив. И его самого, и мир, в котором он живет, надо по-матерински любить, оберегать.

Это свое письмо я адресую нашему советскому переводчику Наталье Кончаловской. Спасибо ей большое.

**Г. И. САВЕЛЬЕВА**, старший инженер
г. Москва

С большим интересом прочла повесть Павла Вежинова «Барьер», напечатанную в первом номере вашего журнала.

В повести отражены острые, жизненно важные проблемы. Язык повести очень привлекателен, современен и доходчив. Однако несмотря на это, у читателей возникает много различных толкований. Наиболее полно и правильно разобраться в прочитанном очень помогает предисловие к повести Льва Озерова.

От души хотелось бы его поблагодарить за не менее талантливо написанную оценку повести и от себя лично, и по поручению многих сотрудников НИИ имени акад. С. А. Векшинского — читателей вашего журнала.

**Н. КУБАРЕВА**, преподаватель института
г. Шуя

К высказанным вам уже предложениям и советам хотелось бы добавить и свои, скорее не как постоянного читателя вашего журнала, а как специалиста, ибо, как мне кажется, журнал «Иностранная литература» следует рассматривать не только как развлекательное средство на досуге, но, в ряде случаев, как необходимый учебный материал.

В связи с этим — убедительная просьба больше публиковать драматургических произведений, классических и современных (они почти исчезли со страниц вашего журнала), а также статей по проблемам современной зарубежной драматургии. Не секрет, что отдельные издания драм выходят сейчас редко, до маленьких городков вроде нашего они не всегда доходят, потому и сложилось такое положение у нас, что ни в одной библиотеке города (включая и институтскую) нет ни пьес Т. Уильямса, ни Ю. О'Нила, ни А. Миллера, ни Ж. Ануя, ни Л. Хеллман и т. п. В таких случаях вся надежда на вас. Конечно, журнал не хрестоматия и не специальное пособие, и все-таки он нас выручает и может помочь в дальнейшем.

То же касается и новинок прозы. Для периферийных вузов ваш журнал иногда остается единственным источником.

Горячо поддерживаю раздел «Литературное наследие». Следует, мне кажется, «возродить» Д. Джойса, его «Улисса» (печатался неправдоподобно давно), О. Хаксли, Д. Лоуренса, прозу Ж.-П. Сартра, шире дать «новых романистов» и других «истов» XX века. Это не просто потребность, а уже необходимость.

И последнее предложение, касающееся поэзии. Мне кажется, лучше следовать принципу «лучше меньше, но лучше», солиднее, шире, с кратким вступительным обзором.

**В. М. БЕЛОЛИКОВ, 34 года**
**г. Владимир**

В годовой подписке «ИЛ» обязательно найдется что-нибудь по моему вкусу. Но все-таки хотелось бы внести ряд предложений. Во-первых, я немного не согласен с тем, что вы обходите своим вниманием такой жанр, как детектив. Я сам работаю слесарем, и часто случается так, что прихожу с работы очень усталым и просто не в состоянии читать что-то серьезное. Чтобы снять напряжение, усталость, требуется, по-моему, именно что-нибудь развлекательное. И поверьте, это не снобизм, а потребность усталого организма... Не бойтесь испортить нашего советского читателя, ведь он прекрасно разберется в том, что вы напечатали, и, даже не зная, к какому направлению относится то или иное произведение, он четко разберется в значимости оного.

Во-вторых, я полностью согласен, что журналу пора подумать о своих «приложениях».

**Б. Г. ИВАНОВ**
**г. Ленинград**

Публикуя мнения читателей обо всем, что происходит на страницах вашего журнала, вы делаете очень нужное дело. Существует мнение, что ориентация журнала на читательские вкусы вредит авторитету журнала, придает его деятельности рыночный оттенок и проч. Рубрика «Из нашей почты» свидетельствует о том, что ваши читатели «доросли» до того, чтобы на их вкусы можно было положиться...

Что касается предложений некоторых читателей публиковать в «Иностранке» детективы «с продолжением», то мне кажется, что обсуждение этого вопроса уже носит характер бесплодного спора, в котором истина не родится. Между тем она проста: высокого и низкого жанров нет. Есть произведения талантливые и бездарные. В жанрах детектива и научной фантастики есть свои «киты», да и рядовых писателей-фантастов и детективщиков мы охотно читаем, и в этом нет никакого греха. Однако для того, чтобы появиться в «ИЛ», любое произведение должно быть (как минимум) заметным явлением мировой литературы. Ведь «Преступление и наказание» — блестящий детектив, не правда ли? Рассказы Рэя Брэдбери стали в свое время явлением мировой литературы именно потому, что не были развлекательным чтивом,— вспомните потрясающие своей человечностью рассказы... Таким произведениям «ИЛ», по-моему, должна уделять больше внимания.

**А. Л. БАУМШТЕЙН**
**г. Сыктывкар**

Я много лет проработал в книготорговле и издательствах, свыше 60 лет сознательно собираю книги...

Непреложно для меня следующее:

Ваш журнал не только литературно-художественный, но и общественно-политический, чего большинство ваших корреспондентов умудрилось не заметить.

В вашем журнале могут публиковаться только первосортные (не испугаемся торгового термина) произведения. Здесь не может быть никаких скидок на добрые намерения или соображения покровительства и опеки...

Не менее понятно, что ваш журнал отражает литературный современный пульс планеты. Поэтому, при всем моем безусловном почитании классики, ей совершенно не место в вашем журнале. Восемнадцатилетний читатель из Донецка умудрился включить в литературное наследие одновременно Брехта Сафо, Плутарха и даже «Лже-Нерона» Фейхтвангера. Но он явно путает «Круг семейного чтения» с «ИЛ». Не надо вторгаться в сферу конкуренции с сериями «БВЛ», «Литературные памятники» и т. п.

**ВЛ. ЛОБАНОВ, военнослужащий**
**г. Северодвинск**

С большой заинтересованностью знакомился с публикацией «Софийского дневника», интервью, взятыми у участников международной писательской встречи («ИЛ» № 10, 1977). В сложном но необходимом деле определения путей по концентрации общих усилий для предотвращения угрозы войны такие конференции, безусловно, имеют огромное значение... Факт опубликования мнений людей разных убеждений и представляющих различные социальные и политические системы лишний раз свидетельствует о демократичности нашей печати, о долге и уважении к читателю, о желании возможно полнее и достовернее освещать разнообразные явления и события современной действительности.

**ИГОРЬ КРЯКОВ, 22 года, студент**
**г. Волгоград**

...В «ИЛ» печатается довольно много критики. Надо полагать, что для критиков есть свои, сугубо критические журналы. И каждый желающий может пойти в библиотеку и взять их. Сам я очень редко читаю критические статьи в вашем журнале. Уж не обессудьте!..

Коснусь рубрики «Среди книг». Раздел «Издано в СССР» я бы несколько сжал и расширил. Поймите меня следующим образом. Сжал — многие встретятся с книгами, о которых вы пишете, и без помощи журнала. Я считаю лишним также просторные рассуждения на страницах вашего журнала, журнала, который должен знакомить с новинками художественной литературы, а не с критическими статьями, тем паче что с критикой всегда можно познакомиться в предисловии или послесловии к книге. Расширил — писал бы обо всех переводных художественных произведениях, выходящих у нас каждый месяц. Но писал бы не так, как пишет «Книжное обозрение», а с крат-

кой аннотацией на книгу, буквально 5—8 строк мелкими буквами.

**М. А. БЕЗНОСОВ, 25 лет**
**пос. Гольяны, Удмуртская АССР**

Некоторые читатели хотят видеть на страницах журнала англо-американскую прозу. Наряду с этим хотел бы почитать современных португальских, греческих и итальянских писателей. Согласитесь, их очень мало печатают. Я думаю, с учетом пожеланий читателей журнал станет намного интереснее. И еще хотелось бы, чтобы проза составляла в журнале процентов 70—75.

**ГАЛЯ Ш., 15 лет**
**г. Покров, Владимирская обл.**

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы напечатали в своем журнале роман К. Барнарда и З. Стэндера «Нежелательные элементы». Это произведение потрясло меня. Перечитываю снова и снова. На мой взгляд, замечательная вещь. Из современной зарубежной прозы мне нравится многое, но этот роман произвел самое огромное впечатление. Не будь вашего журнала, вполне вероятно, что я не узнала бы никогда о существовании этой восхитительной вещи, а также о судьбе ее создателя — Кристиана Барнарда.

**Л. И. АРХИПОВА**
**г. Гатчина**

С большим интересом прочитала в вашем журнале (раздел «Среди книг» № 11, 1977) статью колумбийского журналиста Педро Клавихо. Судя по тем задачам, что поставил себе автор, объективно и доброжелательно рассказывая о жизни нашей страны и о новом типе человека, человека социалистического общества, я думаю, что его книга «Репортажи из Москвы» должна быть интересна советскому читателю.

**Такова читательская почта первой половины 1978 года. Мы были лишены возможности опубликовать все письма — их немало, и многие высказывания, наблюдения и конкретные оценки дублируются в этой обширной корреспонденции. Однако мы надеемся, что во всем существенном полно и объективно представили палитру читательских мнений.**

**Не с каждой из рекомендаций наших уважаемых добровольных корреспондентов можно согласиться. Следует еще раз подчеркнуть, что, следя за процессами мировой литературы и определяя целесообразность публикации того или иного произведения на наших страницах, редколлегия, как коллективный литературный орган, тщательно взвешивает все «за» и «против», имеет в виду единство идейно-политических и художественных критериев. Журнал делает большой коллектив литераторов и ученых, редакция широко пользуется консультациями специалистов по отдельным национальным литературам. Но при этом можно смело сказать, что и любая подсказка, деловой совет или упрек читателя не оставляют редакцию равнодушной.**

**Конкретные предложения читателей по поводу новых рубрик, литературных имен и отдельных произведений внимательно изучаются сотрудниками редакционных отделов. Некоторые из них уже учтены при формировании журнального портфеля.**

**В перекрестье читательских споров попал вопрос о преимущественном внимании журнала к литературам отдельных регионов мира. Некоторые читатели отдают безусловное предпочтение имеющим давнюю традицию и богатым знаменитыми именами литературам Западной Европы и США. При этом иной раз ссылаются на то, что уровень культуры неизбежно связан с уровнем экономического развития и, следовательно, выбор заранее предрешен в пользу литератур наиболее развитых капиталистических стран. Слов нет, англо- и франкоязычные литературы, например, дают немало значительных произведений, и журнал будет, несомненно, продолжать их печатать. Но суждение о прямой связи экономики и культуры теоретически неточно и не может служить основанием для журнальной практики. Известно, что между расцветом искусства и экономическим развитием в определенные периоды нет прямой зависимости: об этом писал К. Маркс, объясняя феномен расцвета античной культуры. Да и русская литература XIX века пережила свой могучий взлет в достаточно отсталых социально-экономических условиях. Подъем национальной жизни, освободительного движения, бурный рост самосознания народов может порождать и на наших глазах порождает ростки богатой талантами литературы в считавшихся традиционно отсталыми или еще только развивающихся районах мира. Мы попросту не исполнили бы свой интернациональный долг, если бы внимательно не следили за всем лучшим, что создано за последние десятилетия и создается сейчас в литературах Азии, Африки и Латинской Америки, не говоря уж о странах, вступивших на путь социализма. Показательно, что среди произведений, вызвавших в последнее время наибольшее количество добрых отзывов читателей, мы находим, наряду с романом немецкого писателя Г. Гессе «Степной Волк», повесть болгарина П. Вежинова «Барьер» и роман «Нежелательные элементы» К. Барнарда и З. Стэндера из Южной Африки.**

**Нам представляется, что открывать для русского читателя новое имя талантливого художника из казавшейся некогда отсталой или «экзотической» страны важнее, чем, идя на поводу у шумной заокеанской рекламы, перепечатывать произведения вроде «Крестного отца» М. Пьюзо, которое, при близком знакомстве, неизбежно разочарует сколько-нибудь взыскательного читателя.**

**Много сторонников и почитателей завоевала в последние годы литература стран Латинской Америки, где наблюдается на-**

стоящий расцвет романной формы, а также литература Японии. Читатели по справедливости хотят лучше знать литературу Испании, Португалии, Скандинавских стран. Предлагают редакции шире публиковать исторические романы, образцы детской литературы, классическое наследие в новых переводах. Неизменно обращают внимание на рубрику «Литературное наследие». Все эти суждения заслуживают внимания. Конечно, журнал не может считаться со случайными прихотями вкуса, и мы заранее вынуждены разочаровать читателя, просившего нас перепечатать мемуары Казановы или записки секретаря инквизитора Торквемады, что не исполним его просьбу. Не будем перепечатывать мы и произведения античных авторов, классиков средних веков и Возрождения. Наш журнал — журнал современной литературы — дорожит своим профилем и принимает все советы и замечания в рамках своей задачи, как зеркала прежде всего текущего литературного процесса. Кроме того, следует учесть, что многие называемые читателями известные литературные имена (к примеру, М. Пруст, Ж. Ануй, Т. Уильямс, поэзия Г. Лорки и Я. Рицоса) представлены недавно книгами — в отдельных изданиях. Понятно, что журнал и не может и не должен подменять собою книгоиздательскую деятельность, просто увеличивая тираж дефицитных книг. Как правило, ежемесячник знакомит читателя с новыми для него именами, неизвестными ранее в русском переводе произведениями или — в редких случаях — с особо выдающимися переводами уже известных творений, переводами, позволяющими взглянуть на художника свежо и по-новому.

Продолжают азартно спорить наши читатели и о развлекательной литературе, приключенческом жанре, фантастике, которую многие также хотели бы видеть представленной на страницах журнала. Еще раз повторим вместе с В. Глазковым из Москвы и Б. Ивановым из Ленинграда: нет для нас жанров отверженных, все дело в уровне, качестве произведения, а здесь, надо признаться, выбор не так-то легок. Мы отнюдь не против произведений с острым сюжетом, приключениями, разгадкой тайны, если они несут в себе и определенное нравственное, социальное содержание, да к тому же написаны на достаточно высоком уровне мастерства. Значит, вопрос лишь в поисках редакцией таких произведений, которые удовлетворили бы интерес любителей «занимательного чтения» и вместе с тем не были уступкой дурному вкусу.

По-видимому, справедливо замечание читателя, возражающего против растягивания публикации одного романа на четыре книжки журнала, как это случилось с произведением Гора Видала «Бэрр». Толстый журнал по традиции печатает вещи «с продолжением», но, несомненно, чрезмерная дробность материала только вредит впечатлению, и редакция впредь будет стараться этого избегать.

Дискуссионным представляется нам вопрос о зарубежной драматургии в журнале. Публикация переводных пьес является привилегией специального журнала «Театр», да и не все читатели охотно читают в литературном журнале пьесу: для этого она должна обладать поистине выдающимися художественными достоинствами. Впрочем, напечатанная нами недавно пьеса Бернарда Шоу свидетельствует, что в известных случаях и этот жанр журналу не противопоказан.

Ряд писем в почте последних месяцев посвящен разделам публицистики и критики. Мы рады, что все большее число читателей отмечает материалы, появившиеся в этих разделах журнала. Ведь наш журнал не только «литературно-художественный», но и «общественно-политический», как своевременно напоминает другим нашим корреспондентам подписчик из Сыктывкара. Нельзя согласиться с теми, кто хочет высвободить «площадь» для художественных произведений за счет критики и других разделов «петита». В публицистике, критике, библиографии, разделе «Культура и современность» проявляется активная литературно-политическая позиция ежемесячника, собственно и делающая его не сборником или альманахом переводных сочинений, а современным журналом. Другое дело, когда наших читателей не удовлетворяет само содержание или скучная, неэмоциональная форма критических выступлений: в этом смысле «критика критики» может идти лишь на пользу дела.

Редакция благодарит всех читателей, приславших нам свои отклики, и ждет новых ваших писем.

◆

# Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

### «В ЦЕПЯХ» КЕЙТ РОБЕРТС

Новый роман старейшей писательницы из Уэльса Кейт Робертс вышел в Кардифе по-валлийски, а также в переводе на английский язык. Кейт Робертс, сообщает в рецензии Р. Дейвис в «Таймс литерари сапплмент», сейчас 86 лет. Писать она начала в середине 20-х годов. Тема ее последнего романа — жизнь рабочих сланцевых разработок в небольшом местечке на полуострове, откуда она родом. Действие романа начинается в 1936 году и кончается после второй мировой войны. В центре повествования — фигура Оуэна. Рассказывая историю его жизни, Кейт Робертс показывает, как постепенно крепнет в нем сознание своей ответственности за происходящее, как он вступает в открытую борьбу с хозяевами.

АРГЕНТИНА

### ПРОИЗВОЛ ЦЕНЗУРЫ

Как сообщает колумбийская газета «Тьемпо», военное правительство Аргентины запретило продажу и распространение 14 книг иностранных авторов, объявленных «чуждыми национальному духу» аргентинского народа и носящих «политический характер». Среди произведений, изъятых из книжных магазинов и библиотек, — работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Запрещены также несколько романов и повестей современных латиноамериканских писателей. К ним относится роман панамца Мануэля Орестеса Ньето «Не скрываясь», отмеченный премией латиноамериканского конкурса «Каса де лас Американс». Цензура запретила и другую книгу, получившую премию в 1975 г.,— сборник рассказов «Корни гнева» колумбийского писателя Карлоса Бастидиса Падильи. В прошлом году национальное издательство «Колкультура» в Боготе выпустило второе издание сборника. Сюжеты рассказов «Корни гнева», повествующих о сегодняшнем дне стран Латинской Америки, легли в основу двух фильмов.

БОЛГАРИЯ

### ЛЕТОПИСЕЦ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ

Имя Веселина Андреева, активного участника антифашистской борьбы, политкомиссара бригады «Чавдар», автора «Партизанских песен», давно приобрело широкую известность в Болгарии. Многие из его стихотворений, написанных в партизанском отряде, в которых, по словам самого поэта, отразились судьбы его товарищей, их чувства и мысли, вошли в школьные хрестоматии и поэтические антологии.

После победы над фашизмом Веселин Андреев посвящает свое творчество воссозданию героической борьбы народа. Он пишет «Партизанские рассказы», а последние годы все свое время отдает работе над книгой мемуаров, первая

С успехом выступила в Национальном театре им. Ивана Вазова в Софии в роли Рады актриса Ванча Дойчева в спектакле «Под игом», в основу которого лег одноименный роман Ивана Вазова.
На снимке: Ванча Дойчева.

*(Журнал «Славени»)*

часть которых «Горы дышат огнем» вышла в 1975 г. в переводе на русский язык. Недавно законченная им вторая часть опубликована в апрельском номере журнала «Септември».

Болгарская печать и в особенности еженедельник «Литературен фронт» уделили много внимания празднованию 60-летия Веселина Андреева, которое состоялось в его родном городе.

Для участия в юбилее сюда приехал первый секретарь ЦК БКП, председатель Государственного совета НРБ тов. Тодор Живков, лично поздравивший В. Андреева с присвоением ему почетного звания Героя Социалистического Труда.

С докладом о жизни и творчестве В. Андреева выступил председатель Союза болгарских писателей академик Пантелей Зарев. «Веселину Андрееву,— сказал П. Зарев,— присуще чувство историка, который стремится определить объективную ценность происшедшего. И вместе с тем описываемое им — отражение его личного опыта, проникнуто его личными настроениями. Поэтому по своей форме его последняя книга напоминает монолог, исповедь автора и одновременно эпическое повествование».

В книге оживают образы многих героев антифашистской борьбы, нарисованы портреты видных партийных деятелей, в том числе Янко — под таким псевдонимом партизаны знали тогда Тодора Живкова.

«Глубина переживаний, чистота, вдохновенность, высокая нравственность, гуманизм революционной эпохи, которыми проникнута книга мемуаров В. Андреева, и определяют,— подчеркнул Пантелей Зарев,— прочное место писателя в болгарской литературе».

ВЕНГРИЯ

### ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭССЕ ФЕРЕНЦА ЮХАСА

Издательство художественной литературы «Сепиродалми» выпустило в свет новую книгу известного венгерского поэта Юхаса Ференца. Книга эта, как отмечается в статье, опубликованной в газете «Непсабадшаг», необычна по жанру. Автор статьи Пал Белогорски называет ее «книгой поэтических эссе философского характера».

Сохраняя все особенности поэтического жанра, отмечает рецензент, книга вместе с тем представляет собой собрание подлинных эссе — небольших по объему философских произведений, содержащих размышления, связанные с основной для Ференца Юхаса темой — борьбой за идеал человека сегодняшнего и завтрашнего дня.

Пал Белогорски отмечает также яркость, афористичность и музыкальность авторского стиля.

ВЬЕТНАМ

### СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

Советские фильмы пользуются во Вьетнаме большой популярностью, уже много лет они занимают ведущее место в репертуаре кинотеатров республики. Уместно напомнить, что первый советский фильм (а это была картина Ф. Эрмлера «Она защищает Родину») был показан во Вьетнаме в 1946 году, почти сразу же после провозглашения ДРВ.

Месячник советских фильмов, прошедший во Вьетнаме, стал настоящим праздником социалистического киноискусства. Всего было показано около ста художественных и документальных лент, рассказывающих о славном историческом прошлом и сегодняшней действительности Страны Советов, о великих свершениях советских людей: «Ленин в Октябре», «Доверие», «Твой современник», «Прошу слова», «Премия», «Сталинградская битва» и другие.

Блестящим проявлением братского сотрудничества и советско-вьетнамской дружбы стали фильмы, созданные вьетнамскими кинодокументалистами — «По пути ленинизма» (телевидение СРВ), «Глубокие чувства и

---

Богатую и разнообразную программу Фестивальные танцы» подготовил популярный фольклорный ансамбль «Дам Сан». В программу включены самобытные песни и танцы национальных меньшинств Вьетнама.

*(Вьетнамское информационное агентство)*

великая ответственность» и «Вся страна празднует юбилей Великого Октября» (обе ленты созданы на Центральной студии хроникально-документальных фильмов Вьетнама).

## ГДР

### «ДОБРОЕ УТРО, КРАСАВИЦА»

Так называется книга недавно умершей писательницы Макси Вандер, выпущенная издательством «Морген». 19 репортажей записала на магнитофон писательница. Это — истории девушек и женщин самого разного возраста — от школьницы до пожилой женщины. «Меня больше всего тронули,— пишет Хельга Шуберт в газете «Нойес Дойчланд»,— огромная терпимость и большая осведомленность Макси Вандер. Она хорошо знает то, о чем пишет, ее героини как бы живут среди нас, они работают, любят, мечтают, страдают, радуются... Книга заставляет о многом подумать и, на мой взгляд, имеет большое познавательное значение».

«О разных судьбах разных женщин рассказывает Макси Вандер,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».— Одна не находит своего места в жизни, другая активно борется за это место, третья пытается залезть в свою раковину, чтобы ее никто не трогал... Женщины и девушки откровенно говорят о себе, о том, чем они стали в современном обществе. Писательница ничего не навязывает своим героиням, читатель все время чувствует, с каким пониманием и уважением она к ним относится».

Большую статью, посвященную книге «Доброе утро, красавица», поместила в журнале «Нойе дойче литератур» Криста Вольф. С горечью отмечая преждевременную смерть талантливой писательницы, Криста Вольф высоко оценивает работу Макси Вандер, завершенную незадолго до кончины. «Мы все время чувствуем присутствие писательницы,— пишет Криста Вольф.— За рассказами 19 женщин встает как бы 20-й репортаж — жизнь самой Макси Вандер. С первой же минуты, когда начинаешь читать, активно переживаешь все, о чем рассказано, и задаешь вопросы самой себе: как и чем ты живешь. Я считаю, что это очень гуманная книга».

Высокую оценку получила книга и в статье Клауса Шрёдера, напечатанной в другом номере журнала «Нойе дойче литератур». Шрёдер, в частности, пишет: «В книге много грустного, но несмотря на это ее можно назвать оптимистическим произведением, правдиво отразившим нашу действительность».

Новый телевизионный спектакль, созданный Герхардом Штухликом и Эмилем Андерсом, называется «Вопросы к старому человеку». Вопросы задает молодой писатель, отвечает на них старый шофер Фриц Д., бывший водитель грузовика. Из ответов Фрица Д. складывается картина его жизни: трудное детство, безработица, голод, приход фашизма. Молодой писатель, представитель иного поколения, узнает для себя много нового.

«Надо отметить удачную игру Герберта Кёфера, который исполняет роль старого шофера,— пишет газета «Берлинер цайтунг».— Ему удалось создать очень яркую и правдивую картину жизни своего героя, на первый взгляд такой обычной, ничем не примечательной и вместе с тем характерной для целого поколения».

На снимке: сцена из спектакля «Вопросы к старому человеку». В роли Фрица — Д.-Г. Кёфер, в роли молодого писателя — Эрвин Бернер.

*(Газета «Берлинер цайтунг»)*

## ИНДИЯ

### РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ ГОРЦЕВ

«Трагедия горного края»— так озаглавлена в газете «Джан юг» рецензия на сборник рассказов «Девушка и дерево», опубликованный одним из делийских издательств. Автор книги — Говинд Чатак, известный собиратель и исследователь фольклора индийских горцев, один из зачинателей современной гархвальской литературы на языке хинди. Вступив в литературу в середине 50-х годов, Говинд Чатак завоевал популярность читателей своими пьесами, рассказами и повестями из жизни индийских горцев — обитателей гималайских теснин. Сам уроженец этих мест, писатель хорошо знает жизнь своих героев, и это позволяет ему достоверно воссоздавать ее в своих произведениях. «Герои рассказов Говинда Чатака — скромные труженики, страдающие от безземелья и нищеты, чьи судьбы не могут оставить читателя равнодушным»,— пишет в заключение рецензент.

### РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

По сообщению газеты «Джан юг» (Дели), в последнее время заметно возросла активность самодеятельных театральных коллективов, групп и объединений в различных городах Северной Индии. Возглавляет эти коллективы Ассоциация прогрессивных театров Индии (АПТИ).

Наибольший успех выпал на долю пьесы Амрита Нахты «Сказание о кресле», поставленной обществом «Рангкарм» в городе Агре. В остросатирической, почти гротескной манере пьеса разоблачает тех, кто не скупится на обещания, лишь бы прорваться к высокому креслу. Спектакли по пьесе «Сказание о кресле» с огромным успехом прошли во многих городах Северной Индии.

Показательно, что спектакль Агрского общества был удостоен премии Академии изящных искусств штата Уттар-Прадеш. Премия за лучшую режиссуру вручена также постановщику спектакля Аниду Шукле.

Активность самодеятельных драматических коллективов расценивается прогрессивной общественностью страны как предпосылка для становления профессионального театра.

## ИРЛАНДИЯ

### НОВЫЕ ДУБЛИНЦЫ

Английское издательство «Хатчинсон» выпустило новый роман Джеймса Планкетта «Друзья по расставанию». Советскому читателю этот писатель известен романом «Взбаламученный город».

Действие новой книги Планкетта начинается в 1916 году, когда в Дублине поднялось Пасхальное восстание, и завершается 1945 годом, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. История страны, пишет рецензент «Таймс литерари саплмент» Фердинанд Маунт, показана в романе через судьбы ее главных героев, трех молодых дублинцев — клерка Брайна, бармена Доза и торговца Тима. С образом Брайна, отмечает Ф. Маунт, в роман вводится столь актуальная для сегодняшнего ирландского общества проблема борьбы за независимость.

В книге Дж. Планкетта нарисован широкий социальный фон; в ней много действующих лиц, бытовых подробностей, что дает возможность, пишет Ф. Маунт, представить политический, экономический и культурный климат в стране в описываемый Дж. Планкеттом период.

Критик отмечает, что в романе Дж. Планкетта ощущается влияние Джойса и О'Кейси, особенно проявившееся в изображении характеров, атмосферы и в передаче подлинно дублинского говора.

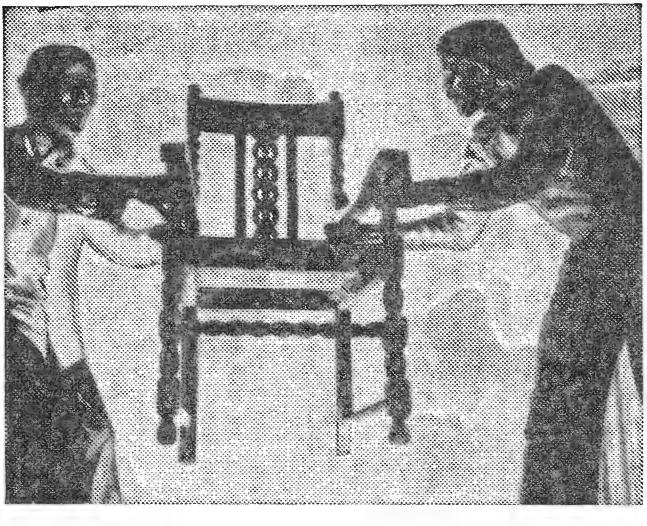
## ИТАЛИЯ

### ПИСАТЕЛЬ-АКТЕР

Популярный писатель-юморист Паоло Вилладжо, книги которого о злоключениях мелкого итальянского служащего Фантоцци имели в Италии огромный успех у читателей, после выступлений на телевидении продолжает сниматься в кино. Сыграв в фильмах режиссера Лючано Сальче «Фантоцци», «Второй трагический Фантоцци», а также «Господин Робинзон», в основу которых легли романы самого Вилладжо, писатель сейчас снимается в новом фильме режиссера Сальче «Прекрасная страна». Его герой (которого играет Паоло Вилладжо, сбросивший на этот раз маску незадачливого Фантоцци и нового Робинзона) — миланский рабочий. Проработав много лет в эмиграции, где-то в пустыне на берегах Персидского залива, он тяжким трудом скопил небольшой капитал, на который, вернувшись в родной Милан, хочет открыть часовой магазинчик. Но город уже совсем не тот, что тогда, когда он его покинул,— рабочий наталкивается на непреодолимые препятствия, бездушие, жестокость, вопиющую несправедливость. Но вопреки всем несчастьям, которые валятся на него, ему все же удается сохранить жизнерадостность и оптимизм. Решенный в комедийном плане, фильм тем не менее затрагивает, как и все ленты с участием Вилладжо, серь-

На снимке: сцена из спектакля «Сказание о кресле».

*(Газета «Джан юг»)*



Популярная итальянская актриса Клаудиа Кардинале, которая ныне вновь много снимается в Италии и за границей, приглашена на главную женскую роль в фильме «Люди и нелюди», который ставит режиссер Валентино Орсини по знакомому советским читателям одноименному антифашистскому роману писателя Элио Витторини. Съемки фильма начались в Риме. Обращение к роману Витторини — яркому образцу итальянской литературы периода Сопротивления и неореализма — характерно для нынешнего момента развития итальянского политического кинематографа, главной темой которого остается тема борьбы против старого и нового фашизма.
На снимке: Клаудиа Кардинале.

*(Газета «Унита»)*

**езные социальные проблемы. Фильмы по книгам Вилладжо или с его участием вносят новые ноты в итальянскую социальную комедию и пользуются, так же как и его литературные произведения и телевизионные выступления, неизменным успехом у итальянцев.**

## КУБА

### УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

**Несколько лет назад Национальное управление театров Кубы организовало школы литературного мастерства, которые вскоре получили распространение по всей стране.**

**Недавно, основываясь на успешном опыте этих школ, было решено создать специальные школы драматургии, которые также привлекли большое число слушателей. Кроме помощи начинающим драматургам и театральным работникам школы ставят своей целью широкую популяризацию театрального искусства и привлечение к нему молодежи из числа рабочих и студентов. На занятиях слушатели школ под руководством опытных литераторов изучают основы драматургии, читают и анализируют свои произведения. Обсуждают важнейшие проблемы мировой литературы и театра.**

**Школы литературы и драматургии ведут большую и плодотворную работу для развития кубинского искусства.**

## КУВЕЙТ

### III ВЫСТАВКА АРАБСКОЙ КНИГИ

**В течение десяти дней в столице Кувейта проходила III выставка арабской книги, организованная Национальным советом по вопросам культуры, искусства и литературы.**

**Как отмечает журнал «Аль-Баян», общеарабские книжные выставки, устраиваемые ежегодно в Кувейте, завоевали популярность. Из года в год растет количество их участников. Так, на последней выставке было представлено 12 тысяч книг, вышедших 128 издательствами и государственными организациями Бахрейна, Туниса, Алжира, Саудовской Аравии, Сирии, Ирака, Палестины, Кувейта, Ливана, Ливии и Египта. Обращает на себя внимание обилие книг, посвященных актуальным вопросам политической и экономической жизни**

---

Большой популярностью пользуется у молодежи кубинская певица Мариам Рамос. В ее репертуаре — лучшие современные песни Латинской Америки.
На снимке: Мариам Рамос.

*(Журнал «Куба»)*

арабских стран, борьбе арабских народов против империализма и сионизма. Значительное количество изданий посвящено древнему культурному наследию арабов. Много литературы для детей.

По оценке журнала «Аль-Баян», арабская книжная выставка в Кувейте стала одним из важнейших смотров арабской культуры, не уступающей по значению фестивалю арабского театра, который регулярно устраивается в Дамаске, общеарабскому фестивалю изобразительных искусств (последний такой фестиваль проводился в Кувейте) и встрече арабских драматургов и писателей в г. Хаммамет в Тунисе.

На снимке: Кэти Хурадо и Игнасио Лопес Тарсо в фильме «Каменщики».

*(Газета «Эральдо де Мехико»)*

## ЛИВАН

### РАССКАЗЫ ТАУФИКА ФАЙЯДА

В Бейруте вышел новый сборник рассказов известного палестинского писателя Тауфика Файяда под названием «Клоун». Главное место в сборнике занимают произведения, посвященные борьбе палестинских арабов на захваченных Израилем территориях.

Тауфик Файяд долгое время жил в Израиле. Сейчас он живет в Бейруте. Выпустил несколько сборников рассказов, в том числе сборник «Желтая улица», второе издание которого готовится в Ливане.

## МЕКСИКА

### «КАМЕНЩИКИ»

В основу последнего фильма «Каменщики» молодого мексиканского режиссера Хорхе Фонса легла одноименная пьеса Винсента Линьера. Фонс приобрел известность своим фильмом «Щенки», снятым в 1975 году.

Фильм «Каменщики» разоблачает коррупцию, царящую в мексиканских строительных фирмах. В нем рассказывается о трудной жизни рабочих-строителей, о безжалостной их эксплуатации. Такие честные люди, как строительный мастер дон Хесус (его играет лучший мексиканский актер Игнасио Лопес Тарсо), не в состоянии в одиночку противостоять злу. Повествование начинается с убийства дона Хесуса, затем действие фильма разворачивается то в прошлом, то в настоящем. «Дон Хесус,— как отмечает рецензент мексиканской газеты «Эральдо де Мехико»,— был убит не одним человеком, а всем несправедливым обществом».

Знаменитая актриса Кэти Хурадо в роли жены дона Хесуса явилась отличной партнершей Игнасио Лопеса Тарсо. Рецензент отмечает операторскую работу и монтаж фильма. «Фильм Фонса,— заключает он,— стал значительным явлением мексиканской кинематографии».

## НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

### УСПЕШНЫЕ ДЕБЮТЫ

В конце прошлого года издательство «Коллинз» выпустило роман Джона Брюса «Крик в поднебесье», который, по словам обозревателя газеты «Доминион», стал значительным явлением в новозеландской прозе последних лет. В романе рассказывается о катастрофе, которую потерпел небольшой самолет, столкнувшийся в воздухе с авиалайнером. Но главное в книге — не гибель самолета, а события, последовавшие потом: история расследования причин катастрофы, в ходе которого люди, оказавшиеся причастными к трагедии, пытались снять с себя ответственность за случившееся.

«Несмотря на то что новозеландская литература XX века имеет довольно богатую историю,— пишет рецензент,— вряд ли можно назвать книгу, которая принадлежала бы перу новозеландца и была бы всемирно известным бестселлером. И вот такой книгой, видимо, станет первый роман Дж. Брюса».

## НОРВЕГИЯ

### ЭКРАНИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНА

На экраны Скандинавии вышел новый фильм — «Серьезная игра», получив-

На снимке: кадр из фильма «Серьезная игра».

*(Газета «Фрихетен»)*

ний высокую оценку критики. В основу сценария лег роман Яльмара Сёдерберга, крупнейшего шведского прозаика рубежа XIX—XX веков «Серьезная игра», известный русскому читателю, как и роман «Доктор Глас». Сёдерберг в своих произведениях развил и продолжил тему психологического, этического и нравственного равноправия мужчины и женщины, характерную для классической скандинавской литературы, тему, столь обостренно и трагически трансформированную в драмах А. Стриндберга.

Роман «Серьезная игра» (1912) повествует о трагической любви. Главные персонажи — молодой честолюбивый журналист Арвид Шернблум и традиционно-романтическая Лидия из аристократической среды, которая не может, даже во имя любви, преодолеть сословные предрассудки. Критики называют это произведение одним из классических шведских любовных романов.

«Молодой норвежский кинорежиссер - экранизатор Ани Брейен пытается бережно воссоздать лирическую интонацию литературного оригинала, перевести на киноязык душевную драму героев. В фильме оживает Стокгольм начала века с его политическими и этнографическими реалиями, с его нравственным климатом,— отмечает кинообозреватель газеты «Фрихетен».— Интересная режиссура и психологически достоверные образы главных персонажей, созданные Стефаном Экманном и Лиль Терсимус, делают фильм событием киногода».

## ПАНАМА

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕАТРА

В самом большом зале Панамского университета «Параниифо» с успехом прошла премьера известного национального поэта Агустина Дель Росарио «Странные вещи творятся во владениях императора Кристобаля». Эта четвертая работа Дель Росарио в жанре драматургии удостоилась в 1975 г. первой премии на гватемальском фестивале искусств в Кесалтенанго. Агустин Дель Росарио является одним из наиболее многообещающих драматургов Панамы. Постановка его пьесы университетской театральной группой «Трасумантес» подтвердила, что творчество Дель Росарио не стоит в стороне от животрепещущих проблем его родины. В пьесе звучит призыв к свободе человека как неотъемлемому праву, которого его никто не должен лишать. «Странные вещи», происходящие в пьесе, лишены конкретной географии. Зрители, пришедшие на спектакль, сразу понимают, что проблемы, затронутые в пьесе, важны не только для социально-политической действительности Панамы, но и для всего латиноамериканского континента.

Заслугой театральной университетской группы «Трасумантес», по мнению газеты «Матутино», является то, что входящая в ее состав талантливая молодежь обращается к национальной проблематике, это выгодно отличает ее от других театральных групп Панамы. Идя по пути коллективного эксперимента, «Трасумантес» поставила перед собой задачу создать театр, доступный для самого широкого зрителя, театр, помогающий панамскому народу понять волнующие его проблемы.

## ПОЛЬША

### «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛЬШУ» ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

Выдающемуся польскому писателю Ярославу Ивашкевичу в феврале этого года исполнилось 84 года. В последние годы он создал такие книги, как «Петербург», «Зарудзе», «Путешествие в Италию», томик стихов «Карта погоды», сборник очерков о скандинавской литературе. А сейчас из печати вышла его новая книга — «Путешествие в Польшу».

«Эта книга,— отмечает Бата Совинская в газете «Жице Варшавы»,— возвращает нас к истокам чувств, опыта и впечатлений, которые выносит писатель из своих путешествий по дорогам родины. Это погружение в собственное прошлое и прошлое отчизны, путешествие в годы далекие и близкие, встречи с людьми, предметами, с польским пейзажем и польскими традициями...

Писатель смотрит на свою страну как бы изнутри, и в его литературной записи возникает удивительно чистый и свежий образ родины, что еще раз доказывает глубокую, нерасторжимую связь писателя с родной землей».

О книге «Путешествие в Польшу» пишет в «Новых ксёнжках» известный писатель Войцех Жукровский:

«Ивашкевич — мастер пейзажа, несколькими фразами он создает настроение описываемого часа, создавая то же настроение и у читателя, в памяти которого надолго сохранятся эти минуты очарования... Ивашкевич влюблен в польскую провинцию, о которой люди иногда говорят пренебрежительно и мимоходом, в ее неказистые домики, в серую, широко разлившуюся и как бы дремлющую Вислу, он как бы тихо спрашивает нас: «Где твои корни, где твой край, который ты должен любить больше всего на свете?»

## США

### ПОСЛЕДНИЙ РОМАН ДЖЕЙМСА ДЖОНСА

Когда в мае прошлого года скоропостижно скончался известный американский романист Джеймс Джонс, в его столе осталась лежать неотредактированная рукопись романа «Побудка». Недавно этот роман, подготовленный к публикации друзьями Джонса, вышел в издательстве «Делакорте». Роман был задуман писателем как последняя книга его трилогии о второй мировой войне. Первым романом трилогии была изданная в 1951 г. книга «Отсюда — в вечность» (вышедшая на русском языке в Военном издательстве), вторым — «Тонкая красная линия» (1962). В предисловии к своему последнему роману, по словам рецензента журнала «Таймс», Джонс писал: «Я рассказал здесь о том, о чем я должен был рассказать,— о поведении человека на войне и о том, что война значит для людей».

В «Побудке» повествуется о судьбе четырех фронтовых товарищей, ветеранах второй мировой войны, которые вернулись домой в Америку. Известный американский критик, обозреватель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Джон Олдридж отмечает, что главная тема последнего романа Джонса, как и всей трилогии,— это изображение «постепенного обесценивания в современных условиях Америки традиционного «кодекса чести», распада личности под влиянием страха, порожденного бессмысленной жестокостью войны». «Побудка» — книга не про войну, а про послевоенную Америку. Но хотя действие романа происходит в мирное время, эхо войны слышно на протяжении всех четырехсот с лишним страниц книги: война наложила глубокий отпечаток на психологию, на психику героев романа. Они вернулись живыми с чужбины, но обречены на гибель дома, где они, как выясняется, никому не нужны. Один из героев книги сходит с ума, другой кончает жизнь самоубийством, третий случайно погибает в кровавой драке. «Они осознают в конце концов,— подчеркивает Олдридж,— свою потерянность в мире, где человеческое достоинство, ценность отдельной личности сведены до минимума».

В заключение Олдридж пишет, что хотя Джонс и

---

Феномен Станислава Выспянского в польской культуре объясняется не только его литературным творчеством. Он внес немалый вклад также и в развитие отечественной живописи и театра. В историю культуры он вошел как автор «Свадьбы», шедевра польской драматургии, в живописи С. Выспянский создал множество портретов, пейзажей, книжных иллюстраций, витражей, занимался стенной росписью, оформлял театральные постановки. За свою недолгую жизнь (Выспянский умер на 39-м году жизни) знаменитый писатель сумел создать около пятисот художественных работ. Он считается одним из основоположников польского прикладного искусства.

На снимке: работа Выспянского «Голова Хеленки» (пастель).

*(Журнал «Польское обозрение»)*

Молодой американский певец Том Пэкстон, по отзывам прессы, является достойным преемником таких мастеров, как Вуди Гатри и Боб Дилан. Песни Пэкстона — это прежде всего, как отмечает рецензент газеты «Морнинг стар», прекрасно написанные стихи, они делаются еще более выразительными в музыкальном сопровождении. Репертуар певца очень разнообразен, но особенно ему удаются политические песни. В свое время Пэкстон был активистом движения протеста против войны во Вьетнаме. В основу песни «Родившийся 4 июля» легла трагедия американского морского пехотинца Рона Ковика («ИЛ» № 1, 2, 1978), раненного во Вьетнаме и оставшегося калекой на всю жизнь.
На снимке: Том Пэкстон.

*(Газета «Морнинг стар»)*

---

не был выдающимся писателем, тем не менее «его романы о войне, лучшее, что он написал,— это впечатляющая хроника-рассказ о том, что этот предельно честный человек видел и пережил».

### О ХЕМИНГУЭЕ И ФИЦДЖЕРАЛЬДЕ

Вышедшая в издательстве «Рэндом хаус», документальная книга Мэттью Брукколи «Скотт и Эрнест» рассказывает о сложных взаимоотношениях двух выдающихся американских писателей XX века — Э. Хемингуэя и Ф. Скотта Фицджеральда. За последние два десятилетия, особенно после опубликования в 1964 г. книги Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», интерес к этой дружбе значительно возрос. Почти ежегодно публикуются новые материалы, так или иначе связанные с именами Хемингуэя и Фицджеральда. Не обходится, конечно, и без всякого рода сенсационных «мемуаров», носящих зачастую характер великосветских сплетен.

М. Брукколи в своей книге постарался разобраться в огромном количестве документов, упорядочить массу информации и отделить правду от вымысла, действительно имевшие место события от небылиц. По словам обозревателя газеты «Интернэшнл геральд трибюн», Брукколи доказывает, что автором многих из этих анекдотов был... Хемингуэй. Брукколи тщательно сверяет различные «версии» — Хемингуэя и «незаинтересованных третьих лиц» — некоторых эпизодов из жизни Фицджеральда и Хемингуэя и приходит к выводу, что Хемингуэй был иногда «слишком несправедлив к Фицджеральду и чрезмерно справедлив к самому себе».

К наиболее интересным страницам книги, подчеркивает газета, принадлежат все же не те, что рассказывают о каких-то подробностях личной жизни обоих писателей, а те, где Брукколи приводит письма Фицджеральда Хемингуэю, в которых тот излагает свои критические суждения относительно первых двух романов своего друга «И восходит солнце» и «Прощай, оружие!». По мнению Брукколи, Фицджеральд был очень доброжелательным и справедливым критиком, чье мнение Хемингуэй ценил. Так, по совету Фицджеральда, он переработал некоторые места в «И восходит солнце», убрал излишние длинноты в «Прощай, оружие!». Хотя личное отношение Хемингуэя к Фицджеральду, пишет Брукколи, было довольно предвзятым, с его оценкой литературного творчества Фицджеральда нельзя не согласиться. Брукколи цитирует письмо Хемингуэя к известному американскому критику Малькольму Каули, где Хемингуэй критикует роман «Ночь нежна» за то, что «характеры Фицджеральда театральны, ибо он создавал их на основе своего отвлеченно-романтического взгляда на жизнь, а не на основе изучения реальных людей».

Несмотря на то что в книге «Скотт и Эрнест» приводится множество уже известных фактов, главное достоинство книги, по мнению рецензента «Интернэшнл геральд трибюн», заключается в предельной объективности автора.

## ФРАНЦИЯ

### «ЮМАНИТЕ» О В. РАСПУТИНЕ И В. ШУКШИНЕ

Во Франции вышла повесть В. Распутина «Последний срок» (под названием «Матушка» — в совместном издании «Эдитёр франсе реюни» и «Робер Лаффон») и киноповесть В. Шукшина

«Калина красная» (в «Эдитёр франсе реюни»). Газета «Юманите» посвятила обеим книгам обстоятельные рецензии.

Люсьен Кюрзи, разбирая повесть «Последний срок», уделяет особое внимание центральной фигуре — старухе Ание. До последнего дыхания она сохраняет привязанность к родной деревне, родной земле и пытается внушить своим детям чувство долга по отношению к ней. «Призывом к единению и любви завершается эта прекрасная книга писателя, которого наконец-то впервые перевели на французский язык. О ком тут вспомнить — о Гоголе или о Горьком? Своей немногословной манерой письма, проникнутой чуткостью, свойственной русским прозаикам, умеющим, как никто другой, проникать в сердца, освещать человеческие поступки так, чтобы и не льстить им, и не принижать их значения и смысла,— Распутин напоминает обоих этих гигантов и является одним из их вдохновенных наследников».

Кинофильм «Калина красная» в свое время демонстрировался во Франции. Андре Вюрмсер в статье об одноименной киноповести сразу оговаривается: он не видел фильма. Но в повести, пишет он, чувствуется «ритм кино», тот конкретный, наглядный способ воплощения действительности, который присущ киноискусству. Высокая правдивость, искренность художника сказываются и в «Калине красной», и в его рассказах.

Это «литература без литературщины», без сентиментальности, но в ней есть и поэзия, и доброта. Разумеется, «Калина красная» — не панорама советского общества, ведь там нет ни больших городов, ни университетов, ни крупных заводов. Но в этой повести, пишет Вюрмсер, по-своему раскрываются характерные черты советского общества: перед читателем — мир, где деньги не играют решающей роли в жизни людей, здесь жива память о несчастьях, причиненных войной.— чуть ли не каждая мать потеряла сына, а то и двух; здесь, с другой стороны, живет всеобщая уверенность в будущем, а о своих заботах и тревогах люди говорят откровенно, кем бы ни был их собеседник — директором совхоза или председателем местного Совета.

Так от анализа киноповести В. Шукшина рецензент переходит к политическим обобщениям. Эта повесть, «преисполненная добрых чувств», по-своему свидетельствует о тех радикальных преобразованиях, которые принес с собой новый социальный строй: «В «Калине красной» нет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, ни бедных, ни богатых». Вюрмсер формулирует следующим образом главный вывод, который, по его мысли, вытекает из «Калины красной»: «Многое сделано, многое еще остается сделать,— это уже другой вопрос, не второстепенный, но второй. Автор этой книги, написанной без всяких прикрас, Шукшин, выходец из деревни, знал это лучше, чем кто-либо».

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### «Я ЗНАЛ ГАШЕКА»

Так называется книга воспоминаний старого коммуниста Йозефа Поспишила, выход которой в издательстве «Круг» совпал с девяносто пятой годовщиной со дня рождения Ярослава Гашека.

Й. Поспишил — автор публицистических статей и мемуарных записей о чехословацких красноармейцах, участниках гражданской войны в России. Во время первой мировой войны он добровольно сдался в русский плен, затем вступил в Красную Армию и сражался в ее рядах в Поволжье и в Сибири.

Автор довольно подробно прослеживает сложный путь Гашека в России, его «превращение из военнопленного в легионера и из легионера в политкомиссара Красной Армии».

Наибольшую ценность представляет рассказ Поспишила о тех этапах деятельности писателя, свидетелем которых был он сам и которые определили всю последующую жизнь Гашека.

С августа 1917 года автор некоторое время работал вместе с писателем в полковом комитете первого чехословацкого полка имени Яна Гуса. Здесь он имел возможность наблюдать, как болезненно происходил процесс освобождения Гашека от влияния буржуазного национализма, как его восторженная вера в революционную миссию чехословацкого войска сменилась горьким разочарованием и решимостью перейти на сторону советской власти.

По свидетельству Поспишила, те же чувства владели им и множеством простых легионеров, которые не были согласны с политикой Масарика и переброской легионов во Францию и хотели помогать Красной Армии в отражении вторгшихся в феврале 1918 года на Украину немецких войск.

«Гашек решительно не соглашался с отъездом чехословацкого корпуса во Францию, считая это предательством,— пишет автор.— Потрясенный, наблюдал он за отходом чешского войска из Киева. Для себя же он избрал другой путь — Советскую Россию, Ленина».

Вторая встреча автора с Гашеком произошла в Самаре, куда писатель, ставший уже к тому времени коммунистом, был направлен для агитационной работы среди проезжающих через город легионеров и формирования чехословацкого красноармейского отряда; Поспишилу же именно здесь удалось сбежать из легионерского эшелона. Так снова началась его совместная работа с Гашеком.

Автор очень живо описывает тревожную политическую обстановку в Самаре в мае — июне 1918 года (выступления анархистов, контрреволюционное восстание меньшевиков и эсеров, саботаж бывших царских чиновников). Подробно рассказывает он и об огромной агитационной ра-

Фильм Откара Вавры «История любви и почтения» пользуется, по сообщениям прессы, большим успехом у зрителей. В основу сценария легла переписка Каролины Светлой и чешского классика Яна Неруды. Создатель знаменитой эпопеи «Дни предательства» («ИЛ» № 2, 1973), «Соколово», «Освобождение Праги» («ИЛ» № 1, 1978) на этот раз снял камерный фильм, построенный на полутонах. Но и в этом фильме слышатся отголоски борьбы «младочехов» с силами реакции.

«Это время молодости Яна Неруды,— говорит режиссер,— время, когда необычность стихов поэта вызывала критику даже со стороны его друзей. В эти годы завязывается переписка Яна Неруды с писательницей Каролиной Светлой, ставшей впоследствии близким другом поэта».

Успеху фильма способствовала блестящая игра исполнителей главных ролей Божидары Турзоновой — Каролина и Иржи Барошки — Ян Неруда (на снимке).

*(Журнал «Фильм»)*

---

боте, проводимой Гашеком и его соратниками, о трудностях, с которыми они столкнулись, и о том суровом испытании, какое им пришлось пережить в связи с мятежом чехословацкого корпуса и занятием города белочехами 8 июня 1918 года.

Поспишил успел покинуть Самару на последнем поезде, Гашек же скрылся из города в одиночку и лишь после трехмесячного блуждания по Самарской губернии смог перейти на советскую сторону.

Дальнейшая судьба Гашека — его работа помощником коменданта Бугульмы и в политотделе Пятой армии — не переплеталась с судьбой автора, поэтому последующее повествование уже не содержит его личных наблюдений.

Большое достоинство книги Поспишила в том, что ему удалось показать путь Гашека в тесной связи с историческими событиями того времени, как путь, типичный для многих иностранцев, оказавшихся в годы революции в России и сумевших найти свое место в рядах революционных борцов.

Автор внес в биографию писателя ряд неизвестных до сих пор фактов, существенных деталей, метких наблюдений над его характером и его политическим и духовным ростом под влиянием Великого Октября и самоотверженной работы в рядах Красной Армии.

## ШВЕЦИЯ

### ПОСЛЕДНИЙ СБОРНИК СТИХОВ С. ОКЕССОН

Критика высоко отзывается о последнем сборнике стихов известной шведской поэтессы Сони Окессон (1926—1977), опубликованном в издательстве «Ферфаттарферлагет» посмертно.

С. Окессон дебютировала в конце 50-х годов, когда литературный климат определялся поисками так называемой школы «новой простоты», ставившей своей задачей преодолеть элитарную замкнутость традиционной шведской поэзии и в максимальной степени приблизиться к изображению реальной повседневности.

В первых сборниках: «Ситуации» (1957), «Стеклянная веранда» (1959), «Зеркала» (1960) — С. Окессон стремится «опоэтизировать обыденное» и «расшифровывать поэтическое» простыми, доступными образами.

Критика отмечала, что стихи С. Окессон, при всем ее тяготении к классическим образцам шведской поэзии, заметно выделяются в общем хоре молодых литературных голосов камерной лирической интонацией, метафоричностью, свежестью

образов, оригинальностью ритмического строя.

Более поздним сборникам: «Автобиография» (1963), «Светит солнце» (1965), «Я живу в Швеции» (1966) — свойственны стремление проникнуть в сокровенные пласты человеческой души, эмоциональная приподнятость, попытка философского осмысления духовных и нравственных проблем современности.

В художественном наследии С. Окессон можно обнаружить влияние европейской и американской поэзии XX века. Но уникальность ее поэтической манеры заключается в органическом неприятии стилистических штампов, в ее постоянном поиске новых форм передачи человеческих чувств и переживаний.

«Трагически оборвался жизненный путь Сони Окессон. Но ее творчество оставило глубокий след в современной шведской поэзии»,— отмечает обозреватель журнала «Бонньерс литтэрэр мэгэзин».

## НОВЫЙ РОМАН П. Г. ЭВАНДЕРА

Известный шведский прозаик Пер Гуннар Эвандер успешно выступает в разных жанрах, он — автор многих романов, пьес, киносценариев. Радио- и телевизионные инсценировки его произведений пользуются большой популярностью не только в Швеции, но и за ее пределами.

Новый роман П. Г. Эвандера «История Лиллемур Хольм», увидевший свет в издательстве «Бонньер», получил широкий резонанс в печати.

Эвандер продолжает здесь тему, начатую в предыдущих романах,— тему нравственных и этических исканий современной молодежи.

Герои романа — молодой врач и его пациентка, как и многие персонажи Эвандера, находятся в состоянии душевного кризиса, внутреннего конфликта с окружающими. В исповедях своих героев Эвандер пытается «как можно более достоверно, хронологически точно воссоздать историю их моральных крушений, обнаружить социальные и психологические причины их душевных трагедий».

Роман написан от первого лица — в форме исповеди главного героя, анализирующего свою жизнь после попытки к самоубийству,— и этот прием придает повествованию интонацию искренности, документальной достоверности происходящего.

«Композиция нового романа Эвандера, состоящего из воспоминаний и размышлений главных героев, разрозненных эпизодов, происходящих в разное время, сложна и многослойна. Но, прослеживая путь героев к нравственному исцелению, Эвандер утверждает торжество гуманности и разума, чуткости и взаимопонимания над мелочными идеалами потребительской психологии»,— отмечает критик И. Ханссон в журнале «Бонньерс литтэрэр мэгэзин».

## «ПТИЦЫ» П. КУРМАНА

В издательстве «Вальстрём о Видстранд» вышел новый сборник стихов современного шведского поэта Петера Курмана «Птицы».

Поэзия П. Курмана отмечена ярко выраженной политической направленностью, напряженным поиском нравственных идеалов, гуманистическим пафосом, протестом против жестокости и насилия, против бездуховности «цивилизации потребления».

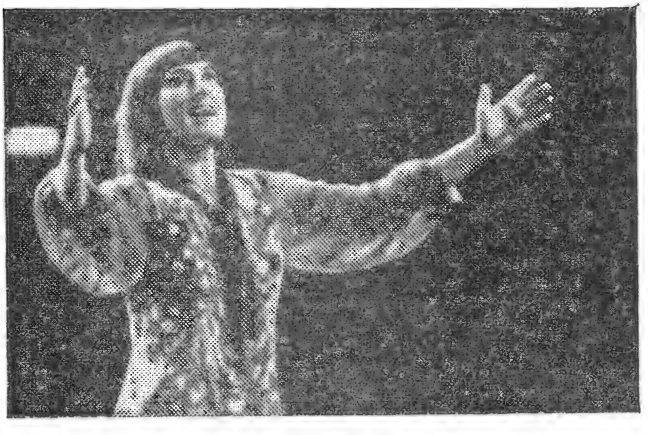
Характеризуя особенности поэтической манеры Курмана, рецензент журнала «БЛМ» пишет: «Стихи Курмана, эмоционально приподнятые или элегические, политическая лирика или пейзажные зарисовки свободны от намеренной стилистической переусложненности, риторики и избитых метафор. Новый сборник стихов П. Курмана свидетельствует о тяготении современной шведской литературы к классическим традициям и освоению новых эстетических форм, продиктованных политической и социальной реальностью последних десятилетий».

---

На сцене Гётеборгского театра с успехом идет премьера спектакля «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Б. Брехта. «Неувядаемое очарование драматургии Брехта — в ее гуманистическом пафосе, в напряженности социальных и психологических конфликтов, в динамике сценического действия», — пишет театральный обозреватель газеты «Ню даг».

В числе актерских достижений критик отмечает работу Г. Нюрос, исполняющей главную роль (на снимке).

*(Газета «Ню даг»)*



◆

# Авторы этого номера

**НАДИН ГОРДИМЕР — NADINE GORDIMER** (род. в 1923 г.).

Южноафриканская писательница, пишет на английском языке. Автор романов «Лживые дни» («The Lying Days», 1953), «Земля чужестранцев» («World of Strangers», 1958), «Почетный гость» («A Guest of Honor», 1970) и других, шести сборников рассказов. В последние годы вышли: «Спутники Ливингстона» («Livingstone's Companions», 1972), «Наверняка в понедельник» («Some Monday for Sure», 1976).

Ряд произведений Н. Гордимер, в том числе романы «Земля чужестранцев», «Последний буржуазный мир» («The Late Bourgeois World»), занесены в ЮАР в списки запрещенных книг.

Советские читатели знакомы с творчеством Н. Гордимер по сборнику «Рассказы» (М., 1971) и многим новеллам, публиковавшимся в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 10, 1970, № 9, 1973).

Новелла «Запах смерти и цветов» взята из сборника рассказов австралийских, индийских и южноафриканских писателей «За солнцем» («Following the Sun». Berlin, 1960).

**КОТКИН ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ** (род. в 1920 г.).

Советский переводчик с английского, заслуженный работник культуры РСФСР. В его переводе выходили романы австралийских писателей — Бетти Коллинз, Ли Бонер, Димфны Кьюсак, американских писателей — Дж. Чивера, Эрнста Дж. Гейнса и других.

**ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ — WISŁAWA SZYMBORSKA** (род. в 1923 г.).

Польская поэтесса. Окончила Краковский университет, где изучала литературу и социологию. Ее первые стихи появились в печати в 1945 г. В. Шимборская — автор нескольких книг стихов: «Для того и живем» («Dla tego żyjemy», 1952), «Вопросы к самой себе» («Pytania zadawane sobie», 1954), «Призыв к Йети» («Wołanie do Yeti», 1957), «Соль» («Sól», 1962), «Потеха» («Sto pociech», 1967), «Всякий случай» («Wszelki wypadek», 1972).

На русском языке стихи В. Шимборской напечатаны в сборнике «Современная польская поэзия» (1971), публиковались в журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 2, 1967, № 7, 1974, с предисловием В. Огнева).

Предлагаемая читателям подборка составлена из стихотворений ее нового сборника «Большие числа» («Wielka liczba». Warszawa, Czytelnik, 1976).

**ЭППЕЛЬ АСАР ИСАЕВИЧ** (род. в 1932 г.).

Советский поэт и переводчик. В его переводах вышли книги Юлиана Тувима «Слон Хоботовский» (1971), Леопольда Стаффа «Избранная лирика» (1971) и др. В серии «Библиотека всемирной литературы» — переводы шотландских баллад (1976), поэзии польского барокко (1977). Автор книги «Шторм» («Детская литература», 1976).

**ЖАН ЖУБЕР — JEAN JOUBERT** (род. в 1928 г.).

Французский писатель. Учился в Сорбонне на отделении английской филологии. Живет в Лангедоке — на юге Франции; преподает американскую литературу в университете в Монпелье. Опубликовал десять сборников стихов и романы «Снег в июле» («Les Neiges de Juillet», 1963), «Заснеженный лес» («La Forêt Blanche», 1969), «Добрый дикарь» («Un Bon Sauvage», 1972).

За предлагаемый вниманию читателя роман «Человек среди песков» («L'Homme de sable». Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 1975) Жану Жуберу была присуждена в 1976 г. премия Ренодо.

**ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА.**

Советская переводчица с французского и английского языков. Переводила произведения Т. Драйзера, П. Руане, А. Труайя («ИЛ», № 8, 1975), статьи для общественно-политических журналов.

**ПАВОЛ ОРСАГ ГВЕЗДОСЛАВ — PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV** (1849—1921).

Словацкий поэт. Начал печататься в конце 60-х годов прошлого века. К числу крупных эпических произведений Гвездослава относятся поэмы «Жена лесника» («Hájnikova žena», 1884—1886), «Ежо Влколинский» («Ežo Vlkolinský», 1890), «Габор Влколинский» («Gábor Vlkolinský», 1897—1899). Наиболее известное его драматическое произведение — трагедия «Ирод и Иродиада» («Herodes a Herodias», 1909). Его перу принадлежат маленькие повести в стихах «Бутора и Чутора» («Bútora a Čútora», 1888), «В жатву» («V žatvu», 1890), «Вечера» («Večera», 1892), лирические циклы «Летние побеги» («Letorosty», ч. 1—3, 1885—1895), «Печали» («Stesky», ч. 1—4, 1903—1906), «Отзвуки» («Dozvuky», ч. 1—3, 1909—1911), «Кровавые сонеты» («Krvavé sonety», 1914).

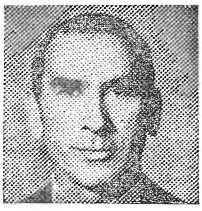
Переводил на словацкий язык произведения Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Петефи, Шекспира, Гёте и др.

Из цикла «Кровавые сонеты» мы публикуем четырнадцать сонетов. Издательство «Татран» в Братиславе подготовило к изданию «Кровавые сонеты» одновременно на двух языках — русском и словацком.

**СТАНИСЛАВ ШМАТЛАК — STANISLAV ŠMATLÁK** (род. в 1925 г.).

Словацкий литературовед. Автор книги «150 лет словацкой лирики» («150 rokov slovenskej lyriky», 1971) и работ о творчестве Л. Новомеского, М. Руфуса, М. Валека. За труд о Паволе Гвездославе ему была присуждена Государственная премия.

Вступительная статья к публикуемым сонетам П. Гвездослава написана для «Иностранной литературы».



**ЛЕВИК ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕНИАМИНОВИЧ** (род. в 1907 г.).

Советский поэт, переводчик, художник, литературовед. Переводил произведения В. Шекспира, Дж. Байрона, Ж. Дю Белле, В. Гюго, Ш. Бодлера, И. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне, Лопе де Вега, А. Мицкевича, Ш. Петефи, И. Бехера, Л. Арагона, А. Йожефа, Ю. Тувима и др. Опубликовал сборники «Из европейских поэтов XVI—XIX вв.», «Лирика П. Ронсара», «Сонеты Л. Камоэнса»; антологию переводов «Волшебный лес», «Избранные произведения» в 2-х томах (1977). Переводческая деятельность В. Левика отмечена литературными премиями имени И. Бехера (ГДР), польского ПЕН-клуба и др.

**ГВИШИАНИ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА.**

Советский историк-международник. Кандидат исторических наук. Директор Всесоюзной Государственной библиотеки иностранной литературы. Автор монографии «Советская Россия и США (1917—1921)» и многих статей по вопросам советско-американских отношений.

**РОЖЕ БОРДЬЕ — ROGER BORDIER** (род. в 1923 г.).

Французский писатель. Автор нескольких сборников стихов, поэм, романов, эссе. За роман «Хлеба» («Les blés») был удостоен премии Ренодо. Широкий отклик получили его романы последних лет «Демонстрация» («Meeting», 1976), «Завтра лето» («Demain l'été», 1977).

Статья «Политика и французский роман» получена редакцией в рукописи.

**ГАЛАНОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ**

(род. в 1914 г.).

Советский критик, публицист, литературовед. Автор монографий о советских писателях: Б. Полевом (1957), И. Ильфе и Е. Петрове (1961), С. Маршаке (1965), С. Михалкове (1972), записок военного корреспондента «Самые долгие годы» (1970), литературоведческих работ «Искусство портрета» (1967), «Живопись словом» (1974). За статьи о зарубежном кино «На экране и в окрестностях» и «Современность и мода», опубликованные в журнале «Иностранная литература» (№ 2, 12 за 1975 г.), Союз кинематографистов СССР присудил Б. Галанову премию за лучшие работы в области кинокритики и киноведения 1975 года.

■

**КАРЛ СЭНДБЕРГ — CARL SANDBURG** (1878—1967).

Американский поэт; собиратель и исполнитель народных песен. Автор многих книг стихов. Произведения Карла Сэндберга в Советском Союзе печатались в журналах и антологиях, выходили отдельными книгами («Стихи разных лет», «Избранная лирика» и др.). К творчеству Сэндберга неоднократно обращалась «Иностранная литература» (№ 5, 1966, № 10, 1967, № 2, 1978).

■

**ДЖАННИ РОДАРИ — GIANNI RODARI** (род. в 1920 г.).

Итальянский детский писатель. Член Итальянской коммунистической партии с 1944 г. Дж. Родари — один из любимых и читаемых советскими детьми авторов. Особенно популярны его «Приключения Чиполлино», «Сказки по телефону», «Джельсамино в Стране Лгунов», «Путешествие Голубой стрелы» и другие.

Рассказ «Маги на стадионе» взят из газеты «Паэзе сера» (март, 1973).

■

**ФРЭНК САЛЛИВЕН — FRANK SULLIVAN** (род. в 1892 г.).

Американский писатель-юморист. С 1926 по 1972 г. в США и Англии вышло двенадцать сборников рассказов и юморесок Салливена. Несколько переводов его юмористических рассказов публиковалось в советской периодической печати.

Предлагаемые рассказы взяты из сборников «Невинно стоя рядом» («Innocent Bystanding», 1928) и «В одно ухо влетает...» («In One Ear...», 1933).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

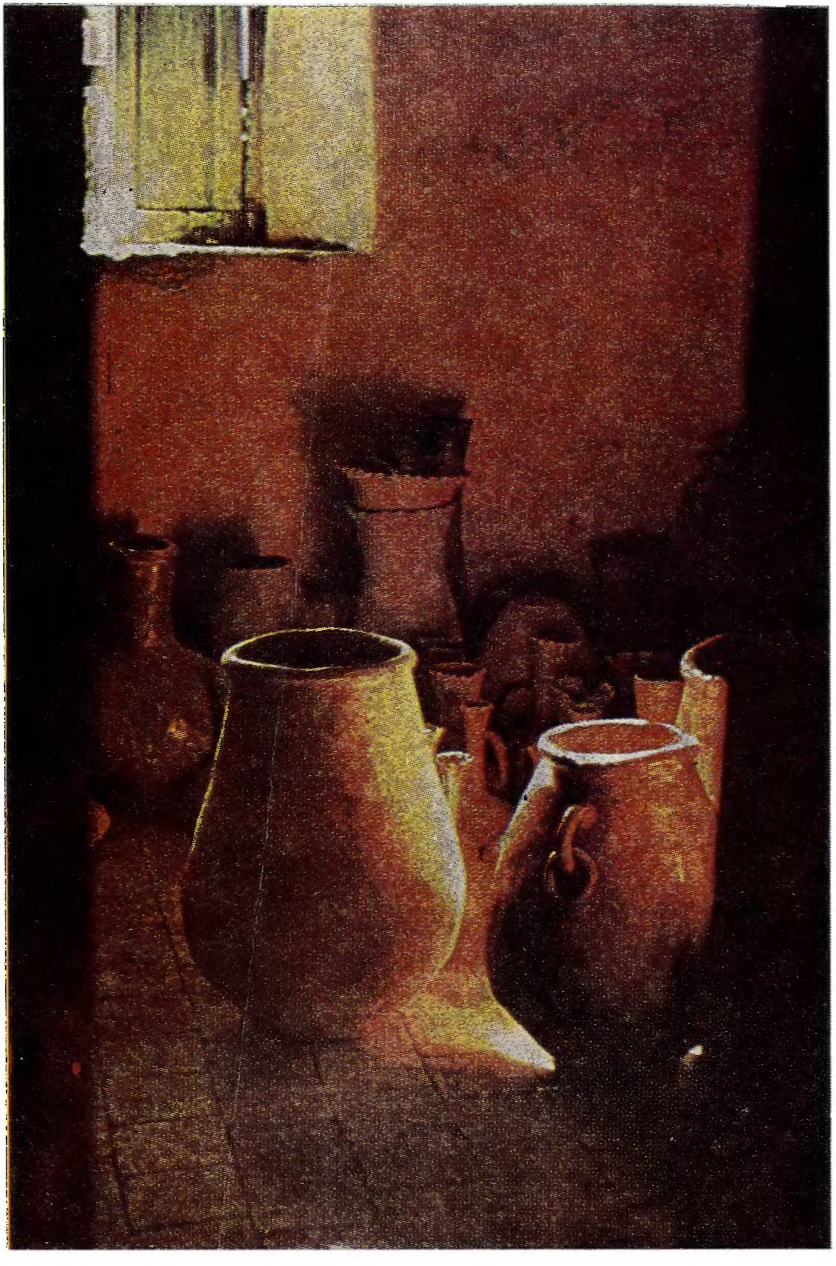
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26/V 1978 г. А 11962. Подписано в печать 11/VII 1978 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 617.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.). Зак. 1580.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394